

СЛОВО «НАШЕГО СОВРЕМЕННОКА»

Встреча читателей с редколлегией журнала “Наш современник” в Центральной городской библиотеке им. Ф. И. Тютчева подмосковной Балашихи собрала представителей творческой интеллигенции, библиотечного сообщества, учащейся молодежи. Разговор шел о современном литературном процессе, редакционной политике и творческих планах этого популярного издания.

Со времен пушкинского “Современника” слово, давшее имя легендарному журналу, не раз повторялось в названиях книг, кинофильмов, театров, книжных издательств и проч. Но стоит произнести — “Наш современник”, как мы безошибочно угадываем в этом словосочетании название одного из самых любимых и читаемых на протяжении многих десятилетий периодических изданий.

Лишнее подтверждение сказанному — приподнятое настроение, с которым балашихинцы, собравшиеся в Центральной городской библиотеке имени Ф. И. Тютчева, ждали встречи с редколлегией журнала, что, по словам первого заместителя главного редактора Александра Казинцева, “идет в ногу с жизнью, откликается на самые злободневные вопросы, не забывая о вечном”. Таким “вечным” стали уже имена классиков отечественной литературы Валентина Распутина, Василия Белова, Владимира Солоухина, Вадима Кожина, Юрия Кузнецова.

Однако, возвращаясь памятью к истокам “Нашего современника”, Александр Иванович сделал особый акцент на новом поколении авторов — до тридцати или немногим старше, — передовой отряд которого составляют прозаики Андрей Тимофеев, Андрей Антипин, Юрий Лунин, Елена Тулушева, поэты Карина Сейдаметова, Олег Малинин, Мария Знобищева, критик Яна Сафронова.

Карина Сейдаметова, вставшая недавно во главе отдела поэзии “Нашего современника”, познакомила публику со своим творчеством наиболее привычным для поэта образом. Она прочитала стихи, которые, будучи окрашены грустной интонацией, тем не менее внушают веру в лучшее. Просто для нее “чувство родины — тихое чувство”.

В творчестве ее коллеги по поэтическому цеху Олега Малинина отразились, по его признанию, темы и настроения, которыми пронизана публицистика журнала “Наш современник”.

Литературный критик Яна Сафронова познакомила участников встречи с молодыми авторами, произведения которых печатаются преимущественно в молодежных выпусках “Нашего современника”. Как правило, это каждый восьмой номер журнала.

Как всегда, очень эмоционально и убедительно выступил заместитель главного редактора, заведующий отделом критики журнала “Наш современник” Сергей Куняев. Говорю, как всегда, потому что Сергей Станиславович — частый гость на балашихинской земле. На протяжении нескольких лет он возглавляет жюри литературного конкурса “Ф. И. Тютчев и Россия: пророк в своем Отечестве”. Не раз представлял свои книги в Балашихе.

Директор МБУК “Централизованная библиотечная система” Лариса Покрасова поблагодарила гостей за интересный разговор, выразив надежду на дальнейшие встречи.

Подводя итог, Александр Казинцев поблагодарил всех за интерес, проявленный к журналу, его сотрудникам и авторам, и объявил, что эта встреча станет началом новой работы с читателями Москвы и Подмосквья.

Из газеты “Факт” (г. Балашиха)

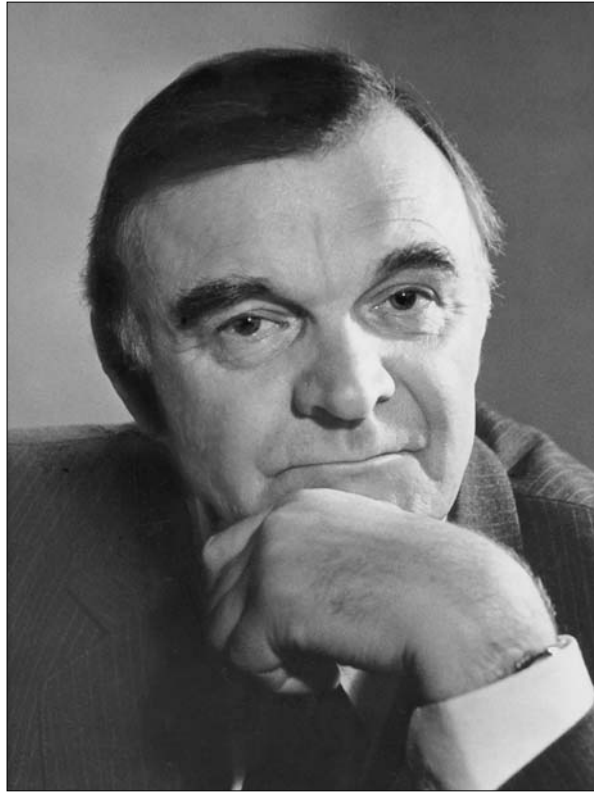
НАШ СОВРЕМЕННОК

Журнал писателей России



№3 2019

Юрию Васильевичу БОНДАРЕВУ — 95!

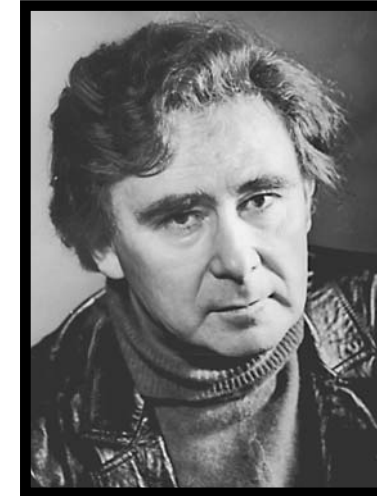


По дороге к нему на сей раз я прикидывал, что родился он меньше чем через два месяца после кончины Ленина, то есть все последующие годы становления, защиты и величия Советского Союза стали частью его биографии. Долг перед родной страной вёл его по жизни, и он с чистой совестью может сказать, что от долга не уклонялся. Пароль верности и мужества — Сталинград — определит не только тему одного из самых сильных его произведений, но и в целом характер отношения к литературному труду как к главному делу жизни, неотделимому от интересов и забот Родины.

Если представить мысленно всё, что написано им, складывается впечатляющая панорама бытия страны за семь десятилетий. Своего рода художественная история в романах и повестях, где “Горячий снег” и “Последние залпы” сменяются “Тишиной”, а затем наступают “Берег” и “Выбор”, влекущие за собой “Игру”, “Искушение” и, наконец, трагический “Бермудский треугольник”...

Творчество его, как и жизнь, хронологически делится надвое — советский период и время уничтожения всего советского. При этом не отпускают писателя с невероятной остротой стоящие вопросы: что же с нами произошло, что происходит? Он даже напрямую выносил их в заголовки своих публицистических статей, и ни одна беседа наша так или иначе без обращения к роковым вопросам о судьбе страны и народа не обходилась.

Беседу В.С. Кожемяко с Ю. В. Бондаревым читайте на стр. 259.



Не стало Глеба Яковлевича Горбовского. Это был один из последних русских поэтов-“шестидесятников”, яркий, талантливый человек, беззаветный патриот Отечества, верный друг журнала “Наш современник”, где печатались лучшие его стихи последних лет. В некрологе Санкт-Петербургского отделения Союза писателей говорится:

“Его имя еще при жизни вызывало в сердцах волны невольного восхищения и радости только от одной мысли, что где-то среди нас живет этот удивительный человек, наделенный божественным даром видеть, слышать и выражать свои чувства в словах так, как никто другой. С выходом книги “Поиски тепла” (1960) все ощутили, что в России появился пронзительный поэт, истинно русский по своей сути, с индивидуальным голосом, вобравшим трагический опыт своей эпохи. Безусловно, с кончиной Глеба Горбовского перевернута еще одна необъятная страница русской литературы, которая освещена светом его поэзии”.

ТЕБЕ, ГОСПОДИ!

*Бегу по земле, притороченный к ней.
Измученный, к ночи влетаю в квартиру!
И вижу — Тебя... И в потёмках — светлей.
...Что было бы с хрупкой планетой моей,
когда б не явились глаза Твои — миру?
Стою на холме, в окруженьи врагов,
смотрю сквозь огонь на танцующий лютик.
И вижу — Тебя! В ореоле веков.
...Что было бы с ширью полей и лугов,
когда б не явились глаза Твои — людям?
И ныне, духовною жаждой томим,
читаю премудрых, которых уж нету,
но вижу — Тебя! Сквозь познания дым.
...Что было бы с сердцем и духом моим,
когда б не явились глаза Твои — свету?
Ласкаю дитя, отрешась от страстей,
и птицы поют, как на первом рассвете!
И рай различим в щебетанье детей.
...Что было бы в песнях и клятвах людей,
когда б не явились глаза Твои — детям?
И солнце восходит — на помощь Тебе!
И падают тучи вершинам на плечи.
И я Тебя вижу на Млечной тропе.
...Но чтоб я успел в сумасшедшей судьбе,
когда б не омыла глаза мои — Вечность?*



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,

А. В. ВОРОНЦОВ,

Г. Я. ГОРБОВСКИЙ

Т. В. ДОРОНИНА,

Л. Г. ИВАШОВ,

С. Г. КАРА-МУРЗА,

В. Н. КРУПИН,

А. Н. КРУТОВ,

А. А. ЛИХАНОВ,

Ю. М. ЛОЩИЦ,

С. А. НЕБОЛЬСИН,

Д. Н. НИКОЛАЕВ,

Ю. М. ПАВЛОВ,

И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,

З. ПРИЛЕПИН,

Е. С. САВЧЕНКО,

А. Ю. СЕГЕНЬ,

В. В. СОРОКИН,

А. Ю. УБОГИЙ,

В. Г. ФОКИН,

Р. М. ХАРИС,

М. А. ЧВАНОВ,

С. А. ШАРГУНОВ,

В. А. ШТЫРОВ

Проза

Андрей ТИМОФЕЕВ
Пробуждение. Роман 3

Александр ИВАНИЦКИЙ
Ломаные уши.
Книга воспоминаний 60

Светлана ЗАМЛЕЛОВА
Абрамка. Повесть 94

Нина КРОМИНА
Балласт. Рассказ 149

Татьяна ФИЛИППОВА
Хануман. Рассказы 160

Владимир ПРОНСКИЙ
Ветер окольных дорог.
Рассказ 175

Поэзия

Евгений ЮШИН
Думы о счастье земном 55

Елена ИВАНОВА
Все прорехи любовь залатает..... 91

Диана КАН
Назло всем тем,
кто жизнь мою итожит 146

Татьяна ШОРОХОВА
Вопрошает тебя мать –
родная земля... 155

Наталья СКОРОДЕНКО
В другой эпохе,
на другой планете... 172

Память

Валентин РАСПУТИН
Русь сибирская,
сторона Байкальская
(с предисловием И. Комлева) 183

Валентина СЕМЁНОВА
Под небом родным
и тревожным 188

Сергей КУНЯЕВ
Вадим Кожинов 202

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
*первый заместитель
главного редактора* —
(495) 625-01-81

С. С. Куняев —
*заместитель главного
редактора,
зав. отделом критики* —
(495) 625-02-81

Отдел прозы —
(495) 625-30-47

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техцентром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

А. А. Жуков —
юрист —
(495) 625-57-45

Очерк и публицистика

Лидия СЫЧЁВА
Герои и торгаши 214

Сергей КАРА-МУРЗА
Пора учиться! 221

Александр ПРОХАНОВ
Вихри русской мечты 229

Слово читателя

“Желаю вам сохранять
свои позиции” 247

Критика

Виктор КОЖЕМЯКО
Необоримость духа и совести 259

Владимир КРУПИН
Несобственно-прямая речь 264

Яна САФРОНОВА
Пора лихолетий 268

Книжный развал

Алексей ПАВЛОВ
Живая вешняя вода 278

В конце номера

Марина ШАМСУТДИНОВА
“Культ соломяной стрихи
и важных чобит...” 280

Евгения ДЕКИНА
Мы их почти потеряли 284

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и публикует наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией. Срок хранения рукописей один год. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2** (пн.-чт. с 11 до 17 ч.)

Адрес электронной почты: **n-sovrem@yandex.ru** (рукописи по e-mail не принимаются)

Адрес сайта в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**

Юрист редакции оказывает юридическую помощь читателям журнала

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 5.03.2019. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 0088-2019. Тираж 4000 экз.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-32-09, (495) 941-34-72 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ



ПРОБУЖДЕНИЕ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Эта история началась для меня 15 марта 2014 года, накануне референдума о статусе Крыма. В ту холодную промозглую субботу на улицах Москвы, казалось, было столько же людей, сколько и в обычный выходной день, и никто никуда не спешил, и не происходило ничего особенного. Но где-то у метро, на автобусных остановках, в уютных кафешках собирались тысячи людей — собирались, чтобы разделить потом на две части, на два больших митинга. Один должен был состояться на проспекте Сахарова — мои знакомые называли его белоленточным и говорили, что всем пришедшим на него раздадут по тысяче рублей. О втором, начинавшемся рядом с метро Трубная, я знал совсем мало, но в нём собирался участвовать мой друг и сосед по съёмной квартире Андрей Вдовин, человек мрачный и суровый, а потому и митинг этот представлялся мне именно таким.

Всю прошлую неделю Андрей возвращался домой за полночь: после работы ходил на специальные занятия, где их учили маршировать и инструктировали, как себя вести. В политическое движение, организующее митинг,

ТИМОФЕЕВ Андрей Николаевич родился в 1985 году в городе Салавате (Республика Башкортостан). Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт им. Горького (семинар М. П. Лобанова). Печатался в журналах "Наш современник", "Роман-газета", "Новый мир", "Октябрь", "Вопросы литературы" и др. Лауреат премии им. Гончарова и премии им. А. Г. Кузьмина журнала "Наш современник". Член правления Союза писателей России. Живёт в Подмосковье.

он вступил недавно; первое серьёзное мероприятие ждал с нетерпением и не пропускал ни один день подготовки. Его девушка Катя, с которой они жили в соседней со мной комнате, была недовольна тем, что он каждый раз приходит домой так поздно, — сквозь тонкие стены московской хрущёвки доносились их крики и взаимные упрёки. Впрочем, на митинг меня звали оба: Андрей, чтобы приобщить к движению, а Катя, боясь остаться там наедине с чем-то непредсказуемым и опасным, всё сильнее затягивающим любимого к себе. Вчера мы договорились, что Андрей поедет на Трубную раньше — им нужно было провести генеральную репетицию, а мы с Катей подойдём к двенадцати часам, к самому началу.

Но, честно говоря, я в то утро не хотел никуда ехать и беспечно радовался свободному выходному дню. Я слышал, как за стеной проснулась Катя, как ходила она на кухню, как хлопнула дверца холодильника. Я знал Катю давно и догадывался, что она сейчас злится, что Андрея нет дома: ей хотелось, чтобы, несмотря на все дурацкие договорённости, Андрей пропустил бы митинг, сделав ей сюрприз, на который она втайне надеялась. И от этой несбывшейся наивной надежды ей было сейчас обидно. Понимая эти её мысли и чувства, я смотрел на часы и тревожно прислушивался к шагам за стеной, ожидая, что Катя всё-таки передумает идти, и я смогу с чистым сердцем тоже остаться дома.

Она вбежала ко мне в последний момент, растрёпанная, с пунцовыми от волнения щеками, ещё в домашней одежде, но уже принявшая окончательное решение, теперь владевшее ею целиком.

— Ты встал? Пойдём, пойдём скорее!

Когда она была так воодушевлена, с ней невозможно было спорить.

Через полчаса мы уже выходили из метро Трубная. В лицо ударил сильный ветер, и сначала не разобрать было, куда идти. Вдалеке, за аллеей, мы видели колонну людей в чёрных штанах и красных куртках, но вокруг всё было перегорожено. Катя попыталась пройти к колонне напрямик через прогал в железных ограждения, который перегораживало трое полицейских, но один из них махнул рукой вдоль улицы, — обходить там, поняли мы. Было странно, что нужно двигаться не к хвосту колонны, а вперёд, как бы обгоняя её, но мы не успевали думать и просто побежали. Люди, попадавшие на пути, шли вразнобой, не собираясь ни на какой митинг. У киоска с жареными сосисками стояли в очереди несколько человек. Женщина с двумя огромными пакетами грузно шагала навстречу. И только один сухенький старичок с маленьким флажком у фонарного столба монотонно повторял вслух, но как бы ни к кому не обращаясь: “Молодцы, ребята, за русский Крым... за русский Крым...”

Я видел, как торопится Катя, как она волнуется, оттого что остаётся уже мало времени до начала шествия. Но всякий раз, когда нам казалось, что вот именно здесь можно протиснуться и шагнуть на брусчатку, чтобы подождать оставшиеся позади шеренги, а потом влиться в них, на пути возникали те же люди в полицейской форме и так же махали рукой куда-то вдалёку.

Наконец остановились на перекрёстке, до первых рядов было уже метров двести. Из-за железных ограждений, тянувшихся по всему предстоящему ей пути, колонна казалась огромной ящерицей, закованной в тонкую броню. Красно-чёрные люди в ней теснились плечом к плечу, и где-то там стоял и Андрей. Я знал, что это шествие очень важно для него, и он сильно переживает, чтобы сегодня всё прошло безошибочно, ведь в этот самый момент враг (он так часто произносил это слово — враг) обязательно наблюдает за их митингом с тревогой и ненавистью, и нельзя дать ему ни единого повода для радости. Наконец, мужчина в военной форме, маячивший во главе колонны, неразборчиво крикнул — и тогда двинулись, будто чья-то могучая ладонь толкнула их вперёд...

Сначала маршировали лихо, приближаясь к перекрёстку, а мостовая весело хлопала под их ногами. Флаги в руках людей из первых рядов натягивались так, что на них уже можно было различить буквы, золотые на красном, но ещё нельзя было прочитать название политического движения.

Наверное, всем этим людям хотелось идти быстрее, чтобы название это блеснуло в сером промозглом воздухе, чтобы его увидели все вокруг.

Приблизились, и стало заметно, что двигаются неуклюже, тягуче, то и дело свертывая строй. На перекрёстке колонна принялась перестраиваться, чтобы свернуть в узкий переулок на противоположной от нас стороне улицы. С места, где стояли мы, хорошо было видно, как тяжело даётся им это перестроение. Но вот закончили и неожиданно быстро вошли в переулок, где дома навалились на них с обеих сторон. Мы надеялись, что сейчас пройдут красные шеренги, и люди в полицейской форме откроют проход, чтобы мы и ещё несколько человек, стоявших на перекрёстке, смогли бы присоединиться к общему течению. Но тянулись лица, плакаты, транспаранты, а ограждения всё не убирали. На одном из балконов второго этажа висело большое шерстяное одеяло и раскачивалось на ветру, медленно и тревожно.

Время от времени Катя растерянно оглядывалась на меня, и я только сердился от собственного бессилия. И вот в этот момент неожиданная спасительная мысль пришла ко мне — я схватил Катю за рукав куртки и поспешно потащил вперёд, но совсем не туда, куда устремилась колонна. Я плохо разбирался в московских улицах, просто интуитивно догадывался, куда нужно идти, а Катя послушно шагала за мной. Иногда в маленьких переулках, пересекающих наш путь, мы как в длинную подозрную трубу могли видеть двигающихся по параллельной улице людей с флагами.

Вдруг оказались на краю огромной площади, окружённой домами, в которую в тот момент, как река, прорвавшая плотину, устремлялся поток митингующих. Первые ряды уже выплёскивались к подножью высокой деревянной сцены на дальнем краю площади, следующие подтягивались к ним. Нас тоже подхватило и понесло, а потом прибило людской волной к стене одного из высотных домов. Мы ещё толком не могли разобрать, куда нам нужно смотреть и что делать, как вдруг в стывшем воздухе раздался хриплый голос: это был маленький человек в меховой шапке, стоявший на сцене у микрофона. Я взглянул на Катю и увидел её застывшее искажённое лицо — как же она ненавидела этот голос! Именно им говорили эти политические ролики, которые Андрей смотрел каждый вечер после работы, вместо того, чтобы посидеть с ней.

— Бандеровцы провозглашают на Украине новый фашизм, — выкрикивал человек в меховой шапке. — Насаждают его насильственно, репрессивно... Их куцый мозг мутит кровавое вино киевской преступной победы... победы над своим народом, победы над демократией... победы над исторической судьбой... Они рвутся в наш святой город, они рвутся и просачиваются в Москву. И потому здесь мы хотим сказать им... — он сделал паузу, так что пространство вокруг натянулось и стало слышно, как кто-то коротко каплянул, где-то лязгнуло железное ограждение, ветер вздохнул во флагах. А потом сосредоточением всех этих яростных слов по площади пронеслось надрывное: В Москве майдану не бывать...

“В Москве майдану не бывать”, — повторили за человеком в меховой шапке сотни людей. Сначала — неуверенно, стесняясь своих голосов, слишком разных и нестройных. Но уже в следующее мгновение перестали сдерживаться, почувствовав знакомый напор в хриплых словах, как волки чуют запах своей стаи, и тогда вся площадь закипела: “В Москве майдану не бывать... В Москве майдану не бывать...”

А потом всё смешалось — и нестройные голоса из толпы, и российские флаги, и чьи-то лица вокруг. Рядом с нами стоял мужчина в лёгкой куртке нараспашку, а на шее у него сидела маленькая девочка и без устали размахивала зелёными резиновыми сапожками. Трое других мужчин рядом показывали пальцами на сцену и смеялись, наклоняясь друг к другу. Женщина в белом платке держала самодельный транспарант из картона: “Здравствуй, Севастополь”. Мы попытались протиснуться мимо этих людей вперёд, туда, где стояли первые шеренги, но человеческое море подавалось медленно — необходимо было поймать попутное течение, чтобы легко преодолеть несколько метров, а потом опять завязнуть. Но всё-таки желанные красно-чёрные ряды постепенно приближались к нам, и всё яснее слышались их резкие

дружные выкрики, перекатывающиеся по площади, как эхо в огромном пустом зале.

Очередным спазмом толпы нас вытолкнуло прямо на железные ограждения где-то между четвёртой и пятой шеренгами, но ещё ближе к сцене пробраться было уже невозможно. Я видел, как Катя в смятении оглядывается, безуспешно пытаясь разглядеть Андрея. И вдруг мы одновременно увидели его. Он стоял рядом с высоким широкоплечим человеком, державшим флаг, всего лишь в нескольких метрах от нас, напряжённо глядя на того, кто выступал на сцене. Катя изо всех сил замахала ему ладошкой, но Андрей не заметил. И я понял, как обидно ей стало, оттого что вот она, столько преодолела, чтобы добраться сюда, а ему всё равно, и он совершенно не волнуется о ней. Тогда, проникнувшись общим ожесточением, Катя резко повернулась к человеку на сцене и встала прямо, не сводя с него горячий гневный взгляд. И от вспыхнувшей внутри ярости ей стало, наверно, даже легче: теперь она больше не чувствовала себя чужой здесь — она знала, кто этот человек, к чему он призывает, знала, как ей относиться к нему и ко всему, что происходит вокруг.

— Мы любим братскую Украину... Мы любим её всем сердцем, это наши братья, и мы обращаемся к ним: слушайте, — с особым наслаждением выговаривал каждый слог хриплый голос, — не верьте тем, кто говорит, что здесь царит ненависть к вам... мы любим вас как братья... — “Мы любим вас как братья, мы любим вас как братья”, — как заклинание, повторяли стройные ряды.

— Выстроились, — вдруг произнёс гортанный голос откуда-то сзади.

— До первого коктейля Молотова, — усмехнулся другой.

Это говорили два молоденьких парня, один из которых держал в поднятой руке фотоаппарат и снимал митингующих. Катя порывисто обернулась — кинуться на них, расцарапать эти румяные молоденькие лица. И уже не понять было, против ли она человека в меховой шапке, или против этих парней, скорее, против всех людей на этой враждебной площади...

Было пасмурно, затянул мелкий противный дождь. Капельки падали на железный прут ограждения, разбиваясь, а Катя зачем-то всякий раз дотрагивалась пальцами до того места, куда попадала капля. Я подумал, что зря не надел шерстяные носки. А потом увидел, что и Катя замёрзла, и осторожно сказал ей: “Пойдём, посидим немного в кафешке, погреешься”. Она кивнула, но потом добавила: “Давай ещё немного побудем...” Я вздохнул от этого её упрямства и продолжал переступать с ноги на ногу, стараясь прогнать стылый воздух из ботинок.

Иногда оратор уходил со сцены на несколько минут, и включали старые советские песни, в основном военные, как на демонстрациях из далёкого прошлого. И тогда во всём митинге появлялось что-то деловитое и праздничное. После этих песен даже новые оглушительные слова про нацистскую сволочь и победу русского мира звучали мягче, а в голосе человека в меховой шапке не было прежнего безумного ожесточения. И привычно и буднично отвечали ему из толпы. Я не мог согласиться с его резкими словами, но мне приятно было, что есть этот человек, и эти сомкнутые ряды, и было спокойнее, что среди всех этих людей, так грубо воспринимающих действительность, я могу чувствовать тонко, но в то же время быть защищённым.

Когда объявили, что митинг окончен, стройные ряды заколыхались взволнованно, словно нарушился внутренний порядок, словно они совсем не репетировали, как будут покидать площадь. И высокому крепкому военному, ходившему вдоль рядов, приходилось несколько раз выкрикивать так, что слышно было даже в толпе: “Флаги передаём направо”.

— Ты иди домой, если хочешь, а я ещё подожду Андрея, — сказала мне Катя.

Я кивнул, опять почувствовав, что с ней сейчас бесполезно спорить. Двинулся сквозь толпу, всё ещё неподвижную, не желающую расходиться. А перед тем, как спуститься в подземный переход, обернулся и не смог различить Катину фигуру посреди огромной площади.

Когда я оказался в переходе, то опять увидел вокруг множество людей, и мне даже показалось, что это всё те же люди, которые были сейчас на

митинге, только теперь они уже не думают ни о России, ни об Украине, а просто торопятся по своим делам. Я вошёл в метро, и они вместе со мной — миновали турникеты, встали на эскалатор. Я ехал и вслушивался в разговоры, обрывочные фразы, пытаюсь понять, что же на самом деле волнует их, чего же они все хотят, но почти ничего разобрать не мог. Впечатление от митинга ещё теплилось во мне — но чем дальше я удалялся от площади, тем отчётливее ощущал, что этих последних часов, может, и не было вовсе, а чёрно-красные ряды, транспаранты, вдохновенный оратор на сцене по странной случайности привиделись мне в воображении.

2

Мы жили вчетвером в маленькой квартирке в Ховрино, снимая её почти даром у нашего общего знакомого, уехавшего на стажировку в Европу. В одной комнате — я и ещё один парень, а в другой Андрей с Катей. Они были не самыми удобными соседями, но я хорошо относился к ним, и особенно к Кате, так что всеми силами старался привыкнуть к их частым и громким ссорам.

Квартира была старая, в ней постоянно ломались то замок от двери, то кран в ванной; тоненькие дощечки выскакивали из паркета и, попадая под ноги, весело и шумно разлетались по коридору. На звук из комнаты стремительно вбегал Маркиз, Катин кот, и в упоении кидался на первого человека, которого видел. Если это была сама Катя, она тотчас же брала его на руки и принималась настойчиво гладить. Мы с Андреем обычно просто стряхивали кота на пол, а Рома, четвёртый сосед, ещё и тихо ругался при этом.

Я спокойно относился к неудобной обстановке квартиры. Мне нравилось, что балкон в нашей комнате не застеклён, а на его перилах часто собираются голуби, нравилось, что подоконники находятся на уровне колен, и потому можно стоять у окна, испытывая лёгкое головокружение от взгляда вниз. Но остальные, кажется, постоянно были чем-то недовольны. По вечерам, когда возвращались с работы, ходили усталые и мрачные. А Рома с Андреем вообще не разговаривали: они конфликтовали с первых же дней жизни здесь, но ни тот, ни другой не хотели съезжать, в основном из упрямства, а ещё оттого, что обоим было удобно добираться до работы.

Рома был мне понятнее — с ним мы вместе учились в институте и относились друг к другу с той крепкой мужской привязанностью, которой уже не нужны ни какие-то особенные откровения, ни даже частые встречи. После института Рома два года жил у себя на родине в Житомире, и мы почти не общались в то время. А вот теперь, когда он вернулся работать в Москву, легко сошлись опять. Нам обоим было комфортно и просто вместе — мы легко разрешали любые противоречия, потому что оба не привыкли ни обижаться, ни отстаивать свои интересы в отношениях с близкими друзьями.

С Андреем было сложнее. Мы познакомились меньше года назад, а жили в одной квартире всего несколько месяцев. Я знал, что остальные наши друзья, и, конечно же, Рома, относятся к нему настороженно, и из-за этой его политической деятельности и потому, что он был парнем Кати, которая с давних пор считалась душой нашей мужской компании. Но мне Андрей всегда был симпатичен. Мне нравились его твёрдость и принципиальность, и уязвимость слишком прямого человека, и даже та резкость, которая отталкивала многих. Он был для меня загадкой, которую хотелось разгадать.

В тот вечер после митинга у нас собирались гости — Катя хотела отпраздновать восьмое марта, потому что на прошлых выходных у неё не получилось. Квартира наполнилась движением, разговорами, смехом, а Маркиз, обезумевший от всеобщего оживления, носился по коридору из одной комнаты в другую. “Уу, куда пошёл”, — грубо хватал его один из гостей, Борис, коренастый спортивный парень, наш давний друг. “Не пугайте Маркиза!” — тут же пронзительно кричала Катя из кухни, а мы с Ромой только смеялись над тем, как кот неловко пытается вырваться из Бороных крепких рук.

На кухне сидели подруги Кати по университету и с весёлым любопытством наблюдали, как она печёт свои любимые блинчики с кленовым сиропом.

Обычно Катя почти не готовила, они с Андреем питались полуфабрикатами, но сегодня атмосфера праздника вдохновляла её — она бралась за всё: за блинчики, за яблочный пирог, за итальянскую пасту. И только когда неловко принялась разделять мёрзлый кусок говядины, всё норовивший выскользнуть из рук, Андрей, до того стоявший посреди кухни, не зная, чем себя занять, решительно отстранил её от стола.

— Так, с мясом я сам... мясо женской руки не любит, — и Катя с радостью отступила.

— Ну, как у вас дела? — настойчиво расспрашивала она подруг, а когда те смущённо пожимали плечами, начинала рассказывать сама. Ей ужасно хотелось весёлого интересного разговора, неожиданных новостей, ярких впечатлений.

— А мы вчера с Андреем ходили в церковь на службу, — вспомнила она.

— Ну, вообще-то не на службу, — спокойно возразил Андрей, — а чтобы раздать анкеты.

— Да, но мы ещё не знаем, будут ли их распространять! Нужно ещё прийти через неделю, вдруг священник не даст благословение...

Подруги не совсем понимали, что за анкеты и зачем их раздавать в церкви, и тогда Андрей принимался обстоятельно объяснять им:

— Я сейчас расскажу. Люди из нашего движения разработали специальные анкеты. Скажем так, в них содержатся все важные вопросы, например, отношение к ювенальной юстиции и к Украине. И теперь важно охватить этим опросом больше людей. Мы отнесли анкеты в церковь, но там нам сказали, что не могут раздавать, пока их не утвердит священник...

— Да, а ещё мы были на исповеди, — заторопилась Катя. — И Андрей тоже!

Андрей сжал губы и недовольно откашлялся.

— Скажем так, — поспешил он поправить Катю, — я не то чтобы исповедовался, я просто говорил со священником. По поводу отношения церкви к сегодняшней политической ситуации... — было видно, что они уже много раз обсуждали это, но так и не пришли к согласию, и теперь каждому хотелось показать своё.

Я стоял в дверях, прислонившись к косяку, и улыбался, глядя на них. Мне была приятна эта обстановка праздничных приготовлений: шкварканье масла на сковороде, улыбки подруг, Катина наивная решимость привести Андрея в церковь. Подруги поспешили перевести разговор, а я, взяв в обе руки по большой салатнице, пошёл в свою комнату.

— Но ты же не будешь спорить, что это майдан начал первым? — услышал я ещё в коридоре бодрый голос Бориса.

— Да, первым, — ответили ему глухо и медленно. — Но сменить власть одно, это в каждой стране бывает. А сепаратизм — недопустимо...

В нашей комнате Борис и Рома раскладывали мой письменный стол. Рома сидел под ним и тщетно пытался пододвинуть его непослушную ножку, а Борис стоял рядом, поддерживая крышку. Я остановился, балансируя с двумя тяжёлыми салатницами в руках, ожидая, когда они закончат.

— Не скажи! — тем временем не сдавался Борис. — И то, и другое нарушение вашего закона, и тут кто начал первым, тот виноват.

— Я вообще-то был доволен, когда майдан победил. Надо было просто смириться, и всё бы закончилось...

— Ну, Рома, а работать ты ведь в Россию приехал, — наконец смог я поставить салаты и выложил тот аргумент, который давно хотел привести ему, но всё не представлялось подходящего случая.

— Я приехал, потому что здесь больше перспектив, чем в Житомире, — ответил тот, вылезая из-под крышки стола.

Он недовольно взглянул на меня, и я понял почему. Дело было совсем не в событиях на Украине — об этом мы уже давно переговорили, проблема была в соседях и в этом внезапном праздновании. Наверное, он был прав, и надо было садиться в комнате Кати и Андрея, но у нас было просторнее, и я вчера дал согласие Кате, не спросив его.

Тем временем из кухни послышался смех, и я поспешил туда за новыми блюдами и тарелками...

Гости рассаживались осторожно, опасаясь сразу шагнуть вглубь нашей комнаты. Сначала ещё открывали вино, накладывали салаты по тарелкам и старались шутить по любому поводу. Одна из подруг Кати, рыжеволосая Мила, с готовностью улыбалась каждой шутке, а маленькая серьёзная Соня коротко и весомо хвалила рецепты блюд. Но потом чокнулись, пригубили и принялись за еду, и тогда на самом деле стало тихо и неловко.

Проскользнул в комнату Маркиз, выгибаясь всем телом, стараясь показать себя во всей красе. Андрей взял его на руки.

— Смотрите, как потолстел, — воскликнула Соня.

— Не потолстел, а немножко поправился, — вступилась за кота Катя. И опять все слишком оживлённо заговорили о Маркизе, чтобы скрыть неловкость.

Я смотрел на знакомые лица, и мне вспоминались те давние времена, когда мы с Ромой и Борисом ещё учились в институте, а Катя была первокурсницей. Она тогда часто приходила к нам в комнату, и мы с Борисом оба были влюблены в неё. И теперь собрание за одним столом старых друзей должно было вернуть нам обаяние прошлых дней, беззаботных вечерних посиделок за чаем или вином в общезжитии, и сам я подсознательно ждал этого, но чуда возвращения в прошлое не происходило.

— А мы сегодня ходили на митинг, — вспомнила вдруг Катя. — Было очень интересно!

Я удивлённо взглянул на неё, но потом понял — сегодня они первый раз праздновали вместе с Андреем в нашей компании, и Кате важно было, чтобы всё прошло благополучно, и завязался бы общий разговор, интересный и нам, и Андрею, пусть даже и о политике.

— Что за митинг? — полюбопытствовал Борис. — За всё хорошее, против всего плохого?

— За завтрашний референдум в Крыму, — недовольно вставил Андрей. Наверное, он не очень хотел рассказывать о митинге, боясь, что все воспримут важные вещи слишком беззаботно.

— А что вы думаете о событиях в Крыму? — с уважением спросила Андрея Софья, отчего-то на “вы”. — Как пройдёт референдум?

— Я не социолог, — нехотя возразил он, — но скажем так, я уверен, что результаты будут однозначные.

— Кстати, представляете, — вмешалась вдруг Мила, немного запинаясь от желания тоже сказать что-то, — по телевизору, не помню, по какому каналу, передавали прогноз погоды, а после Москвы стали объявлять в Севастополе, Донецке и Харькове... Представляете, — она раскраснелась от волнения. Вообще-то мы с Борисом и Ромой хорошо её знали, она раньше часто приходила к нам с Катей, но всякий раз так сильно смущалась, как если бы видела нас впервые.

Все засмеялись, и даже Андрей воодушевился, получая в этом общем веселье поддержку себе и своим взглядам.

— Неужели? Ты не перепутала? — недоверчиво переспросил он. — Ну, это добрый знак. Пора показать этим бандеровцам нашу силу! — и вдруг сам смутился своей серьёзности и открытости перед гостями.

Рома же смотрел лукаво, как на добрых детей, которые хоть и милы в своей радости, но всё-таки не могут быть восприняты всерьёз умными людьми.

— А ты как относишься ко всем событиям? Ты ведь с Украины? Тебя не оскорбляет, что мы все так смеёмся? — предупредительно обратилась к нему Соня.

— Меня так просто не оскорбить, — ответил он ей, дескать на таких фанатиков, как Андрей, не обижаюсь.

— Если вам интересно, могу рассказать, как я ездил недавно в Васильевское, — взволнованно продолжал Андрей, не обращая внимания на Рому, но напряжённо вглядываясь в остальных, стараясь понять, точно ли кому-то интересно, стоит ли продолжать.

— Что за Васильевское? — спасла положение Соня, и Андрей раскашлялся, готовясь начать.

— Дело в том, что наш лидер Сергей Владленович Кургузов несколько лет назад купил деревообрабатывающий завод и обустроил его силами нашего движения. И теперь два раза в год там проходят наши школы. Политическое обучение. Но в этот раз у нас был в основном спорт и стрельбы.

— Стрельбы? — переспросил Борис, усмехаясь.

— Да, — ответил Андрей, замечая иронию, но не понимая, что она относится к нему лично. — Скажем так, в наше время нужно быть готовыми ко всему. Ты же понимаешь, какая сложная сейчас ситуация...

В это время Рома, шутливо пожимая плечами, кивнул Соне, дескать, видишь, что за разговорчики, невозможно их слушать, и стал осторожно выбираться из-за стола. Мила неловко поднялась, чтобы пропустить его.

— Следующая цель бандеровцев — Россия, — тем временем продолжал Андрей, он не глядел на Рому прямо, но я понимал, что именно из-за него он так раздражается — ему так хотелось сказать что-нибудь резкое, пока Рома ещё здесь. — В Киеве они только тренировались, теперь они готовятся прийти в Москву... Нам нужно научиться противостоять этому зверью, это уже не люди, а зомби!

Все молчали, отводя глаза, а я напряжённо смотрел на Андрея, и мне было почему-то жаль его. Он был совершенно инороден нашей компании, такой нескладный в своём стремлении всех наставить на путь истинный.

— В общем, если вам интересно, то приходите на собрание нашей ячейки, — выдохнул Андрей, постепенно остывая. — Они проходят каждую неделю по средам. Я скажу вам точный адрес, если хотите.

— Вряд ли, конечно, но спасибо за приглашение, — усмехнулся Борис, а Катя обожгла его взглядом.

— Давайте горячее, — заторопилась она. — Там у нас итальянская паста.

— Что же вы сделали с нашей Катенькой, она уже и готовит, — засмеялся Борис.

— Всегда готовила!

За столом началось движение, перекладывали еду, спешно доедали салаты. Катя стала собирать тарелки.

— Не надо, не надо, — остановила её Соня, — давай прямо сюда.

Катя приветливо улыбнулась ей — кажется, она была благодарна подруге и за её незаметную хозяйственность, и за то, что она поддерживала Андрея.

— Я принесу, — торопливо вмешался я в общую суматоху и вышел в коридор.

На кухне было свежо и тихо, и только негромко сопел электрический чайник. На столе лежали оставленные в спешке чашки, тёрка, деревянная доска, ножи, а у плиты в кастрюле лежал так и не приготовленный, и забытый в суматохе кусок оттаявшего мяса. Рома сидел за столом, глядя в открытую форточку. Услышав мои шаги, он повернулся и коротко кивнул. Я присел рядом, оглядываясь, а потом принялся осторожно отщипывать коротенькие соломки сыра, оставшиеся на тёрке. Было слышно, как в нашей комнате, понижая голос, говорит Соня:

— Кажется, Рома всё-таки обиделся.

— Прямо сильно? — громко переспрашивала Катя, а потом расстроено вздыхала: — Это я во всём виновата... Не надо было говорить про митинг.

— А мне всё равно, пусть слышит! — донёсся голос Андрея. — Им, украинцам, промыла мозг их пропаганда, ему полезно услышать правду.

— Андрей, тише, тише... — заторопилась Катя.

Мы с Ромой встретились глазами и едва заметно улыбнулись друг другу.

— Не надо было изначально заселяться с ними — не испортились бы отношения, — сказал Рома, но была в этих словах и едва заметная беззаботность.

— Думаешь съезжать? — осторожно спросил я.

— Ни за что. Теперь уже из принципа, — ответил он, и мы оба негромко засмеялись.

Зашла Мила и остановилась на пороге.

— Прячетесь от грома? — спросила осторожно.

Рома приветливо кивнул ей.

— Не прячемся, а выжидаем... Ладно, не очень себя чувствую. Пойду, пройдусь.

Мила с тревогой взглянула на него, но ничего не сказала.

Дождались у порога, пока Рома обуется, старались не шуметь, чтобы нас не услышали в комнате. А когда он ушёл, ещё с минуту неловко перетаптывались у порога. Я подумал, что всё это очень грустно, но постарался как ни в чём ни бывало спросить у Милы:

— Ну что, давай принесём пасту? — и она поспешно кивнула мне.

Когда мы вернулись в комнату, там опять было громко и напряжённо. Андрей раздавал всем по несколько листов длинной политической анкеты — у него было задание от ячейки опросить с помощью неё как можно большее количество человек, и он, видимо, решил использовать подходящий момент.

— Я не буду ничего заполнять, — капризно ворчал Борис, — сколько там вопросов? Сорок? Это вообще-то серьёзная работа, а работа должна оплачиваться.

— Не хочешь, не заполняй. Никто тебя не заставляет! — с обидой отвечала ему Катя.

— Да нет уж, давайте... интересно, что там у вас, — Борис мгновенно оттаял и принял листать страницы анкеты, но не никак не мог успокоиться: — Какие лукавые вопросы, а вдруг меня потом найдут и скажут, что у меня непатриотические убеждения?

— А ты правильно ответь, — в тон ему пошутила Соня.

Все опять оживились: Борис засмеялся, Андрей стал возражать ему, а Катя снова заволновалась, и только Мила грустно держала в руках только что выданные ей листы, думая о чём-то своём.

— Ну, подожди, — увлечённо продолжал доказывать Борис — кажется, он ни в чём не хотел сегодня соглашаться с Андреем и постоянно пытался поддеть, — вот ты говоришь, что не любишь все эти иностранные государства и так далее...

— Я не говорил так, — возражал ему Андрей. — Я не люблю, когда иностранные государства суют нос в наши дела, устраивают майданы и оболванивают население...

— Ну да, ну да, — поспешно соглашался тот, как бы показывая, что он это и имел в виду. — Но вот, например, Плахотный... Он сейчас живёт в Европе, и он наверняка платит Путину и за украинцев, а вы пользуетесь его квартирой и почти не платите за неё, разве это правильно? Это разве не нарушает какие-то ваши принципы?

— Я не знал этого, — с вызовом ответил ему Андрей и на несколько секунд остановился, пытаясь понять, как реагировать на эти слова.

— Борис, что за глупости, — вмешалась Катя. — Всё это не важно, да ведь? — повернулась она к Андрею, ещё даже не веря, что эти шутки могут быть восприняты им серьёзно. — Мало ли что думает этот Плахотный!

Но Андрей всё ещё молчал, напряжённо глядя на Бориса.

— Ну ведь мы не будем из-за этого ничего менять, — продолжала Катя, уже действительно пугаясь и не желая даже произнести это нелепое "съезжать". А видя, что Андрей по-прежнему напрягает скулы, ужасно расстроилась и уже не могла взять себя в руки.

— Володя, ну ты-то почему молчишь? — бросилась она ко мне. — Скажи, это правда, что Плахотный против России?

— Да кто его знает, — выговорил я растерянно. — Вроде бы он всегда ругал американцев, — вдруг вспомнил я, и она сразу же обрадовалась этому удачному воспоминанию.

— Правда? Андрей, Андрей, ты слышишь!

— Ладно, хватит лясы точить, — решительно оборвал разговор Андрей, подавленно вздохнул и принялся убирать тарелки со стола.

— Борис дурак, я ему этого никогда не прощу, — тихо выговорила мне Катя, пока никто не слышал.

Я пожал плечами, пытаясь показать, что и сам не знаю, что это на него нашло.

— Да, атмосферка тут тяжелая... Пойду покурю, пока меня не репрессировали, — тем временем засмеялся Борис и подмигнул мне: — Пойдём, тоже.

Андрей продолжал настойчиво убираться, а Катя принялась помогать ему. Соня с нарочитой сердитостью оглядела всех, будто желая сказать — ну что вы, как дети малые, помирились бы лучше. Я всё ещё держал неуместную теперь кастрюлю с пастой в руках, не зная, куда её девать, и, наконец, поставил на краешек стола.

Мы с Борисом вышли в подъезд, поднялись по лестнице на один пролёт и остановились у закопчённого окошка. Если бы это происходило года три-четыре назад, я мог бы подумать, что он злится на то, что у Кати появился парень, ведь когда-то давно она отвергла его ухаживания, но сейчас это казалось совершенно нелепым. Также я понимал, что Борис в общем-то согласен с убеждениями Андрея, ведь спорил же он всего час назад с Ромой по этому поводу, а значит дело было именно в самом Андрее.

— Будешь? — спросил Борис с улыбкой, открывая пачку, хотя знал, что я не курю.

Но я зачем-то всё-таки взял сигарету и стал машинально вертеть её в руках, так что постепенно распотрошил, а потом просто тёр между пальцами ошмётки табака, напоминавшие деревенское сено.

— Слушай, что же такое происходит с нашей Катенькой? — заговорил он тем же шутливым тоном. — И где она вообще нашла этого, из ячейки...

Я поморщился от резкости его слов и только пожал плечами, стряхивая с пальцев табак.

— На самом деле, я давно уже заметил изменения в её характере, и не в лучшую сторону, — продолжал он поспешно. — В последний раз, когда мы с ней общались, ее какие-то непонятные мысли о будущем мира донимали, и, помню, я очень удивился тогда... Понятно, что это Андрей на неё так влияет, но не знал, что настолько.

— Ты пойми, мне тоже не безразлично будущее мира, — он остановился, чтобы сделать несколько коротких затяжек, и я вдруг подумал, что так отрывисто дышат собаки, — и я тоже не в восторге от этой ерунды, которая происходит у нас сейчас. Но у меня по этому поводу свои мысли, а у нее это явно навязано. Ты знаешь, что она собирается ехать в какую-то “осеннюю школу”, видимо, как раз на тот их завод, где стрельбы. А ведь там ей могут окончательно обработать мозг. Может, пора нам спасти нашу Катеньку?

Он говорил это ехидно, так что мне стало обидно за Катю. Я сказал, что ещё не был в их организации, и потому не могу ответить ему точно, но думаю, что это Андрей хочет ходить в ячейку, а Катя наоборот, пытается вытащить его оттуда. Но всё равно я уверен, что это не секта.

— Хорошо, если так, — ответил Борис недоверчиво, — просто самые опасные секты как раз-таки не те, где сразу видно, а те, по которым вроде так и не скажешь — правильные вещи говорят, это вы дураки не понимаете... Конечно, я не думаю, что Катя в секте, — торопливо оговорился он, — но и не считаю, что всё это пойдет ей на пользу.

Борис закончил курить и старательно тушил сигарету о пыльный подоконник, а я вдруг так разозлился на него: неужели он думает, что я живу рядом и не вижу всего этого, и не могу позаботиться о Кате, или может, считает, что он больше меня переживает за неё...

— Ладно, я присмотрю за ней, — сказал я то, что он хотел услышать, и это вышло пафосно, как в плохих сериалах по Первому каналу. Но Борис, кажется, остался доволен, и мы медленно вернулись в квартиру.

Вечером, когда гости разошлись, мы с Ромой сидели в своей комнате. После недавнего разговора с Борисом на лестничном пролёте мне вспоминались наши институтские годы в общежитии. Серые стены, прожжённые окурками, тарелки с прилипшей гречкой, книги на полу и Катя-первокурсница, зашедшая к нам, — она не обращает внимания на беспорядок, ей нравится, что она красивая молодая девушка и с её появлением у нас, старших ребят, сразу завязывается разговор, все поднимаются со своих мест. Она любит тащить нас куда-то в Москву — чтобы было веселее и интереснее, и больше людей, и больше шуму и радости. И вот мы выходим на улицу, а она идёт чуть впереди, торопясь, запрокидывая голову, и в эти мгновения, как сама потом рассказывает, чувствует, что настоящая жизнь течёт сквозь неё... А теперь в соседней комнате они ссорились с Андреем, не закрывая двери, и их голоса — Катин резкий и взвинченный — и глухой и отрывистый Андрея — врываются к нам и звучали так раздражающе отчётливо, что нельзя было не вслушиваться в них.

Вдруг Рома резко встал, шагнул в коридор и громко хлопнул их дверь. А когда вернулся, надел наушники и напряжённо принялся глядеть в экран. “Ну чего он злится, — подумал я, — понятно, что Андрей задел его, но Андрей же как ребёнок...” Я любил Рому таким, как сегодня на кухне, лукавым и насмешливым, а это неожиданное ожесточение было мне неприятно.

Я взял свой ноутбук и прошёл на кухню. В темноте виднелись только обступающие меня тени шкафов, а впереди — окно, в котором отражался край пустынной улицы: мостовая в крупных каменных плитах, трамвайные рельсы, описывающие круг, в центре которого — одинокий фонарь. На другой стороне улицы теснились пятиэтажки. Людей не было. Отчётливо слышались Катины всхлипы из соседней комнаты.

Не включая света, я сел за стол и открыл ноутбук. На сайте движения была выложена трансляция митинга, я запустил её, и опять потянулись передо мной стройные ряды в красных куртках, и серое мартовское небо, и площадь, заполненная людьми, и человек в меховой шапке, выкрикивающий резкие слова. Сначала я тщетно пытался увидеть на экране нас с Катей, и только однажды, кажется, разобрал её шапку с хохолком в толпе — Андрея же показывали несколько раз, он всегда стоял решительно и прямо, ему бы понравился. Но постепенно я втянулся: там, на площади, почти не слушал выступавшего, только обрывки речи, а теперь мог понять, что он говорит — и про Крым, и про киевский майдан, и про Россию. В его словах была одна повторяющаяся мысль, что теперь всё изменилось, что началась война, в которой можно только победить или умереть. И живое ожесточение этих слов действовало на меня сейчас гораздо сильнее, чем утром. Да и сам митинг казался другим: никто не переминался с ноги на ногу, никто не отвлекался на постороннее, а все были едины с этим человеком и его хриплым голосом. Я досмотрел трансляцию, а потом долго ещё сидел в темноте и думал, что утром на площади было столько разных людей, их голосов, их мыслей и переживаний, а теперь всего этого нет, исчезло из мира навсегда, а остался только ролик, на котором всё просто и грубо. И от этой безвозвратной утраты мне было грустно.

Но чем дольше я сидел в тишине, тем сильнее охватывало меня другое, более сильное чувство, как если бы что-то плохое случилось с кем-то из моих близких. Будто действительно человек в меховой шапке был прав, и приближалось страшное, может, начало большой войны, которая перевернёт всю привычную размеренную жизнь — и уже не только на далёкой Украине, а прямо здесь, у нас. И будто даже Катя плакала в соседней комнате как раз из-за этой грядущей войны. Я подумал о стране, наверное, я любил её, но не понимал до конца, что же это на самом деле значит. Будет война, пойду на фронт, беззаботно сказал я себе, но всё это показалось смешным и странным — разве мог быть какой-то фронт, какая-то война... За окном всё так же горели фонари. Улица замерла, как на старой открытке.

Не знаю, сколько времени прошло. Рядом вздрогнул холодильник и мерно загудел в темноте. Я сидел на корточках, опираясь спиной на косяк, вслушиваясь в это гудение. В это время где-то позади раздался шорох. Я резко обернулся и увидел силуэт Кати в проёме двери, вскочил и торопливо включил свет.

— Андрей заснул, — потерянно сказала она. — Представляешь, мы ругались, потом я плакала, а потом смотрю — он просто заснул...

Я вздохнул.

— Из-за чего ругались-то?

Катя поджала губы и на мгновение нахмурилась, как бы стараясь вспомнить.

— Ну, он говорил, что ему нужно ещё почитать статьи, посмотреть фильм к следующему собранию... потому что мы и так сегодня весь вечер потратили на гостей. А я ему говорю, я это понимаю, — она оживилась, начиная доказывать это уже Андрею, а не мне, — я тоже устала от людей, и так хочется побыть вдвоём. А он этого не чувствует, ему важнее читать свои статьи.

Я понимающе кивнул — да, всё ясно, сел на стул и изредка поглядывал на неё. Катя подошла, рассеянно взяла стакан, налила воды, но не стала пить, а просто переключивала его из одной руки в другую. Она всё ещё была в красном платье, которое надела на праздник, и это так неестественно выглядело среди выцветших обоев и грязной посуды.

— Спрашивается, кто важнее ему — я или эта ячейка... Почему ему больше нравится заниматься всякими политическими делами, чем быть со мной? Но ведь так не должно быть. Я думала, что скоро мы поженимся, что у нас будет венчание, а он, получается, не уверен, нужна ли я ему.

— У него же это не от неуверенности, — попытался я успокоить её, — просто мужчины должны думать о судьбе страны, а женщины быть рядом.

— Это ужасно, если только женщины должны думать о семье. А мужчины, получается, могут вообще не любить? — спросила она тихо.

Мне нечего было ответить. Я знал, как Катя мечтает о хорошей и правильной жизни, которая наступит, когда они повенчаются, и боялся разочаровать её в этом. Конечно, ей по-девичьи хотелось замуж, и в то же время обидно было, что они уже больше года встречаются и полгода живут вместе, а Андрей так и не делает предложения. Ещё я знал, что она относится ко мне как к очень близкому другу, ещё с тех институтских времён, и сейчас ждёт от меня каких-то важных и крепких слов о том, как поступить. Но что я мог сказать ей? С одной стороны, Андрей, наверно, был хорошим человеком — мне нравилось то, как он страстно пытается различить добро и зло, и только не совсем то считает добром, и не совсем то злом; нравилось, что он готов взять на себя ответственность за целый мир и в том числе за Катю — я не мог ожидать, что он предаст её, беззаботно поиграет и бросит. Но с другой стороны Борис, конечно, был прав — совсем не такого человека хотели мы видеть рядом с нашей Катенькой. И меня часто пугали его налитые ненавистью, ничего не видящие глаза в те моменты, когда Андрей говорил о каких-нибудь либералах или других врагах, и страшно было подумать, до чего же он может дойти в своём ожесточении...

— Он предлагает: вот у нас с тобой ничего не получается, может нам разойтись? — продолжала Катя задумчиво. — Но я ведь точно знаю, что у нас всё хорошо, он просто не понимает! Хотя я сама виновата, я часто знаю, что нужно сказать, чтобы мы помирились, но как нарочно говорю подругому, провоцирую его. Знаешь, мне просто подсознательно кажется, что если это на самом деле мой человек, то он поступит так, как нужно...

— Ой, слушай, я же тебе так и не рассказала, как мы ходили в церковь! — воскликнула вдруг. — Мы же отнесли анкеты, но потом договорились даже постоять на службе и подойти к священнику, и представляешь, там такое было...

Мне всегда нравилась в Кате эта способность — вот так вот беззаботно увлекаться, поддаваясь неожиданным чувствам, будто бы и не было тех сложностей, которые мучили её минуту назад.

— Пока мы ещё в очереди стояли, он мне говорит — я не хочу исповедоваться. Я говорю — но ведь мы договорились. А он — давай я просто пойду, но исповедоваться не буду. Я говорю — ладно. А очередь там была огромная, и священник так быстро всех отпускал, а бумажки сразу разрывал. А Андрей подошёл и стоит, долго так стоит... Я сначала рядом была, пыталась подслушать, а потом отошла, а они всё говорят и говорят. Я уже испугалась, и оказалось — не зря! Представляешь, он начал с ним спорить, сказал, что он атеист и ни вот что не верит, и вообще он любит Сталина и хочет, чтобы в России не было капитализма...

Я не выдержал и рассмеялся.

— Прямо так и сказал?

— Так и сказал... А священник, естественно, ответил ему, что коммунисты закрывали церкви и убили царя... А Андрей давай ему доказывать, что убили по ошибке и что Ленин был против... Ты не знаешь, кстати, как на самом деле?

— Не знаю, — пожал я плечами.

— Ну вот, в общем, я даже не могу понять, хорошо ли, что они вот так поговорили... С одной стороны — это ужас, конечно! А с другой — Андрей первый раз хотя бы услышал чужое мнение, мне кажется, это важно...

Я неопределённо покачал головой, и мы на некоторое время замолчали. Приоткрыв дверь лапой, вошёл Маркиз. Катя сразу же потянулась к нему, прижала к себе, но тот стал вырываться — ему не нравилось на руках. А когда она отпустила его, сразу же расправился, потянулся, запрыгнул на подоконник и принялся настойчиво вылизывать себя после Катиних рук.

— Да, как всё сложно... другие вот пары ссорятся, потому что парень ходит на сторону или... мало зарабатывает, например, — постарался я развеселить её. — А у вас проблемы такие... солидные, — подобрал, наконец, нужное слово и опять осторожно улыбнулся.

— Тебе смешно, — ответила Катя горько, но сразу же и сама тихонько засмеялась. А потом, опять подумав о чём-то плохом, посерьёзнела и нахмурилась.

— Да я понимаю, что всё это выглядит... как шутка. Но это всё совсем не шутка! Знаешь, он приехал из Васильевского такой ожесточённый, и я переживаю, что им там наговорили, как их настраивали на все эти последние события. Мне кажется, их специально зомбируют, делают из них пушечное мясо... Я очень боюсь, что их готовят ехать на Украину, — сказала, понижая голос, будто если громко произнести это, оно может вдруг стать правдой.

Я хотел было возразить ей, но в это время Катя загорелась новой идеей:

— Слушай, тебе надо обязательно сходить к ним на собрания, посмотреть, — проговорила она торопливо. — Просто я там уже ничего не понимаю, а ты сможешь сказать точно...

— Да, я тоже об этом подумал сейчас, — соврал я, чтобы поддержать её.

Мы опять замолчали.

— А ведь это неправда, что он такой, — задумчиво заговорила Катя, опять погружаясь в свои мысли и как бы не замечая ни меня, ни подкравшегося к ней по подоконнику Маркиза. — Он мне говорил, что чувствует — какая-то высшая сила есть, но пока не может понять, что это за сила... Знает, в глубине души он человек верующий.

“Только вот во что верующий?” — хотел было сказать я, но вовремя сдержался.

А когда Катя ушла спать, ещё несколько минут сидел на кухне, не двигаясь. За окном лежала та же пустая улица, тяжело звякнул запоздалый трамвай. Маркиз сидел, замороженно наблюдая за ним.

Я пытался прислушаться к себе, есть ли внутри та тоска, которая появилась после просмотра трансляции, но она вроде бы улеглась, осталось только лёгкое чувство грусти после разговора. Я поднялся и принялся мыть посуду — в понятной размеренности домашних дел всё становилось проще.

Что я знал о ячейке, к которой принадлежал Андрей, — да почти ничего. Она представлялась мне местом тёмным и загадочным. Я знал, что это отделение какой-то политической организации, которая пропагандирует возврат в СССР, что там довольно жёсткая дисциплина и каждый, кто состоит в ней, должен обязательно читать их книги и газеты и смотреть специальные ролики. Ещё я знал, что каждую неделю они проводят собрания, на которые Андрей иногда берёт Катю и после которых та всякий раз возвращается домой подавленная. Меня Андрей тоже звал туда, и я уже обещал ему, что схожу, но всё никак не мог решиться, каждый раз откладывая на следующую неделю. Конечно, меня привлекала таинственность их собраний, но и пугала серьёзность, с которой Андрей упоминал о них. Впрочем, на следующей неделе после митинга я всё-таки собрался на их мероприятие всерьёз, и не только из желания помочь Кате, но и просто из любопытства.

Собрания ячейки проходили по средам в Коптево. В тот вечер я нарочно задержался на работе, чтобы вместо запланированных трёх часов отсидеть там только последний час, а перед Андреем оправдаться неотложными делами. Впрочем, опоздал ещё сильнее, потому что долго искал нужный корпус — район был странный, дороги преграждали заборы и гаражи, дома стояли вразнобой, и только, позванивая, переваливались по мощёной мостовой пустые неуклюжие трамваи, и некого было спросить. Наконец, я разобрался, что нужно было войти в узкую арку рядом с детской площадкой, мимо которой я проходил до этого уже несколько раз. В тесном дворе повернул за шлагбаум к маленькому дому, втиснувшись между двумя каменными стенами, в котором таинственно горели три окна на втором этаже, а в них двигались узкие вытянутые тени. В неожиданном тёплом и просторном фойе оказалось окошко гардероба, в котором появилась навстречу усталая женщина и привычно протянула номерок. На одном из стендов, сгрудившихся у входа, я увидел афишу сегодняшнего вечера и удивился, что это не какое-то закрытое мероприятие и о нём может узнать даже посторонний человек, вот так вот просто зайдя сюда. Поднялся по крутой лестнице с массивными деревянными ступенями и приоткрыл единственную дверь на пролёте, из-за которой доносился резкий отрывистый голос — и в ту же секунду пожалел, что всё-таки решился прийти, да ещё и так нелепо, с таким опозданием, но бежать уже было поздно...

Я стоял на пороге небольшой вытянутой комнаты, похожей на аудиторию в институте. У стены с противоположной стороны стоял молодой парень с крупной георгиевской ленточкой в лацкане голубого пиджака, а остальные сидели перед ним в несколько рядов. Парень ненадолго остановился и на правах хозяина кивнул мне, а потом некоторое время ещё ждал, пока я размещусь. С краю находился свободный стул, один человек принялся суетливо убирать с него вещи, ещё двое с шумом двинулись, чтобы я влез в узкое пространство между крайним стулом и стеной. Казалось, все смотрят на меня. Я сел, неловко озираясь, и увидел Андрея, который сразу же кивнул мне мягко, одобряя, что я всё-таки пришёл. Рядом с ним я заметил Катю — она была бледная и напряжённая, погружённая в себя.

— Итак, всё определяется через такие категории, как первое — честь, второе — поступок, — тем временем начал молодой парень в пиджаке размеренно и даже немного небрежно. — В 90-е годы как раз и понизилась планка и повылезала из углов всякая шваль, не способная ни хранить честь, не совершить поступок...

В первом ряду, неловко встав со своего места, согнулся, как перед прыжком, пожилой человек с густыми белыми волосами — кажется, он был разгорячён, и руки его дрожали.

— Что вы понимаете... о чём вы говорите... — с досадой перебил он молодого парня, морщась, будто его слова доставляли физическую боль. — Вы понимаете, что под видом десталинизации они собираются провести очередную перестройку... Вы понимаете, что для них всё ненавистно — и советская история, и вся наша культурная матрица... Они всё это хотят разрушить.

Двадцать пять лет они мучали страну и не сделали ничего. И теперь они думали, мы опять проглотим десоветизацию... они не ожидали, что гражданское общество начнёт сопротивляться, да и то это весьма слабое сопротивление...

— Сергей Владленович говорит — враг не ожидал, что мы пойдём красными колоннами! — поспешил вставить парень, чувствуя, как инициатива уходит от него. — Теперь враг замер.

— Вы принимаете желаемое за действительное... вы не понимаете... — ответил ему старик, стараясь говорить строго, но всё равно сбился в концовке и оттого ещё сильнее разгорячился.

— Это не я, а Сергей Владленович, — довольно усмехнулся парень..

Все эти слова разом нахлынули на меня, так что я так и не смог толком разобраться, о чём же именно спорят эти люди. В тот момент рядом со мной встал ещё один молодой человек и заговорил о чём-то уж совсем непонятном, ему ответили с другой стороны стола. И отовсюду слышалось “Сергей Владленович говорил...”, “а вот Сергей Владленович...” — имя это обладало магической силой. Я взглянул на Катю: она сидела, по-заячьи вжав голову в плечи, и я подумал, сколько же раз она приходила сюда в надежде зацепиться за то, что позволило бы ей разгадать тайну этого места и наконец-то увести Андрея отсюда. И тогда мгновенно успокоился, и скванность моя вдруг пропала: я стал жадно вглядываться в этих людей, но не чтобы понять их слова, а чтобы понять их самих. И теперь мне уже стало жаль, что я здесь всего лишь на полчаса. Стоило лишь несколько фраз услышать от каждого, чтобы вынести им самый точный и окончательный приговор...

Всего было человек двадцать-тридцать. Говорили не все — я видел, как вихрастый паренёк в голубой рубашке, сидевший в моём ряду, лукаво шурился, думая о чём-то важном, но не желая показывать этого никому. Пожилой человек, который доказывал про “двадцать пять лет они мучали страну”, ёрзал на стуле и нервно мял пальцы, но из последних сил удерживался, чтобы не перебить.

Андрей иногда вставал со своего места и вмешивался в спор — он не был ведущим собрания, но тщетно пытался управлять происходящим:

— Ребята, тише, не все сразу! — и сразу же удивила меня скрытая нервность в его голосе и то, как неуверенно он чувствовал себя здесь.

— ...Стоп, мы не об этом... давайте по руке... — его почти никто не слушал, и каждый стремился возразить не по очереди.

— Паша, — наконец, обратился он к молодому парню с георгиевской ленточкой на пиджаке, который выступал первым, и я вспомнил это имя — о нём часто говорила Катя, он был здесь одним из главных. Тот нарочно ждал, когда ему дадут слово, чтобы опять с полным правом заговорить.

Он выступал так же, как и все здесь, но более решительно, как имеющий право высказать всё громче и яростнее других. Сначала о том, что необходимо работать с молодыми людьми, объяснять им историю и особенно опасность фашизма. Потом о зверствах Бандеры и о том, как он убивал мирных граждан. Он пытал или нет? Он насилывал? Вы хотите это отрицать? — нагнетал сильнее и сильнее, но глаза оставались при этом спокойными. Наверно, он очень хотел походить на мужчину в меховой шапке, выступавшего на митинге, того самого Сергея Владленовича, а может, он даже нарочно копировал его манеру. “А где же сам Сергей Владленович? — удивился я. — Почему его нет?”

Паша высказался, демонстративно отошёл к окну в дальнем углу комнаты и, опершись на подоконник, захлестнул ногу на ногу. Кто-то на задних рядах осторожно зашептал, но громче и громче. А потом всё зашевелилось, задрожало — в недрах невидимого муравейника готовились вырваться наружу тысячи возмущённых слов. Резко, с придыханием заговорили рядом со мной двое, попеременно перебивая друг друга, попытался успокоить всех Андрей — и вся ячейка задрожала от молодой жесткости и порывистости. “Мы им покажем... мы им покажали в Крыму... и будем гнать бандеровцев до самого Львова”, — грянул полный парень в чуть скошенных наборочках, сидевший позади меня. В комнате перебрасывали большой горячий мяч, а я никак не мог его поймать.

С левой стороны, у самого окна, где стоял Паша, сидела маленькая девушка с миловидным, но очень бледным лицом и тёмными короткими волосами. Она слушала, не произнося ни слова, но живо реагируя на каждое движение спора: то загоралась, то недовольно поджимала губы и, закрывая глаза, откидывалась на спинку стула, словно каждый говоривший пробуждал в ней то ли женскую страсть, то ли жгучую ненависть. Одета она была в чёрную бархатную блузку с открытыми плечами, может, даже слишком открытыми для политического заседания.

Наконец, подошла её очередь. Она поднялась и долго стояла молча, так что постепенно вокруг стало тихо. Это было неожиданно — и потому что она была девушкой в окружении выступавших парней, и потому что в её поведении не чувствовалось срывающегося желания обязательно вставить фразу в общий спор.

— Хочу вернуться к полемике между Пашей и Петром Петровичем, — заговорила она с ровным и сильным напором, кивнула пожилому человеку у стены, но сразу же равнодушно отвернулась от него, показывая, на чьей на самом деле стороне правда. — Все мы считаем гибель Советского Союза своей личной трагедией, — чуть смягчила суровый тон, как зачастую делал это Андрей, когда речь заходила о чём-то советском, — ...и, тем не менее, можем взглянуть на ситуацию в обществе объективно. А ситуация такая, что традиционные ценности поддерживаются сейчас большинством жителей страны. Поэтому мы и говорим, что так необходим большой опрос, который это покажет...

Ей подошло бы быть директором какого-нибудь государственного учреждения, нетерпимой к тем, кто нарушает дисциплину, говорила она уверенно, даже жестко. Но руки, сжатые в замок, иногда подрагивали от внутреннего волнения, и это наблюдение и понравилось мне, и отчего-то встревожило. Впрочем, кажется, она и сама всё понимала — опять остановилась, собираясь с мыслями, потом убрала руки назад, и теперь уже ничто не мешало ей продолжать, раскладывая всё по широким железным полочкам:

— Теперь второе. Нам важно не просто изучать врага и разоблачать его, но и противопоставить ему свою личную программу, свою мировоззренческую формулу. А русская формула — это формула любви, — выговорила вдруг с особенным акцентом, и эти резкие слова о любви так неловко прозвучали в накалённой душевной комнате. — Мы хотим объединиться с теми, кто нас любит. Поэтому мы не вошли в 2008 году в Тбилиси. Крым нас любит. И Юго-Восток нас любит, и поэтому мы придём туда и будем их поддерживать, — и таким странным было это “мы”, как если бы это она в конечном счёте решала, кого поддерживать, а кого нет.

Девушка села на место, и я заметил, как Паша довольно улыбнулся и дотронулся рукой до её маленького острого плеча, а она невольно шевельнула локтём, сбрасывая эту неуместную руку.

“В целом я согласен с Варварой”, — заговорил молодой человек в голубой рубашечке, и я запомнил это суровое имя. “Я хочу ещё сказать о нашей газете, которую мы распространяем... — опять вышел вперёд Паша. — Здесь серьёзная аналитика на тему того, что происходит в мире... Особенно будет полезно тем, кто ещё только пришёл в движение”, — и почему-то внимательно посмотрел на меня. А я торопливо отвёл глаза и с удивлением подумал, что, может быть, не только я наблюдаю сейчас за ними, но и за мной в это же самое время кто-то наблюдает.

Внезапно всё закончилось, и я сначала даже не понял, отчего это они все разом поднялись со своих мест. А потом мне стало досадно — зачем же я так сильно опоздал, я ведь ни в чём не разобрался. Рядом задвигали стульями, стали громко разговаривать. Несколько ребят ещё хотели подойти к Паше и Варваре, и на сцене образовалась небольшая очередь. А я всё сидел на своём месте в углу, пытаясь уловить какие-то случайные фразы в толпе, обрывки разговоров, но всё уже было зря.

В этот момент я заметил, как устремилась к выходу Катя, не ожидая Андрея, будто ей не хватало здесь воздуха, и я заторопился вслед за ней. На лестнице мы переглянулись, но ни на секунду не сбавили шаг. Вырвались

в холодный свежий вечер, по инерции сделали несколько шагов и, наконец, остановились у шлагбаума перед низеньким решётчатым забором, разделяющим тесное пространство между домами надвое.

Дул осторожный ветер, каким-то чудом проникший в этот негостеприимный глухой двор. Над нами одиноко горел фонарь. В Катиных волосах блестела то ли маленькая брошка, то ли случайная снежинка.

— Ну как можно быть таким дураком, да? — резко повернулась она ко мне.

Я удивился, но потом понял, что это она про Пашу.

— Да не воспринимай его так серьёзно.

— Я не могу не воспринимать его серьёзно, — возразила Катя порывисто и возмущённо. — У нас же Паша идеал, Паша это, Паша то, он ведь уже сделал выбор, который мы всё никак не можем сделать...

В это время из дверей потоком стали появляться ребята, и Катя отвернулась, чтобы кто-нибудь из них ненароком не заметил её подавленности.

Подошёл Андрей. Катя нетерпеливо повернулась по направлению к метро, но он сказал:

— Стойте, давайте других подождём, — и не заметил, как Катя с яростью взглянула на него.

Она всё равно двинулась вперёд, медленно, из последних сил пытаясь не выдать себя. Я шагнул за ней, и Андрею тоже пришлось тронуться с места.

Остальные ребята не спешили: столпились у крыльца и оживлённо переговаривались. Пожилой мужчина настойчиво доказывал что-то Паше, который стоял гордо и независимо, глядя перед собой. Последней выскользнула из дверей та девушка, Варвара. Когда мы уже готовились войти в арку, я ещё раз взглянул назад. Она сильно махала кому-то вытянутой рукой, словно бы исполняла заводной клубный танец, а потом скрылась от моего взгляда за каменной стеной.

Темнота обступила со всех сторон, и мы почти наощупь шагнули на открытое пространство широкой и пустынной улицы. Катя шла впереди, Андрей был совсем растерян от её торопливости. У детской площадки на выходе из двора он ещё раз попытался задержаться:

— Кать, подожди! Куда ты так торопишься? — и в голосе его было и недоумение, и раздражение.

Но та даже не обернулась, хотя и немного замедлила шаг. Я шёл посередине между ними, надеясь, что они сейчас помирятся. Мельком опять оглянулся и увидел в арке чью-то одинокую тень. “Может, Варвара?” — подумал я и испугался этой мысли.

У трамвайных путей мы догнали Катю, молча поравнялись и встали между двумя огромными тенями от деревьев. Я опять осторожно повернул голову — Варвара подходила уже совсем близко, и нужно было либо ускориться, либо ещё несколько секунд подождать, чтобы сойтись с ней окончательно. Но никто из нас троих не знал, как поступить.

Варвара, кажется, тоже совсем не хотела нас догонять, но пройти мимо было неудобно.

— Вы пешком? А то у нас некоторые ленивцы на трамвае едут... Как вам сегодняшнее обсуждение? Понравилось? — и, смутившись нашим молчанием, продолжала поспешно: — Не знаю, может, незнакомому человеку и могло показаться сумбурным, но это кружковский этап, его нужно пройти любой политической силе...

Произнося это, она мельком взглянула на меня, хотя и не обращалась явно, просто говорила как всем троим. К счастью, в тот момент совсем рядом звякнул трамвай, обливая нас густым жёлтым светом, и мы опасливо сгрудились у деревьев, уступая ему мостовую целиком. А когда на нас опять опустился полумрак, ещё некоторое время шли молча вдоль путей, провожая два пронзительных глазка.

— Конечно, ребята нетерпеливы, всё время спорят, — зябко пожала плечами, — это естественно. В спорах они учатся отстаивать свою точку зрения. Но в главном мы должны быть едины, а главное для нас сейчас это — общее мировоззрение...

— Да, ты права. Я сам об этом размышлял, — коротко ответил ей Андрей, но дальше продолжать не стал. И, кажется, разозлился ещё сильнее, оттого что вот бы сейчас всерьёз обсудить с Варварой такие важные вещи, а ему приходится вместо этого думать, на что же обиделась Катя.

Слева и справа от нас рядами росли высокие деревья, образуя длинный коридор для трамвайных путей, внутри которого шли мы. А где-то наверху, прямо над головами, ветер качал голые макушки, как куцыми вениками, подметая ими беззвёздное небо. Каменные шесты нерабочих фонарей появлялись из темноты. Я шёл с краю, и каждый раз обходил их справа, а остальные — слева, и получалось, что я иду отдельно от всех. Но мне-то было спокойно, я мог шагать так часами, слушая ветер, скрип веток, а им троем спокойно не было. У них там, в крошечной тишине, всё натягивалось, как тугая ткань, у каждого по-своему — недоумённо, раздражённо, обидчиво.

— И вообще, такая радость, ребята! — опять не выдержала молчания Варвара. — Я иногда просто иду по улице и вдруг вспоминаю — Крым наш, всё, этого уже никто не может отменить. И мне так хорошо, я не могу даже этого выразить словами, — она говорила нарочно воодушевлённо, но на самом деле постепенно становилась всё мрачнее, оттого что мы совсем не поддерживали её дружелюбный тон, и уже, наверное, ругала себя, что вообще подошла к нам.

Ещё несколько мгновений такого вот разговора, и она должна была закрыться. А я подумал, что, может, больше и не увижу её никогда, но мне всё равно будет потом жаль, что я вот так вот оставил человека в сложной ситуации, словно обманул его. Но Варвара не замкнулась, не замолчала — просто вдруг резко повернулась в мою сторону:

— А вы вообще знаете, что Крым теперь российский?

— Знаю, — растерянно ответил я. И на всякий случай добавил: — И тоже рад.

— Извините, что я так спрашиваю, — продолжала она, вынужденная несколько смягчиться от моих слов. — Просто современная молодёжь зачастую ничем не интересуется. К нам приходят люди, которые не знают даже, когда была Великая Отечественная, их теперь в школе ничему не учат...

Я подумал, что она как минимум на несколько лет младше меня, а значит, и школу закончила позже. А ещё о том, что ей было проще выплеснуть свою злость на человека не из ячейки, чем на своих, и именно поэтому она сейчас заговорила со мной. И опять пожалел эту колючую девушку, которая так плохо скрывает свои чувства и так уязвима, что её могут задеть даже те, кто совсем не желает ей зла.

Мы опять пошли в тягучей и двусмысленной тишине. И вдруг на помощь — то ли мне, то ли Варваре, кто уж теперь мог разобрать — пришла Катя.

— Володя ходил с нами в субботу на митинг, он по-настоящему переживает, — горячо воскликнула она. — И знаешь, Варь, я ещё хотела тебе сказать, ты молодец, ты очень хорошо сегодня сказала на собрании, и особенно про любовь. Ты всегда очень хорошо выступаешь, и я всегда внимательно тебя слушаю...

— Другие ребята тоже много важного сказали, — осторожно поправила Катю Варвара, но видно было, что ей и приятны слова Кати, и сразу легче стало оттого, что чьи-то свежие чувства ворвались в этот сухой разговор.

— Да, да, но ты сказала лучше, — перебила Катя, и в голос прорвалось столько неожиданной страсти. — Я ведь ещё хотела тебя спросить по поводу опроса, — и я опять удивился, что она знает об их ячеечных делах, о каких-то опросах, думала о них и даже хотела о чём-то спросить. — Мы взяли анкеты для распространения и решили отнести их в церковь. Может, мы неправильно сделали? В церкви ведь люди лучше, чем в других местах, и опрос будет необъективным, да?.. — но чем больше она говорила, тем меньше горела, и в конце концов устыдилась своей многословности — не слишком ли она глупо выглядит, не сказала ли лишнего.

Вот и Андрей поморщился недовольно: по его мнению, Катя всегда говорила не то.

— Ну при чём тут церковь? — не выдержал он.

Но Варвара не заметила его недовольства и оживилась ещё сильнее:

— Слушай, мне кажется, ты очень глубокую вещь сказала! Это интересно, я как-то не задумывалась, это же целевая группа. Да, ты права, конечно, цифры поддерживающих традиционные ценности в церкви будут выше...

— Но знаешь, — остановилась вдруг и таинственно улыбнулась, — Сергей Владенович часто употребляет такой красивый образ, кажется, из Блока, что мы должны стиснуть меч в руке народной. Опрос не самоцель, он поможет нам обосновать очевидный факт, понимаешь? Способ вложить меч в народную руку. Поэтому если результат будет несколько выше оттого, что мы проводим его в церквях, а не в гей-клубах, это в принципе не страшно...

Катя слушала её и горячо кивала, и я понимал, что ей важны были не сами слова, а то, что Варвара произносит их так уважительно и с увлечением, и Катя была благодарна ей за это. И мне самому стало радостно, что всё так потеплело, и особенно приятны были теперь — и таинственный полумрак, и пустынная улица, и снег, лёгкий, почти весёлый. И эта странная девушка, сжимающая кулак с воображаемым мечом, говорящая так серьёзно и строго, что и самому хотелось ответить ей что-нибудь эдакое, чтобы она и на меня посмотрела не как на зелёного новичка, и начала быть увлечённо объяснять мне что-то, а я заинтересованно кивал бы в ответ.

— Ну это я так думаю, — вдруг испугалась Варвара резкости своих последних слов, — а вообще, нужно спросить... Давай я узнаю точно и скажу тебе, хорошо? Ладно, слушайте, я слишком разволновалась, а сейчас вспомнила... мне надо подождать Пашу и кое-что ещё с ним обговорить...

Она отстала, поджидая других, и осталась одна в темноте. А мы шли по-прежнему молча, но уже спокойнее — как если бы просто по пути домой встретили давнего друга, поговорили о чём-то интересном, попрощались, а теперь идём своей дорогой. Впрочем, когда мы уже подошли к метро, я ощутил, как сильно всё-таки вымотался, хотелось немного побыть одному, восстановить покой в душе.

— Ладно, езжайте, я ещё немного погуляю здесь, — сказал я Кате и Андрею.

А когда они спустились в метро, долго стоял у подземного перехода, а вокруг потоком текли люди, не замечая меня, и вечерний город гудел деловито, но не буднично, словно завтра должен был быть выходной или праздник, или просто решительно и бесповоротно наступала долгожданная весна. На кромке Ленинградского шоссе высится огромный плакат, приветствовавший возвратившиеся домой Крым и Севастополь. “Знаю ли я, что Крым присоединён”, — вспомнил я и усмехнулся, но беззлобно.

Рядом с метро находился парк, огороженный невысоким забором. Я приблизился к нему, чтобы не стоять в самом центре людского потока, и присел на корточки, опираясь спиной на железные прутья. Потом, не придумав ничего лучше, вернулся к Войковской, а у подземного перехода опять столкнулся с Варварой — она шла одна, наклонив голову. Мы оказались совсем рядом. Я смутился, будто подсмотрел что-то личное, что она бы не хотела никому показывать, но сразу же приветливо улыбнулся, чтобы она не подумала, что я могу использовать это личное против неё. А она слегка наклонила голову в ответ. И от этой случайной встречи, мне стало окончательно легко, и я двинулся не вслед за ней, вниз, в метро, а вперёд, куда глядели глаза, по бурлящему весеннему шоссе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

5

Ветер рвал позеленевшие ветки, и, подчиняясь ему, перекачивались по мокрому асфальту трухлявые прошлогодние листья, осенний мусор и свежие, едва набухшие почки. И не передать было словами сумбурные и торопливые переживания, которые охватывали в те недели меня, и, казалось, всех людей вокруг.

Постепенно я проник в тот мир, который раньше почти не интересовал меня: начал смотреть новости, сначала раз в день по вечерам, потом стал заходить на новостные сайты с компьютера на работе, а иногда и целые часы проводил в напряжённом чтении. Впрочем, я никогда не понимал отчётливо, что происходит, и не мог, как Андрей, начать с ходу разъяснять, как нужно воспринимать то или иное событие — истина всегда была чёткой и ясной в его словах. Я же, напротив, ощущал что-то неопределённое, то тревожное, то ликующее: горячую волну одного чувства, а следом — захватывающую силу другого. Когда я видел митинги, на которых огромная толпа ликует и кричит: “Россия, Россия”, прямо как в Крыму, а потом лавиной занимает горсоветы в одном, другом, третьем городе на востоке Украины, меня томили предчувствия большой будущей победы. Но почти сразу же я узнавал, что где-то погибли мирные люди, опять прошли аресты, куда-то срочно перебрасываются украинские войска — и тогда становилось тоскливо оттого, что всё рухнет и поднимающееся воодушевление обречено. В ячейку я больше не ходил, не хватало времени, были другие дела. Андрей ещё пару раз заговаривал со мной об этом, я обещал выбраться, но всё не складывалось.

В один из апрельских выходных я остался в квартире один: Рома в те дни был дома, в Житомире, а Катя и Андрей ещё с утра уехали на какое-то мероприятие, и потому я весь день наслаждался покоем и тишиной. А потом случайно в новостях увидел, что сегодня ночью наступает Пасха. Вспомнил, как дома мы всегда красили яйца в этот день, сходил в магазин, купил два десятка яиц, разноцветные краски, и долго возился с ними на кухне, пока, наконец, не добился жиденького окраса скорлупы. Мои родители были не очень религиозными, но яйца на Пасху и поход в церковь за святой водой на Крещение — были обязательной традицией нашей семьи. Но особенно запоминались мне поездки на Троицу в деревню, где жили бабушка и дед. Тогда вся родня собиралась на старом кладбище, между могил расстилали широкое покрывало, все ели и пили, а потом возвращались в старый дедушкин дом и продолжали весёлую гульбу. А когда дальние родственники расходились и оставались только свои, бабушка зажигала тоненькую свечку и задумчиво сидела за убранным столом, и тогда можно было заметить, как влажели её сухие морщинистые веки...

Но скорее наступление праздника навевало на меня даже не домашнее, а ностальгию по старшим курсам института, когда я сам вдруг сильно загорелся христианством. Это было время необыкновенного восторга, чтения религиозных книг, неясных мечтаний, мне со всеми хотелось поделиться моей радостью, всех привести в церковь, и первой, конечно же, оказалась Катя — она тогда только поступила в институт, и в Москве я стал для неё на какое-то время единственным близким другом. По вечерам мы часто гуляли с ней неподалёку от общежития и жадно разговаривали о том, как правильно жить, — она с воодушевлением подавалась моим взглядам. А по воскресеньям я вставал ранним утром, готовил завтрак, спускался в комнату к Кате и будил её — она вставала, растрёпанная, и сразу же приходила к нам. Рома и Борис мирно посапывали по своим кроватям, хотя Борис иногда просыпался и лежал с открытыми глазами, глядя на нас, а потом недовольно вздыхал и отворачивался. Катя говорила громко, ей разрешалось шуметь, даже когда все спали. Мы завтракали и шли в церковь. Но там не стремились отстоять всю службу и обычно, выдержав около получаса, шли куда-нибудь гулять, думая, что когда-нибудь потом, когда станем старше, сможем терпеть дольше. Мы и не знали тогда, что самое большее можешь сделать именно в опухнутой радостью юности, когда ещё всё по плечу, всё живо и звенит в душе колокольчиковым звоном — а чем старше, тем приглушённое в тебе звуки... И действительно, постепенно мои восторги улеглись. Я и теперь верил и знал, что Бог есть, но жил, не особенно думая об этом, а всё больше ждал какого-то нового своего возгорания. Меня радовала горячая и немного наивная вера Кати, нравилось, что для неё всё это по-прежнему живо, что она хочет и Андрея привести в церковь.

В тот субботний предпасхальный вечер, незадолго до полуночи, чтобы занять себя, я опять сел за компьютер почитать новости. Всё было так же, как

и днём, когда я смотрел их последний раз, но я всё равно проглядывал знакомые фразы опять и опять. Наконец, я поднял глаза на стену, где висели старые массивные часы и вдруг увидел, что минутная стрелка перевалила за двенадцать. Я встал и попытался почувствовать что-то особенное, но ощутил только поверхностную пустоту внутри. Пасха наступила, но, наверное, оттого, что я не отследил радостный момент её наступления, самой радости не было. И тогда мне вдруг стало грустно, что вот, прошла ещё одна Пасха, а я занят какими-то, пусть даже очень важными, политическими событиями и уже почти ничего не сохранилось во мне от того, кем я был несколько лет назад и кем, возможно, мог бы быть до сих пор. Машинально я выключил экран монитора, чтобы больше не видеть тягостных, врывающихся в меня слов новостей. Хотелось отгородиться от всего на свете, оказаться наедине с самим собой.

На следующий день я ездил в гости к Борису, вернулся поздно, а потом началась насыщенная рабочая неделя, и я целиком погрузился в дела и будничные заботы. Я работал в рекламном отделе большой компании и занимался монтажом роликов. В те дни у нас был большой заказ, мы не успевали и постоянно задерживались после работы. В огромной комнате, разделённой прозрачными перегородками, всегда было шумно, за спиной ходили, гремя стульями, врывались ко мне и торопливо начинали говорить, а потом приходилось надевать наушники и погружаться в бесконечное прослушивания одного и того же отрывка.

Была пятница, рабочий день уже давно закончился, но я продолжал по инерции доделывать оставшиеся задания, не касаясь их мыслями. Сквозь наушники доносились чьи-то голоса.

— Ты чего, Крымнаш что ли? — кажется, это была Галина Евгеньевна, худая подтянутая женщина, коренная москвичка, работавшая здесь уже лет десять и очень тепло относившаяся ко мне. — Понимаешь ли ты, что это всё равно, что к соседу в карман залезть?

Кто-то виновато оправдывался. Я глянул из-за монитора, но они стояли, видимо, где-то сзади, а оглядываться и выдавать себя мне не хотелось.

— А я вообще новости не смотрю, ящик только промывает мозги, — поддержал Галину Евгеньевну чей-то высокий, как звук ножовки по металлу, голосок, в котором я узнал Гену-системного администратора. — А то станешь как этот, из маркетингового, двинутый на голову, который на запутинский митинг всех своих сгонял...

В это время я машинально запустил новый ролик для монтажа, и опять провалился в работу, но держал мысль об этом разговоре где-то рядом, и, закончив ролик, вновь притаился, чтобы слушать, но голосов больше не было. Снял наушники, поднялся со своего места, недоверчиво огляделся — я оказался в офисе совсем один.

Тихо трещала лампочка на потолке, а из-за перегородок были видны столы, заваленные бумагами и несколько ещё мерцающих экранов, будто их хозяева лишь ненадолго вышли покурить. Офис был даже приятен мне в таком несуетливом состоянии остановившегося мгновения. Я медленно прошёл к двери, заглянул в пустой коридор и глубоко вздохнул. А потом шагнул к окну и распахнул непослушную створку.

Внизу монотонно шумел город. Я стоял, вслушиваясь в этот шум, постепенно проникающий в меня, вдыхал насыщенный свежий воздух, и ко мне неожиданно стало возвращаться ощущение сегодняшнего момента — вокруг оказался привычный мир, скрывавшийся от меня всю эту неделю, а впереди были выходные, свободные, спокойные, и опять можно было сидеть дома и не думать ни о чём. И тогда, вспомнив о подслушанном разговоре, я неожиданно осознал, что за последнюю неделю не только совсем не общался ни с Катей и Андреем, ни с приехавшим недавно Ромой, но и новости-то не читал ни разу после той пасхальной ночи. И тогда мгновенно ощутил сладкое замирание сердца и жадное желание новизны — скорее узнать, что там, и даже нарочно помедлил ещё несколько секунд, чтобы продлить предвкушение.

Торопливо вернулся к рабочему месту и распахнул ноутбук. Киевские власти штурмуют Славянск, жертвы... убиты в ночь на Пасху... в аэропорт

в Краматорске перебрасывают войска... к Славянску движется колонна без опознавательных знаков... ещё один ополченец погиб... — я читал и читал, уже не разбирая даты, и новое, и старое. Чёрным огнём горели покрышки на блокпосту, вооружённый человек с усталыми глазами говорил глухо — “мы будем стоять насмерть... нас так просто не взять”, а потом взволнованный женский голос с надеждой спрашивал откуда-то сзади: “говорят, русские войска в Донецке, это правда?” — и я уже не мог сидеть на месте, встал и всё ходил и ходил по сонному офису.

Ночь была затаённая, тёплая, и лишь ровные лужи лежали на земле. Я возвращался домой, но во мне ещё звенели эти голоса. Я наступал на рассечённый московский асфальт, а внутри закипало лихорадочное волнение оттого, что где-то там, за сотни километров, есть легендарная жизнь, где стоят на защите своей земли русские люди и говорят — мы не отступим. И мне теперь казалось, что и я имею какое-то отношение к тем людям, потому что и я тоже — русский человек. Это чувство было не сильное, оно не могло побудить меня ударить или даже сказать какую-то резкую фразу, но всё-таки было достаточно явным и вроде бы настоящим.

Когда я пришёл домой, дверь в комнату Андрея и Катя была закрыта, а в нашей комнате сидел за компьютером Рома. Он недавно вернулся с Украины, но мы ни разу после этого не заговорили о том, что там происходит. У нас было негласное и в то же время совершенно отчётливое соглашение не касаться спорных тем, как бы ставя нашу дружбу выше любых политических разногласий. Но сегодня я не мог держать это в себе, мне хотелось выплеснуть всё.

— Слушай, ну вот сейчас мне уже точно кажется, что наши введут войска...

Рома вздохнул и посмотрел на меня с укором.

— Как будто сейчас их там нет.

— Конечно, нет! — оживился я, поражаясь его наивности и в то же время ощущая невольное удовольствие, что могу сказать такие слова немного небрежно: — Иначе они уже давно были бы в Киеве.

Рома слушал меня внешне спокойно, но всё время едва заметно морщился, как от большого зуба. Видно было, что он старается подобрать слова так, чтобы не выказывать своих чувств.

— Володя, — начал он достаточно мягко, но этим названием по имени словно отгородился от меня стеклянной стеной, — я никогда с тобой не говорил по-честному, я знаю, что у тебя... другие мысли. Но я никак не могу понять... почему в твоём понимании русский патриотизм это хорошо, а украинский плохо?

— Сильнее всего, конечно, это у ячеечного, — он махнул головой на стену, за которой жили Катя и Андрей, — но и в тебе такое есть... почему вы нам отказываете в праве жить так, как мы хотим? Если мы хотим жить как в Европе, разве это плохо?

Последние фразы он произнёс резко и чуть громче. Я и мог бы ещё отшутиться, но его слова показались мне безумно несправедливыми.

— Разве это жизнь, как в Европе? — зацепился я за последнее сказанное им. — Разве по-европейски воевать со своим народом?

— Да с каким народом, очуманись, Володь, — Рома стал постепенно задыхаться и путать русские слова, как случилось с ним, когда он волновался, — да там настоящие военные, ты посмотри хоть фотографии, в сети выложены... против народа никто не идёт... помитинговали и разошлись — так двадцать пять лет было, и никто никого не разгонял...

— Вот потому и взялись за оружие, что их никто не слышал!

— Пускай так, но это проблема украинцев, при чём здесь русские?

Мы остановились, сердитые, взвинченные, но оба ощущающие, что вот ещё немного и мы могли бы просто улыбнуться и остаться на том же спокойном понимании другого человека, в котором жили последние месяцы, но инерция спора не давала нам прекратить резко — каждый из нас считал своё раздражение оправданным, а себя правым настолько, чтобы ещё немного отдалить неизбежное примирение.

— Знаешь, я сейчас смотрел видео, — начал я спокойнее, но всё так же настойчиво. — И вот в одном ролике я услышал, как какая-то женщина спрашивает с надеждой, правда ли, что русские войска в Донецке. Заметь — русских войск там нет, — заторопился я. — Но люди их ждут. Я не знаю, как поступят наши, решатся ли они на это, но на видео я слышу обычных украинцев, которые не хотят жить под вашей “властью”, и я не могу им сказать — нет, живите, как хотите, мы не будем нарушать целостность Украины...

— То есть ты теперь уже и не против, чтобы войска были? — перебил он меня и вдруг разом поскучнел. — Да нет, мне всё равно так-то... я буду в любом случае жить здесь... мне вообще политика не интересна... я просто не понимаю этих общих восторгов ваших...

— Да нет никаких восторгов, наоборот, все переживают, — воскликнул я, но и сам как-то погас.

Стало тихо и пусто оттого, что вот мы вроде бы уже замолчали и больше не спорим, но это согласие обернулось не примирением, а скорее, ещё более сильным разрывом. Мне было горько, что вот мы — вместе учились, вместе живём и часто понимаем друг друга почти без слов, но здесь отчего-то оказываемся такими разными, и он никак не может увидеть того, что так сокровенно открылось мне.

Я сидел за своим ноутбуком и думал о том, что два человека в принципе не могут понять друг друга до конца, а могут сойтись только на прямолинейном лозунге, как те фанатики из ячейки Андрея, на неглубоком принятии какой-нибудь формулы, которую на самом деле каждый из них воспринимает по-своему, но не хочет признаться в этом даже самому себе. С другой стороны, размышляя я, ведь не может быть то, что есть сейчас внутри меня, ошибкой... и ведь это так явно, кто здесь прав, а кто виноват. И сейчас, прошло всего несколько минут после неудачного разговора с Ромой, а мне опять стало казаться, что стоит сказать ему какой-то иной, более сильный аргумент, и он сразу же всё поймёт.

Сам Рома тоже, видимо, чувствовал досаду и хотел как-то сгладить ссору.

— Эти опять кричали, я уже не могу их слушать. Пришли недавно, и давай... Сейчас вроде успокоились.

Я кивнул, но мне стало ещё грустнее, оттого что и у Кати с Андреем, казалось бы, самых близких друг другу людей, нет никакого понимания. Экран моего ноутбука погас, устав ждать движения.

Тогда я осторожно поднялся и прошёл на кухню, самое спокойное место в квартире, где затихали любые конфликты. Там машинально взвесил в руке перегоревший неделю назад чайник — будто что-то в этой квартире могло измениться за один рабочий день. Потом нашёл в верхнем шкафчике алюминиевую кастрюлю, налил в неё воду, поставил на плиту и стал искать на подоконнике непустой коробок спичек. Сзади скрипнула дверь, и на кухню шагнула Катя. Она остановилась в дверях, ровным невидящим взглядом смотря куда-то мимо меня, а потом проговорила:

— Андрей собрал вещи и ушёл.

Я удивлённо взглянул на неё.

6

Через несколько минут Катя уже рассказывала мне, что же произошло между ними. Она начала тем же спокойным голосом, которым сообщила об уходе Андрея, но в какой-то момент этот натянутый голос неожиданно лопнул, и прорвалось всё, что было у неё внутри — она заговорила сумбурно, торопливо, пропуская слова, путаясь в мыслях. Но о многом я догадался и так...

На Пасху Катя опять уговорила Андрея пойти в церковь. Они зашли всего на несколько минут, людей было не очень много, и храм стоял светлый, просторный, весь наполненный крупными белыми розами. Катя остановилась в самой середине, осторожно прикрыла глаза и думала о том, что раз есть Бог и такая красивая церковь, то у них с Андреем всё должно когда-нибудь стать

хорошо — надо только любить его всем сердцем и тогда он поймёт и поверит в то же, что и она, и тогда и отношения их станут настоящими. Засыпая в тот день, Катя удивлялась про себя, как всё-таки просто жить, не переживая и не обижаясь, когда ты в таком настроении. Было ещё немного тревожно, вдруг на следующий день это чувство уйдёт, но утром она проснулась счастливая, ощущая в себе столько жизненных сил, что, казалось, теперь сможет всё делать правильно и вообще не ссориться, и даже если Андрей продолжит ходить на все свои мероприятия, не будет сердиться, потому что любит его.

В таком же особенном состоянии она провела несколько дней — ей хотелось всё делать для Андрея: готовить, убираться в комнате, радовать. Иногда по вечерам Катя нарочно заставляла его сесть за политические статьи к следующему собранию ячейки, и видела, что Андрей с неохотой принимается за них. И как приятно Кате было в такие моменты ругать его за беспечность, настаивать, чтобы он не отвлекался, а потом делать вид, что она читает своё, а на самом деле постоянно поглядывать на него. Иногда ещё, обычно сразу после возвращения с работы, они садились вместе смотреть новости, и Катя видела, как болезненно Андрей воспринимает всё происходящее, так что и сама начинала переживать и о славянских ополченцах и о глупых приказах киевской хунты. А он был благодарен ей за то, что она так возмущённо вскакивала и выражала те простые чувства, которые теснились в нём самом и которые он никогда не выразил бы так ярко, а продолжал держать внутри, мучаясь и съедая сам себя.

В четверг Катя предложила вместе пойти на еженедельный пятничный клуб, где собиралась вся московская часть движения, выступал сам Кургузов, и куда Андрей всегда ходил один. Видно было, что Андрея тронули её слова: раньше она соглашалась быть лишь на собраниях ячейки в Коптево, да и то без желания — и потому весь вечер он вёл себя с ней особенно ласково. На следующий день Катя очень устала на работе и хотела позвонить Андрею и сказать, что не придёт. Но, в конце концов, решила ехать, и ей опять стало хорошо, что она может вот так вот переступить через себя и пожертвовать чем-то ради любимого. Они встретились в метро. Андрей был сосредоточен и непривычно холоден для последних дней, сильно торопились, чтобы успеть к началу.

Всё проходило в большом здании, похожем на старый советский театр. В почти пустынном фойе стояло несколько столов, за которым участники движения регистрировали собравшихся. У одного стояла Варвара.

— Скорее, скорее, Сергей Владленович уже на сцене, — замахала она руками, ещё издали заметив их. — Сама регистрирую вас! Идите, идите! — заторопилась, видя замешательство обоих.

— Молодец Варя, — довольно проговорил Андрей Кате, когда они подошли к большим дверям, занавешенным тяжёлой бардовой шторой.

И пока они в темноте искали в зале места, извинялись перед кем-то, оказавшимся на проходе, устраивались, Кате было беспокойно, оттого что это из-за неё они опоздали, что Андрей, скорее всего, сердится сейчас и что он так искренне похвалил Варвару, которая уже наверняка никогда бы не опоздала на такое важное мероприятие. Но потом Андрей осторожно наклонился к её уху и тихо и нежно спросил:

— Ну как? Хорошо слышно?

А она поспешно закивала, хотя ничего ещё не слышала.

Зал был просторный, и слова из микрофона волнами ходили по нему то в одну, то в другую сторону, гулко отражаясь о стены и потолок, как в огромном бассейне. Кургузов ходил по сцене, заложив руки за спину. Он оказался теперь ближе, чем на митинге, но всё равно достаточно далеко, чтобы рассмотреть его хорошенько. И странно было, что такой маленький человек, похожий на лысого античного философа, подчинял себе этот наполненный людьми зал. “Интересно, есть у него жена? — подумала вдруг Катя. — Скорее всего, нет... А если есть, какие у них отношения...”

Кургузов говорил о важности информационной войны, ругал активистов за то, что так мало проводится пикетов, небрежно рисовал на доске графики и схемы, но она не старалась следить за его мыслью. И только один раз,

когда он резко произнёс: “Время миндальничать и расслабляться прошло... я понимаю — всем хочется жить беспечно, ходить в театры, в кино, есть мороженое...” — Катя удивлённо вздрогнула, потому что эти слова показались ей связанными с их отношениями с Андреем.

А когда лекция закончилась, они ещё долго стояли в фойе с Варварой и другими ребятами из ячейки. Кто-то сказал, что сегодня Сергей Владленович выйдет в фойе и будет неформальное общение, и, кажется, Андрей ждал этого. Катя же была особенно взволнована происходящим и тем, что она стоит в этой гудящей толпе, враждебной или уже не враждебной ей — она теперь и не знала, и потому была затаённая, пугливая, но внешне как бы очень открытая и приветливая. Только беседа почти не касалась её: Андрей общался со всеми, но никак не вовлекал Катю в общее течение разговора, а сама она не могла поддержать ни одну тему.

Подошёл Паша, спросил, как ей мероприятие, она ведь первый раз здесь. Катя видела, что для Паши это общение — обязанность поддерживать каждого, кто пришёл сюда первый раз. Но всё равно была благодарна ему за то, что она не осталась совсем одинокой в шумном фойе. Впрочем, иногда в Пашином взгляде мелькало неожиданное, будто он осторожно пробоval на вкус то один её ответ, то другой, но она не придавала этому особенного значения, решив, что это обычный мужской интерес, не относящийся к ней напрямую. И действительно через несколько минут тот уже оживлённо заговорил с Варварой.

Потом у Кати сильно заболел живот, и она сказала об этом Андрею на ухо, чтобы другие не слышали. Андрей посмотрел на неё тревожно, торопливо попрощался со всеми, но всё-таки нехотя, что она тоже отметила про себя.

Когда они вышли на улицу, стало легче, так что даже живот почти прошёл. Катя рада была, что днём она не отменила всё и нашла в себе силы сходить сюда вместе с Андреем и при этом даже не злиться на него.

— Интересная девушка Варвара, да? — заговорила она. — Ты не знаешь, они с Пашей встречаются? Кажется, они подошли бы друг другу.

— Почему интересная, обычная, — возразил Андрей. — Насколько я знаю, они с Пашей просто друзья, у них общие убеждения. Хотя я и не вникаю в их отношения, это не моё дело.

Кате показались странными его слова, но она решила не продолжать разговор на большую тему об убеждениях. Она видела, что Андрей хмурый — ей не нравилось это, и было даже немного обидно, ведь она сегодня всё сделала правильно — так чем же он не доволен? Хотелось растормошить его, вывести на разговор.

— Погода почти летняя, — начала Катя как бы совсем беззаботно. — Можно будет на выходных покататься на велосипедах. Помнишь, хорошо было осенью по ночной Москве?

Андрей тяжело вздохнул и недовольно покачал головой.

— Кать, мне надо много делать, — ответил он устало. — Я по будням просто физически не успеваю, ты же знаешь.

— Нет, нет, — не сдавалась она. — Мы всё распланируем, всё успеем. Главное не тратить время зря, да ведь?

Андрей поспешно пожал плечами, но Катя видела, что он не согласен, и ей хотелось объяснить ему, что она не против его занятий по ячейке, а наоборот, желает помочь.

— Ведь спорт он же тоже полезен, — продолжала настойчиво, — ты же сам говорил... К тому же нужно и расслабляться.

— Ты же слышала Сергея Владленовича, — перебил её Андрей. — Идёт война, нужна мобилизация. Сейчас не время отдыхать.

Он обычно не настаивал на своём, полагая, что не надо спорить с Катей, если она ещё не созрела до таких важных вещей, но сегодня, когда она сама захотела прийти на клуб, не мог не сказать ей этого. Катя же задыхнулась от обиды.

— Ну, нельзя же жить с таким настроением, — вырвалась у неё. — Ты постоянно говоришь, вот будет революция, вот будет война...

— Так если на самом деле война.

Катя зажмурилась и несколько шагов сделала в пустоту, не видя, куда наступает.

— Понимаешь, мне тяжело так, — выговорила она, наконец, жалобно, — и тебе самому тяжело, но ты не даёшь помочь себе.

— Я не маленький, не надо мне помогать, — ответил Андрей и ещё сильнее ожесточился.

Кате показалось, что это злые силы нарочно толкают её на ссору, и она испугалась, что может сейчас сделать такое, о чём потом будет сильно жалеть. Старалась подумать о хорошем, стала искать в ближайшем будущем то, что могло бы успокоить или отвлечь её, но ничего не находилось. А потом вспомнила — на завтра ещё был назначен пикет в Ботаническом саду, и окончательно обессилела.

Они почти зашли в метро, когда, не доходя нескольких метров до тяжёлых стеклянных дверей, Катя вдруг схватила Андрея за руку и отчаянно зашептала:

— Андрей, пожалуйста, помоги мне, давай не пойдём завтра на пикет... Потом я всегда буду ходить с тобой, но сейчас мне так тяжело, давай хотя бы на день остановимся, отдохнём... пожалуйста...

Андрей смотрел на неё с изумлением. Он услышал Катину обещание всегда ходить с ним и даже обрадовался ему, но в то же время оно не было для него чем-то новым — он уже давно ждал от Кати именно таких слов. А вот пропуск пикета был совершенным ребячеством. Тем более, завтра Варвара с некоторыми другими активистами из ячейки должна была осваивать новое место в Останкино, и потому на Андрея ложилось ещё больше ответственности, и он переживал, справится ли. Ему хотелось от Кати поддержки, понимания того, как важен для него завтрашний день, а не очередной истерики.

— Мы же запланировали, — ответил он резко. — Нельзя вот так вот взять и подвести людей, разве ты не понимаешь?

Катя неожиданно притихла и кивнула, испугавшись не столько грубого тона Андрея, сколько своей несдержанности и того, что слишком явно показала ему — нет, она не изменилась, ей по-прежнему не нравятся все эти дела, связанные с ячейкой. И пока они спускались в метро, Катя судорожно переживала свой глупый торопливый порыв.

В вагоне встали рядом, но отчуждённо, стараясь не глядеть друг на друга. Вокруг мгновенно зашумело, хлестнул воздух из открытого окна. В лязгающем шуме докричаться до другого было невозможным, а во время остановок в вагоне становилось так тихо, что любое искреннее слово сразу же обнажило бы их перед стоявшими рядом людьми — и оба молчали, напряжённо ожидая каждую следующую станцию.

Под мерный стук колёс Катя понемногу пришла в себя. Её невольное согласие с последними словами Андрея, сделанное машинально, теперь показался ей даже правильным — следование плану, пусть даже вынужденное, всегда успокаивало, давало ощущение защищённости, уверенности, что произойдёт именно это и ничего другого. “Пусть, пойду на пикет... Может, всё забудется, может, мы ещё не поссоримся сейчас...” — подумала с надеждой.

А когда они вышли из метро, Катя даже заулыбалась раскинувшейся перед ними мокрой мостовой и солнцу, и лужам, и деревьям и только один раз с грустью вздохнула о том, что не придумать лучше времени, чтобы до утра кататься на велосипедах, потом встретить рассвет, и, ощущая приятную усталость, идти спать. Андрей же по-прежнему не мог успокоиться. Он не чувствовал себя ни в чём виноватым, напротив, это противостояние с Катей, отнимавшее и так небольшие его силы, раздражало.

— Зачем ты меня всё время тормозишь, — заговорил он с горечью. — Мне и так сложно, я мало читал, мало знаю, мне необходимо всё это навёрстывать. А ты специально мешаешь мне... Ты просто маленькая девочка, тебе ещё нужно вырасти.

Она слушала эти слова, напряжённо глядя куда-то в сторону, но последний раз ещё решила перетерпеть, поступить так, как и хотела — не спорить с ним и не расстраиваться. И сначала вроде как получилось, но в тот

момент, когда Катя опять подавила в себе возмущение, ей стало так обидно, что именно она терпела всё это время, делала вид, что всё хорошо, что ей нравится на этом проклятом мероприятии: стояла, улыбалась там всем, как идиотка, и все видели, что она просто так пришла туда — просто нашему Андрею не с кем было оставить дома ребёнка, свою красивую девочку-дурочку...

— Так, может, надо избавиться от того, что тебе мешает? — спросила тихо, но уже с той отчётливой спрессованной обидой, которую теперь уже ничего не могло удержать. — Давай раз и навсегда определимся... скажи, кто тебе важнее, я или ячейка?

— Не заставляй меня выбирать, — попросил Андрей надрывно, так что она поняла, что он уже думал об этом, а значит, уже и знает, что бы он выбрал в таком случае.

— Значит, так, да? — переспросила Катя и почувствовала себя теперь полностью правой и оттого безжалостной.

Они вошли в свой двор, и до подъезда им оставалось пройти только через небольшую спортивную площадку, окружённую деревьями, в глубине которой виднелись старые качели. Но Катя не могла сейчас просто вернуться домой, она чувствовала, что тогда всё это останется внутри и сожжёт её. Не глядя на Андрея, Катя свернула к качелям и села на них. Андрей же удивился, но подошёл сзади и стал осторожно раскачивать стальную цепочку — вроде бы ничего особенного не случилось, и они просто остановились здесь покатаются. За деревьями горел яркий фонарь, так что сквозь густые ветки проникали неровные полосы света.

— Я понимаю, что ты не очень хочешь идти на пикет, — начал Андрей, стараясь поймать её взгляд, но она только насмешливо дрогнула губами — как будто дело было теперь в этом злосчастном пикете. — Но ведь это мероприятие уже согласовано, нам доверяют, и мы не можем подвести коллегтив...

— Ой, может, хватит повторять за Пашей, — оборвала его Катя, — ненавижу, когда ты повторяешь за Пашей!

— Я не повторяю, — неожиданно смутившись, возразил ей Андрей.

— Повторяешь, повторяешь... как попугай... своих мыслей нет.

Она ждала каких-то таких его слов, выпрашивала их, сидя на этих качелях, и теперь, когда он поддался, наносила удар безо всякой жалости. Она и понимала, что такая ссора опять отдаляет их, опять всё портит, но уже не могла вырваться из лавины, нараставшей у неё внутри.

— А у твоего Кургузова вообще комплексы. Это же видно, он просто ненавидит женщин!

Андрей перестал раскачивать цепочку от качелей и сел на скамейку рядом, бессильно опустив голову. Ему особенно тяжело было, когда Катя начинала плохое говорить о Кургузове или ячейке, тогда в его правительном и логичном мире нарушалась ясное разделение на добро и зло, которое он очень ценил. Он не мог допустить, что ячейка это зло, но тогда злом автоматически оказывалась Катя, а это было невыносимо.

Подул прохладный ветер, толстые тени от веток зашевелились на песке. Человек пробежал по спортивной дорожке за деревьями, и было слышно, как стучат подошвы по резине, но потом и этот звук стих. Катя по-прежнему сидела неподвижно, только качели уже остановились.

— Пойдём домой, ты устала, — опять попытался успокоить её Андрей, но она презрительно усмехнулась этой бессильной попытке. Эта его подавленность и даже покорность только ожесточали её: она уже чувствовала себя виноватой за свои слова, и ей хотелось, чтобы и он сказал плохое и обидное, чтобы они были виноваты оба. Но Андрей или молчал, или заговаривал таким вот мягким голосом. И тогда у неё оставался один выход — довести до предела, и если уж она в любом случае виновата, так быть виноватой до конца.

— Ты заикаешься, ты слабак, тряпка! Ты ни на что не способен, — рванула она, наконец, и сама удивилась тому, что знала самое больное для него, и даже смогла это произнести.

Андрей опять не возразил, только молча глядел под ноги. Катя растерянно взглянула на него, потом торопливо поднялась и пошла к дому, надеясь, что если она сделает это, то тогда он отвлечётся и забудет эти слова.

Когда они уже вошли в квартиру, то некоторое время ещё разувались, входили к себе в комнату, машинально убрали какие-то вещи, то подошли к платяному шкафу, то садились за компьютер. Андрею было тягостно это молчание — без Катининой помощи он очень медленно восстанавливал силы после таких разговоров. Он ждал, что Катя сейчас подойдёт к нему и улыбнётся, или скажет, что любит, как часто бывало после ссор, но та, кажется, тоже была подавлена.

Взглянул на часы, уже десять. Скоро нужно было ложиться спать, но он опять не сделал ничего, что планировал на этот вечер. Он уже почти научился не говорить с ней ни о чём политическом, научился выкраивать время по минутам — задерживаться по вечерам за ноутбуком или наоборот — вставать пораньше по утрам. И сейчас мог бы именно так и сделать: поехать на эту злосчастную велопрогулку, а потом заставить себя встать через пару часов, и, пока Катя спит, посмотреть необходимые материалы к пикету, а может, даже прочитать один-два номера “Красной весны” к следующему собранию ячейки. Так было бы гораздо рациональнее и по времени, и по затраченным нервам — и ему было сейчас жаль своей ненужной откровенности.

Но в то же время Андрей не мог не думать о том очевидном выводе, который можно было сделать из всей этой ситуации — они просто не подходили друг другу. Это было единственным здравым объяснением всего происходящего, но в обычные дни у Андрея хватало сил отгонять от себя этот вывод, а после таких вот ссор он настойчиво появлялся в любых размышлениях.

— Мы уже год встречаемся, а отношения плохие, может, нам стоит расстаться? — спросил с тоской.

Он ждал, что Катя сильно расстроится и опять начнёт кричать, но она только равнодушно пожала плечами.

— Если считаешь так, давай расстанемся.

— Нет, ты меня неправильно понимаешь, — попытался объяснить он. — Я не хочу. Но ведь мы только мучаем друг друга. Зачем? Может, так будет проще.

Он не упрекал её, но как раз эта-то грустная искренность, которую она мгновенно определяла в его словах, считая её признаком самых настоящих, сокровенных его мыслей, обожгла Катю ещё сильнее.

— Если думаешь, почему тогда не уходишь? Уходи... Уходи к своей Варваре, — выговорила она свой тайный страх, потом увидела в его удивлённых глазах, что ошибается, а потом тут же испугалась, что сама подсказала ему такую мысль, и теперь уже он точно уйдёт к той.

В это время Маркиз, оживлённый Катиным громким голосом, ворвался в комнату и, как сумасшедший, запрыгнул на кровать, потом на шкаф и обратно на пол, будто это была игра, и замер посреди комнаты, безумными глазами оглядывая их обоих. Катя любила, когда он так играл, но теперь готова была закричать на него.

Сколько раз за последние месяцы они вот так вот срывались в разговор о расставании, и каждый раз Катя говорила Андрею — уходи, но потом сама же и подсаживалась к нему, клала голову на плечо, и всё успокаивалось. Но теперь не могла так — почему она должна всё время тянуть на себе их любовь, тем более если никакой любви с его стороны нет, если он действительно хочет разойтись, и только из жалости никак не может решиться... Ей невыносимо было находиться сейчас рядом с ним, нужно было успокоиться, отгородиться, и Катя быстро пошла в ванную. А когда закрылась там, вывернула кран на полную, села на пол, почувствовала себя полой глиняной куклой.

Андрей тоже помнил, что это не первая подобная ссора и не первый разговор о расставании. Только он не мог позволить себе расслабиться, слова про “тряпку” до сих пор жгли его. Он понимал, в чём именно Катя обвиняет его: нужно было принять решение — нельзя затягивать, нельзя было опять поддаваться душевному расслаблению, нужно было проявить твёрдость. В то же

время Андрей боялся, что теперь после того, как он решил это, она опять остановит его, и опять повторится та же ситуация, что и во время их прошлых несостоявшихся расставаний. Заставил себя подняться, схватил ноутбук, несколько книг, одежду на завтра.

Но в тот момент, когда он уже обувался в прихожей, Катя резко распахнула дверь и вышла из ванной.

— Куда ты идёшь? — спросила требовательно.

— Мне надо, — отрывисто выговорил он и, чтобы опять не проявить слабости и не поддаться на её эмоции, поспешно шагнул в коридор и стал быстро спускаться по лестнице.

Катя встрепенулась было — тотчас же догонять его, просить прощения, но вдруг её поразило: он от неё убегает, неужели она так надоела ему... Вернулась в комнату, села на кровать. Ей хотелось плакать и кричать от обиды и боли, но ни слёз, ни сил больше не было.

7

Когда она закончила рассказывать, то ещё долго молчала, глядя перед собой, иногда теребя пальцами краешек свисающей скатерти, — ничего уже не осталось в ней от той Кати, что ещё час назад мучила Андрея и так хотела уязвить его. Мне же хотелось спать, и я ругал себя за это, но иногда украдкой всё-таки наклонял тяжёлую голову к холодной белой трубе отопления, делая вид, что думаю о чём-то, а потом, стыдясь, выпрямлялся опять. На тарелке передо мной лежали поблёклые пасхальные яйца. Я зачем-то взял одно из них и принялся осторожно отчищать скорлупу, а та крошилась, превращаясь в мелкие назойливые кусочки. Маркиз медленно ходил по кухне, недоверчиво глядя на наши неподвижные фигуры.

Но вдруг Катя поднялась и в нервной необходимости что-нибудь сделать шагнула к плите, взяла в руки коробок, чиркнула два раза спичкой — газ вспыхнул и мерно зашипел. И я увидел — нет, она не перегорела и не смирилась, в ней по-прежнему билась горячая злая обида на Андрея.

— Ну, ведь если мы такие разные, может, и вправду, нам нужно расстаться? — спросила жалобно, но и требовательно, будто хотела вырвать у меня уже давно известную долгожданную истину, которую в целом мире не знала только она. Изо всех сил ей хотелось наброситься на те слова, которые сказал Андрей, и повторять их, надеясь доказать и себе, и мне, что он прав.

Я покачал головой, но она сразу же перебила меня:

— Только не надо меня жалеть, скажи, что ты думаешь!

— Ну, зачем я буду врать? — начал я наощупь, просто заполняя пустое пространство словами, но, тем не менее, ощущая, что говорю я, кажется, верно и что постепенно приближаюсь к этому горячему котлу — ещё не могу дотронуться до него, но уже способен держать руки рядом. — И вообще, откуда ты знаешь, как должно быть? — и увидел, как благодарно закивала она в ответ. Тогда, вдохновлённый её благодарностью, заговорил резко: — Может, так и надо, может, вам как раз и суждено это пройти? Если вы любите друг друга, то в любом случае всё будет хорошо...

— Не любим! Мы просто оба не умеем любить, вообще не умеем, я, по крайней мере, точно, — и опять устремилась в свою заочную борьбу. — Мы сегодня ходили на собрание, а потом стояли и разговаривали со всеми, и я поняла, как я сильно их ненавижу. Понимаешь, мне тяжело любить людей, я не могу с ними даже поговорить по-хорошему, столько злости сразу на меня накатывает. И я вспоминаю, так было всегда, и это не люди виноваты, это я такая. И друзей своих я не люблю, и тебя я не любила — никогда и никого не любила...

Я на секунду смутился от этого признания, спрятавшегося в потоке слов. Мы с ней никогда особенно не обсуждали те наши отношения, с долгими прогулками вокруг общежития и разговорами о вере и смысле жизни, с неумелыми поцелуями на прощанье, с повышенной требовательностью и неумением пойти навстречу друг другу — Катя тогда только приехала в Москву, а я учился на четвёртом курсе. Впрочем, эти отношения, наверно, и не

могли быть иными: в юности видишь в другом человеке лишь себя и действительно почти никогда не любишь по-настоящему. Я хотел было пересказать ей эту мысль, но не стал — пришлось бы много говорить о нас с ней, а сейчас был не совсем подходящий момент для таких мелочей, к тому же от этих слов она всё равно не перестала бы корить себя.

Катя же, кажется, не заметила моего минутного смущения, встала, опять подошла к плите, будто вода в кастрюле могла успеть вскипеть за эти несколько секунд, вернулась назад, иногда ещё то ли всхлипывая, то ли жадно глотая воздух.

— И ещё, — остановилась, не решаясь опять произнести это вслух, — там та девушка, Варвара, помнишь её? Я постоянно думаю, что она ему гораздо больше подходит... вот с ней он был бы счастлив, она такая правильная, идейная...

— Брось, — резко возразил я ей, — дай уж ему самому решить, кто ему подходит, а кто нет.

Она торопливо закивала.

— Да, да, ты прав...

И наконец притихла, больше не теребила скатерть, не вскакивала, не говорила ничего, просто сидела, иногда ещё чуть покачиваясь. А я вдруг пожалел, что задул искры страстного сопротивления, которое одно, может, питало её силами сейчас. Закипела вода, я поспешно встал, выключил газ и, чтобы всё это было не зря, налил нам обоим чай. Катя поднесла кружку к губам и поставила обратно.

— Тебе надо поспать и отдохнуть, — сказал я, даже не отдавая себе отчёта в том, что отдохнуть хочу я сам.

— Да, да, — согласилась она покорно.

Я ещё помыл чашку, чтобы не уходить так сразу. А когда уже лежал на кровати в своей комнате, прислушивался к звукам из кухни, но Катя, видимо, сидела подавленная и притихшая: ни всхлипа, ни звяканья посуды. И только неожиданно близко, буквально в метре от меня, раздался отчётливый шорох — это Рома в темноте сбил ногой книги, наваленные у моей кровати.

— Володя, ты ещё не спишь, нет? — заговорил он нервным свистящим шёпотом. — Извини меня, конечно, но есть такое понятие — совместимость, люди или подходят друг другу или нет. Ну зачем ты тешишь Катю надеждами? Этот Андрей, он ей просто не подходит. Вернее, он ни одной нормальной девушке не подходит, ну это ладно, я об этом даже молчу...

Его лицо не было видно, но я знал это его выражение нетерпеливого недовольства, с напряжённым взглядом и застывшей полуулыбкой.

— Но пусть они сами это решат, — сказал я первое, что пришло на ум.

— Вот пусть и решат, не надо им мешать, — зацепился Рома за мои слова. — Но ты-то ведь не просто успокаиваешь, ты говоришь, что нужно простить, терпеть или ещё что-нибудь там... — он напирал всё сильнее, и эти несправедливые неправильные слова проникали за стену, а ведь Катя могла слышать их. — А это всё болтовня. Надо знать, чего ты хочешь, какой человек тебе нужен... И для Кати это уж точно не Андрей!

— Тихе, тихе, — просил я его, но Рома никак не мог остановиться.

Он ещё долго ходил по комнате, повторяя про себя: “Ну ты даёшь...” или “С ума все походили...”, но уже спокойнее. А у меня и поднималось внутри раздражение, будто бы продолжался между нами сегодняшний разговор об Украине. Всё эти их, западные ценности, нагнетал я внутри себя, оценить, посчитать, найти, где комфортнее, а мы, русские, просто любим. Но я не мог сказать это напрямую, потому что вышло бы нелепо...

Рома заснул, а я уже выскользнул из промасленных лап сна. Лежал и думал, взвешивая на невидимых весах у себя в голове: может, они и подходили друг другу — эмоциональная Катя, страстно увлекающаяся любой идеей, в которой ей угадывалась душевная сила, и Андрей, старающийся всё понять умом, любящий укладывать мысли в нужном порядке, может быть, Рома неправ, и они могли бы быть вместе... Но настоящие горячие мысли мои рвались от Ромы и от Андрея куда-то далеко — к нам с Катей, к тем

отношениям, которые так нечаянно проникли в наш недавний разговор с ней. Особенно ярко вспыхивало в памяти окончательное расставание, после очередной ссоры, глупых обвинений, скорых слов — шёл дождь, а я шагнул по ночному городу, а по телу разливалась ноющая боль. И теперь я был уверен: каждому нужен такой опыт боли, чтобы из него вытравилось всё наносное и чтобы его дальнейшая любовь, может, уже к другому человеку, стала более чистой и бескорыстной — но испугался и отогнал эту мстительную мысль, которая вышла из тёмных глубин моей души.

Из-за края окна в комнату проникал слабый свет, оставляя на дальней стене уродливый вытянутый полукруг. Нет, конечно, странно было вспоминать сейчас об этом — столько всего случилось с тех пор: сжигающие чувства исчезли, обиды забылись, а осталось только тёплое расположение друг к другу. Но ещё и ещё раз думать об этом мне было приятно — и вроде бы пытался сопротивляться этой приятности, но нехотя, лишь сильнее погружаясь в сладкую дремоту, навеянную этими мыслями. А в последний момент, перед тем как окончательно заснуть, хотел было даже подняться и идти на кухню, опять сидеть рядом и утешать Катю, но потом сытое удовольствие остаться в кровати пересилило — завтра, всё завтра, решил я и улыбнулся этому простому решению...

Но если бы я знал, как много надежд возлагала Катя на наш разговор, я бы не засыпал так умиротворённо. Пока она ещё ждала меня с работы, пока рассказывала об их ссоре, ей всё казалось, что самое страшное если уже и случилось, то ещё как бы не утвердилось окончательно, так что в любой момент время можно повернуть вспять и всё исправить. А теперь Катя осталась совсем одна, и никакой надежды, только тонны времени впереди. Она прошла к себе в комнату, но не решилась включить там свет, чтобы вдруг не обнаружить какую-нибудь вещь Андрея, а может, всё ещё отчаянно надеясь, что он здесь, спит, вжавшись телом в крошечный ковёр на стене, и поэтому его просто не видно в темноте.

Слева на стене висели рисунки — он и она, портреты, которые Катя нарисовала сама и подарила Андрею на год со дня их знакомства. А он подарил ей телефон, и Соня тогда сказала, что это подарки не одного уровня, что нужно равенство и Катя должна следить за этим, по крайней мере, до свадьбы, но она только беззаботно смеялась этим слишком серьёзным словам, дескать, когда у самой Сони будет парень, то она поймёт, какая же всё это ерунда. Но теперь Кате показалось, что, может, Соня была права, и это она, Катя, дала Андрею повод считать себя маленькой девочкой. И вся их ссора сжалась до детских картинок и злосчастного телефона.

Обречённо опустила Катя на пустую кровать, вцепилась в тонкую простыню и в тот момент услышала в прихожей шорох открывающейся двери. Вскочила, но тут же испугалась и легла, чтобы он не заподозрил, что она ждёт его. Сердце застучало, так что слышно было во всём доме. А потом легла, стараясь унять этот яростный стук, прислушивалась, но не различала звуков. Неужели он так тихо вошёл, удивлялась Катя, и всё ещё ждала и опять не давала затаившемуся сердцу разгуляться от сладкой радости. Но потом шорох раздался вновь, и она поняла, что это был Маркиз — так он цапал когтями старый хозяйский стул в прихожей. Разозлилась, хотела прорываться слезами, но злость опять прорвалась слезами.

И тогда внезапная ревнивая мысль ударила её — а куда Андрей ушёл, где он будет ночевать, и странно, почему не думала об этом раньше, может, он сейчас уже с какой-то другой девушкой, а она тут страдает и ждёт его. Но это было уже чересчур, и от такого невероятного и нелепого обвинения ей вдруг стало легче — это она уж точно придумывает. И вообще Андрей поехал к Паше: он и раньше иногда оставался у него, когда костяк яички собирался там. А сегодня Паша уехал в Васильевское, у него был поезд прямо после встречи с Кургузовым, много работы в Васильевском, слышала она, а у Андрея есть ключ. И неожиданно внутри у неё смягчилось — он точно у Паши, и тогда, даже на минуту ослабив хватку, боль вдруг отступила, тело обессилело, и она упала в короткий тяжёлый сон.

Кате снилось, что она поранила руку и бежит по большому пустынному дому, похожему на старое советское учреждение, в поисках зелёнки. Гулкое эхо следовало за ней неотступно, а люди только равнодушно пожимали плечами в ответ на её просьбы о помощи. Наконец, она остановилась где-то в длинном коридоре и вдруг догадалась: это не её кровь течёт по пальцам, это кровь её ребёнка, раненого, ещё не рождённого ребёнка у неё внутри. И в этот момент резкая боль от кошачьих когтей вернула Катю из сна — Маркиз так цапал по ночам каждый раз, когда чья-нибудь нога высовывалась из-под одеяла. Она мгновенно дернулась, вскочила с кровати, ещё во власти страшного сна, кинулась на кога, прижалась к полу. Хотела отшлёпать, как делала обычно, но от обиды ударила слишком сильно. Тот надрывно мяукнул, но не вырвался, и тогда она схватила его на руки, прижалась лицом к тёплой шерсти и гладила, и целовала...

Было раннее утро. Бледные лучи освещали комнату — скомканные вещи повсюду, её кофта на полу, под столом медленно перекатывающийся комок кошачьей шерсти. За окном лежал сонный каменный город, нестройные ряды многоэтажек уходили вдаль. Катя поднялась, скользнула к окну, потом к шкафу, подняла упавшую кофту. Надо было что-то делать, куда-то идти, и она вспомнила, что ещё вчера решила с утра сходить в церковь, оставив это для себя как последнюю лазейку — крошечную отчаянную надежду, что всё случившееся — не окончательно и что можно ещё изо всех сил попросить, и всё чудесным образом исправится. Стала торопливо одеваться, и деловитость сборов опять немного отвлекла от навязчивых мыслей.

Во дворе не оказалось никого, будто люди вчера уехали отсюда вместе с Андреем. Всё вокруг омертвело за ночь — детские качели у дома, забытые машины на обочинах. И оттого и самой Кате казалось, что сегодня ночью она умерла и теперь, как бестелесный призрак, бродит здесь, не оставляя следов, а если бы кто-то и встретился ей по дороге, то ни за что не увидел бы её. Лишь одна болезненная точка внутри продолжала биться и кровить.

Она медленно двинулась привычной дорогой туда, где было метро и где располагался ближайший храм. Постепенно то здесь, то там стали появляться люди. Они шагали в ту же сторону, что и она, словно бы тоже шли до храма. И тогда Кате показалось, что сейчас все они скопятся у входа, и внутрь будет не пробиться из-за духоты и тяжести чужих тел, но ей всё равно придётся ждать и потихоньку шаг за шагом двигаться вперёд в людском потоке, потому что именно там, в глубине, находится единственный источник чуда, и в отчаянной надежде прикоснуться к нему и пришли сюда все они, а уж ей-то обязательно нужно к нему. Но у подземного перехода люди схлынули вниз, в метро, и Катя осталась одна. А когда уже подошла к воротам и перекрестилась, то вдруг ударило её, что ведь и Варвара, кажется, — верующая, и наверняка ещё лучшая верующая, чем она, и что именно ей должен помочь Бог, а значит, нет ни единого, даже крошечного шанса для глупой маленькой Кати — и опять горькая ревность хлынула ей в душу, и церковь уже стала не её, а Варина, хотя та, может, никогда и не бывала здесь.

Внутри было поразительно красиво, как и несколько дней назад, когда они приходили сюда с Андреем сразу после Пасхи; мерно пели где-то наверху, а иногда священник отвечал на пение раскатистым низким голосом, и всё это выглядело торжественно, но оттого становилось ещё обиднее. На колонне перед Катей висела большая икона Николая Чудотворца — она в отчаянии шагнула к ней и заговорила с человеком, нарисованным там, как с Богом, уже не разбирая всех этих мелочей, какая разница... “Ну, помоги мне, помоги, зачем Тебе всё это? Я знаю, знаю... если бы я сама по-настоящему верила, Андрей бы уже тоже поверил, и всё у нас было бы хорошо. Но что же мне делать, если я не такая...” Она шептала это настойчиво и торопливо, уже не подбирая слов, а только повторяя ещё и ещё: “я не такая, я не такая...”

Постепенно Катя ослабла, и уже просто стояла в полусне, слегка покачиваясь то в одну, то в другую сторону. Она видела, как то там, то здесь крестились маленькие бабушки, как выходил к людям священник, как,

с опаской оглядываясь, потихоньку толкались и играли друг с другом два мальчика в дальнем углу. Время текло медленно, и все предметы и люди вокруг становились привычными. Стоять стало скучно и тяжело, неожиданно заняли ноги, так что теперь странно было — чего она ждала, какого чуда. Наконец люди устремились вперёд, где священник давал по очереди целовать крест, и она, увлекаемая чужим движением, подошла к нему, а потом, как и все, направилась к выходу. А уже когда оказалась на улице и ступила на пересечённую утренними косыми лучами мостовую, подумала про себя, что вроде бы и зря она сходила сюда, а вроде бы и не зря. И не было ни радостнее, ни спокойнее, но чуть свежее в воздухе — будто бы жизнь пусть не в ней самой, но всё-таки течёт где-то...

После церкви Кате захотелось есть — кажется, вчера она не ужинала, но до сих пор не вспоминала об этом, а теперь вот ощутила здоровый сильный голод. И даже удивилась: как бы ты ни страдал, а всё равно с телом не поспоришь.

Дома окна были распахнуты настежь, и ветер по-хозяйски ходил из комнат в прихожую и обратно. Из глубины квартиры доносилась ритмичная беззаботная мелодия. На кухне Рома тщательно сворачивал в трубочку папиросную бумагу вместо ситечка, а потом осторожно насыпал туда кофе. Катя нерешительно остановилась на пороге, не зная, входить ли ей сразу или подождать, пока тот позавтракает, — с некоторых пор они старались не встречаться и не разговаривать друг с другом. Но Рома вдруг приветливо улыбнулся ей:

— Заходи, заходи, Катя, я сейчас.

Она коротко кивнула и шагнула вперёд. Но ей всё равно было неловко, она торопливо открыла холодильник и хотела взять что-нибудь, но все продукты были чужие, а на их с Андреем полке жались друг к другу два последних пирожных, которые Андрей купил несколько дней назад. Катя машинально достала пирожные, села на стул и, чтобы не встречаться с Ромой взглядами, стала смотреть, как за окном медленно переваливается на круге старенький трамвай. Рома же управился с кофе-машиной и принялся медленно нарезать сыр для бутербродов.

Есть захотелось ещё сильнее, и тогда Катя медленно поднесла к губам пирожное и осторожно надкусила. Подмёрзший крем громко хрустнул, но начинка была мягкая и вкусная. И тогда она вдруг улыбнулась — ушёл, а ещё заботится о ней.

Тем временем Рома тоже подсел к столу.

— Слушай, Катя, я случайно услышал тут ваш разговор с Володькой и узнал, что вы с Андреем расстались, — начал он мягко. — Не хочу тебя обидеть, но, знаешь, всё к лучшему. Это сама судьба тебя ограждает, поверь! Ты же красивая девушка, у тебя всё впереди.

— Спасибо, Рома, — грустно ответила она и ещё раз взглянула на пирожное с маленькой инеинкой на месте отгуса, — может, ты и прав...

— Давай со мной кофе, — предложил он и, не дожидаясь согласия, подвинул ей свою чашку, а сам опять завозился с кофе-машиной. — Пей, пей, — а потом стал нарезать ещё бутерброды и заговорил о разных неважных и беззаботных вещах.

Катя была благодарна Роме — она слушала его и неожиданно для себя стала думать, что вот не любила Рому в последние месяцы, злилась на него из-за их конфликта с Андреем, а он, оказывается, хороший человек, гораздо лучше, чем она. Ей было и тепло от этой мысли, и горько, хотелось что-то сделать для других — и она торопливо поднялась, взялась за ручку кофеварки, нажала, но там что-то хрустнуло.

— Садись, Катя, я сам, — остановил её Рома, широко улыбаясь. — Тут у меня целая система, человеку неподготовленному не управиться...

Ей стало стыдно, села и нерешительно пригубила свой кофе, но Рома продолжал говорить о чём-то весёлом. И она стала отвечать на его слова сначала коротко, потом увлечённо и вскоре обнаружила себя ласково смеющейся чему-то. На мгновение остановилась, удивлённо прислушалась к себе — ноющая точка внутри болела так же отчётливо и затаённо, и, словно

проверив спящего младенца в коляске, Катя торопливо вскинула взгляд и опять засмеялась.

Я проснулся от их голосов. В открытую форточку тѣк поток прохладного воздуха, задевая и меня, так что хотелось по-кошачьи жмуриться навстречу ему, и в то же время от неровного шелеста не разобрать было, о чём же так звонко говорят на кухне. Я лежал, лениво прислушиваясь, всё ещё находясь как бы и здесь, и в воспоминаниях четырёхлетней давности, с которыми засыпал, и мне правилась эта сонная неопределѣнность, смешение двух людей, меня того и этого, в одном мечтательном мгновении.

И потому ли, что в комнате было уже светло или что ветер из форточки был так бодр и приятен, но из прошлого вспоминалось не расставание, не желание всё время удерживать Катю рядом, не ревность к Борису и ко всему миру, а самое пронзительное: какой-то особенно радостный день — мы стоим на пороге общежития, Катя вдруг проводит рукой по моим волосам, я замираю от щемящего чувства боязни нарушить это прикосновение, а она наклоняет голову ко мне на плечо. Обычно нежность в наших отношениях исходит только от меня, а она лишь принимает её, а тут всё по-настоящему. И теперь сегодняшний светлый день воскрешал эту прошлую радость, а та текла обратно, в меня теперешнего, и потому я одновременно оставался и самим собою, и тем же влюблённым парнем, которым был тогда. Но ведь и девушка, наклонившая мне голову на плечо, была та самая Катя, которая сидела сейчас с Ромой на кухне...

Тихо наступая на тёплые деревянные полы, я прошѣл по коридору и остановился на пороге, стараясь приглядеться к Кате, может, понять по её виду, как она провела эту ночь, в каком настроении сейчас, но ничего особенного не обнаружил — она сидела у окна и смотрела на Рому, стоявшего ко мне спиной и увлечѣнно рассказывающего ей о чём-то. Увидев меня из-за его плеча, Катя едва заметно кивнула в сторону стола, приглашая меня сесть, и засмеялась, то ли Роминой последней шутке, то ли тому, что тот не замечает меня. Рома, наконец, почувствовал движение у себя за спиной и, не оборачиваясь, специально повысил голос:

— А Володьку не слушай! Он тебе будет всякую ерунду говорить, а ты пропускай мимо ушей.

— Да я и не говорю... Это не в моих интересах, — пошутил я, вроде бы и вскользь, но достаточно явно, и самому стало приятно от собственной смелости.

— Кстати, у меня же заначка одна есть, сейчас принесу, — заторопился Рома, вскочил и быстро зашагал в нашу комнату, а потом стало слышно, как там загадочно зашуршал бумажный пакет.

Но едва он вышел, Катя мгновенно посерьѣзела и виновато опустила глаза, словно опасаясь, что я буду упрекать её за недавний смех. Щѣки её побледнели, и вот теперь-то мне действительно показалось, что за ночь она похудела и лишилась своего прежнего весеннего благоухания, обернувшегося сухой притихшей красотой, — это была вроде как совсем не та Катя, с которой я расстался четыре года назад, а может, даже не та, что сидела здесь вчера.

— Знаешь, мне ещё никогда не было так больно, как этой ночью, — заговорила она спокойно и глухо. — Может, это значит, что я его по-настоящему люблю?

Сердце моѣ упало. Я отчаянно пытался справиться со своим лицом, чтобы всем своим видом показать, что той глупостью, которую я сказал недавно, я лишь подыгрывал Роме.

— А сегодня я шла из церкви и вот точно почувствовала, что мы должны быть вместе, вот прямо отчётливо. И когда так чувствуешь, то ведь уже точно всё закончится хорошо, правда?

— Да, — согласился я.

— Я хочу ему позвонить, а там будь что будет... Думаешь, это неправильно?

— Правильно, — ответил я эхом.

— Я не боюсь, что он меня не любит, понимаешь? Если не любит, значит так и должно быть. Но я боюсь, что он уже с той девушкой, с Варварой, и если я позвоню, то он станет жалеть меня. Или ещё хуже, он вернётся ко мне, но будет знать, что ему лучше было с ней.

— В среду собрание ячейки, — осторожно произнесла она после небольшой паузы, и я уже знал, о чём она хочет попросить меня.

— Я схожу, — сказал я, опережая её вопрос, и она благодарно кивнула мне за то, что я угадал правильно. К счастью, в это время Рома вновь появился на кухне с цветастым кульком в руках и замахал этим кульком на нас обоих:

— Ну-ка хватит о ерунде! Давайте веселее, больше сладостей и хорошего настроения.

А я ещё немного посидел с ними, потом поднялся и двинулся в ванную, вроде как чтобы умыться, а из ванной ускользнул обратно в комнату, сел на кровать и упёрся локтями в колени. Заметила она или не заметила, сгорал я со стыда. Нет, конечно, заметила, может, просто не показала...

Вернулся Рома, было слышно, как Катя прошла к себе — легко хлопнула её дверь. Я сидел, и передо мной была та же стена, на которой вчера ночью лежал серый полукруг. Сейчас здесь был дневной свет, а не предательский сумрак, в котором всякие нелепые мысли могли пролезть в голову. Теперь, после недавнего помутнения, мне особенно хотелось, чтобы Андрей и Катя были вместе, хотелось идти к ней и подбодрить изо всех сил. Но как же мне было после всего этого говорить с ней, всё время бояться и переживать, заметила или не заметила, нет, проще сейчас же всё рассказать, и пусть это будет ужасно стыдно и нелепо, только бы не мучиться больше от неопределённости — я решительно встал и прошёл в их комнату.

Катя спала полусидя на кровати, наклонившись головой к стене. Подушка лежала у неё на коленях. В разжатой руке она держала телефон, будто даже во сне ждала звонка от Андрея. Я остановился в дверях, не решаясь приблизиться. И тогда всё, что я переживал ещё минуту назад, разом выветрилось, а на душе стало сухо и тепло.

Я шагнул к открытому шкафу, достал тонкое шерстяное покрывало, осторожно накрыл её и вышел в коридор.

8

Накануне собрания ячейки я проснулся посреди ночи. Встал, медленно пошёл на кухню, как вдруг заметил, что из-под двери Катиной комнаты пробивается слабый матовой свет. А когда осторожно заглянул туда, увидел, что Катя сидит в наушниках за компьютером, наклонившись почти к самому монитору, а там, на экране, лицо Кургузова, который яростно говорит в камеру — это была одна из тех лекций, что постоянно смотрел по вечерам Андрей. Услышав шорох, Катя ударила по клавиатуре и резко оглянулась. Лицо Кургузова замерло на экране, искажённое остервенелой гримасой, но по случайности с лёгкой хитринкой в глазах.

Я подошёл к Кате и сел рядом.

— Ну зачем ты себя так изводишь? Разве это поможет?

Она отрицательно покачала головой, сняла наушники и посмотрела на меня в упор.

— Тебе лучше сейчас высыпаться, так ты только добьёшь себя, — продолжал я настойчиво, но она молчала.

— Знаешь, — наконец, заговорила слабым голосом, — когда делаешь что-нибудь плохое, и так из раза в раз, то попадаешь как в болото и там вязнешь, и уже не можешь выбраться. Это чувство, оно противное, но даже немного сладкое, и этой сладостью держит. А когда начинаешь сопротивляться, сладость пропадает, и тебе как бы говорят — ах, не хочешь по-хорошему, будет тебе по-плохому. И тогда ощущаешь себя как в помойке, и уныние накатывает очень сильно. И думаешь, всё, я скатилась, теперь нельзя уже просить прощения, и стыдно очень, а всё равно не просишь. А от этого ещё хуже...

— Катя, за что тебе просить прощения?

— Да за всё, за всё!

Мы замолчали. Катя сидела совсем близко, я слышал, как она дышит. Блёклый свет от монитора выхватывал из мрака край её щеки и тонкий локон волос, спадающий на лицо. Но ни этот локон, мелко дрожавший в нескольких сантиметрах от моих глаз, ни её дыхание в облипающей нас, как чёрной гудрон, темноте — ничего не могло задеть меня. Ничего не осталось теперь во мне кроме желания защитить её, словно бы она была уже не девушкой, которая мне нравилась раньше, а моей сестрой или дочерью. И я мог бы сейчас отдать Катю Андрею и не испытал бы ни ревности, ни сомнения, только бы он не обидел её...

Но уже скоро всё должно было стать ясным — напряжённое ожидание развязки не покидало меня весь следующий день. А когда я вечером ехал в трамвае от Войковской в Коптево, мне представлялось, что вот сейчас я войду к ним, увижу Андрея и Варвару, и одной секунды достаточно будет мне, чтобы во всём разобраться. К вечеру ещё сильнее распогодилось, стало по-летнему солнечно, и затейливые улочки призывно распахивались передо мной, но я не позволял себе любоваться их красотой. Вошёл в знакомую арку, миновал шлабаум, где ещё месяц назад мы стояли с Катей, отыскал нужное крыльцо.

В фойе перед лестницей толпилось несколько человек. Я решил не приближаться к ним, а встал сбоку, вслушиваясь в обрывки разговора, поглядывая боковым зрением. Кто-то взахлёб перечислял города — Луганск, Шахтёрск, Торез, Снежное, Енакиево, мне знакомы были эти названия, постоянно мелькавшие в новостных сводках.

— Енакиево вчера, — поправил другой голос.

— В Горловке и прокуратура, и администрация — всё наше, — я обернулся и узнал Пашу, молодого парня с георгиевской ленточкой в лацкане пиджака, который больше всего возмущал Катю. — Все на своих местах, все работают.

— На Девятое мая будет самое главное — вот увидите...

А потом я увидел Варвару, она спускалась по лестнице, одна, без Андрея. Была одета в строгую белую блузку, и никаких обнажённых плеч, как в прошлый раз; тёмные короткие волосы часто поправляла за ухо — такой деловитый и в то же время неуверенный жест; серёжки — два крошечных строгих квадратика; лицо круглое; прямой нос; едва заметный румянец — она не была красивой, но затаённое, резкое, притягательное и правда было в ней. Я смотрел на эту девушку, и меня обжигала мысль, что сейчас я должен разгадать не только Андрея, но и её, и что это чужое сердце беззащитно передо мной, и не скрыть ей от меня никаких тайных устремлений и чувств.

— Сегодня аншлаг, двенадцать человек новеньких, — сообщила Варвара с таинственной полуулыбкой. — Восемь из института культуры от Васи Покровского, — и один из ребят, вихрастый паренёк в голубой рубашке, довольно вскинул голову.

— Пётр Петрович-то там?

— Да там, — ответила с внезапным раздражением, — главное, чтобы не заговорил с кем-нибудь.

Потом взглянула на часы и сильнее нахмурилась оттого, что они задержались, что потеряли какую-то важную минуту.

— Всё, ребята, пора, — сказала строго, и остальные лениво зашагали по лестнице наверх.

Никто так и не обратил на меня внимания, и я поднялся вслед за ними. В зале для заседаний они рассредоточились и слились со всеми остальными. Вдоль стены нервно ходил тот самый пожилой человек, который отчаянно спорил с Пашей в прошлый раз и которого, видимо, звали Петром Петровичем. Появился Андрей, рассеянно поздоровался и сел рядом. Мы не заговаривали друг с другом, только чувствовали напряжённое присутствие другого человека. Андрей вытащил из рюкзака несколько распечатанных листов, но я видел, что он не читает, а только скользит по ним взглядом.

На сцене возвышалась массивная деревянная кафедра, а на дальней стене висел большой флаг России. Варвара шагнула на сцену, встала рядом с кафедрой. Я старался поймать любой её тёплый взгляд в сторону Андрея, ожидание поддержки от него или наоборот, горделивое женское желание вызвать восхищение, вот какая я, веду этот вечер на твоих глазах, — но ничего подобного не было, или, по крайней мере, заметить я не смог.

— Все вы хорошо знаете, что ситуация на Юго-Востоке очень тяжёлая, и многим хотелось бы обсудить именно её. Но мы решили посвятить сегодняшнее собрание тем, кого Сергей Владленович называет тамошними, то есть либералам. Потому что фашизм на Украине и либерализм в России — это две медали одной и той же монеты, — начала она. — И поэтому сейчас Павел Косов прочтёт нам свой доклад. Меня всегда поражало, как Паша по-настоящему лично воспринимает политические противоречия, как он переосмысливает всё, что говорит Сергей Владленович. Для него это не просто слова, а настоящая жизнь. И это очень и очень правильно...

“А может, Паша, — подумал я, — они ведь часто бывают вместе”, — и эта неожиданная мысль сильно взволновала меня.

Паша вышел на сцену лёгкой спортивной походкой, покачивая плечами, как перед дракой, и мне даже показалось, что именно такой вот парень и должен нравиться девушкам. Опёрся локтями на кафедру, навалившись на неё всем телом.

— Спасибо тебе, Варвара Сергеевна, за веру в меня, — пошутил наигранно, но в этой шутке, вроде бы развязной, было что-то заискивающее и смущённое, отчего сам Паша стал вдруг гораздо менее опасным. — Мне ещё далеко до прозорливости Сергея Владленовича, — поглядел в зал, как бы ожидая, что его будут разубеждать. “Нет, не может быть, уж скорее Андрей, чем он”, — решил для себя я.

Атмосфера вечера сильно отличалась от той, что была в прошлый раз — никто не стремился сразу же перебить Пашу, все внимательно и одобрительно ждали начала. Полный человек лет тридцати в растянутом свитере, в ближайшем ряду наискосок от меня, один из стареньких, взмахивал кистями, будто дирижируя, а вихрастый поглядывая на него и улыбался. В середине зала сидели две пожилые женщины, кажется, совсем случайно попавшие сюда.

И вот Паша объявил, что его доклад называется “Как нам спасти Россию”. И с того момента стало словно бы две комнаты, две сцены, два зала с людьми. В одной из комнат сидело пара десятков человек, а перед ними выступал паренёк в костюме, произносивший возвышенные слова напряжённым митинговым тоном, иногда переходившим в едва заметную насмешливость, как будто он объяснял маленьким детям в школе и одновременно шутил над простотой объясняемого. И от этого само заседание казалось похожим на постановку в школьной самодеятельности.

Во второй комнате на стене висел большой прожектор и бешено мерцал в такт словам выступавшего, азбукой Морзе передавая то, что было жизненно важным не только для собравшихся, но и для всей России. Из мерцания прожектора мы узнавали, что в России властвует политический класс, состоящий из преступников, разворовавших страну. Мы узнавали, что эти преступники потешаются над святой Победой и всерьёз рассуждают, нужно ли было сдавать фашистам блокадный Ленинград. Мечтают, чтобы население России сократилось в несколько раз и чтобы отпали Урал и Сибирь. И вот в этой сложной ситуации появлялся Паша, который всё увидел и понял. Вернее, понял всё Сергей Владленович, но когда Паша говорил, всем вокруг казалось, что он как минимум тоже причастен к этому открытию, по крайней мере он-то охватывает своим взглядом ситуацию целиком, и кроме Сергея Владленовича только он может объяснить всё так хорошо. Паша видел людей этого класса насквозь — политики, телеведущие, актёры, он зачитывал их цитаты, и всем становилось ясно, как же сильно те ненавидят Россию.

Но Паша не только понимал проблему, но и знал решение, а именно — нужно было создать альтернативный политический класс, новую национальную элиту. И уж конечно национальная элита не возникнет сама собой,

её формированием необходимо заниматься — это было так очевидно, что понимал это не только сам Паша, но и все собравшиеся в этой комнате должны были понимать, а если не понимали, то Паше было искренне их жаль. Собственно, формированием этого политического класса и занимались Паша и его соратники в рамках движения Сути...

В основном все собравшиеся находились во второй, мерцающей, комнате, но кто-то сидел и в первой. Вихрастый парень и человек в свитере осторожно переговаривались, видимо, слышали что-то подобное уже много раз и привыкли — и случалось даже, что сквозь речь Паши прорывались резкие обрывки их фраз, распахивая дверь, так что люди из второй комнаты могли вдруг видеть краешек первой, но в тот же момент виноватые смущённо оглядывались, прося прощения за бестактность, и дверь снова закрывалась. Однажды в запале гнева Паша особенно картинно закричал о том, что либералы называют русских тараканами и свиньями, так что в зале засмеялись, наверное, над забавным сочетанием животных, и в прожекторе что-то на мгновение сломалась, и вторая комната исчезла, и стало темно и пусто. И тогда поднялась Варя, нахмурилась, сделала резкое замечание в зал — видно было, что она не потерпит глупых шуточек, когда речь идёт о важных вещах. И опять я напряжённо гляделся в её лицо, но не было в ней того особенного волнения, которое должно было выдать влюблённую девушку — ни к Андрею, ни к Паше, только ровная холодность в глазах, и в то же время жадная страстность ко всему, что касалось обсуждаемых вопросов.

А Паша говорил. Что же нужно было делать, чтобы сформировать национальную элиту — безусловно, нужен был человеческий материал. Нельзя создать самолёт из глины, но если есть глинозём, то можно выплавить алюминий и создать из него самолёт. Но вот оказывалось, что глинозём есть, а алюминия пока очень мало. И самый важный вопрос сейчас — как нам всем, или хотя бы самым сильным из нас, стать алюминием... Варя зашевелила губами, кажется, повторила это странное “стать алюминием”. Почему алюминий, а не железо, подумал я вскользь. Паша повернулся и сделал несколько шагов от трибуны к дальней стене, на секунду скрылся от моих глаз за большим книжным стеллажом, а потом прошёл обратно и вновь повернулся лицом к залу. Ситуация была критической. Паша должен был осознать то, что не в силах, потому как сейчас спасти Россию было почти невозможно. Но Пашу, кажется, наоборот, вдохновлял масштаб задачи. Разве нужно было поднять руки сдаваться? Вывесить белый флаг? Нет, нужно поменять себя, открыть внутри героическое естество, нечеловеческим усилием воли превратиться из Савла в Павла, из слабого обывателя в героя, способного справиться с любой задачей. Как говорит Сергей Владленович — стать уже не я, а сверх-я. Сверх-я — и прожектор отчаянно завибрировал, и все заморгали от его нечеловеческой частоты, а Варя восторженно сцепила руки, оглядывая зал. “Ну зачем она так рисуется, — никак не мог понять я. — Хочет расположить к себе новеньких? Или действительно не понимает, как это всё неловко?” И тогда неожиданная злость поднялась во мне на Варвару, и стало стыдно за неё, и обидно, что я шёл сюда, желая угадать в ней человеческую слабость, женскую влюблённость, которая была бы симпатична мне, а нашёл лишь одержимость твёрдыми, как кусок железа, идеями.

Я отвернулся, но в тот же момент увидел, что сидевший рядом Андрей больше не горбит и не смотрит в свои распечатанные листы, а внимательно слушает Пашу и даже тянется головой вперёд, к сцене. И моя злость на Варвару мгновенно вылилась на него. Он такой же, подумал я, ему не нужно никакой любви, никаких чувств, всё это его просто не интересует. Мне хотелось наклониться к нему и спросить резко, что же его привлекает здесь, разве он не понимает, что это всё — простые разговоры? И ради этих разговоров покинутая и брошенная Катя, которая в слезах смотрит Кургузова по ночам...

Паша заканчивал. Варвара благодарила его за замечательный доклад, давала слово другим людям высказаться с мест. Поднимали руки, задавали вопросы, Паша стоял, одной рукой опираясь на трибуну, и уверенно и чуть насмешливо отвечал — а я сидел и уже совсем не слушал, только комкал

старый трамвайный билетик, случайно завалившийся в кармане. И наконец, не выдержал и выбросил руку вверх, но сразу же удивился своему неожиданному порыву — что за глупости, что я делаю, зачем мне это — и опустил. Однако Варвара уже заметила этот жест, последовательно дала слово тем, кто просил его до меня, а потом приветливо кивнула в мою сторону, и я понял, что мне действительно придётся сейчас говорить.

Я встал и некоторое время ещё рассеянно молчал. В дальнем углу у окна висела батарея, но почему-то не внизу, под подоконником, а прямо посередине стены, и на ней застыли густые коричневые потёки. Сердце моё билось бешено. Я боялся, что меня собьют, начнут о чём-то спрашивать, и действительно, не дождавшись моих первых слов, Варвара вдруг обратилась ко мне:

— Ты ведь, кажется, уже был у нас и в прошлый раз даже не представился. Расскажи тогда коротко, кто ты, что тебя привело сюда, — и я не знал, что ответить ей.

Я попытался взглянуть в её лицо, понять, зачем она об этом спрашивает, может, она запомнила меня с того мартовского вечера, когда мы шли вчетвером по трамвайным путям в тёмной улочке — и тогда в этом вопросе заключалось нечто большее, чем просто вежливость организатора. Но нет, и ко мне, конечно же, не было в ней ничего затаённого: спокойный ровный интерес к новому человеку.

— Меня зовут Владимир Молчанов, — ответил я с вызовом, будто моё имя могло что-то объяснить им.

Они сидели и смотрели на меня выжидающе. Я понимал — у меня всего несколько секунд, пока они ещё не потеряли ко мне интереса. Эта странная Варвара; вихрастый парень в голубой рубашке; пожилой человек с недовольным видом; Паша, скучающий и небрежный. Но самое главное — Андрей, на которого я боялся смотреть, но который был совсем рядом. По большому счёту я не знал, что говорить, мне казалось только, что есть какие-то самые верные и сильные слова, которые могут вдруг найтись, и тогда все эти люди, и Андрей, чудесным образом мгновенно поймут всё, но эти слова застыли у меня в горле...

Наверно, мне хотелось сказать им, что их идеалы, которые они так яростно пропагандируют, не так уж и однозначны. А ещё, конечно же, о Кате и о том, что любовь есть единственное важное в мире. И что, если этого не понять и не перестать ненавидеть, либералов или ещё там кого-то, ничего хорошего не получится... Но, если честно, почти не запомнил то, что сказал на самом деле.

Кажется, начал с какой-то пафосной фразы, вроде бы даже вот с такой: — Я пришёл сюда, чтобы говорить с вами о любви.

Позади тихо засмеялись, а Варвара удивлённо взглянула на меня, но я побоялся останавливаться и продолжал, пока меня не перебили:

— Вы всё правильно говорите — эти либералы, они ненавидят страну, их надо отстранять от власти... Вы правильно говорите, пора менять ситуацию. Но нельзя ничего такого масштабного сделать, если не любишь других. В прошлый раз, когда я у вас был, упоминала о том же... ты, — посмотрел я на Варвару и почувствовал, что мне надо сейчас назвать её по имени, но не знал, как — Варварой или Варей, на секунду смутился, и всё-таки не назвал никак.

— Да, вы в чём-то правы, правы, — продолжал через секунду, чувствуя, что сильнее задыхаюсь и путаюсь. — Но ваша элита может только убивать тех, кто с ней не согласен, — выговорил прямо в сторону Паши, а он с растерянной улыбкой огляделся по сторонам, в поисках защиты от такого наглого обвинения.

— А кто хочет убивать? — недоумённо вставил он, и я выпалил в ответ:

— Вы, вы!

А потом слова вырвались из меня, и я уже не следил за собой, а просто говорил и говорил. Всё это выходило плохо и нелепо, совсем не так, как мне хотелось бы, но я уже не мог остановиться и рвался вперёд, не думая, — теперь уже было всё равно.

— У вас ничего не получится, потому что вы никого не любите... Вам плевать на других людей... А если вам плевать на других людей, то вы не элита, вы просто болтуны, которые много о себе думают...

Когда я закончил, то вдруг почувствовал, что дрожу всем телом и сильно сжимаю спинку впереди стоящего стула, а сидящий на нём человек обернулся и старается отодвинуться от меня, как можно дальше. Я отпрянул назад, опустил голову, а потом до конца собрания боялся встретиться с чьим-нибудь чужим взглядом. Я был уверен, что сделал ужасную глупость, и сейчас все смотрят на меня с осуждением и даже ненавистью. Но обсуждение потекло дальше, буднично и спокойно, и никто даже не вспомнил обо мне, и не возразил, будто я и не говорил ничего вовсе. И тогда я понял, что вся эта моя речь оказалась лишь одной из яростных реплик, которые так часто звучат здесь, и ничего необычного не произошло, и тогда мне отчего-то особенно стыдно стало за свой бессмысленный и сумбурный крик.

Когда же собрание закончилось, какое-то время все ещё сидели на своих местах и оживлённо переговаривались, а я боялся слишком резко подняться и поспешить к лестнице, чтобы они не воображали, что я сконфужен своим выступлением. И лишь когда первые ребята двинулись к выходу, я встал и нерешительно обернулся к сидевшему рядом Андрею. Но к нему как раз в этот момент подошёл незнакомый человек, и я решил не стоять рядом с глупым видом и медленно, независимо шагнул к двери. Спустился на первый этаж и оказался в просторном фойе, где скопилось небольшая очередь к гардеробу, но в конец не встал, а остановился у большого стенда и смущённо топтался с ноги на ногу.

Мимо двигались люди. Тот полный человек в свитере, который сидел неподалёку от меня, воодушевлённо взмахивал руками, говоря с женщиной лет пятидесяти:

— Я был там, прямо на этих баррикадах, видел их величественные шахтёрские лица. Представьте себе, донецкая администрация, всюду покрывки, и они стоят. Это просто поэзия! Летом собираюсь опять, сумасшедшая там энергетика...

Прошла рядом Варвара и даже, кажется, бросила на меня короткий ледяной взгляд. И тогда я вдруг представил себе, что никто здесь не помнит моих порывистых слов, и только она, уязвлённая до глубины души, ещё копит в себе возмущение и даже приблизиться ко мне считает недопустимым — но тут же прогнал эти нелепые мысли, вызванные лишь собственной неловкостью.

Задержался возле меня только Паша. Он подошёл с лёгкой улыбкой и по-дружески похлопал по плечу.

— И всё-таки ты не прав, этих либералов нельзя жалеть, — выговорил весело и беззаботно, как бы продолжая недавно прерванный разговор, — они же развалили твою страну, выпили из неё все соки, и сейчас пьют. Это твоя главная ошибка, — и, довольно усмехнувшись, сделал характерный жест рукой, как бы приглашая меня встать перед собой в конец очереди.

Я обрывисто кивнул и подчинился его приглашению. В этот момент подошёл Андрей и остановился рядом.

— До метро? — тихо спросил он.

— Да, — ответил я.

Мы вышли в тёплый и ещё совсем светлый город. Было тихо, я чувствовал себя очень усталым. Чуть поодаль, возле низенького решётчатого забора, курили несколько ребят, и мы буднично стали прощаться с ними — сначала Андрей, потом я. На душе было тревожно от мыслей о том, как мы сейчас пойдём до метро, о чём будем говорить. Но в тот же момент рядом с нами оказался Паша, и мы двинулись к арке, ведущей к выходу из двора, втрём. И тогда я сообразил, что ведь и не могло быть иначе — они же с Андреем живут сейчас вместе, конечно же, и с собраний они не могут возвращаться по отдельности.

Вошли в тёмную арку, а потом город распахнул перед нами свою тихую улочку. Паша что-то говорил, но я не слушал. Сели в полупустой трамвай.

Они опустились на ближайшее сдвоенное место, а я остался стоять рядом, подчиняя своё расслабленное тело его неторопливому болтанию. Зачем же я приходил сюда, подумал ещё. Узнал, что Андрей не с Варварой, а разве это не было понятно и так? Сказал что-то важное Андрею — нет, и не уверен, что он понял мои сумбурные мысли...

Подъехали к Войковской, а когда сошли на тёплый, залитый весенним солнцем асфальт, я попрощался с ними и вспомнил, как месяц назад так же остался на этом маленьком пятачке между трамвайной остановкой и подземным переходом, а Катя с Андреем спустились в метро. А когда напоследок протянул Андрею руку, он чуть дольше, чем нужно, задержал на мне внимательный и немного виноватый взгляд.

Я стоял, потерянно глядя вокруг. Мимо текли те же люди, что и месяц назад, те же машины неслись по шоссе. И тот же огромный плакат “Крым, добро пожаловать домой!” висел у метро, прямо рядом с оживлённым Ленинградским шоссе. Только цвета российского флага, в который был окрашен полуостров, казались мне поблекшими — то ли потому? что теперь я представлял, как эту фразу произносит Паша, то ли грустно было за Андрея и Катю, то ли это была всего лишь придорожная пыль.

Ещё раз огляделся и медленно двинулся по лестнице к метро.

9

Уже потом, через несколько месяцев, когда мы с ним особенно сблизились и однажды остались вдвоём на целый вечер, Андрей рассказал мне, как прошли для него те дни без Кати и вообще рассказал о себе...

Самым сильным потрясением в его жизни была смерть отца.

Андрею исполнилось тогда одиннадцать лет. Он хорошо запомнил, как во дворе перед его домом в центре Кронштадта выстроились в ряд несколько людей в военной форме. Один из них поддерживал неподвижную бесслезную мать. Сзади толпились знакомые, соседи, друзья. Какая-то женщина подошла к нему сзади и надела кашубон на непокрытые волосы, но Андрей с силой снял его и нарочно открыл ворот куртки, чтобы холодный воздух падал не только на голову, но и в горло. Женщина не решилась подойти к нему снова, и только вздохнула, а потом всё время, пока длились похороны, продолжала смотреть грустным, обжигающим своей жалостью взглядом.

После похорон их дом погрузился в мертвенный сон. Мать почти всё время лежала на кровати в своей комнате и лишь иногда скрюченной старухой бродила по квартире, как будто решила никогда больше не возвращаться к прежней жизни в память об отце. Она потеряла свою взрослую силу — не готовила, ходила непричёсанная, в старом полинялом халате. Андрею было жаль её до стыда, и когда он начинал думать об этом, ему хотелось убежать, ударить себя за этот стыд. В школе были каникулы, к друзьям во дворе он не ходил и сам впал в лишнее отчаянье, похожее на непрерывную дремоту. А на третий день после похорон ему приснился отец, который грустно качал головой, глядя на него, но ничего не говорил. Андрей проснулся от сильной тревоги и вдруг понял, отчего был грустен отец — теперь он, Андрей, остался главным мужчиной в доме и должен отвечать за всё, что происходит, а он только распустил юни и даже обвиняет мать. В отчаянье Андрей вскочил с кровати, бросился на кухню, налил воды в большую кастрюлю, чтобы приготовить суп, потом принялся с ожесточением резать овощи, а после обрушил мокрой половой тряпкой на запылённые полы, торопливо, стараясь нагнать эти три дня бездействия. Но когда наткнулся в коридоре на военные отцовские сапоги, стоявшие на обычном месте рядом с входной дверью, не смог прикоснуться к ним, чтобы убрать, сел на пол и зарыдал. На звук из комнаты выскочила заспанная мать, увидела ведро воды, тряпку, плачущего сына, и они оба заплакали, скорее, даже не от смерти отца, а от огромной чёрной несправедливости, вдруг разверзшейся перед ними...

От отца остались книги — одну из них, старую с потрёпанным переплётом, Андрей сохранил до конца школы на полке за учебниками. В книге было много о советской армии, о её чинах, о военных тактических построениях,

но для Андрея она была частью отца, его военного мира. Ещё у него в комнате остались большая красочная книга про барк “Крузенштерн”, на которую отец ходил в молодости, и учебники по советской истории. В школе Андрей не очень любил этот предмет, но отцовские книги не имели никакого отношения к школе. В них было главное — честное ощущение правды без примесей и компромиссов, от которого становилось спокойно на душе. Иногда ещё, долгими летними днями, Андрей уходил из города куда-нибудь далеко, за старое Кронштадтское кладбище, и подолгу сидел на берегу на кривых железных балках, сжимая кулаки и глядя в море, как будто именно туда, в чужие враждебные края, ушёл отец, чтобы продолжить свой бой.

Понемногу горечь утраты стала уходить из сердца, но об отце он всё равно вспоминал часто, каждый раз настойчиво стараясь найти внутри себя ответ — что бы тот сказал, как бы сейчас поступил. Андрею хотелось быть таким же твёрдым, но, воспитанный матерью, он был склонен к нерешительности, и, зная об этом, часто стыдился себя. В школе стремился быть сильным и всегда правым, но даже там, в кругу одноклассников, ощущал досадную неуверенность, которую пытался скрыть за резкостью слов и поступков. После школы хотел идти в суворовское, но уступил матери и подал документы в технический вуз.

Теперь Андрей и не мог толком вспомнить, как же прошли его институтские годы в маленьком городке неподалёку от Петербурга. Но нет сомнения, что за студенческими развлечениями, весёлыми компаниями, красивыми девушками он всё это время бессознательно искал своё. После института сокурники его разбегались кто куда, а с девушкой, с которой он встречался последние два года, у них так и не сложилось — всё было поверхностно и глупо, словно люди и не должны стараться понять друг друга, а только удовлетворять потребности и иногда, как все, ходить куда-то тратить деньги. Андрей хотел остаться на кафедре, потому что считал, что это самый проверенный и ясный путь, но тут один из его школьных друзей предложил работу в Москве, и так настаивал, что Андрей неожиданно для себя согласился.

И вот здесь-то он оказался совсем чужим, как волк-одиночка. В метро он старался не смотреть на людей и всё время дороги проводил в настойчивом чтении каких-нибудь книг. В офисе было ещё менее уютно — коллеги казались непривычно холёными и неискренними. Он заговорил с ними однажды об истории, но им было совсем не интересно. А потом заметил, что все они стали относиться к нему насмешливо и даже школьный друг теперь избегал общения. Андрей прочитал тогда большое исследование о Сталине и Берии, и это отозвалось в душе. Он стал жадно искать литературу, но толковой было мало. Сходил на два митинга — коммунистов и ещё одной маргинальной партии, жадно вслушивался в вибрирующие невнятные слова, но ни один не удовлетворил его в полной мере. Пока однажды он не попал на один из митингов Сути, посвящённый седьмому ноябрю.

Они в то время уже несколько месяцев встречались с Катей, но всё протекало буднично и спокойно — не было чего-то особенного в их отношениях, и он сомневался, стоит ли их продолжать, но пока только обдумывал свои сомнения. Кроме того, у Кати были странности — она вела себя с ним, как озорной и глупый ребёнок, часто и совсем невпопад шалила, иногда это даже нравилось ему, но представлялось всё-таки несерьёзным. Впрочем, в Москве у него не было ни одного более-менее близкого человека, кроме неё, и Андрей не торопился расставаться. Он вообще не любил резких непродуманных решений, потому что плохо понимал, что ему подходит, а что нет. Катя тогда всё говорила: “Ну почему мы сидим дома, давай куда-нибудь сходим, развеемся”, и когда он нашёл в интернете, что сегодня вечером происходит такой вот митинг, оживилась, потому что любила всё необычное.

Было холодно, а когда они уже вышли из метро к Краснопресненской заставе, пошёл шквальный дождь. Митинг проходил здесь же — сцена располагалась спиной к ним, на неё был направлен свет крупного прожектора, а дальше, в глубину темноты, уходили ряды людей с красными флагами. И пока Андрей с Катей обходили собравшуюся толпу, пока стояли в очереди, чтобы пройти через рамы металлоискателей, лишь отзвуком доносились

до них чьи-то громкие, но обрывистые слова не со сцены даже, а из-под самой земли. А потом, когда встали с краю, там, где видны была лишь часть сцены да огромный экран, на котором сменяли друг друга картинки из советской хроники, случилось первое открытие, неприятно поразившее Андрея. Со сцены совсем молодой парень принялся читать стихи, сильно взмахивая руками, так что было видно даже издалека. Это показалось Андрею ненужной самодеятельностью, он вопросительно взглянул на Катю, та только улыбнулась и пожала плечами: “А что, интересно!” “Кто меч скучёт? — Не знавший страха”, — провозгласил тем временем парень, и Андрей решил перетерпеть это, потому что стихи были на историческую тематику. Но потом вдруг сильнее откашлялись колонки, и по всей площади ударило: “И вновь продолжается бой!” И опять Андрей в растерянности взглянул на Катю, но та весело закачала головой в такт мелодии и стала, дурачась, пританцовывать на месте. И в этот раз Андрей решил согласиться, потому что это была советская песня, подходящая к праздничной дате.

А потом въедливо и требовательно вслушивался в речь каждого выступавшего. Удовлетворённо кивнул на слова молоденькой девушки: “у нас украли страну, украли и праздник”, хотя и отметил её неподготовленность и сбивчивость; запомнил пожилого человека, захлёбывающегося в словах, и вздохнул от того, что почти ничего не понял из того, что он говорил. Но всё это было в целом знакомо и обычно для подобного мероприятия. Фигуры памятника героям 1905 года равнодушно выглядывали из темноты, а над ними висели яркие блики фонарей, расплывавшиеся в дожде в пятиконечные звёзды, на которые трудно было смотреть прямо. В толпе медленно размахивали знамёнами, а часть собравшихся осторожно утекала сквозь рамки металлоискателей к метро.

И только последний оратор, по-видимому, самый главный из тех, кто выходил на сцену, расшевелил уже уставших людей. “Почему только нам в этот день запрещают гордиться тем, что мы открыли новые перспективы для человечества...” — кричал он во весь свой хриплый голос, а потом грянул: “Россия существует не для того, чтобы вписываться в мировые стандарты, Россия существует для того, чтобы их задавать!” и от внезапных аплодисментов затряслась площадь — Андрей одобрительно нахмурился и тоже два раза хлопнул в ладоши.

Они простояли с Катей до конца, и он даже хотел было подойти к кому-нибудь из тех, кто располагался ближе к сцене и, видимо, был хорошо осведомлён, что это за митинг и кого они здесь представляют, но потом всё-таки не решился и махнул рукой: “Ладно, пойдём, потом ещё прочитаю о них в интернете...” Но Катя вдруг заметила двух молодых участников с красными бантами на груди, парня и девушку, которые стояли у выхода и раздавали газеты уходящим людям. “Смотри, кажется, вот эти в курсе”, — сказала она и потянула Андрея за собой.

Андрей некоторое время упирался, но потом решительно двинулся за ней и, приблизившись к тем двоим, встал прямо перед ними, заслоняя поток людей и мешая раздавать. Те машинально протянули ему газету, обёрнутую в полиэтиленовый пакетик, на которой мгновенно брызнули крупные капли, но Андрей не протянул за ней руку.

— Вот этот человек, скажем так, ваш лидер, утверждал, что мы должны противодействовать десталинизации, — начал он требовательно и враждебно, как всегда получалось у него, когда он хотел говорить о важном, — я согласен с ним, например... но он же не говорит, как именно противодействовать, ведь должен же быть план... — и немного смутился от того, что запутался в словах.

Он не жалел, что задал вопрос так прямо, однако всё равно ждал в ответ знакомого для таких разговоров скучного выражения лица, отведения глаз и интонации, как с ребёнком, — ну, Сталин...

Но парень неожиданно громко рассмеялся и с удовольствием посмотрел на девушку. “Кажется, это наш человек, Варь?” — весело подмигнул он ей, а та привычно заговорила о политических и экономических проблемах страны, о мероприятиях, которые проводит их движение, дала свои координаты

и пообещала выслать материалы. А парень всё стоял и поглядывал с улыбкой. “Какой самодовольный”, — сказала потом про него Катя, она всегда плохо относилась к самым лучшим членам Сути. И даже про Варвару не удержалась во время последней ссоры и сказала полную чушь...

Пока Андрей шёл к метро в тот злополучный вечер, когда убежал из квартиры в Ховрино. Мысли о Кате и их глупом разговоре поминутно выводили его из равновесия — ну, почему, почему не могло так сложиться, что любимая девушка разделяла бы его взгляды, чтобы она была такой же идейной, как, например, Варвара. Но так всегда случается, как говорит Сергей Владленович, люди слабы... окно Овертона... но трудности должны закалить нас. Он подошёл к метро и, спускаясь вниз, отметил, что был тут не больше часа назад, и удивился, каким же длинным оказался сегодняшний день — сначала работа, потом встреча с Кургузовым, потом ссора с Катей и вот теперь — поездка на квартиру к Паше. Хорошо ещё, что Паша сегодня ночью уехал в Васильевское, не хотелось объяснять ему сейчас всё, было стыдно за Катю...

В первые недели после встречи на митинге жизнь Андрея вдруг стала напряжённой и интересной. Сначала он принялся изучать те материалы, которые ему прислали Паша и Варвара, в основном это были статьи лидера движения Кургузова, — читал их жадно и с яростным недоверием, желая найти ту ошибку, тот изъян, который позволил бы ему отбросить их, но неожиданно втянулся.

Этот человек писал, что идеал страны — Советский Союз, вот так вот прямо, без лишних оговорок и пояснений, и это нравилось Андрею. Он писал, что у нашей страны есть враги. Эта очевидная истина была сформулирована так же просто и внятно — враги развалил нашу великую страну, враги отняли у нас наши идеалы. Но главное, Кургузов писал о том, что Андрей всегда неосознанно ощущал внутри себя, — идёт война, идёт уже сейчас, каждую минуту, несмотря на кажущееся спокойствие привычной жизни. Враг наступает, и необходимо организовывать сопротивление. Кургузов говорил — нужно сформировать ядро, и это должно быть не ядро избранных, вход туда абсолютно свободен и может оплачиваться только одним — страстью и желанием спасти свою страну. В этом ядре не должно быть никакой иерархии, там будут действовать принципы братства, сварщик встанет рядом с профессором, и все объединятся во имя возвращения утраченного. И в этих словах была та честная правда, которую Андрей ощущал только в старых отцовских книгах.

Иногда он зачитывал отрывки из статей Кате и спрашивал, понравилось ли ей, интересно ли. Она отвечала, что да, интересно. Кажется, ей приятно была свежая струя, приятно было, что он так воодушевлённо начал чем-то заниматься, так что и она воодушевлялась в ответ. Те две-три недели были очень счастливым временем — они с Катей неожиданно перестали сидеть в квартире, стали каждый день ходить куда-то — на выставку, посвящённую войне, на исторический фильм, в Парк Победы. Он вдруг ощутил опору под ногами, осознанность в своих действиях, ему захотелось, чтобы они вместе вступили в движение, вместе занимались полезной деятельностью. А когда он провожал Катю до общежития её института и приходил домой, у него находились ещё силы, чтобы читать, часто до утра.

Здесь, в маленькой съёмной комнате на краю Москвы, Андрей пережил самые яркие чувства за свою жизнь — от яростного возбуждения до бессилия и безотчётной тоски. Ночи были беспросветные, тяжёлые. Ранним утром он распахивал окно, чтобы освежить голову, и вдыхал чёрный морозный воздух. Внизу лежали промышленные здания, бетонные балки, приземистые трубы. Мутнел краешек неба вдали. Он возвращался в комнату и опять наклонялся над газетными листами. Шансов на победу почти нет, писал Кургузов, скоро конец России, и сможем ли мы её спасти или нет, неизвестно, и эта мысль всё сильнее охватывала Андрея, и невозможно уже было веселиться и радоваться чему-либо, зная эту горькую правду. Он ложился в кровать, но не мог заснуть от тревожных мыслей.

Он стал ходить на еженедельные открытые собрания ячейки Северного административного округа, к которой принадлежали Паша и Варвара, и лучше разобрался, что же представляет собой организация Кургузова. Это была большая сеть — почти в каждом более-менее крупном городе России находилась ячейка, а в Москве — даже несколько, по одной в муниципальном округе. Формально руководитель каждой из них ежемесячно отчитывался перед Кургузовым о проделанной работе, но на деле все ячейки были представлены сами себе: организовывали свои мероприятия и пикеты, устраивали открытые обсуждения. В Сути не практиковали директив и приказов — просто примерно раз-два в месяц Кургузов записывал ролик, в котором описывал текущую ситуацию и те шаги, которые необходимо предпринять. А ещё раз в неделю выходила газета “Красный мир”, где содержались материалы, рекомендуемые для чтения и проработки, — то, что Кургузов называл политическим обучением. Впрочем, видимая аморфность и относительная свобода была обманчива — как жидким оловом движение спаивалось единым мировоззрением и повышенной ответственностью: когда нужно было выиграть интернет-голосование, скажем, за своего человека в Общественную палату какого-нибудь города или против переименования объекта, связанного с советским прошлым, две-три тысячи членов актива со всей страны и ещё несколько тысяч их друзей разом включались в дело и обеспечивали необходимый результат. И эта слаженность и эффективность вызывали у Андрея уважение, и, может, именно она и стала для него окончательным аргументом, чтобы взяться за дело и записаться, наконец, в актив.

Но, формально вступив в движение, он не почувствовал радости. Ему постоянно казалось, что он недостоин места в активе, что слишком мало знает, и что в решающий момент это скажется и тогда он может подвести всех. Андрей стал участвовать в собраниях ячейки, брался готовить доклады на ту или иную тему, пытался решать организационные вопросы, но всё получалось средне: не очень плохо, но и не очень хорошо — а оттого не было удовлетворения. Кроме того, в этом напряжении, в смутном ожидании грома, который вот-вот должен разломить страну, присутствие рядом Кати, близкого человека, за которого нужно было нести ответственность, подавляло его ещё сильнее. Случись что-нибудь, и он не сможет защитить её. А раз не сможет защитить, то и не должен привыкать, не должен связывать себя и давать необоснованные надежды ей. Он согласился жить вместе, въехать в квартиру в Ховрино, потому что они так запланировали в те их счастливые ноябрьские недели, но сам уже сомневался, правильно ли это...

Чтобы доехать до Пашиной квартиры в Чухлинке, Андрею нужно было сесть на электричку на Курском. Когда он вышел из метро, здание вокзала напомнило ему бестолковый муравейник. Несмотря на поздний час, у входа толпились люди — работали ещё бойкие тётушки на стойках с хот-догами и кофе, торговцы носками и прочей мелочью; усталые таксисты дежурили у стеклянных створок, покачиваясь и монотонно бубня в лицо прохожим; зябко ёжились местные мужики-бездомные, сидя на наваленных у вокзальной стены чёрных мусорных пакетах и пустых деревянных ящиках из-под овощей. Тут начиналась будничная и неустроенная жизнь целой страны, и казалось, проедешь хоть тысячу километров, а везде будет та же грязь и слякоть. И только налево к Садовому кольцу уходило неприлично яркое здание “Атриума”, но Андрею не хотелось смотреть ни на его ненавистную показную роскошь, ни на этих слабых и безвольных людей повсюду.

Он подошёл к свободной кассе, купил билет. Потом решительным шагом спустился в тоннель, ведущий к платформам, и отыскал свою электричку — та стояла на дальнем перроне, почти пустая. И пока ещё тянулось время до отправления, пока входили случайные одинокие пассажиры, садились поодаль, он смотрел сквозь заляпанное потёками стекло на серый асфальт, на бледные слепые фонари, закрытые киоски, мусор, разбросанный по перрону, и всё думал, ехать ли ему сейчас или, может, вернуться обратно. Но с другой стороны он ведь уже решил и должен оставаться твёрдым. Ведь как бы поступил в такой ситуации отец — ни за что не сломался бы,

не пошёл на поводу у глупых эмоций и, раз уж запланировал, то довёл бы дело до конца...

Когда произошёл февральский переворот в Киеве, Андрей несколько дней ходил в состоянии сильного и даже немного приятного оживления. Ему казалось — вот оно, пришло время для настоящих действий, теперь-то они покажут, чего стоят, и хотелось немедленно ехать в Крым, бороться там против фашистов и помогать сопротивляться незаконной Киевской власти. А когда на следующей же неделе Кургузов экстренно решил собрать их в Васильевском на внеочередную “весеннюю школу”, Андрей поехал, ни секунды не сомневаясь, не слушая Катиных возражений. Там было всё именно так, как он мечтал — множество единомышленников съехались со всей России, жили в спартанских условиях, обсуждали важные проблемы, тренировались, слушали лекции Кургузова и его сторонников.

Здесь Андрей первый раз увидел Кургузова — тот постоянно находился среди них, ел вместе с ними в походной столовой, и ему даже можно было задать вопрос, но Андрей не решился — это было бы нарушением субординации. Но именно здесь он, кажется, окончательно поверил Кургузову. Да, у того были недостатки: повышенная эмоциональность, резкость, но нельзя же было руководить огромным движением без резкости. Зато в нём было главное — непримиримость к врагам страны и твёрдость в своих идеалах. И если бы не эта эмоциональность, он был бы даже чем-то похож на отца. Андрей вернулся из Васильевского, напитанный кургузовской мощью. А здесь опять нашёл то же болото — опостылевшую работу, меццанские разговоры в офисе, равнодушных людей, которым только бы поесть и развлечься, совершенно негодных для защиты Родины. А дома — Катиньи истерики, нелепые празднования, прожигание времени и сил. И сколько он пытался преодолеть её косность, столько убеждал Катю, приводил все возможные аргументы до тех пор, пока не нашёл в себе силы разорвать этот порочный круг...

Паша жил в крошечной квартире прямо рядом со станцией. Андрей вошёл в тёмный коридор и включил свет. У стены сложены были лыжи, ролики, громоздкий сноуборд, почти у входа в комнату, перегораживая дверь в ванную, стоял перевернутый вверх колёсами велосипед. Паша любил заниматься спортом, он говорил, что это придаёт ему силы для жизни и политической борьбы.

Мебели у него почти не было — в прихожей тонкая вешалка, похожая на спицу, на которой висело две куртки, а на кухне — старенький гарнитур, холодильник и стол, засыпанный хлебными крошками. В раковине лежали кастрюля, тарелка и чашка и несколько ложек, и больше никакой посуды во всей квартире. Андрей любил оставаться у Паши, потому что здесь всё было устроено так, как и должно быть, с одной стороны — без излишеств, а с другой — без всегдашнего беспорядка, раздражавшего его в квартире в Ховрино. И если бы он стал сейчас жить один, то хотел бы создать именно такую атмосферу напряжённой работы и презрения к своим удобствам. Эта мысль о возможности будущей жизни неожиданно увлекла его — Андрей включил чайник, сполоснул чашку, насыпал в неё две ложки растворимого кофе и достал из сумки ноутбук. А потом с удовольствием подумал, что чем бы там ни закончилась история с Катей, у него в любом случае есть время, хотя бы эта предстоящая ночь — сегодня он сможет наконец-то побыть один и заняться делом, и никто и ничто не помешает ему. И сколько всего можно было сделать за одну только ночь...

Он уже давно не занимался информационной войной — это первое, к чему необходимо было приступить сейчас. Каждый активист Сути брал на себя обязательство от десяти до двадцати часов в неделю посвящать написанию политических заметок для своего блога. Но прежде чем писать новую статью, необходимо было ответить на все комментарии к предыдущей; а желательно ещё — посмотреть последние статьи друзей по Сути и помочь им, если ситуация там складывалась неблагоприятным образом. В первые месяцы Андрей занимался этим с большим воодушевлением — больше всех писал комментариев к блогам соратников и довольно часто спасал их от атак либеральных троллей: ребята из ячейки были благодарны, а Варвара часто

отмечала его и хвалила при всех. Но уж конечно, Андрей работал не за похвалы, а потому что каждый в организации должен был, на его взгляд, помогать каждому — без этого ощущения братства не могло сложиться сильного движения. Даже Паша писал комментарии реже, чем Андрей. Хотя, с другой стороны, Паше превосходно удавались собственные статьи, сразу было видно, что он человек начитанный и подкованный — таких статей Андрей бы в жизни не сочинил! — и даже либералы почти не нападали на них, наверно, потому что не могли найти там ни одного изъяна.

Впрочем, проходило время, и написание статей и комментариев из приятного дела превратилось в необходимость, за исполнение которой уже никто не хвалил, а только ждал от тебя этого и каждый раз — даже большего. К тому же из-за всех этих проблем с Катей ему всё меньше и меньше времени удавалось уделять ячейке. А даже когда время находилось, Катя постоянно стояла за спиной, не давая сосредоточиться на деле, — и даже сейчас он чувствовал это, хотя Кати вроде как и не было рядом.

Катя часто говорила, что у него мало способностей к информационной войне, что он не понимает людей, с которыми общается в комментариях, и надо каждому писать в зависимости от его характера, чтобы тот принял твою точку зрения, — она хотела, чтобы он переживал не о своих товарищах, на которых нападали либеральные тролли, а о самих этих троллях, чтобы вникал в их сообщения, пытался понять их. Может, она была и права, но это отнимало у Андрея столько времени! Он никак не мог понять эту науку, по несколько раз переписывал одну и ту же фразу. Вот и сейчас, сидел, напряжённо вглядываясь в экран, но не мог придумать ничего путного. Текли минуты, и Андрею было жаль их — столько надежд возлагалось на эту ночь, и вот она постепенно уходила от него. Может, если бы он сейчас всё сделал, то уже завтра вернулся бы в Ховрино, но перед этим нужно было стать сильным, уверенным, спокойным и больше не чувствовать себя “тряпкой”. Стоило переключиться на другое, но он не мог — не отвеченные комментарии грузом лежали на душе, и нельзя было идти дальше, не разделавшись с предыдущим...

Андрей поднялся, в очередной раз согрел чайник, налил кипяток в чашку и сделал короткий глоток, чтобы не обжечься. Мысли плясали в голове. Тогда он взял ноутбук, медленно вернулся в прихожую, прошёл по коридору и остановился перед дверью в Пашину комнату. Андрей редко заходил сюда — когда оставался у Паши, то обычно ночевал в спальнике на кухне, но теперь ему особенно хотелось оказаться здесь, напитаться нужной атмосферой, которая в комнате Паши чувствовалась особенно сильно. Он приоткрыл скришучую дверцу, и жёлтый матовый свет проник внутрь. Слева лежал надувной матрас, на котором Паша спал; впереди между гардиной и полом была натянута матерчатая конструкция, служившая платяным шкафом. На стенах висели картины, сделанные крупными мазками или длинными неровными линиями, как обычно рисуют дети. На самой большой был изображён огромный огонь, почти во весь лист, с красными и оранжевыми языками на чёрном фоне. А на полу в беспорядке — спортивные гири, штанга, вещи, шелуха от семечек, компьютерные провода, а главное — книги, сложенные в покосившиеся стопки, раскрытые, перевёрнутые страницами вниз, прислонённые к стенам. Здесь были и большие красные, написанные Кургузовым, которые у них с Катей стояли парадным строем на полках; и старые, ещё советских изданий, художественные и научные, перемешанные друг с другом. Андрей поднял одну наугад — ею оказалась “Как закалялась сталь”, вся в грубых неразборчивых пометках. Он вздохнул, осторожно положил книгу обратно и, не включая свет, опустился на чуть сдутый размякший под его весом матрас и вновь распахнул ноутбук.

Но нет, в этой пустынной, как пещера, комнате, в которой во всём чувствовалось презрение к человеческим слабостям и желание посвятить себя ячейке, Андрею не работалось лучше, наоборот — он только сильнее злился на себя за медленность и за невозможность заставить себя думать в правильном направлении... Откинулся назад, на матрас, ощутив спиной его неприятную мягкость. Может, он просто сильно устал сегодня, и стоило просто

лечь спать. Но уснуть не мог — свет фонаря из окна падал на картину с огнём, который в сумерках казался ему серым, не давал покоя, как будто и сам Андрей находился в центре пламени. Он вскочил, встал посреди комнаты, и вдруг такая злость прорвалась в нём на Катю: всё из-за того, что она не может принять простую систему ценностей, разобраться для себя, что правда, а что нет, и из-за этого — столько проблем, столько сил, как в бездонную бочку...

А потом наступили два длинных, тягучих дня. Что он делал в течение этих двух драгоценных дней — Андрей и сам толком не запомнил. Долго выбирал хлебопечку для матери, у той был день рождения через две недели. Обычно Катя помогала ему в любых покупках, она почти не раздумывала над выбором, всё получалось у неё быстро и просто, а ему нужно было учесть все параметры, перепроверить по несколько раз, а это всегда давалось с трудом. Ничем полезным, связанным с ячейкой, так и не занялся, только один раз, когда готовил обед, включил аудиодорожку с последней лекцией Кургузова. Много спал, много переживал своё безделье.

И вот утром третьего дня сквозь сон Андрей услышал громкое весёлое насвистывание, а потом шорох закрывающейся двери. Он с трудом поднялся и сел, всё ещё окутанный в спальник, — у входной двери стоял Паша с лёгкой спортивной сумкой на плече.

— О, чего это ты тут, собрание вчера было? — беззаботно усмехнулся тот и, не дожидаясь ответа, принялся снимать куртку и вытряхивать из сумки вещи.

Андрея сильно клонило в сон, но он решил, что опять лечь будет неправильно, с трудом поднялся, протирая заспанные глаза, расслабленный и разбитый. Паша тем временем отнёс часть вещей в ванную, сходил в комнату, потом вернулся на кухню, поставил воду на плиту, всё ещё продолжая насвистывать, — он был только что с поезда, но выглядел таким свежим и весёлым, будто это он, а не Андрей просидел в квартире последние два дня.

Надо было объясниться с Пашей, извиниться, что ночевал у него без спросу, а значит — рассказать о Кате.

— Я у тебя проживу немного? — начал нерешительно.

— А, да живи без проблем, места хватит, — махнул рукой тот, лихо встал на руки, продержался так несколько секунд, а потом принялся резко и быстро отжиматься от пола, довольно выдыхая на каждый раз. Андрей растерянно наблюдал за ним, подбирая слова, но так и не сказал ничего больше.

— В Васильевском опять проблемы, рабочие руки нужны, — деловито заметил Паша, когда закончил отжиматься. — Стройка идёт медленно, но к ноябрю должны закончить. Владленыч тоже приезжал... вчера днём собрал нас и говорил, именно на осеннюю школу возлагает особые надежды. И я решил — поеду на следующие выходные опять, — добавил он как бы между делом. — Владленыч говорит, нужны люди... Может, ты тоже?

— Посмотрим, не могу обещать, — ответил Андрей резко и недовольно, и это внезапное недовольство не понравилось ему самому.

Оставалось уже меньше часа до выхода из дома на работу — через несколько минут должен был зазвонить заведённый с вечера будильник, и уже не имело смысла ложиться опять — Андрей медленно побрёл на кухню, заварил себе крепкий кофе и сел за стол, наклонив тяжёлую голову на сжатую в кулак ладонь. Даже здесь было слышно, как Паша моется в душе и с удовольствием фыркает, а оттого собственная слабость и неприкаянность ощущались ещё острее. Что же я сделал за эти два дня, ничего, с привычной тоской рассуждал он, и что же теперь, какой вывод следует из всего этого. Нет, я не совершил предательства, я ни на секунду ни единой мыслью не изменил своим идеалам, но у меня мало сил, я слаб, я полное ничтожество. Значит, надо честно признать, что проблема не в Кате, а во мне самом.

Он поднялся от волнения. Это было самое худшее из того, что могло прийти ему в голову. И все эти два дня он старался не думать об этом очевидном выводе, оправдывал своё бездействие то усталостью, то необходимостью восстановить силы после ссоры. А правда была в том, что он слаб и не

готов даже к небольшим делам, в том, что он не способен стать “сверх-я”, как часто говорит Паша. В первую минуту он всё не мог примириться с этим неожиданным выводом, яростно схватил ноутбук в желании немедленно сделать всё, сразу же написать все комментарии, но взгляд упал на часы: пора было ехать на работу...

Он вышел на улицу, и апрельское утро сковало тело. Горбясь и сжимая себя руками от холода, он двинулся вперёд, а маленькие пятиэтажки сгрудились на пути, путая, не желая отпускать. Всё вокруг было чужим, враждебным, и тогда с неожиданной теплотой Андрей вспомнил о Кате, оставшейся там, в яркой и сумбурной жизни, которая представлялась теперь уютной и родной. Поддел носком ботинка пустую жестяную банку, и та гулко загремела по асфальту. Впереди маячили серые будочки касс, а справа к ним ещё бежало несколько человек, неуклюже взмахивая сумками и портфелями. Андрей подошёл к автомату, продающему билеты, принялся вытаскивать из кармана мелочь и опускать её внутрь. В автомате быстро и глухо защёлкало, и этот раздражающий звук расковыривал что-то внутри.

А на платформе накрыло упругим дыханием приближающейся электрички. Распахнулись двери, и Андрей втиснулся в полный вагон, задыхавшийся от сжатых в нём тел и спёртого воздуха.

10

Через день после собрания ячеек мы с Катей отправились гулять в Кусково. Она очень любила это место, я помнил это ещё с тех пор, как мы встречались и ездили сюда смотреть павлинов, которых специально разводили здесь. Был выходной день, но у нас на фирме заставляли выходить на работу — горел большой проект. И всё-таки я отпросился, мне не хотелось оставлять Катю наедине с тяжёлыми мыслями, хотелось порадовать, отвлечь. Мы больше не говорили об Андрее: только вечером после ячейки я сказал ей, что, по-моему, между ним и Варварой ничего нет, а она только кивнула и даже не спросила больше ни о чём.

Было прохладно. На узких аллеях парка работники в оранжевых формах тоненькими жестяными веничками мели песок; маленькие контейнеры, в которых обычно продают мороженое, одиноко стояли то тут, то там, обтянутые серой клеёнкой; никого не было в притаившейся на краю парка кафешке, а на столах острыми ножками вверх громоздились стулья — казалось, мы пришли сюда тайно.

— Помнишь, первое время в Москве я очень скучала по родителям, — говорила мне Катя, — именно по родителям, а не по дому. А в этот Новый год поехала туда одна, Андрей почему-то не смог... поезд был в ночь на тридцать первое. Не знаю, рассказывала тебе или нет, вроде бы не рассказывала, я шла от вокзала, было ещё темно, и вижу — здесь построили новый мост, а здесь сожгли деревянные дома, у нас постоянно жгут деревянные дома, представляешь? И столько было вокруг чужого, но я всё-таки шла и думала, это мой город, и я его помню и очень люблю. И я хотела бы всегда жить здесь. И дело даже не в родителях, дело в том, что это именно моё. Как думаешь, Андрей, наверно, не захочет переезжать из Москвы, да? — и опять погрузилась, и, конечно, не потому что Андрей не захочет, а потому что глупо было сейчас даже говорить об этом, пока они даже не помирились и не понятно, помирятся ли вообще.

Мы гуляли наобум, и беседу с павлинами не смогли найти. Неожиданно вышли к большому озеру, перед которым тянулась лужайка, густо заросшая жёлтыми точками одуванчиков. Катя сняла туфли и шагнула босиком на траву. Потом опустилась, хотела сорвать один одуванчик, взяла стебелёк между пальцев, но не решилась его надломить.

— А помнишь, мы с тобой ходили вместе в церковь на первом курсе? — вспомнила она. — Ты тогда говорил — надо верить, и всё случится... и я думала, что это самое главное. И я верила, что вот мы с Андреем поженимся, и сразу произойдёт чудо, и всё изменится. Но знаешь, — добавила она серьёзно, — теперь, когда было так плохо, я поняла... главное,

это когда после самого мерзкого и отчаянного настроения вдруг просыпаться и так светло, и чувствуешь как будто Бог рядом, и ты точно уверен, что это он. После этого просто нельзя не поверить!

Я смотрел на неё и удивлялся — откуда это в ней. Она выросла в обычном районном городке, ходила в школу, поступила в институт, но это стремление испытать мир и найти в нём главное, различить, что правдиво, а что нет, а потом прилепиться к этому правдивому, — было в ней всегда: и вовсе не я внушил ей это стремление, она будто родилась с ним. Но может, всё это лишь привиделось мне, потому что она была дорога мне, эта маленькая Катенька, в которую я раньше был так сильно влюблён, да и сейчас любил — но не как девушку и даже не как сестру, а как любят лучшее в человеке, его сердцевину — и потому и видел я в ней только лучшее и не замечал чего-то пустого, что, может быть, тоже было. Но разве в пустых и мелких своих качествах заключается человек...

Я думал об этом, пока мы шли вдоль аллея Кусковского парка, вдоль каменных зданий, покрытых пылью старины, говорящих нам о том, что пройдут десятилетия, и всё, о чём мы сейчас переживаем, уйдёт, и о другом будут переживать люди, и считать, что нет ничего важнее их проблем. Но почему-то казалось мне, что останутся в этом воздухе её, Катины, слова, и останется её уверенность, и её красота — и будут вечно, и ничто уже не сможет стереть из памяти мира ни одного доброго её слова, ни одной улыбки, ни одного движения души — и этого достаточно будет, чтобы мир стоял ещё.

— О чём думаешь? — спросила она, и я улыбнулся, представив, как же нелепо получилось, если бы я принялся обо всём этом рассказывать сейчас Кате.

— Что тебя волнует? Ты такой задумчивый сегодня, — ей хотелось отплатить мне за то, что я слушаю её, помочь и мне.

— Может, они в чём-то правы, эти люди из ячейки, — зачем-то сказал я.

— Да? Ты так считаешь? — оживилась она.

— Я не знаю, Катя.

Мы поднялись и двинулись вдоль пруда, больше уже не говоря ничего. Медленно приближался раскинувшийся впереди лес. И вдруг резко, пронзительно зазвонил мой телефон — Катя взволнованно обернулась.

Сегодня утром перед выходом из дома она попросила Рому обязательно позвонить нам, если Андрей вдруг появится: в Ховрино у него оставались материалы к завтрашнему пикету Сути, и Катя помнила об этом. У меня даже была мысль, что она специально поехала со мной в Кусково, не в силах сидеть сегодня целый день дома в изматывающем ожидании его приезда. И действительно, на экране сейчас был Ромин номер.

— Я, конечно, был против, — недовольно заговорил он, — но раз уж обещал, то сообщаю — Андрей пришёл.

Не знаю, то ли слова в трубке были такими громкими, что Катя их услышала, то ли просто догадалась, но мгновенно вскочила и выхватила телефон из моих рук:

— Рома, Рома, скажи, пожалуйста, он что-нибудь говорит?

Я понял, что ей важно, спрашивал ли Андрей про неё, потому что позавчера её очень обидело, что Андрей ни словом не обмолвился со мной о ней после собрания ячейки. Кажется, Рома ответил, что спрашивал, потому что Катя радостно и сильно глотнула воздух.

— Рома, Рома, слушай, — заторопилась она, — дай ему трубку, пожалуйста...

Было слышно, как в маленьком мобильном телефоне скрипнула дверь, раздались шаги, резкие шорохи, будто били в испорченный детский барабан. Потом где-то совсем вдалеке язвительно вежливый голос Ромы: “Андрей, тут тебя просят”, неразборчивый глухой вопрос, тишина. Я не стал ждать начала их разговора и отошёл на несколько шагов, чтобы не смущать Катю. Но она не обращала внимания ни на меня, ни на кого вокруг — согнулась, вжала голову в плечи, прижимая телефон к уху, а к другому прислоняя распластанную ладонь.

Потом она заговорила:

— Да, привет... и как ты планируешь... я гуляю пока, мне долго ехать... Тогда давай на станции... да, можно и так, хорошо... — и если бы я не знал, что между ними происходит, я бы никогда не догадался, что это их первый разговор после расставания — её слова звучали так буднично, не специально, просто от сильного волнения она не могла найти другого тона.

Вдоль озера ко входу в парк шла длинная аллея, а если повернуться в другую сторону, то впереди начинался лес, от которого нас отделял лишь маленький мостик. Я медленно поднялся на него и рассеянно опёрся на перила — вода внизу была мутная, старые листья и пух мерно плавали на поверхности, и в этом перебитом зеркале отражалось колеблющееся небо, а в нём крупные вспучивающиеся облака.

Катя отняла трубку от уха и взглянула на меня, всё ещё напряжённая, и я торопливо вернулся к ней.

— Договорились встретиться через час на Чухлинке, — сказала спокойно.

— Тут рядом, одна станция на электричке, — ответил я, но она знала это.

Я хотел спросить ещё, что и как, но говорить об этом сейчас было невозможно. На душе было тоскливо, словно бы я отправлял в долгую дорогу единственного ребёнка. Что-то восстановилось между ними в этом коротком разговоре, и теперь они уже были вместе, это было уже их совместными планами, и Катя не должна была больше сличать со мной каждое слово, сказанное ими друг другу. Мы стояли с ней теперь как на противоположных платформах, разделённые линиями рельсов, и я был бессилён влиять на неё, а значит, уже не мог быть уверенным, что всё у неё будет хорошо и что, подчинившись сейчас Андрею, она останется той самой лучшей Катенькой, которую я всегда знал и любил. Но с другой стороны — должно же было это произойти, и должен же я был когда-нибудь отпустить её...

— Паши сегодня нет, я, наверно, останусь с Андреем в его квартире... он уже запланировал туда вернуться сегодня, у него там документы для работы, — запоздало принялась объяснять мне она.

Но я уже не вникал и просто кивнул. Иногда мы ещё переговаривались о чём-то незначительном, но оба уже чувствовали необходимость просто убить время. Я деловито смотрел расписание электричек в телефоне, они списывались, на какую точно садиться Кате, чтобы Андрей встретил её на платформе. А потом молча шли по асфальтовой дороге через лес. Было неожиданно тихо, никто не ходил и не ездил здесь, и только ровный шум листьев окружал нас. Вдруг Катя будто пробудилась, обернулась ко мне и заговорила порывисто:

— Знаешь, я читала вчера, что у каких-то старцев есть пророчество о России. Там предсказана и революция, и разрушения церквей. А ещё говорится, что потом Россия возродится и будет великой страной. И про семь светильников... ты знал?

Я покачал головой. Я понимал её чувства сейчас — там, в юности, кажется, что есть некая система знаний о мире, и ты постепенно познаёшь эту систему, и что другие тоже познают или уже познали то же самое. Но, только взрослея, начинаешь понимать, что единого представления о мире не существует, и уже не набрасываешься на всё новое с такой жадностью.

— Нет, но хорошо, если так, — ответил я.

И дальше опять пошли в тишине, думая о своём, но иногда ещё вспоминая об этих загадочных светильниках, и теперь казалось, это действительно серьёзно и важно, и Бог на самом деле даст нам какие-то светильники, и тогда и Катя с Андреем будут вместе, и во всём мире всё станет хорошо.

Я проводил Катю до платформы, а когда подошла электричка, она встала на подножку — двери захлопнулись, и она всё махала, и я видел её взволнованное лицо сквозь мутное стекло, пересечённое царапинами диковинного зверя. Я медленно пошёл вместе с поездом по направлению к длинной лестнице на мост, через который можно было бы перейти на противоположную сторону от парка, откуда было ближе до метро. Поднялся

по ступеням и остановился, глядя вдаль: там сплетались и расплетались железнодорожные пути, а вдалеке ещё виднелся почти уже стянувшийся в точку хвост электрички.

Она уже подошла к следующей станции, и Андрей с Катей встретились и, если только не произошло чего-то непредвиденного, они уже обнялись и стоят, ощущая теплоту друг друга. Только бы кто-нибудь не начал говорить что-то неподходящее, подумал я, опираясь на перила и напряжённо вглядываясь вперёд, надеясь чудесным образом увидеть их сквозь расстояние между станциями. Всего-то им нужно — почувствовать друг друга, без слов, без мыслей, просто разом понять, что они нужны друг другу, что друг без друга они не могут сейчас...

Я вдохнул пропитанный тоской весенний воздух и шагнул вперёд по мосту. Над постройками поднимался дым. Вдалеке клонилось к закату солнце. На другой стороне железной дороги умиротворённо лежал Кусковский парк. И только в самом низу, у последних лестничных ступеней притаился скрученный, как от боли, куст шиповника. Я ещё немного постоял возле него и двинулся дальше по тропинке, ведущей к метро.

Был вечер второго мая 2014 года.

(Окончание следует)

ЕВГЕНИЙ ЮШИН



ДУМЫ О СЧАСТЬЕ ЗЕМНОМ

РЮКЗАК

Лет двадцать ещё поцарапать планету
Примятым литым каблуком,
А там уж отправиться к горнему свету
С потёртым своим рюкзаком.

В нём сложены зори, и песни, и радость,
Любовь и потери мои,
И всё, что по яростной жизни досталось:
Бураны, простор, соловьи.

Но в нём и грехи. Тяжела моя ноша...
Но в детстве я птенчика спас,
За это мне светит сосновая роща
И бабушкин иконостас.

И мама печёт “жаворонков” весенних.
Отец — ордена на пиджак.

ЮШИН Евгений Юрьевич родился в 1955 году в городе Озёры Московской области. Детские годы прошли на Оке и на Воже в рязанской деревне Лужки. Школу и пединститут (историко-филологический факультет) закончил в Улан-Удэ. С 1978 года работал редактором в Центральном Доме культуры железнодорожников г. Москвы. Здесь же несколько лет руководил литературным объединением “Магистраль”. В 1986 году перешёл на работу в журнал “Молодая гвардия”, которым руководил с 2000-го по 2014 год. Автор двенадцати поэтических книг. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии имени Александра Невского “России верные сыны”, Большой литературной премии России.

Скребётся мышонок под ворохом сена,
Скрипит под сосною лешак.

Брусничные угли — у края болота.
Заря — костерком по реке.
И всё, что копил я от года до года —
В потёртом моём рюкзаке.

Сгорает в руке у отца папироса,
Как думы о счастье земном.
Хлопочут скворцы и трепещут стрекозы,
И сливы запахли вином.

И молится поле моё Куликово,
И молится Бородино
О всех, кто сберёт наше русское слово,
О каждом, ушедшем давно.

Гуляй! Под звездою ничто не возвратно!
Я тоже однажды уйду.
Ложатся заката родимые пятна
На вешние вишни в саду.

Былинка дрожит на ветру — затухает.
Лодчонка скользит по реке.
А прошлое кается, любит и тает
В потёртом моём рюкзаке.

* * *

Ткнёшь пальцем в дорожную карту,
И юность в душе запоёт.
Усядешься в гулком плацкартном,
Где ближе и гуще народ.

Вокзал покачнётся немножко,
Поедет в дымок голубой,
И только луна за окошком
Останется рядом с тобой.

Чайку принесёт проводница,
Соседи в движенье придут
И яства российских провинций
Тотчас на столы подадут.

В колёсах ритмично и сухо
Стальной прозвенит соловей.
И потный мужик с боковухи
Нальёт тебе мутной своей.

Вот он-то тебе и расскажет,
Улыбку свернув набекрень,
Откуда взялись все пропажи
И холод пустых деревень.

Забудешь угарность столицы,
Зальёшь разговоры вином.
И всё будет длиться и длиться
Таинственный лес за окном.

Плацкартный вагон не заманит
Чиновника и торгаша,
А значит, никто не обманет,
И может раскрыться душа.

Девчушка гадает на картах.
Монашка глядит на Христа.
...Когда-то не будет плацкартных,
Но жаль, что не будет родства.

Печаль никому ты не выдашь.
И завтрашним утром уже
На станции Дивово выйдешь.
И вправду ведь — дивно душе!

И ханты-мансийская вахта,
Рыбацкий баркас голубой,
Столовка Чулымского тракта —
Останутся рядом с тобой.

На всё ты согласишься влюблённо.
С тобою родная страна.
Солдатик с невестой — у клёна,
И древний старик — у окна.

НА ПОКРОВ

Бор певучий, бор колючий,
Снега раннего посол.
Но светло в ночи дремучей
От мерцанья дальних сёл.

Ветер голосом утробным
Дышит в трубы. Снега свист.
Разворачивает рёбра
У гармошки гармонист.

У тебя — в молитве губы.
У меня душа — в разбой.
Постели медвежьей шубу
Полюбитесь нам с тобой!

От полей простором веет,
Дышат снедью погреба.
У меня, что крест на шее, —
Деревянная изба.

Пьёт просторы ветер дикий.
Осветила сердце Русь.
Я умылся земляникой,
А метелью оботрусь. —

Гармонист о кнопки точит
Пальцы грубые — А-ха! —
И горит гармонь, клокочет —
Задыхаются меха.

* * *

Дом продали, уезжали...
И не вспомнили, что в нём
Деда с бабкой провожали
За родимый окоём.

Позабыли мы, что сами
Рвали вишни у ворот.
Догнивают наши сани
И скворечник не поёт.

И везут, качаясь, кони
В сундуке тулуп и шаль,
Молчаливые иконы
И о прожитом печаль.

Песни, свадьбы и поминки.
— Но, коняга! Не балуй!
Чмок колёсный по суглинку,
Как пасхальный поцелуй.

И всё кажется: за дедом
Ходят куры у ворот,
И всё кажется, что следом
Наша бабушка идёт.

Мы теперь обогатились.
Наливай полней стакан!
А на сердце — мрак и сырость,
Холод, ветер и туман.

РОДИЛСЯ Я...

И — луч в окно. И щебет. Утро. Свежесть.
И облаков причудливый узор.
И листья кружева...
От медогонки
Тягучий, тёплый солнца аромат.

А вдалеке хохочут лягушата,
И стайки головастиков толкутся
У берега кривой, как век, канавы,
Что вырыли в минувшую войну,
Чтоб вражеские танки здесь увязли.

И не прошли!

Дерутся воробьи
В тенистом, влажном, диком винограде.
Течёт, течёт по комнате нектар
От свежих яблок, слив и нежных вишен.

Вот половица скрипнула —
Прошла почти неслышно бабушка на кухню.
В переднике белёном наша печь
Слегка грустит о пирогах и каше.
Теперь же в мягких валенках на ней
Томятся, созревая, помидоры.
Меня тут любят, да и я — люблю!

Как мир широк!
Родился я, и он
Мне подарил всего себя — до капли,
До зёрнышка росы,
До вспышек гроз,
До жгучего удушья метели,
До ласки радуг заревых лугов,
До маминой, раскрытой небу песни,
И до восторга деда и отца
От кипени кругом бурлящей жизни
В горячих муравейниках, садах,
И, словно кровь, гудящем вольном поле.

Иду в малинник. Колко, сладко мне.
Тут воскотопка.
Плавятся под солнцем
Пустые соты отзвеневших дней.
И тает воск, и капает в корытце,
И тает воск, и капает в корытце,
И тает воск, и капает в корытце,

И пахнет, словно в церкви...

АЛЕКСАНДР ИВАНИЦКИЙ

ЛОМАННЫЕ УШИ

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

И кажется мне, соловей на ветке...

Побережье Уссурийского залива... Санаторий жёлтого окраса в стиле сталинской эпохи, с колоннадами, лепниной и бронзовыми люстрами. На завершающей стадии подготовки к Токийской Олимпиаде именно он приютил борцов, штангистов, боксёров, гимнастов и дзюдоистов.

Оказавшись в столь разношёрстной компании, мы быстренько наводим мосты, прежде всего, с боксёрами. Они парни свойские, как и большинство из нас, с городских окраин. За вожака у них Валера Попенченко: напорист, скуласт, стрижен накоротко, слегка картавит. У него узкий лоб в зигзагах морщин, наверное, от привычки с прищуром нацеливаться на челюсть противника и бить по ней с ювелирной точностью. Из всех иностранных языков Валерий в совершенстве владел лишь тарабарским наречием. Сам тому свидетель. В Мехико-Сити нас порядочно набилось в такси, и лишь Валера с комфортом расположился на переднем сидении, безостановочно болтая с водителем: “Амиго! Как насчёт мадамс, в смысле, бэби успел настругать?” Уловив знакомое словцо, таксист горделиво показывает Попенченко растопыренную пятерню, с прижатым к ладони мизинцем. Валера по-приятельски похлопывает его по плечу: “Квадро гуд! Маньяна чинко — ферштейн?” — и оба заливаются таким хохотом, что нас берут завидки.

У Бориса Лагутина нет и намёка на Валерину бесшабашность. Он похож на голенастого подростка, тянущегося ввысь. Как при такой худобе ему удаются хлётские удары — не понимаю. С его точки зрения, качков на ринг выставляют для понта. На них клюёт публика-дура! У настоящего профи всё должно быть неброско: сухая фигура и для резкотухи — тягучие мышцы. Лагутин своим обликом напоминает, как бы странно это ни прозвучало, братьев Старостиных. У знаменитых футболистов поморская узколикость и умение держать спину прямо. Такие типажи остались в прошлом. Они запечатлены на групповых фотографиях полных Георгиевских кавалеров периода Первой мировой войны. В середине сбора выяснилось, что мы с Борисом чуть ли не кровные братья. Оказывается, нас обоих оженити Татьяны, которые учились в одной и той же центральной школе, в одном и том же классе и пели в одном и том же хоре.

А с Лёшей Киселёвым нас сроднила панельная пятиэтажка в Кунцево. Он жил в однушке на первом этаже, а я в своих двух комнатах пролётом выше. Стреляем друг у друга по четвертному — до зарплаты. По какому-то случаю решили сообразить на двоих. Штопора ни в его хозяйстве, ни в мо-

ём не оказалось. Пробовали пропихнуть пробку в бутылку пальцем, карандашом, отвёрткой — всё тщетно. Разошлись несолоно хлебавши. А надобно было хорошенько взболтнуть посудину и садануть ей ладонью под зад — всего то и делов!

Если по лампочке раз сто постучать пальчиком, она сдохнет от сотрясения мозга. Теперь уже и не припомню — кто, скорее всего, кудесник ринга Виктор Агеев раскрыл мне самую оберегаемую тайну бокса. За спаррингами Агеева я не мог наблюдать равнодушно. У него особый стиль ведения боя: руки опущены, но удары соперников месят пустоту. Виктор мягко ускользает от атак уклонами.

С гимнастками свести знакомство оказалось куда сложнее. Они ходят по балетному, ну, прямо-таки фу-ты — ну-ты! На кого ни глянь, знаменитости: Лариса Латынина — вся из себя прима. К ней не подступиться. Полину Астахову газетчики окрестили “берёзкой”. Она и ведёт себя соответственно навязанному ей образу. Тонкая и печальная, она проходит среди нас бестелесным видением. Лишь губастик Людка Громова, несмотря на выжатые из нас соки, будоражит наше борцовское естество.

Среди всех несколько неуверенно чувствуют себя дзюдоисты. Бедолагам и впрямь не позавидуешь. Наших самбистов не так давно переделали в кимоно. Они-то понимают, что самураи, камикадзе и всякие там ниндзя вкупе с арбитрами проходу им на Олимпиаде не дадут...

В нашем тренерском штабе напряжение. Японцы — одни из основных соперников в Токио — заявили к нам летом, затем поехали к румынам, от них подались в Болгарию, а напоследок завернули в Иран. Дякин, узрев подвох в их необычной системе подготовки к Играм, задёргался сам, а заодно накрутил и всех тренеров, да так, что те пуще прежнего надели на нас. Ребят воротит от ковра, а они знай своё — увеличивают и увеличивают нагрузки. Мы с Медведем сбежали от такой кутерьмы в сопки. Лазим себе в охотку по склонам, по урочищам, дивясь на всякие там пробковые деревья, китайский лимонник, дикий виноград, маньчжурский орех и корейские пихты. Утомившись, разжигаем костёр и печём картошку. Иногда, прихватив паука-малявочника, длинную палку с колёсиком на навершии, верёвку, черпак и ведро, отправляемся в бухту рыбалить. Пропустив верёвку через блок, опускаем сеть, натянутую на обод, на дно и, чуть подождав, вытаскиваем её на поверхность и ковшиком вычерпываем из провисшей середины серебристую мелочь.

Местные смотрят на нас, словно на придурочных. Им подавай чилимов — мелких креветок, которых подцепляют с бережка приспособлением, похожим на сачок для ловли бабочек. Чилимы так и прыскают перед ловцом, стоит ему лишь забрести в воду по колено. Этой креветочной мелочью местные подкармливают кур, или, отварив в присоленной воде, торгуют у пивных ларьков вместо семечек.

Забредя в поисках чтива в санаторную библиотеку, я случайно наткнулся на томик стихов японского классика Мацуо Басё:

*Ива склонилась и спит,
И кажется мне, соловей на ветке —
Это её душа.*

*На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.*

*Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.*

*Цветы увяли.
Сыплются, падают семена,
Как будто слёзы...*

Почти неосозаемые акварельные мазки запечатлели убегающий миг в нескольких строках на века. Каюсь, я совершил преступление и “зачитал” Ба-сё с концами.

Ту-134, приземлившись в международном аэропорту Ханеда, вызвал у японцев переполох. Поданный к самолёту трап не достаёт до дверного люка. Промаявшись в чреве лайнера примерно с полчаса, мы, в парадных костюмах бежевого цвета, спускаемся с небес на бетонную твердь и сразу попадаем в окружение непривычно нахрапистой для нас репортёрской орды, вооружённой до зубов фотоаппаратами, кинокамерами, микрофонами.

Наш руководитель — импозантный председатель Спорткомитета Машин — с места в карьер ошеломляет представителей прессы сенсационным заявлением:

— Советские атлеты готовы завоевать на Токийской Олимпиаде сорок пять золотых медалей!

Всё вроде логично. В Риме мы вышли на сорок три. Но я ёжусь от этих слов. Юрий Дмитриевич вроде дружит с головой, а взял и сказал “гоп”! Не рановато ли? В остальные его речения стараюсь не вникать, сочтя за лучшее повторить про себя партминимум нужных для общения с японцами слов: “коничива” — здравствуйте, “домо аригато годзаймасу” — большое спасибо, “сайонара” — до свидания. Помимо этого, у меня в запасе есть ещё парочка английских расхожих выражений, например, “ченч” — в смысле давай махаться сувенирами! С любопытством таращусь на транспаранты с загадочными иероглифами, цветастые гирлянды, бумажные фонарики и стяги стран-участниц Игр. Похоже, что флаг Страны Восходящего Солнца — самый чистогольный из всех. Его красное-красное солнышко на глазах у всей страны ежевечерне окунается в океан и ежеутренне отмытым выныривает из него. Водитель нашего автобуса в капитанского покроя фуражке, в белых перчатках на нерегулируемых перекрёстках притормаживает и, не выходя из машины, вежливо кланяется шофёру другого авто, уступая ему право поворота. Его визави проделывает то же самое...

Нас сопровождает гид-переводчик Ниидзима-сан. Он практикант. Ему “очень хотеть читать Толстой”. Обликом Ниидзима схож с сумоистом: широк, дороден, солиден. Хвалясь своими свадебными фотографиями, он светится от довольства, мол, его невеста весит всего тридцать восемь килограммов: “Осень маленький... миниатюр!” Судя по возникшей паузе, переводчик исчерпал запас заготовленных фраз, и мы прилипаем к окнам, ведь первые впечатления, на свежака, самое оно!

Изгибы хайвэя напоминают трек с кривизной на поворотах. Машины мчат на высоте птичьего полёта, лихо обгоняют наш автобус слева, справа. Их капоты подрагивают от вибрирующих моторов, выхлопные газы машин нещадно “озонируют” столичный воздух. Высокоскребные дома, деля небо на сектора, теснят друг друга. Мы попадаем в пробку. На тротуаре людской поток равнодушно обтекает цокающую деревянными котурнами-гета японку, спеленатую в узорчатое кимоно, в причудливо причёсанном парике, с непроницаемым, фарфоровым от белил личиком, с насурьмлёнными бровками и броско намалёванными алыми губками бантиком. В автобусе почему-то гоготнули: “Гейша!”

Олимпийская деревня Йойоги схожа с казарменным городком, обнесённым сетчатой оградой. Но если не обращать внимания на бараки и аскетическую обстановку комнат — стол, тумбочка, кровать, — то выглядит всё вполне пристойно. В нашем распоряжении обширная парковая зона, пруды, спортзалы, клуб, почта и... велики. Они припаркованы у подъездов — бери любой и кати, куда пожелаешь. Приехал, куда надо, — оставляй стального коня в стойле. Возвращаешься до дому, до хаты — осёдлывай любой свободный велосипед.

В столовых “Фудзи” и “Сакура” — еда на любой вкус: латиноамериканцам — проперчённая, индийцам — вегетарианская, европейцам — европейская, американцам — фастфуд, китайцам — кисло-сладкая. Но большинство прельстилось тигровыми креветками в кляре, набирают их тарелками,

да ещё и с горой. Японцы, потеряв дня три, ограничивают их потребление двумя штуками на брата.

В клубе по вечерам не протолкнуться. Битлов крутят через раз. На танц-поле от твистующих пар валит столбом. Наш могучий метатель молота Ромуальд Клим, завидев расходившихся танцоров, осуждающе ворчит:

— Вот эти-то всё и профукают. Им всё гопанки подавай!

У меня распозлились скрепы на надбровье, рассечённом в спарринге с Медведем. До старта остаётся всего ничего и, опасаясь за цельность шва, отправляюсь искать медпункт.

Наших соперников-американцев разместили недалеко от нас. Ранним утром из их блока выползают две заспанные фигуры со звёздно-полосатым полотнищем, сложенным, словно детская пелёнка. Вздв знамя на мачту, они при звуках гимна замирают по стойке “смирно”. Его мелодия почему-то подозрительно смахивает на старинную казачью песню “Хазбулат удалой, бедна сакля твоя...”

Впрочем, всеми этими впечатлениями я лишь стараюсь глушануть себя. Моя Танюшка вот-вот должна родить. Брат через третьих лиц передал мне, что отвёз её в роддом, и умолк! А сегодня от него пришла телеграмма, мол, всё в порядке! Ну, как тут не взбеситься? Если Таня родила, то кого? Дома телефона нет. Когда здесь утро, в Москве полночь. Мобильников ещё нет и в проекте. Спасибо вождю всего нашего комсомола Сергею Павлову. Он по своим каналам выяснил, что Татьяну доставили в больницу раньше положенного срока, и она, заскучав в палате, сбежала обратно домой.

10 октября 1964 года в 9:00 фанфары возвещают о начале парада Торжественного открытия XVIII Олимпийских летних игр. Настроение у меня хоть куда: жена разродилась дочуркой, и небо, устав плакаться дождями, наконец-то заголубело. Мои друзья по команде уверены, что я назову дочь Олимпиадой! Посмотрим! Оглядываюсь, стараясь высмотреть товарищей, потому что нас развели по разным шеренгам. Мы с Медведем вышагиваем в баскетбольных рядах. Впереди лишь руководство и Юрий Власов. Триумфатору Римской Олимпиады доверили нести наш *молоткастый, серпастый* стяг. Он несёт его не как все, упирая древко в поясищу, а в вытянутой руке. Мол, пусть видят советскую негибаемую мощь! Жаль, что Юрий не склонил, хотя бы чуть-чуть, наш флаг, проходя мимо правительственной ложи. Нравится кому-то император Хирохито или нет, а протокол протоколом. Хорошо, что девчата, знай себе, машут алыми шейными шарфиками всем без разбора. Стадион приветствует их трепетом вееров, да так дружно, что ещё вот-вот — и опахала бабочками взмоют ввысь...

Трибуны в едином порыве схватываются, завидя на беговой дорожке стадиона факелоносца Ёсиноори Сакаи. Рождённый в ядерном смерче Хиросимы, он для японцев олицетворение бессмертия. В чаше вспыхивает огонь, и восемь тысяч белых голубей устремляются к олимпийским кольцам, начертанным в небе пятёркой реактивных истребителей...

На старте нашей сборной выпадает удача из удач. Первую из разыгранных золотых медалей завоевывает Алексей Вахонин, штангист из города Шахты. Такой запов для любой команды много значит. Теперь есть на кого равняться! Журналист Паша Михалёв предпослал своему очерку об Алексее в “Комсомолке” хлёсткое заглавие: “Первый парень на деревне”. Лучше не скажешь. Весть об успехе севастопольской школьницы Гали Прозуменчиковой на дистанции 200 метров брассом распространяется среди нас молниеносно. Совсем ещё девчонка, она отважилась утереть нос американцам. Хотя в плавании их догонять и догонять. У них Дон Шолландер добыл четыре золота!

Борцовский турнир проходит под сводами гимназического комплекса “Камадзава” на трёх коврах, так что за всем происходящим не уследишь. До моего укрытия в раздевалке доходят лишь обрывки нервирующих вестей: Хоха выигрывает, но лишь по баллам... срезался Бериашвили... у Алика вроде всё путём, но его подводит скоростиска... совсем худо у Ломидзе — ничья в первой схватке, выиграл вторую и остушился в третьей. Понятно, что после всего случившегося давление на нас с Александром возрастёт стократ. Пока справляюсь с нервишками. Венгра Резнака “уговорил” за две минуты

с хвостиком. С остальными тоже сладил без особых хлопот. На очереди Ларри Кристофф. Этот может преподнести сюрприз — самого Дитриха обыграл.

Пытаясь отвлечься, раскрываю “Советский спорт”. Первая страница газеты — сплошь в портретах космонавтов. “Спускаемый аппарат “Восход” приземлился в заданном районе. Комаров, Феоктистов и Егоров чувствуют себя отлично”. Ничего себе! Шестнадцать разочков шарик облетели! Вот у них, если что, всё висит на ниточке — пан или пропал! А я сижу себе в тепле и нюни распускаю!

Ларри Кристофф пританцовывает в углу ковра, пытаюсь распознать мой настрой. Он чуть ниже меня, упругист, нахален, авторитеты ему нипочём. Выигрывает, проигрывает — всё одно, лезет напролом, как принято у американцев. Если сейчас обойду Ларри, то в финале выйду прямиком на Лютви Ахмедова. Ну, а если продуюсь, то получу... фигу с маслом.

Ларри купился на одну из моих уловок. Но победа далась нелегко. Её пришлось вырывать. Спускаюсь с помоста полностью опустошённый, с единственной мыслью — лечь поскорее под Шустера. Только он может избавить меня от крепатуры, сковавшей мышцы. На сборах этот виртуоз массажа потеет надо мной час-полтора: крутит, вертит, отрывает мышцы от костей и, в конце концов, вводит меня в беспробудный сон. Уловив во всеобщем гаме объявление судьи-информатора: “Эриксон, Швидеш — Мэдвед, Совет Унион”, — притормаживаю. Пропустить такой поединок грешно. Тем паче, что у помоста собрались почти все наши: Дякин, Ялтырян, Айдын и ещё не остывший от поединка с Оганом Гурам Сагарадзе. Ничья с турком и провес на контрольном взвешивании в полтора килограмма лишили Гурама золота. Обидно за него до боли...

Саша, доведший себя сгонкой до кощевой кондиции, с ходу атакует шведа и сажает его своим коронным зацепом на пятую точку. Но швед, извернувшись, сам ставит Медведя на мост. Прихватив мёртвой хваткой Сашкину шею, он для устойчивости разбрасывает ноги циркулем. Медведь вздыбливается. Его лицо наливается багровой синью. Не тут-то было. Эриксон начеку и вот-вот сломает Александра. Арбитр распластался на мате, чтобы не упустить миг касания ковра лопатками. В зале бедлам. Шведские фаны взбеленились. Надрываемся что есть мочи и мы:

— Держись! Уходи! Мости круче!

Мне кажется, что я перекричал всех. Захлебываюсь... Поняв, что срываю связи, всей душой желая... поражения другу. И тогда, сгорая от стыда за самого себя, я захожусь в иступлённом крике, чтобы задушить всколыхнувшуюся во мне нечисть. Александр, разорвав захват, устраивает шведу бультерьерскую трёпку...

Назавтра мне предстоит финальный бой. Надо во что бы то ни стало выспаться. Пытаюсь забыть в картёжной игре. Тупею от подкидного, а сна ни в одном глазу. Хотел было испробовать брумелевский рецепт — оглушить себя стаканом водки, но от спиртного меня воротит. На пол от моего верчения сползает подушка, одеяло, скручивается простыня. Я сижу торчком на кровати, потный от кошмарившего меня сна.

Двери хлопают нараспах. В раздевалку вваливается ватага развесёлых болельщиков. Они пришли передать мне привет от пионерии Владивостока! Сергей Андреевич рыкнул на них так, что они тут же ретировались. На смелую им заявляющаяся корреспондент Гостелерадио Нина Ерёмкина, в свою бытность нападающая женской сборной СССР по баскетболу:

— Всего несколько слов для слушателей “Маяка”...

Я набрасываюсь на неё чуть ли не с кулаками:

— С катушек что ли, мать, слетела? А ну, вали отсюда! У меня финал, понимаешь, дурында!

Для золота мне достаточно ничьей, Лютви нужна только победа. Рисковать, лезть на рожон мне ни к чему. Отсиживаться, уходить в глухую оборону — тоже не след. Волкодавы-арбитры мигом вкаты предупреждение за пассивность, а затем влепят поражение! Следует запудрить мозги Лютви, судьям, залу так, чтобы никто не распознал обманность моих финтов! Надо наседать на болгарина, тормозить его, пугать ложными атаками, не позволяя

ему сосредоточиться, и всё на грани возможного. Ахмедов наверняка помнит урок, преподанный мною Каплану, и на рожон не полезет, будет и сам осторожничать.

На помосте, ожидая свистка арбитра, не могу унять охвативший меня тряский зуд. Мне бы глубоко вздохнуть, загнать мандраж в подкорку, оглохнуть, закутавшись в непроницаемый для гвалта кокон, да перехватить ободряющий Серёгин взгляд...

Минуты за три до окончания поединка с Ахмедовым я осознаю тщетность всех его попыток прорваться сквозь мою “наступательную” тактику. И меня словно подменяют, словно освобождают от пут... Я схожусь с болгариним в крестном захвате и ускользаю от него... Хочу — подсекаю, а нет — так, поднырнув ему под руку, захожу за спину, валю, валю, но, к своей досаде, за ковёр. У меня возникает чувство невесомости...

Когда, уже в ранге чемпиона, я сошёл с помоста, Ялтырян сделал какой-то неопределённый жест с завихрением:

— Эф...та! Знаешь, ты боролся... эфта... как бог!

Он что-то ещё хотел сказать, но не нашёл подходящего случая выражения. Серёга, скупой на похвалы, тоже сбился на радостные восклицания:

— Налетался наяву?

Он всё понял, ему ничего не надо было объяснять. Утром в “Йойоги” на общем построении нам с Медведем вручают гвоздики, знаки “Заслуженных мастеров спорта СССР” и торты. Впрочем, начальству не до нас. Они шепотком обсуждают внезапный отъезд Павлова. Накануне, получив правительственную телеграмму “Папа заболел”, он вылетел в Москву.

А Медведя пригласили на телешоу. Усаживая его в машину, переводчик напутствует водителя:

— Будьте осторожны. Вы везёте национальное достояние страны!

Надо же! Весомая оценка! Никогда дотоле мне не доводилось воспринимать успехи в спорте под таким углом зрения. Надо бы обдумать всё хорошенько. А пока всем радостям я предпочитаю бассейн. Окунув лицо в воду, отфыркиваюсь, плаваю, через силу вяло загребая руками. Измочаленный поединками, я ни на что иное просто не способен. Мне не приходит в голову, что отныне мы с Александром преобразили тяжёлый вес. Его станут олицетворять не увальни с надутыми пивом животами, а сухопарые бойцы типа Медведя, Айика, Андиева, Мусульбеса, Ярыгина и великого великана Карелина. Именно такой типаж будет теперь утверждать своё превосходство на международных турнирах. Но, отупев от ковра, я не прозреваю ни своего, ни Сашиного будущего.

На следующий день отправляюсь с Александром в район Акихабара, чтобы на тамошних развалах прицениться к “барахлишку”. Суточные выдали по обычной мерке, по пятнадцать долларов за день, и хватать перед отъездом наспех всё что ни попадя не годится. От обилия товаров трещит голова. Хочется много чего и сразу. Забреем в ресторанчик с муляжами блюд в оконной витрине.

— Берём что-нибудь эдакое японское, а то дома и похвастаться будет нечем, — предлагает Медведь. Он прав. Опасаясь за свои желудки, мы не прикасались к диковинным для нас суши и сашими. Методом тыка заказываем лашшу с фаршем и овощами, ну, и, конечно же, пиво. Лапша оказалась хоть и переперчённой, но вполне съедобной. Нам оставалось выяснить название японского кушанья. Оказывается, мы угостились... спагетти, а пиво пили баварское. Ушли из ресторанчика сытыми, но разочарованными, и буквально уткнулись лбами в двери стриптиз-клуба. Соблазн оказался ересчур велик. На всякий пожарный случай оглядываемся — нет ли за нами хвоста — и прошмыгиваем внутрь совершенно запретного для “руссо туристо обличко морале” заведения. На сцене — платиновые европейки, явно не из высшей лиги. Они сладострастно елозят по никелированным шестам. Вокруг нас возбуждённо сопят японцы преклонного или близкого к нему возраста. Нам, здоровущим кобелям, здесь явно не место, и мы тихой сапой выбираемся из полутёмного зала, пропахшего потом и дешёвой косметикой.

Заявление ТАСС об освобождении Н. С. Хрущёва от всех занимаемых должностей вытесняет отчёты о перипетиях олимпийских баталий на задние полосы газет. Наши руководители пребывают в состоянии “гrogги”. По чьей-то указке сверху меня назначают руководителем “агитационной группы”, составленной из журналистов-международников и деятелей молодёжных организаций. В сложившейся ситуации ей вменяется налаживание мостов с прогрессивной японской общественностью.

В Йокогаме нашу делегацию приглашают в клуб “Поющие голоса”. С удивлением обнаруживаю, что три шёлковые струны сямисэна навевают такую же грусть, что и нашенская родимая балалайка, и что в Японии принято отдариваться за гостеприимство песней. Мне — “главе” делегации — пришлось отгудаться за всю нашу честную компанию. После первого куплета “Распрягайте, хлопцы, коней, та лягайте спочивать...” я понял, что более ничегошеньки не помню. От позорного провала меня спасает чайная церемония.

— Надо участвовать, — обращается ко мне переводчица. Персонально для меня нагревается вода в чайнике “тэцубин”, в фарфоровую чашечку насыпается зелёный чай “маття”, его взбивают бамбуковым венчиком “тясэн”. Ведущая церемонии медитирует, погружая в своё состояние и меня. Вспененный чай горчит, но конфеты из рисовой муки приглушают это ощущение.

— Обратите внимание, — едва уловимым голосом произносит переводчица, — на чашке изображён мотив осени — опавший лист. В Японии рисунки на чашечках для чайной церемонии меняются в зависимости от времени года.

Токийский рыбный базар открывается ни свет ни заря. Он представляет собой скопление свежей, замороженной, копчёной, сушёной, жареной, печёной, вяленой, солёной, мочёной, квашеной, маринованной океанской живности, и всё это обилие раскупается в часы.

В Нагое нам удалось попариться в сельской баньке, сомлеть в горячем серном источнике, искупаться в тёплом озере в скалах. Женщины плескались в нём вместе с мужчинами, целомудренно отвернувшись лицом к стеночкам, позволяя лицезреть лишь свои оголённые плечики. Второй этаж бани отведён под буфетную. Чай бесплатен. Еду заказывают здесь же или приносят в узелочках из дома. Если кому-то захочется вздремнуть, то он спокойно укладывается спать тут же на циновках в проходе меж низеньких столиков.

В Хиросиме едва не теряю золотую медаль. В госпитале для жертв атомной бомбардировки меня попросили заходить в те палаты, перед которыми висят разноцветные гирлянды бумажных журавликов. По поверью, даже безнадежно больной пациент, успев выкроить их тысячу, пойдёт на поправку. Мою медаль больные передают из рук в руки, от койки к койке. Их пергаментные лица, скроенные из доскутов кожи, хоть на миг, но светлеют. В самолёте я принимаюсь лихорадочно перетряхивать ручную кладь, выворачивать карманы в поисках медали. И только прилетев в Осаку, обнаруживаю её засунутой в чемодан.

Игры... Игры... Игры! Они не дают забыть о себе даже в поездке. При малейшей возможности прилипаю к телеэкрану. Меня гложет досада, что мой закадычный друг, Виктор Лисицкий, упустил золото, оставшись при четырёх серебряных медалях. Ему, видимо, не хватило жесткости. Даже выигрывая, он ведёт себя извинительно по отношению к сопернику. У гимнастов вообще не понятно, что творится. Чешка Чаславска выиграла три золотых медали, а Лариса Латынина лишь две. Хорошо, что Ромуальд Клим тряхнул стариной, и Тамара Пресс к своему римскому золоту добавила ещё две медали той же пробы. Молодцами показали себя и наши фехтовальщики, впервые одержав в сабле командную победу. Особенно рад за Боря Мельникова, потому что мы с ним блокадники и лесгафтовские однокашники.

Мне повезло застать концовку битвы штангистов-тяжеловесов. Пропащенный американец Шемански, “закурив”, то есть выбыв из турнира, наблюдает со стороны за баталией Власова с Жаботинским. После жима и рывка Юра опережает Леонида на целых пять килограммов. К тому же он

легче запорожского казака на полтора пуда. Но штангисты — тихушники, и поди знай, кто на что в действительности способен...

Третье заключительное движение — толчок. Жаботинский берёт два центнера, а затем затаивается. Власов начинает с 205 килограммов и покоряет вслед 210. Жаботинскому нужно идти ва-банк. На штанге устанавливается умопомрачительный вес — 217,5 килограммов, что на 2,5 кг превышает мировой рекорд. Спортзал “Сибуя” наэлектризован до предела. Меня тоже берёт оторопь. Не понимая, где зарыта собака, я хребтиной ощущаю, что передо мною разворачивается трагедия.

На помосте Леонид Жаботинский. Он пудрит магниезией ладони, затягивает потуже пояс. Примерившись к штанге, вздёргивает чуть повыше колен и с лязгом роняет снаряд на помост. Зал разочарованно ухает! Скособокас и припадая на ногу, Леонид ретируется за кулисы. По всему видать, запорожец спёкся, и, значит, Юрий уже победитель. Ну, а если одолеет рекордный вес, то станет чемпионом всех времён и народов. Власов выходит на подиум. Резкий рывок с подседом... штанга на груди... рессорный прогиб в пояснице, перед заключительной фазой движения штангу уводит чуточку вперёд, и она сползает на помост. Вес не взят!

Жаботинский тут как тут. Он свежее свежее. Никаких тебе ужимок, никакой тебе хромоты. Свои подшучивают над ним:

— Что такое нечистая сила? Это неумытый Жаботинский!

Мытый или немытый, но Леонид посылает в нокаут героя Рима. Он взмётывает строптивую штангу легко, будто хворостинку. Хитёр хохол! Это ж надо было, так разыграл спектакль. Лицедеи из лицедеев могли бы ему позавидовать.

Древняя столица Киото: старинные пагоды, парки, храмы. Особой популярностью у туристов пользуется императорский дворец Госё, то есть “Высокопочитаемое место”. Он воплощение китайской пышности и японской изысканности. Доступ в него ограничен. Но мы запаслись специальным разрешением, и наша крохотная делегация отправляется на осмотр. Прежде всего нас впечатляет крыша пагодного изгиба. Она из многослойной кипарисовой “черепицы”. Её заменяют через каждое тридцатилетие. Потомственные мастера выискивают в горах особой породы кипарисы и, ошкурив их, выкраивают из коры “дранки”. Торец крыши украшен орнаментом из резных хризантем — символа императорской семьи. Проходим по анфиладам покоев с раздвижными дверями “фусума”. На них изображены цапли, тигры, сакуры. Планки отполированного до блеска пола слегка поскрипывают, оповещая хозяина о непрошенных гостях. Тронный зал поражает аскезой, если бы не богато декорированное кресло из красного сандала, инкрустированное перламутром. На заднем панно изображены павлония, бамбук и птица феникс насыщенного синего цвета.

В северной части дворца покои императрицы, принцев, принцесс. Чуть поодаль — цветочные апартаменты и крытая галерея, доступная всем ветрам. “Как стремится сердце в зал прохлады, откуда я смотрел на луну над холмами Сагасияма”. Хокку написано императором, с тоской вспоминая безмятежные времена, проведённые им в Киото. Ознакомившись с достопримечательностями дворца, направляемся в парк, пронизанный тишиной. В нём совсем не слышно шагов, потому что под ногами ковер из мха. Заморосил беззвучный дождь. Его капли, не тарабаня, хоронятся в губчатом мху. По ходу мы набредаем на “каменистое русло ручья”. Мох подобран садовниками так, что создаёт впечатление бурлящего потока. Кажется, что зелёно-голубые струи журчат, обтекая нагромождение валунов, а чуть ниже, на изломе, kloкочут водопад. Серо-зелёные пряди мха, струясь, крушат скалы...

После очередной экскурсии обнаруживаю, что забыл переобуться и уехал в музейных шлёпанцах. Ботинок моего размера в Стране восходящего солнца отродясь не производили. И всё оставшееся время мне пришлось щеголять в борцовках, в том числе и на официальных приёмах.

Американцы в Токио нас обошли. В неофициальном командном зачёте они завоевали 38 золотых медалей, мы — 30. Но у каждого своя бухгалтерия. Начислив за золото, серебро и бронзу соответствующее количество

баллов, мы заявили миру, что вышли вперёд. У меня другой подход. Олимпийский лозунг гласит: “Быстрее, выше, сильнее”. Согласно этой триаде в скоростных видах спорта США, безусловно, опередили нас. Что же касается “выше”, то Валерий Брумель перепрыгал самого Джона Томаса, “бостонского кузнечика”.

Ну, а по части силы нам не оказалось равных. Наши тяжелоатлеты добились четыре золота: Вахонин, Плюкфельдер, Голованов и самое престижное золото у Жаботинского. На ринге никто не смог остановить Степашкина, Лагутина и Попенченко. К нашим с Александром медалям добавилась “классическая”, завоеванная А. Колесовым. Ну, и как тут не прибавить к золоту четыре бронзовые награды наших дзюдоистов. Им крепко досталось. Их засуживали. Олег Степанов шваркнул Накатани спиной на татами. Как писали потом об этой схватке газеты, ошарашенный японец лежал, боясь открыть глаза, но арбитр... не заметил броска! Так что бабушка надвое сказала, кто кого в Токио одолел — американцы нас или мы их! А сам я до сих пор не осознал, что навечно зачислен в члены клуба олимпийских чемпионов. Быть может, тому виною путаница, привнесённая в мою жизнь Большой советской энциклопедией. В ней помещена фотография с изображением Анатолия Колесова, сопровождаемая подписью: “Чемпион Токийской Олимпиады А. Ивашицкий”. Так что я вроде бы есть, но меня как бы ещё и нет.

Кстати, Анатолий чуть не окочился, дожидаясь своего золота. Он вроде бы сделал всё, и предстоящая схватка поляка со шведом ничего для него не значила. Почти на сто процентов первое место оставалось за ним, так как оба соперника встречались между собою четырежды, и всякий раз побеждал поляк. Но ведь могло случиться, что на сей раз швед положит поляка на лопатки. Тогда судьбу медали определит взвешивание. Колесов не принадлежал к числу рьяных стонщиков, но четыре килограмма для “скоростишки” попридержал. Весок сбавился и по ходу турнира. И, тем не менее, уповать на авось он не захотел. На раздумья у него оставалось полчаса, и Колесов подстраховался. Он напялил на себя кучу спортивных костюмов, закрылся в душевой и открыл все краны с горячей водой. Окутанный клубами пара, Анатолий имитировал броски, вёл бой с тенью, а затем плюхнулся в ванную, наполненную почти кипящей водой. Его обыскали, торопясь сообщить, что он чемпион, а Колесов в полуобморочном состоянии лежал, распластавшись, на кафельном полу в душевой.

В аэропорту Ханэда, на подходе к паспортному контролю меня отыскивает посыльный и вручает коробку... с моими ботинками. До сих пор не понимаю, каким образом они вычислили меня, но факт остаётся фактом.

Волостной писарь

Рыжий облезлый котяра ночи напролёт мяучит под моим окном. Подтекающий кран долбит каплями по раковине, а заодно и мне по мозгам. Настенные часы каждые полчаса будят меня хриплым боем...

Всё это означало, что нервы у меня на пределе и, значит, пришла пора завязывать с большим спортом. Брат в Египте возводит Асуанскую плотину. А что представляю собой я со всеми своими медалями в тридцать лет? Ноль без палочки! Профессии никакой, разве что податься в тренеры... или в грузчики. Чемпионы — никудышные наставники, потому что они, как ни крути, своего рода везунчики! Кого воспитали Юрий Власов, Вячеслав Иванов, Валерий Брумель, Лидия Скобликова, Ирина Роднина и иже с ними? Хотя, конечно, нет правил без исключений. И тем не менее... Кто бы мог подумать, что спортсмены — это великовозрастные дети. С ними панькаются, их кормят, обувают, одевают, врачуют, наставляют, возят по городам и весям, одаривают призовыми игрушками. А потом вскормленного бесчисленными “нянями”, ни к чему не приспособленного, выставляют за порог. И они гибнут — подобно мухам, увязшим в меду. Алексей Вахонин ушёл из спорта. Ни образования, ни профессии. Полез в шахту. Но штангисту ворочать, не разгибаясь, уголёк лопатой целую смену — работа непосильная. Для такого труда нужна особая сноровка. Раз — простыл, два — продуло.

Сошёл с дистанции, запил. Выгурили из бригады. Пристроился рыть могилы. Попёрли и оттуда. Так и слетел с катушек.

Ну, допустим, останусь в спорте до последнего и выиграю пятую, а затем ещё и шестую чемпионские медали. Что изменится во мне самом? Уйти непобеждённым — глупо! Взять хотя бы Ивана Поддубного. В свои 53 года, уступив Чуфистову, обронил с досады: “Эх Ваня! Не у меня ты выиграл, а у моей старости!” Примерно так я начал рассуждать задолго до Олимпийских игр в Мехико-сити, решив податься в журналистику. Если допустить, что из меня всё же получится пристойный наставник, то я смогу окучить не более сотни ребятишек. А если напишу дельную статью, то помогу тысячам... А грузчика оставлю на потом.

Но совершенно неожиданно мне предложили попробовать себя в качестве инструктора отдела спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ. Откладывая журналистику на будущее. Баба Мотя, проведав о моём назначении, всполошилась. По её соображениям, меня вознесло чуть ли не вровень с генеральным начальником всей страны. Пришлось ей объяснять, что мои обязанности гораздо скромнее и чем-то схожи с полномочиями волостного писаря.

Впоследствии выяснилось, что я замыкал список кандидатов вслед за Власовым, Пресс и Попенченко. Валера заартачился и на меньшее, чем заводделом, не соглашался. Какие условия выставили другие, не знаю. Сам я никаких требований не выдвигал, спецификой работы, тем более аппаратной, не владел, но идея способствовать развитию дворового футбола меня грела. Однако моя комсомольская карьера сразу же не задалась.

Для оказания психологической поддержки олимпийцам ЦК ВЛКСМ направил в Мехико-сити творческую бригаду, в которую вошли Пахмутова, Добронравов, Френкель, Миронов, Магомаев, Крамаров и Лещенко. Меня пристегнули к этой группе в качестве непонятно кого. В паузах между выступлениями артисты, композиторы, певцы и киноактеры превращались в заядлых туристов, спеша покататься по каналам Сочимилько, увидеть остров кукол, деревья которого увешаны детскими игрушками с выпученными фарфоровыми глазами, оторванными руками, ногами, губами, перепачканными красной краской, — дань древней традиции индейцев, отрезавших головы своим жертвам; зайти в кафедральный собор, поглазеть на резиденцию Троцкого, обнесённую двухметровыми стенами, окрашенными в терракот; побродить по развалинам Теночтитлана; вскарабкаться на пирамиду Солнца в месте, где боги коснулись земли; побывать на центральной площади Сокало, чтобы послушаться уличных музыкантов марьячес.

Меня такая разгульная жизнь вполне устраивала, и я не слишком расстроился, получив разовое задание сопроводить группу товарищей, составленную из деятелей физкультуры областных и краевых масштабов, на просмотр какого-то завлекательного фильма. Потрёпанный автобус куда-то вёз нас по бесконечно длинной Инсурхентос, затем запелтял по переулкам и притормозил у задрипаного кинотеатришки. На вопрос, чего ради мы приперлись в эдакую даль, меня осадили с непытливой оглядкой:

— На порнушку поглазеть!

Билетёрша, подсвечивая в темноте фонариками, рассадил нас на свободные места в зале. Оказалось, что в Мексике фильмы крутят нонстоп, и зритель смотрит кино с середины, с конца, с начала, словом, не важно с какого места. Угнездившись в кресле, я вперился на экран, пытаясь разобраться в сюжете. Молодая гречанка металась в томлении по спальне, видимо, предвкушая встречу с героем-любовником. Облачаясь в пеньюар, она распахнула окно настежь. Зал жарко засопел, заприметив намеки на женские прелести, едва уловимые сквозь ажурную прозрачность ночной рубашки. Когда через полтора часа я увидел ту же сцену, то понял, что фильм пошёл по второму кругу и что в стране, истово исповедующей католицизм, полураздетая женщина и есть главная приманка для охотников за клубничкой. Я выбрался на свежий воздух. Водитель тут же насел на меня. С грехом пополам мне удалось понять, что автобус арендован нами до двенадцати ночи, и шофёр вот-вот отъедет восвояси! Можно было бы отпустить его и добираться

до Олимпийской деревни на такси. Но попробуй растолкуй их владельцам, не зная испанского, куда нам надобно ехать! А если завезут не туда? В Мехико-сити с иностранцами не церемонятся. В центре города, прилюдно, не только сумочки, но и подметки рвут на ходу. Самого Жаботинского грабанули средь бела дня! Вышел прогуляться на площадь. Его обступили бродячие музыканты и ну качать. А он рад-радешенек. Вот она, gloria mundi! На ноги опустили, а бумажника-то и нетути! Переполненный решимостью, я возвращаюсь в зал, складываю ладони рупором и гужу в темноту:

— Советские туристы, на выход!

Чего только мне не пришлось выслушать в свой адрес на обратном пути! Оказывается, я опозорил страну, запятнал имя советского туриста и, главное, проявил недоверие к их моральной стойкости. И всё бы ничего, всё бы сошло мне с рук, если бы в запале я не обозвал одного из самых настырных крикунов амёбой.

По возвращении старшие товарищи как следует пропесочили меня, не приняв во внимание ни один из моих доводов. Утешение я нашёл на груди у новоявленного приятеля, черноусого вожака молодёжи из заполярного Тикси Артура Чилингарова. Прихватив до кучи корреспондента “Советского спорта” Кикнадзе, мы отправились на базар сторговать Артуру шитое серебряными нитями сомбреро размером с летающую тарелку. Нахлобучив на голову обновку, Артур, довольный донельзя, из просто усатого мужика преобразился в настоящего мачо. Тогда мы не осознали, что совершили роковую ошибку. На какие бы мероприятия мы с Чилингаровым потом ни заявлялись, какие бы аусвайсы ни предъявляли — полицейские при виде типичной мексиканской атрибутики, загорелого лица, густящих усов и громадного сомбреро вылавливали Артура ещё на подходе к турникетам и волокли на расправу в участок. Знали бы они тогда, что третируют будущего вице-спикера Государственной Думы Российской Федерации!

Меня, естественно, тянуло в зал борьбы. Медведь перешёл в мою весовую категорию, вес не сгонял, всё складывалось для него тип-топ, но в канун Олимпиады врачи обнаружили у него сердечную недостаточность. Нагрузку необходимо было снижать, но тренироваться вполсилы Александр не умел. Мы с ним посудачили, и я посоветовал ему борьбу послать куда подальше:

— Бери ружьё, меси болота, гоняйся за лосями.

Я знал, что присоветовать. Уход из большого спорта был для меня черват резким снижением нагрузки. Меня выручил бег трусцой. Начал с десяти кругов по школьному стадиончику. А когда втянулся, то сходил с электрички за МКАДом и бежал по березовым колкам аж до Николиной горы, эдак километров тридцать.

В Мехико-сити на Медведя сработал его имидж неутомимого бойца. Натисков Александра боялись панически. Своей манерой ведения схватки он за гипнотизировал и судей. Стоило ему сделать шаг-другой вперёд, и арбитр вlepлял противнику замечание за пассивное ведение поединка. Но мексиканская жара, разреженный воздух высокогорья всё же сказывались на нём. Изображая на лицах дикованное по поводу его очередной чистой победы над турком Гиязетдином Йылмазом, японцем Иорихиде Исогаи или выигрышем по очкам у опасного болгарина Османа Дуралиева, мы сволакивали Сашку с помоста и на плечах тащили в раздевалку, где массажисты приводили его в чувство. И всё же Медведь показал себя! В финале жребий свёл его с немцем Вильфридом Дитрихом. Двукратный олимпийский чемпион по вольной и классической борьбе семь лет назад почти сломал Сашкину карьеру, обыграв его на чемпионате мира в Иокогаме. Дитрих без разведки ринулся в атаку. Защищаясь, Медведь вывихнул большой палец. Пока врач соображал, что к чему, Александр с хрустом вправил его на место. Дитриха будто подменили. Он раскис, превратившись в аморфную тушу. Проиграв поединок, Вильфрид поздравил Александра с Олимпийским золотом, сказав:

— Пока ты выступаешь — остальным на ковре делать нечего!

Переживая за Медведя, я старался не пропустить выходы на помост Бориса Гуревича. Его несколько лет подряд прессовали за толидские чемоданы,

набитые под завязку американскими шмотками. Карантин, однако, с него сняли. И в 1967 году в Нью-Дели он выиграл звание чемпиона мира в весовой категории до 87 килограммов. Здесь Гуревич борется выверенно. Кого может — туширует. С опасными соперниками на рожон не лезет. Так что ничьи с монгольским батыром Мунхбатом и болгаринном Гарджевым в итоге обернулись для него золотом. Я не стал дожидаться, когда Борис придёт в себя, взял такси и отвёз его в телецентр, чтобы он сам прокомментировал свой финальный поединок. Из-за разницы во времени трансляции передавались в записи, так что мы успели к началу передачи.

По возвращении в Москву секретарь ЦК ВЛКСМ, курировавший наш отдел, с подвохом поинтересовался, а правда ли я переполошил всех мексиканцев в кинозале своим басом? Судя по его реплике, слава о моём подвиге разнеслась по всем этажам ЦК. Я не переживал. Что можно было со мною сделать? Выставить за ворота? Так я подамся в журналистику. Поэтому преспокойно занялся дворовыми состязаниями на призы “Золотой шайбы”, помогая Валентину Сычу, замзаву отделом, который вёл это направление. Тем паче, что Анатолий Тарасов всемерно помогал нам своим авторитетом. Конечно, приходилось заниматься не только подростковым хоккеем. Как-то мне позвонил тренер по штанге Саша Чужин, мой давний приятель по инфизкульту. Он пожалился, что его ученик готов хоть сейчас разродиться мировым рекордом в тросборье и утереть нос не только Власову, но и Жаботинскому, но его вот-вот упрячут в... кутузку. Дело в том, что его подопечный Васёк Алексеев, прорываясь в Дом культуры на танцульки, свернул челюсть... как оказалось, районному комсомольскому деятелю. Всем ещё была памятна шумная кампания в прессе, вызванная заключением за колючую проволоку футбольного виртуоза Стрельцова. Понятно, что дело с Алексеевым могло принять нештучный оборот. С грехом пополам скандал удалось замять.

Мне довелось воочию увидеть Василия Алексеева лишь на Мюнхенской Олимпиаде. Внешне он походил на былинного богатыря Буслаева, который в семь лет заходил на княжеский двор да шутил с прочими детьми: “Кого дёрнет за руку — рука прочь, кого за ногу — нога прочь”. Неимоверно объёмный, в расхристанной спортивной форме, слегка небритый, он вольготно расположился на двух стульях в первом ряду террасы в олимпийской деревне, она же концертная площадка, предвкушая выступление Эдиты Пьехи. Готовясь к выходу, певица приняла за кулисами для куража рюмочку коньячку и, слегка порозовев, появилась на импровизированной сцене. Обведя всех своим очаровательным взглядом, Эдита Станиславовна милостиво разрешила перед началом концерта задавать ей любые вопросы касательно её творчества. Тут-то Василий и встрепенулся:

— А кой тебе годик?

С Эдитой приключилась истерика.

Выше я вскользь упомянул о Мюнхене. Но эти Игры нуждаются в большей развёртке. Именно столица Баварии превратила Александра Медведя в легенду отечественного спорта. Дорогу к третьей олимпийской медали ему преграждал двухсоткилограммовый американец Крис Тейлор. Он появлялся на людях, окружённый зеваками, и, раздавая автографы, заявлял, что приехал в Германию только за золотом. Крис выглядел эдаким пыхтящим альфа-самцом. Александр на его фоне выглядел узником концлагеря. Многие были уверены, что Крис сомнёт Медведя. Саша несколько раз повисал на шее американца, пытаясь его согнуть, но тот пёр пузищем вперёд и пёр. Арбитр на ковре остановил схватку, свёл их на середине и покрутил кистями в воздухе, мол, боритесь поактивнее. Судья-информатор объявил замечание Тейлору за выталкивание Александра с ковра. Преображенский задёргался:

— Похоже на подвох. Сашке нужна атака, иначе его подловят.

Медведь, разумеется, не слышал тренерских размышлений, но опыта ему было не занимать. Улучив момент, он цепляет ногу Криса, осаживает его на ковр. Американец, развернувшись на живот, успевает спрятать руки в складках жира. В таком положении к нему не подобраться. После прерыва Саша повторяет свой трюк и зарабатывает второе выигрышное очко.

Тейлор пыжится, но победа уплыла от него. Назавтра у Медведя финальная схватка с болгаринцем Османом Дуралиевым. Ему кровь из носа необходимо как следует выспаться. Он затворяется в отведённой ему комнате. В другой с присвистом давно похрапывает Преображенский. А я остаюсь в нашей “трёхкомнатной” квартире — в холле. Надо срочно написать в газету отчёт о прошедшем дне.

Вначале они перебросили через ограду адидасные сумки, потом сами перелезли через забор. Не доходя до здания, отведённого для израильских спортсменов, затаились. Завизжали застёжки-молнии. Из сумок торопливо достали автоматы, рожки с патронами. В подъезд террористы вбежали гурьбой в надвинутых балаклавах с прорезями для глаз и, минуя лифт, кинулись вверх по лестнице. Струя пуль искрошила дверной замок.

Заслышав выстрелы, я взбеленился. Опять неугомонные итальянцы отмечают свои успехи взрывом петард. Мозгов у них нет. Люди легли спать, а они ставят на уши всю Олимпийскую деревню. Только утром я сообразил, что вокруг происходит нечто непонятное.

Повсюду броневики с торчащими рыльцами пулемётов, цепь бундесверовских солдат опоясала периметр деревни, на ветру телепаются ленты ограждения, сдерживающие толпу вездесущих корреспондентов с телекамерами и микрофонами, рвущуюся к месту событий.

— Никак снимают очередную бондиану? — иронично замечает Сергей Андреевич. — “Из Олимпийской деревни с любовью!”

Но всё выглядит серьёзно. Худосочный хиппи из любопытствующих, зацепившись за ограду рюкзачком, повис на ней. Послышалось лающее: “Хальт!” — и полицейский угрожающе повёл дулом автоматического пистолета...

Прерваны трансляции. Скомканы соревнования. Перепуганные дикторы, протараторив новости, исчезают с телеэкранов. Газеты пестрят заголовками: “Пять террористов ворвались в Олимпийскую деревню”, “Взяты в залог израильские спортсмены”, “Есть убитые и раненые”, “Голде Меир выдвинуты условия — если не освободит двести палестинских заложников, томящихся в застенках Иерусалима, то к захваченным атлетам будут приняты крайние меры. На ультиматум необходимо ответить к двенадцати дня”. Олимпиада в ступоре. Все ждут развязки. Трагедия произошла в двух шагах от нашего блока. “Террористы отдают предпочтение фирме “Адидас”!” “Читайте нашу газету! Только в ней опубликованы фотографии заложников!” “Марк Спиз, семикратный чемпион Мюнхенской Олимпиады по плаванию, затребовал с американской военной базы охрану для своей персоны!” “Безобразия! Куда смотрит министр внутренних дел Баварии?” “Почему до сих пор не задействованы снайперы бундесвера?” “Автоматы террористов советского производства!”...

Гуманистический лозунг основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена “О, спорт, ты — мир!” летит в тартарары на моих глазах. Единственный фотокорреспондент, который поймал в объектив террориста в нахлобученном на голову колпаке, был фотограф Юрий Рост, которого с моей подачи включили в состав нашей творческой бригады...

“А Баба-Яга против...”

Предложение перейти на Гостелерадио для меня оказалось сюрпризом.

Первые дни своего пребывания в качестве главного редактора Главной редакции спортивных программ мне не забыть никогда. Собираясь сесть на стул, я совершенно случайно оборонил взгляд на сиденье и... завис в воздухе, заведя на нём трёхгранный кованый гвоздь размером с мизинец. Ещё бы секунда и...

Я ещё не успел сделать никому ничего, плохого или хорошего. Но меня сразу же хотели взнудать, чтобы я бегал эдакой мышкой по плинтусу и звёзд не тормозил. До меня в редакции сменилось, кажется, пяток руководителей. Буквально на следующий же день в мой кабинет заявился шахматный обозреватель с дамской фамилией и с напускным сочувствием заявил, что я

влип в историю, потому что у меня нет никакой идеи. Что можно было ему ответить? Пожалуй, он вынес мне справедливый приговор. Примерно с неделю меня мучили сомнения: может, отказаться от должности, пока не поздно? А потом я вспомнил...

На Мюнхенской Олимпиаде мне довелось участвовать в торжественной церемонии открытия Игр. Колонны спортсменов на подходе к стадиону то ускоряли свой ход, то замедляли. Выбравшись из рядов, я устроился на откосе и смотрел на дефиле атлетов. От них невозможно было оторвать глаз: все стройные, подтянутые, белозубые. И тогда я поймал себя на мысли, что лет эдак через двести, возможно, такими будут все люди на планете. Вот только суметь бы донести эту эталонность до всех!

Следующие редакционное испытание оказалось с кулинарным привкусом. Мне мнилось, что, переступив порог Останкино, я окажусь в неких высоких сферах. По крайней мере, мужских пыжиковых шапок и женских меховых уборов в гардеробе было предостаточно. Конечно, среди них попадались и кроликовые, но только в виде исключения.

В редакционной комнате отмечался чей-то день рождения. Сдвинутую к краю стола жестяную крышку от киношной бобины переполняли тлеющие окурки. “Тамада”, деля торт на порции, кромсал его пальцем. При виде сего меня чуть не стошнило. Помимо воли пришлось попристальной всмотреться в каждого из своих сотрудников.

Особняком от всех держался Вадим Синявский. Маг радиорепортажа был на сходе, словно актёр немого кино, доживший до эры звука в кинематографе. Телекартинка отняла у него возможность фантазировать. Оказаться в роли статиста ему, создавшему своими репортажами футбольный бум, видать по всему, было тягостно. Ещё в период своего внештатного сотрудничества я частенько сталкивался с ним в коридорах на Пятницкой. Он проходил мимо, не здороваясь, будто не замечая меня. Кто я был для него? Очередная “звездюлька”. Ему ли мериться славой со мною, ему, ведущему репортаж с парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, из осаждённого Севастополя, из танка на Курской дуге...

Оставаясь не у дел, Синявский, тем не менее, всегда выглядел подтянутым, тщательно выбритым, с гладко уложенными на пробор волосами, распространял вокруг себя едва уловимый запах коньячного аромата. Свой разговор он пересыпал афоризмами. Они подхватывались на лету и тут же тиражировались: “Не ври, что чист, если денег, как грязи”, “Сегодня дозволено и даже предписано врать смело”, “В мире царит гармония: умные считают себя дураками, а придурки — умниками”, “Принцип “око за око” нередко приводит к потере зрения”, “Что-то нервишки пошаливают! Прощвырнуться, что ли, по парку горькой культуры и нежности?” После его кончины до меня дошло, что именно Синявский лучше многих из нас постиг суть спорта: “Говорит и показывает Москва. Наши микрофоны установлены на центральном стадионе “Динамо”... нападающий бьёт в “девятку”, и мяч, словно бабочка, забился в сетке ворот”, — голос Синявского тонет в рёве трибун. Он замолкает, не пытаясь перекричать зрителей, и, выдержав паузу, спокойно роняет: “Надеюсь, всем ясно, чем завершился штурм ворот?” Так рисовать словом, звуком мог только Вадим Синявский.

Николай Озеров, припадая на трость, приятно расшаркивается со всеми: “Сдрасте... драсте... драсте!” Хоккей достиг пика популярности, и главного комментатора страны болельщики были готовы носить на руках. Он заводит зрителей, по-бразильски вопя “го...ооо...ооол!” Именно Ник. Ник. заставил уверовать нас, что НХЛовский мордобойный хоккей “нам не нужен”, а заодно внушил, что лучше других актёров справляется во МХАТе с ролью пышнотелого Хлеба в спектакле “Синяя птица”. А ещё он был многократно-многократным чемпионом страны по теннису. Озеров выигрывал это звание и тогда, когда его сверстники ушли на фронт, и в послевоенные годы, когда, собственно, не с кем было соревноваться на корте. От обычных смертных Николая Николаевича отличало чревоугодие, прижимистость и... жажда поспособствовать всем и каждому. Его блокнот был испещрён мольбами о помощи в получении жилья, телефонов, автомашин, полированной

мебели, санаторных путёвок в Сочинский дом творчества и прочая. С утра главный комментатор страны пристраивался к телефону и названивал в Инту, Томск, Чебоксары, Самару, Чугуев... и добивался своего. Однажды он рискнул пригласить всех своих коллег к себе на подмосковную дачу. Изрядно поднабравшись, коллеги по редакции смели все его запасы, напоследок закусив спиртное живыми аквариумными рыбками.

Январь Юсупович Садеков королём в редакции себя не ощущал, хотя и был единственным в своём роде режиссёром. Детдомовец заболел футболом, городками, волейболом, мотогонками и многим другим ещё в младости. И только он своим чутьём на Московской Олимпиаде мог углядеть стрекозу, трепыхавшую слюдяными крылышками на лопасти занесённого для гребка весла, тем самым передав телезрителям предстартовый напруг.

На первых порах меня водили за руку Нина Ерёмкина, с которой я чуть не разругался в Токио, и Владимир Марканов, курировавший на радио штангу, а заодно и борьбу. О них следует сказать особо.

Нина, напористая, привлекательная блондинка, использовала свою внешность и популярность на все сто. Гаишник тормозит её за нарушение правил:

— Да, нарушила. Но почему остановили именно меня? Я ехала в общем потоке. Обратили внимание на красивую женщину? Коллеги вас могут не понять. Извините, тороплюсь на съёмку. Кстати, мне надо ещё успеть захватить в “Правду”!

Марканов, в отличие от неё, был в редакции рабочей лошадкой. Сборная СССР по вольной борьбе, удачно завершив турнир, вылетела из Бухареста в Москву. Владимир получил задание взять у меня в Шереметьево интервью. В столице и далеко за её пределами хлестал дождь. Лайнер посадили в Киеве. Марканову страсть как не хотелось тащиться под дождём в аэропорт, за тридевять земель. Особо не заморачиваясь, он включил в ванной душ и наговорил на магнитофон текст: “Дождь льёт, как из ведра. Самолёт только что приземлился. Результаты выступления команды любителям борьбы хорошо известны. Поэтому я прошу Александра поделиться со слушателями “Маяка” планами на будущее...” И подписал к своему вступлению интервью, взятое у меня ещё до поездки в Румынию. Репортаж вышел в эфир. Какое-то время спустя на аэропорты, больницы, приёмные покои обрушился шквал звонков, потому что никто из “прилетевших” не объявился дома! Марканова не уволили по двум причинам. В Советском Союзе выставить человека на улицу без согласия профкома, месткома, парткома, отдела кадров и... курилки было просто невозможно. Кроме того, он, взращивал двух дочерей и бился, словно рыба об лёд, пытаясь сбить их замуж.

Кроме Ерёмкиной и Марканова, я достаточно быстро нашёл общий язык с Георгием Сурковым. Владелец гренадёрской статьи, убелённый благородными сединами, он являл собою человека с незамутнённой совестью. Лукавинка в глазах, неизменная улыбка яснее ясного говорили, что перед тобою рубаха-парень. Так оно и было. Георгий преданно служил гребле, а также биатлону и умел вдохновенно преподносить их телезрителям:

— Мощный гребок одел рулевого в “стеклянный” пиджак.

Однако Гера порою колебался в выборе между поэзией и буфетом. Сшибить на радио десятку-другую рубликов в день не составляло особого труда. Халтурки всегда хватало. Так что Гера то и дело подвергался соблазну лёгких, так называемых буфетных денег. Но именно благодаря ему мне удалось повстречаться с Астафьевым. В Красноярске проводилась зимняя Спартакиада народов СССР, и меня туда командировали.

Мороз пробирал телеоператоров до костей. Енисей тоже старался подбавить минусов ледяной испариной. Всех телевизионных москалей пришлось срочно переодеть в овчинные полшубки и переобуть в валенки. Проведав, что Астафьев проживает буквально в двух шагах от телецентра, еду к знаменитому писателю с трепетом — не шуганет ли с порога за беспокойство? У съёмочной группы тоже свои сомнения — накормят их ужином аль нет? Дверь открывает жена Виктора Петровича, вся из себя сухонькая, востроносенькая, с причёской буколками в колечки. На просьбу переобуть нас

в тапочки Астафьев ворчит, мол, выдумали моду разуваться! На нём чёрные сатиновые шаровары и клетчатая фланелевая рубашка ржавого цвета. Осваиваясь, рассматриваем книжные шкафы, картины, развешанные по стенам. Включив старенький магнитофон, Виктор Петрович предлагает для зачина послушать песни:

— Мои поют. Многих уж и на свете-то нет, — и заметив, что мы заинтересовались живописью, поясняет: — Да тут ничего знаменитого нет. Вот это моя вологодская изба. А рядом, на этой акварели, тони, куда нас мамка за гряды не пускала. Боялась тайги.

Узнав, что я блокадник, потеплел. Отважившись, спрашиваю у него про ощущения солдата, поднявшегося в атаку.

— Тупеешь, словно животное. Выскакиваешь из траншеи первый, за тобою второй сиганет, а третьего снайпер снимает. Потому необстрелянные и гибли.

Непонятно в какой связи Виктор Петрович, порывшись среди книг, достаёт томик Рубцова и, раскрыв наугад, не то прочитал, не то продекламировал:

*В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды...*

И, помолчав, вздохнул:

— Вот так бы нам всем писать!

Тем временем его супруга Мария Семёновна выставила на стол чуть подгоревшую, с дымком, картошку, разделанную селедку, сковородку поджаристых рукодельных пельменей, нарезала сольцо и распластовала копчёный муксун. Затем донесла солёных груздей в слизах и мочёную бруснику. Наполнив рюмки, Астафьев предупредил, чтобы литературных разговорчиков никто не заводил. Но, рассказывая о Прохоровке, я помянул добрым словом Гоголя, и мы вцепились друг в друга...

А потом под чаёк, поданный в подстаканниках из берёсты, Виктор Петрович совсем оттаял и пустился в воспоминания:

— На мясокомбинате мне выдали резиновый фартук до пола, а там чаны с фаршем, соль, селитра, туши под сто двадцать, ступени в кровнице скользкие, а мне и шестьдесят на плечах не поднять... обосцовывался с натуги. Ладони все в порезах — кости-то острее бритв. После смены шёл домой, выставив разъединенные солью руки вперед. Жена стаскивала брюки, самому было невмоготу... — И в сердцах добавил: — Гномы нами командуют!

При расставании договорились, что, приехав в Москву, он заглянет к нам в редакцию. Не случилось...

Зарубежные поездки тогда были редки. За бутор в основном выезжали дипломаты, артисты очень больших театров, спортсмены и, разумеется, комментаторы, прежде всего, хоккейные, футбольные, по фигурному катанию, художественной гимнастике. Так что интрижки, подставы, наушничество были в редакции явлением повседневным. Получалось, что я попал, будто кур в опил. Юшквичюс, сжалившись надо мною, посоветовал не относиться к сотрудникам слишком серьезно:

— Они вроде детей в песочнице: дерутся, ябедничают, “кулички” сшибают, сюсюкают и, наигравшись... строчат друг на друга анонимки. Так что возжи не распускай, а то тут твоя, из новеньких, ходит по высоким кабинетам и шуткует, мол, Шурик-то у нас дурачок!

На зимней Олимпиаде в Инсбруке я заехал на биатлон, чтобы посмотреть соревнования вживую, а заодно пообщаться с Сурковым. Его на месте не оказалось. Останкино надрывалось, пытаюсь хоть с кем-нибудь выйти на связь:

— Инсбрук... Инсбрук... ответьте Москве. Инсбрук, ответьте Москве!

До прямого эфира оставались считанные секунды. Послав техника на розыски любого биатлонного специалиста, я надеваю наушники и лепечу в микрофон несусветную околесицу:

— Дистанция тридцать километров... валит снег... не разобрать, кто под каким номером стартует... метель метёт... все решит стрельба...

От позорища меня спасает Голя Малявин, наш всезнающий радиный репортёр. Сгорая от своего позора, я жаждал одного: мщения. Сурков попался мне в распахнутой куртке, с подозрительно красными глазами. Увидев выражение моего лица, он мигом протрезвел и забубнил в своё оправдание, что, мол, то да сё... часы подвели. Одновременно вокруг меня вертится наш корреспондент, сынок малоизвестного композитора, и нащёптывает:

— Какие там часы! С тренерами гудел ночь, от того и морда кирпича просит!

Он топил своего брата, чтобы самому пролезть к микрофону! Моя злорада к Суркову сама собою улетучилась, словно её и не было вовсе...

Асы, пользуясь своей незаменимостью, ведут себя капризно, заносятся. И у меня рождается идея создать институт дублёров, чтобы они дышали корифеям в спину, умеряя их амбиции.

Начало им положил Владимир Маслаченко. Вратарь сборной СССР по футболу, он ранее числился в штате редакции, но затем укатил в Африку поднимать тамошний футбол. Что-то у него пошло не так, и он запросился обратно. Владимир, конечно же, знал предмет. Но усмелённый во вратарской славе, которая вся пришлась на долю Льва Яшина, он изводил себя изнутри, чрезмерно заиклившись на своей персоне. То прихвастнёт в эфире: “Ну, как вам понравился ваш комментатор?!” То ни с того ни с сего попрощается со зрителем по-итальянски: “Чао!” Но всё же отдача от него значительна. Футболист футболистом, а взял и вывел в телеэфир горные лыжи. До него их вообще числили в разряде ненашенских видов спорта и на телек не пускали. А он извернулся и добился своего.

Просматривая документальный фильм о фигуристах, я обратил внимание на молодого тренера. То, как он общался с малышкой, подкупало, и в редакции появился голубоглазый плечистый блондин — Сергей Ческидов, сносно балакавший по-немецки.

Теннисистка Анна Дмитриева, пробившаяся в четвертьфинал Уимблдонского турнира, была в большом фаворе, знакомства с ней домогались. Большинство народа в ту пору тащилось от футбола и хоккея, малая его часть — всему предпочитала шахматы, а “нанослой” отгораживался от всех идеологических проблем теннисом. В своё время Аня закончила филфак МГУ, владела французским и английским, так что подходила нам по всем статьям. Тем более, что за ней тянулся флёр фамильных преданий. Её отец, ведущий театральный художник МХАТа, многократный лауреат Сталинской премии, водил тесную дружбу с автором “Мастера и Маргариты”. Более того, он был рядом в момент его ухода “...Елена Сергеевна всё время сидела на полу на подушечке — у изголовья Михаила Булгакова и держала его руку...” Именные гости: Немирович-Данченко, Качалов, Ливанов, опека новорождённой со стороны Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, мхатовские спектакли — вот та атмосфера, в которой росла будущая “звезда”. Так что роль Дмитриевой в редакционной перенастройке для меня была очевидна. Только бы она справилась с нею.

Очень ценным приобретением для редакции оказался двукратный олимпийский чемпион Евгений Майоров. У него было масса достоинств: хриплый голос, говорок, присутщий шпане из Марьиной Рощи, доскональное знание подноготной хоккея... и перебитый нос.

Но более всего я дорожил своим замом Борисом Степановичем Гульяем. Когда мне удавалось вырваться на съёмку, то я обязательно держал с ним совет. Он получил высшее кинематографическое образование и обладал отменным вкусом.

Менять редакционный климат приходится по ходу. Профессор факультета журналистики МГУ, заведующий кафедрой стилистики русского языка, Дитмар Эльяшевич Розенталь подтягивал нас в русском. Желаящие осваивали английский язык. Изменился и характер редакционных посиделок. Восьмого марта редакционные мужчины встречали сотрудниц во фраках, позавтракавших в костюмерной, с букетами благоухающих мимоз, доставленных

нашим спецкурьером прямиком из Абхазии. Завершались наши вечера скрипичными концертами. В благодарность женщины устраивали 23 февраля нашим “воинам” чаепитие с домашней выпечкой.

По ходу мне удалось изобрести свой вид спорта. Моё увлечение виндсёрфингом с приходом зимы сходило на нет. Но, памятуя о гонках на “конькобежных” катамаранах по льду Финского залива, я раздобыл прыжковую лыжу, привинтил к ней парус и покатил по заснеженному водохранилищу. По телеку недавно показали массовый заезд “зимних” виндсёрфингистов. Мелькнула запоздалая мыслишка: “Надо было патентовать!”

Общего языка мне, как ни странно, не удалось найти с борцами. Только что на колени не становился перед Иваном Ярыгиным, пытаюсь убедить его перенести первенство страны, допустим, из Барнаула, в приемлемое для телевидения место. Там не было передвижных телевизионных станций. Помимо прочего, борцовские соревнования накладывались на чемпионат мира по хоккею, который сметал весь другой спорт с голубого экрана. Ярыгину вроде и хотелось пойти мне навстречу, но алтайские власти обещали ему накрыть “поляну”, а сдвиг турнира в ту или иную сторону, видите ли, нарушал алгоритм подготовки борцов к международным состязаниям. С такого рода рассуждениями ничего нельзя было поделать. Порою приходилось, махнув на всё рукой, брать кинокамеру и самому поспешать за сборной, чтобы отснять хотя бы короткометражку для эфира.

Благодаря одной такой вылазке на чемпионат мира в Лозанну, я запечатлел для истории перипетии соревнований, уделив особое внимание поединкам тяжеловеса Сослана Андиева. Документальный фильм вышел в телеэфир под названием “Залог победы”. С его братьями Геннадием и Сергеем мне довелось сходитьсь на ковре, а вот с “младшеньким” Сосланом — Бог милował. Говорят, батяня у них весил 136 килограммов при росте 2 метра 18 сантиметров. Выглядел он, наверное, повнушительней Валуева. Вот уж кто всех своих “оппонентов” согнул бы в бараний рог! Я до сих пор храню благодарность всей Андиевской семье. Есть известная поговорка, что для постижения человека нужно съесть с ним три пуда соли. Так вот, зазвав меня в гости, они окружили меня такой теплотой, что и раза хватило, чтобы проникнуться уважением к вековым осетинским традициям. О застольной молитве Святому Георгию, о пышных пирогах — сырных, начинённых мясом, картошкой, зеленью, — лучше умолчу...

О Московской Олимпиаде вроде бы сказано всё. Добавить что-либо своё в её летопись практически невозможно. И тем не менее... Редакция спорта отвечала за производство международной картинки для всех континентов. Столицу изрядно перепахали: возвели международный аэропорт, построили современные гостиницы, стадионы, Олимпийскую деревню, проложили дорожные развязки и эстакады, возвели олимпийский телерадиокомплекс и прочая, и прочая, и прочая. Ну, и кем были мы, грешные, на этом грандиозном фоне? И всё же получалось так, что именно наше подразделение, в конце концов, вышло на авансцену. Нам пришлось исполнять партию первой скрипки. Во многом именно от нас зависело, какой Олимпиада предстанет перед миллиардами зрителей планеты. Тянуть такой воз в одиночку было задачей непосильной. Но на моё счастье, к этому моменту команда сложилась. И всё же нам катастрофически не хватало режиссёров, телеоператоров, звукорежиссёров, техников и редакторов, сведущих в спорте. За доллары, конечно, можно было бы нанять забугорных асов. Сейчас так и поступают. Но тогда с валютой была напряжёнка, да и принципы не позволяли. Поэтому мы перешерстили все республиканские, краевые и областные теле- и радиокомитеты. Наши спецы под огнем критических замечаний держали экзамен перед признанными авторитетами. Но самым сложным делом для нас оказалась выработка своего режиссёрского почерка. Я каждый раз поражался тому, что самой главной телекамерой в футболе считалась верхняя, показывающая поле с высоты птичьего полёта. Мне отвечали, что так положено, иначе болельщик не считает кружевного рисунка атаки. Но бросаясь в прорыв, корчась на поле от боли, ликуя после забитого гола, футболист ведь не видит себя из поднебесья! Значит ли это, что он самый несчастный человек на свете? Может

общий, то есть верхний план следует в разумных пропорциях совмещать со средними и крупными? Так в жарких спорах вырабатывался наш подход к освящению спортивных баталлий.

За спиной Лапина шептались, мол, поставлен на должность, чтобы почистить Гостелерадио от пятого элемента. Шастал ли он по студиям с ятаганом, приуменьшая число неверных, мне доподлинно не известно. Но, именно при Сергее Георгиевиче главным международным политобозревателем и его собиным другом заделался Леонид Зорин. При нём же начала всходить радионная “звезда” Владимира Познера. Дикторскую группу важнейшей информационной программы “Время” возглавил Игорь Леонидович Кириллов. А на Пятницкой ещё более утвердился неоспоримый авторитет Юрия Борисовича Левитана, которому поручалось оглашать во времена оны важнейшие указы самого Сталина. Надо было видеть, как вздрагивала очередь в колбасном отделе Елисеевского гастронома, когда неприметный гражданин всесоюзно-знакомым голосом вещал продавщице:

— Взвесьте, голубушка, двести граммов сырокопчёной!

В те времена многие журналисты мечтали пробиться в политобозреватели: солидное, номенклатурное положение, “кремлёвская авоська” — продуктовый паёк со всяческими деликатесами, недоступными рабоче-крестьянскому народу, кстати, по весьма и весьма умеренным ценам, санаторное обеспечение, “гербовый” телефон правительственной связи, забугорные командировки, а то и заведование корпунктом не где-нибудь, а в Париже, Нью-Йорке или Токио, возможность подкопить валютку для покупки кооперативной квартиры, машины и дачного участка в престижных подмосковных уголках. Я пересекался с ними, в основном, в кубрике — так называлась комнатёнка на десятом этаже Останкино, где в уединении обедала вся телевизионная верхушка. Цены в ней были столовские, все блюда доставлялись из общего котла, разве что эскалоп подавался помясистее. На кухне хозяйничала Надюша, давно махнувшая рукою на свой внешний вид. В кубрике, ослабив узелок галстучной удавки, можно было позволить себе расслабиться. Голубоглазый “афганец” Каверзнев, врываясь в кубрик, на лету перехватывал снедь и сбегал в аппаратную озвучивать свой очередной репортаж. Его защитного цвета тужурка с карманами и карманчиками отдавала порохом, а лицо спецкора, вне зависимости от времени года, шелушилось от высокогорного кандагарского загара. Только что вернувшийся из Бразилии Фесуненко, успевший прогреметь в болельщицкой среде книгой о Пеле, непрестанно досаждал мне своими нравоучениями, мол, почему да почему наши футбольные репортажи не такие эмоциональные, как у латиноамериканцев? Пришлось его урезонивать:

— Да потому, что Зыкина не поёт, как Лолита Торрес!

Познер в нашей останкинской кают-компании был редким гостем. Будто невзначай он упоминал о своей пикировке с Лапиным: “Он мне сказал... я ему возразил... Сергей Георгиевич заметил...” Много лет спустя он запел совсем иные песни: “...я чувствую себя во Франции дома вообще, и Нью-Йорке — в частности... Моя родина там, а не здесь, а кому это не нравится, пусть обращается в ООН”.

С появлением Сенкевича расцветала даже Надюша. Баритональный тембр голоса кинопутешественника действовал магически на дам любого возраста и социального положения. Ну, а я, разинув рот, внимал каждому слову человека, свершившего невероятное. В составе интернациональной команды, ведомой известным норвежским исследователем Туром Хейердалом, на тростниковом не то судёнышке, не то лодке “Ра” он преодолел Тихий океан.

Телеведущая Галина Шергова ушла в 1943 году на фронт добровольцем. Работала в газете 5-й танковой армии “На штурм”. Властная посадка головы, зелёные глаза и стянутые в узел иссиня-чёрные волосы — всё вместе производило неизгладимое впечатление. Автор десятка книг в прозе и стихах, множества документальных видеофильмов, она могла заставить слушать себя кого угодно. Быть может, в немалой степени тому способствовал слух, что Шергова якобы приходилась родней самому Юровскому,

который командовал расстрелом императорской семьи. За глаза её называли “Акулой”.

И конечно же, желанным гостем кубрика всегда была обворожительная тетя Валя — Валентина Михайловна Леонтьева, — ведущая редкой по доброте передачи “От всей души”. Порою могло показаться, что она помнит по именам каждого из участников своих передач, которые выходили без прерыва в эфир на протяжении пятнадцати лет.

Юрий Летунов не баловал нас своим присутствием. Ел ли он когда-нибудь по-настоящему, вообще было загадкой. Загруженный сверх меры, он, тем не менее, умудрялся выкраивать время для своей подготовки к полёту в космос в составе экипажа “Салюта”.

Георгий Зубков шумно наведывался в кают-компанию. Еще бы! Приезжал он не из захудалого села, какого-нибудь Чугуева, а напрямик из Франции, где пребывал в должности спецкора Гостелерадио. Он-то и был моим крёстным отцом при приёме в “ОВВ”. Судьбоносный акт состоялся вскоре после моего утверждения в должности главного редактора спортивных программ. Это чрезвычайное мероприятие проходило в ресторане Дома журналистов — месте злачном, куда посторонних просто так не пускали и чей буфет славился заморскими напитками. Подвальное помещение Домжура служило прибежищем разной пишущей шушеры, любителей пива и раков, потреблявших и то, и другое в невообразимых количествах. Пристраиваясь к бочкам, заменявшим им столы, они зависали в сигаретном дыму до закрытия.

Посажеными отцами на церемонии инаугурации вызвались быть Ник. Ник. Озеров и Наум Александрович Дымарский. Кто из них был моим главным поручителем, мне и по сию пору осталось неизвестным.

Во главе стола восседал Зубков. Держал он себя с обслуживающим персоналом по-свойски:

— Вас, деточка, как зовут? Раечка. Вот и чудненько. Значит, так. Бурбончика принесите нам из буфета, рыбочку копчёную, балычок, миноги маринованные... так, что у вас там ещё? Вы свой телефончик, милая, оставьте мне, лучше домашний. В другой раз обязательно за ваш столик сядем. Омара рекомендуете от шеф-повара, а что ещё? Грибочки, начинённые оливками, лососинкой и жареным бекончиком? Прелесть, милочка! Ну, от такого консоме о своём пролетарском происхождении совсем забудешь. Какой выдержки виски? Впрочем, сами разберёмся. — Он с упоением длил свой диалог. — Люблю следующие компоненты: французский паштет “лю патэ” с норвежским салмоном в укропчике. И запивать всё это надо, други, грейпфрутовым соком с тёплым молоком. Для меня, сироты с детства, это то же самое, что для вас чашечка кофе со сливками. И если мне говорят, что это не “футе”, мне наплевать. У нас на Урале я привык половинить пиво с простоквашей.

Чемпионат Европы по вольной борьбе проходил в Мадриде, и мне необходимо было сделать пересадку в Париже, чтобы в испанском консульстве получить визу. С моим знанием французского, английского и тем более испанского задачка, прямо скажем, для меня являлась архисложной. Пришлось звонить Зубкову. Он приехал в аэропорт “Ле Бурже”, запоздав более чем на час. Я уже запаниковал, не зная, что и думать. Суетясь, он помог уложить чемодан в багажник своего “Ситроена”.

— В какой, говоришь, отель едем? Далековато от консульства. Знаешь, старичок! Тут столько работы навалилось, подготовка к высокому визиту, то да сё. Придётся тебе самому выкручиваться. Кстати, об ужине! На фуа-гра губу не раскатывай. Мы с жёнущкой диэтируем — месяц на гречке сидим. Так что в бистро перед кашкой заскочим, по кружечке пивка у стойки примем, — и напевно заурчал: — Кашечка, кашечка, будь она неладна, гречечка...

Перед началом Московской Олимпиады мне устроили на коллегии головомойку. Чувствовалось, что Лапин на всякий случай перестраховывается — вдруг напортачим? Но мне было не до того. Редакция разбухла. С прикомандированными сотрудниками штат возрос до двух с половиной тысяч человек.

Приходилось вставать ни свет ни заря. А тут ещё приспел американский бойкот, и многое пришлось спешно перекраивать на ходу. Семью съезжаю в деревню. Практически всю Олимпиаду я провёл безвылазно в Останкино. Посмотреть на борьбу в “натуре” никак не получалось. Выручал телек. Да и то приходилось смотреть трансляции урывками. Пожалуй, лишь разок оторвался от дел, увидев, что на помост поднимается Сослан Андиев. Поймал себя на том, что смотрю на телеэкран отрешённо, будто всё происходящее на ковре меня вовсе не касается. Вот Сослан проходит в ноги Адаму Сандурскому. Поляк грузно оседает на ковёр, но его более чем двухметровый рост помогает ему захватить ногу Андиева. Он, подтягивая Сослана, ставит его в опаснейшее положение — на голову. Только в этот момент у меня под ложечкой ёкнуло, словно поляк крушил меня, а не Сослана. Андиев успевает перебросить ноги и накрывает Сандурского. Мне показалось, что лопатки Адама коснулись покрышки. Но арбитр поднимает обоих в стойку. А у меня зануло старое. Правильно ли сделал, резко порвав с борьбой? Через секунду-другую Андиев станет двукратным. Мог бы и я сделать дубль!

Тогда мало кто из нас осознал, что удалось сотворить! Сами, без участия иностранных спецов, на своей родимой телетехнике мы выдали добротную международную телекартинку мирового уровня. Например, в Сочи, на нашнейской зимней Олимпиаде, к производству международной телекартинки не допустили ни одного россиянина, да и техника вся была исключительно чужеродной.

Московская Олимпиада завершилась лирической пахмутовской колыбельной, проводившей Мишку в сказочный лес, и горечью прощания с Высоцким...

К этому времени наше общение сошло на нет: не было уже встреч за кулисами, на квартире у Хмельницкого, на его концертах. Да и к Таганке у меня поменялось отношение. Я постепенно утрачивал восхищение режиссёрским талантом Юрия Любимова. Иногда я задаю себе вопрос: по какую сторону баррикады оказался бы Высоцкий, дотяни он до 1993 года?

*И ни церковь, ни кабак —
Ничего не свято!
Нет, ребята, всё не так!
Всё не так, ребята...*

*Эх, раз, да ещё раз,
Да ещё много-много, много раз...*

А ещё со мною тем летом произошло почти мистическое событие. Проезжая мимо Дома кино на Васильевской, я увидел на фасаде растяжку: “Лариса”, документальный фильм Элема Климова. С Элемом меня подружил его брат Герман, член сборной страны по лёгкой атлетике. Он написал сценарий, по которому братья сняли документально-игровой фильм: “Спорт, спорт, спорт”. До них никто так шутейно и всерьёз не подавал спорт.

Климов посвятил фильм памяти своей жены Ларисы, нелепо погибшей в автокатастрофе год назад. На экране я увидел потрясающе красивую женщину, одновременно похожую то ли на модель, то ли на хранительницу священного огня в древней Элладе, то ли на Жанну д’Арк, то ли на боярыню Морозову. Мне захотелось выть от досады! Оказывается, все её фильмы прошли мимо меня...

Потом я пересмотрел “Зной” (1963) по повести мало кому тогда известного Чингиза Айтматова “Верблюжий Глаз”, “Крылья”, “Родину электричества”, “Восхождение”, “Прощание с Матёрой”, завершённый Элемом Климовым. Киноработы Шепитько надо знать. Тех, кто не видел “Восхождения”, мне искренне жаль. Это почти евангельская кинопритча о русском воине. И если рязановский кинофильм “Ирония судьбы” крутят “новогодне”, и поделом, то “Восхождение” следует демонстрировать в канун дня Победы!

Начальник отдела кадров Гостелерадио, бывший прокурор Магаданской области, по-шалыпински фактурный и такой же басистый, попросил заглянуть к нему в кабинет по наградным делам.

— Только не обессудь, — притворно вздыхая, начал он свой доверительный разговор со мною. — Начальство решило по итогам Олимпиады наградить Орденом Ленина слесаря-водопроводчика, передовика производства, а тебе вручить... “Трудовое Красное Знамя”. Какие будут возражения?

Он исподтишка наблюдал за моей реакцией, видимо, ожидая взрыва негодования или хлёстких слов по адресу некоторых облечённых властью товарищей, чтобы донести куда надо. Но ничего похожего не дождался. Меня и без медалей распирала гордость, что именно мы утвердили свой канон спортивных трансляций...

“Все согрешили, и нет никого чистого от греха, хотя бы он прожил всего один день”. Эту фразу я вычитал у выдающегося представителя русской религиозной мысли Сергея Николаевича Трубецкого. Она меня зацепила. Я ранее встречал подобное высказывание, вложенное в уста святых подвижников. Именно они считали себя самыми большими грешниками на земле! Что же спрашивать с нас — простых смертных?! Грешен и я, самолично зазвавший на телевидение Кашпиrowsкого...

На сломе эпох из всех щелей вылезают кикиморы, лешие, упыри, разного рода чревоушатели, маги, целители-экстрасенсы, предсказатели судеб. Нечто подобное творил на стадионах с людьми Кашпиrowsкий. Следуя его пассам, народ цепенел, превращаясь в сомнамбул. По редакции поползли противоречивые слухи, мол, он врач, мастер спорта по штанге, психотерапевт сборной страны по тяжёлой атлетике и, что важнее, помогает пациентам избавиться от излишков веса.

Кашпиrowsкий с помпой объявился в Москве, и я решил поприусловствовать на его сеансе. На сцену зрительного зала маг и волшебник просит подняться добровольцев. Желających испытать острые ощущения набирается с дюжину. Кашпиrowsкий выстраивает всех в ряд и, проходя вдоль шеренги, останавливается напротив очередной жертвы, какое-то мгновение гипнотизирует её взглядом, а затем шлепком ладони по лбу отправляет клиента в нокаут, и тот, одеревенев, валится на пол. Следующие по пятам мастера ассистенты едва успевают подхватывать бедолаг под руки. Неожиданно на сцену взлетел Михаил Мамияшвили. Он подвергается аналогичному испытанию. После шлепка в лоб двукратного олимпийского чемпиона качнуло, но Михаил устоял на ногах. В повторный удар Кашпиrowsкий вложил по настоящему. Но на сей раз Мамияшвили даже не шелохнулся. Чего-чего, а морально-волевых качеств Михаилу не занимать. Лично я сто раз бы подумал, выставлять себя на возможное осмеяние или схорониться в темноте зала. Кашпиrowsкий, заиграв желваками, процедил ему сквозь зубы:

— Линяй отсюда!

О своих впечатлениях я доложил В. И. Попову. Была достигнута договорённость записать Кашпиrowsкого, а затем обсудить — выпускать запись в эфир или положить на полку. Тем более что в него вцепились “взглядовцы”, и мне захотелось их обставить. В концертную студию в Останкино ломанулась вся столица. Я, собственно, был занят не подготовкой передачи, а распределением билетов. Дня за три, затравленный просьбами поспособствовать заполучить контрамарку, скрылся в подполье. Само выступление Кашпиrowsкого началось с чтения писем от благодарных ему пациентов, которых он избавил от смертельных хвороб. Затем его корреспонденты, в основном, тётеньки солидных возрастов, запросились на сцену, чтобы самолично засвидетельствовать излечение. Подготовив таким образом аудиторию, Кашпиrowsкий приступил к гипнотическому сеансу. Подтянутый жгучий брюнет с чёлочкой, как у парика Кобзона, замогильным голосом зачревоуещал:

— Даю установку... даю установку на лечение энуреза и включения внутреннего будильника...

Преданные адепты гуру заколебались. Кому-то стало дурно, и его вывели из зала.

— А меня не забирает, — похвалилась наш телережиссёр, прелестница Инна Дорфман. Ровно через пять минут укачало и её.

Успех передачи превзошёл все ожидания, и Кашпировский пустился во все тяжкие, ассистируя в прямом эфире из Киевской студии во время операции на брюшной полости, которую делали без наркоза женщине в Тбилиси. Джинн был выпущен из бутылки, а вернее, казачок, посланный к нам непонятно кем. Исцелитель тел и душ, выступая в Баку под убаюкивающую музыку тутека, дал установку на “бизимдырь”, то есть пожелал присутствующим умереть за возвращение Карабаха. Словом, плеснул бензинчика в костёр вновь разгорающегося армяно-азербайджанского конфликта. А упоминание им Гейдара Алиева в списке великих мировых лидеров и призывы вернуть бакинцам первородство в изобретении долмы и лаваша вызвали в зале характерные круговерчения. Так что любимец домохозяйек оказался с подтекстом, да ещё с каким!

Крещенский сочельник

В канун Богоявления я со своими друзьями-товарищами надумал съездить в Сулость, чтобы навестить духовника олимпийской сборной России в Лондоне отца Сильвестра. По преданию, именно в этом селе, под боком у Ярославля, в простой деревенской церквушке крестили Димитрия Донского. За ветхостью её давным-давно разобрали, возведя на её месте каменный храм. Молва донесла до наших дней, что на обжиг кирпичей пошли брёвнышки той самой стародавней церкви. А раз так, то закаливались они в “намоленном” огне...

Помимо прочего, меня влекло к батюшке простое любопытство. Мне было доподлинно известно, что архимандрит получил два высших образования: физико-математическое и духовное. И мне очень хотелось порасспросить его, коим образом Савл преобразился в Павла.

Уговорить своих товарищей-приятелей составить мне компанию не составило труда. Один из них, Дмитрий Георгиевич Левчук, выглядел эдаким английским снобом: сухощавое лицо, благородная проседь, спина без угодливого изгиба. Наверное, в том были виноваты его пращурсы, в числе коих значился Пётр Чаадаев. В девяностые Георгиевич работал в аппарате Президента, но группа крови у него оказалась не та.

Левчук не раз бывал на Афоне. После очередного своего путешествия он настойчивее насел на меня:

— Определись, наконец, с батюшкой, исповедуйся ему, а потом обязательно причащайся.

Дал ему клятвенное обещание всё исполнить, но набежало то одно, то другое. Да и боязнь страшила. Рассказать о своих грехах священнику решусь. Но как жить-то далее, не нарушая устава? А что, если сорвусь? Хорошо моей знакомой. Она исповедуется часто, а затем “с чистой совестью” принимается за старое. От моих недоуменных восклицаний она отмашивается:

— Ну, бывает, срываюсь, а что тут такого?

Словом, всё откладывал и откладывал свою исповедь, а потом и дотянул до прошлой весны. Раннее утро, немилосердно шпарит солнце, в вышине свиреют разные птички. Полный трудового задора, я приставляю к стволу яблоньки переносную лесенку и, взяв топор, посвистывая, лезу вверх срубать сухостойные сучки. Дело-то плёвое. Только не заметил, что на подошвах обувки грязь налипла. Нога с перекладины возьми и соскользни. Хрякнулся я спиной оземь, метров эдак с двух. Всё бы ничего. Только вот в свободном падении рукоятка топорика у меня вывернулась, и я углом лезвия, будто нунчаком, чикнул себя по переносице. Словно кто-то решил пустить мне кровь, чтобы крепко вразумить отступника. Лежу распластанный на раскисшей земле. Стекла очков залеплены глиной. Не то цел, не то по тому свету уже гуляю. Ощупал лицо, вроде всё на месте, ничего не сдвинуто. Отлежался, рану пластырем заклеил, сел за руль, дал по газам и помчал до первого придорожного храма грехи замаливать.

Другой наш пассажир тоже был моим давним знакомцем: работал в журнале, слыл компьютерным маэстро, профессионально фотографировал, но настоящим его призванием было исполнение бардовских песен. К нашему несчастью, он оказался отчаянным куракой. Приходилось тормозиться, выдворять его из машины и терпеливо ждать, пока композитор, гитарист и исполнитель собственных произведений не дослюнявит очередную сигарку. Останавливаясь, я всякий раз лез в багажник проверять, всё ли там в порядке, не растрясались ли, не расплескались ли мои заготовки? Отправляясь на Водосвятие, я понимал, что заявляться в Сулость просто так негоже. Служба, крещенская купель, морозище разовыют у прихожан зверский аппетит. А мы, родимые, тут как тут... и не с пустыми руками. У меня давненько зародилась мысль сварить для батюшки кислые щи. Но сколько едоков соберётся у него за праздничным столом — поди знай? В том-то и была загвоздка! Но мне очень уж хотелось удивить православный люд исконно русским кушаньем, о котором даже деревенские жители подзабыли. Словом, я взвалил на свои плечи непомерную задачу. Но уверенность в успехе меня не покидала. Готовлю с малолетства. Рецептов знаю множество. Конечно, трачу настряпню уйму времени, но благодарность гостей всё искупает. Многие постиг самоучкой, но щи у меня с телевизионным пошибом. Сами знаете, сколько развелось на телеке кулинарных шоу: “Возьмите пару омаров... для соуса вам понадобится полбокала сухого белого вина “Шардоне”, оливковое масло extra virgin, столовая ложка семян нигеллы, несколько ниточек шафрана, а для гарнира — пучок спаржи”. Никак гламурные ведущие с “утиными” губками, накачанными ботоксом, не возьмут в толк, что за пределах Садового кольца их кулинарные изыски за пределами не актуальны.

Так вот! Перескакивая по своей привычке с канала на канал, я случайно наткнулся на программу, в которой священник делился секретом приготовления обычных кислых щей. Рецепт был за пределами прост. Я скорёхонько воплотил его в жизнь, позвал соседа с женой, людей сугубо интеллигентных профессий. Про щи они слышали, но пробовать их им не доводилось. Вначале супруги осторожничали, затем, забелив щи сметанкой, так разохотелись, что я едва успевал им подливать. Ели — аж за ушами у них трещало. С той самой поры редко какое застолье в нашем доме обходилось без наваристых кислых щей. После того случая я вообще стал считать их самым шедевральным блюдом русской кухни, разумеется, после... паюсной икры, восьмислойного курника, няни — бараньего бока, начинённого гречневой кашей, и тушёной тыквы с мёдом и пшеном... Шучу!

Но сами понимаете, одно дело — удивить соседей, и совершенно другое — накормить десятка три, а то и более оголодавших ртов. Да и где отыскать такую кастрюлицу, чтобы щей хватило на всех, и не по одной миске. Можно было бы приготовить всё заранее, но на ухабах да крутых поворотах вариво расплескаться легче лёгкого. В конце концов, решил приготовить полуфабрикаты, с ними и заявиться в Сулость. Сказано — сделано. Закупаться отправился на Москворецкий рынок. Прошёлся по рядам с соленьями. Торговки заывают:

— Молодой человек, а, молодой человек! Отведайте моей капустки. Сама квасила!

Хитрят бестии. Видят же сами, что годочков мне ого-го сколько! Но и я не промах:

— Да мне не капуста нужна, а килограммов пять счастья на вынос!

Продавицы смеются. Им ведь тоже хочется побалагурить. Взаимопонимание установлено. У всех всё пробую. Покупаю капусту забористую, хрустящую, с морковкой, и мне в благодарность наливают задарма трехлитровую банку рассола. Дома в глубокой сковороде капусту перетомил, приправил жареным лучком и за окно на мороз выставил, чтобы умягчилась и сладости набралась.

В Сулость добрались затемно. Служба в храме идёт полым ходом. Мои товарищи — в церковь, а мне — в трапезную. Там матушки-подсобницы чистят, режут, варят, столы накрывают. Я разъяснил им свой замысел, попросил поставить на газовую конфорку самую вместительную кастрюлицу и сварить

в ней картошку до состояния пюре и по готовности вызвать меня из церкви. Не ради же одних щей я отправился за тридевять земель!

Службу правил отец Сильвестр. Пристроившись в задних рядах, я пытался вникнуть в смысл молитв, урывками вспоминая послевоенные годы. Тогда патефоны — и те были редкостью, не говоря уже о подделеповатых телевизорах с экраном размером с теперешний смартфон. Они только-только начали появляться в продаже, и далеко не каждой семье телек оказался по карману. Так что по праздникам соседи по коммуналке чаще всего собирались у нас, потому что мои родители пели на славу. Иногда отец, разойдясь, басил на церковный манер: “Господу Богу помолимся...”

Меня знаками выманивают из храма. Картошка поспела. Ее истолкли, да так, что от неё и комочка не осталась. Засыпаю в кастрюлю притомлённую капусту, добавляю лаврушки, соли, чуточку чёрного перца, несколько горошин душистого, слегка подсластил варевом и добавляю в щи прокалённую на сковороде мучицу для придания им густой наваристости. Сняв пробу, подливаю рассола. На кухню то и дело прошмыгивает малец лет шести-семи. Лицо озорное, глазами так и зыркает. Выясняю, что он мой тезка и занимается в секции боевого самбо. Поэтому предлагаю ему без церемоний перейти на “ты” и впредь обращаться друг к другу со словом “коллега”. Пришлось, конечно, объяснить ему, что сие слово означает.

Ну, а потом наступило то самое. По окончании службы весь народ подался к пруду. А там всё уже готово: во льду вырублена крестообразная купель, к ней проложены дощатые мостки, помещение для переодевания натоплено. Жаждущих окунуться предостаточно, а люди всё прибывают и прибывают. Ни пьяных тебе, ни башибузуков, ни рогозеев. Милиция в сторонке. И без неё полный порядок. Во всём чувствуется направляющая рука батюшки. Он появляется из храма вместе с синклитом, в полном облачении. Совершив молебен, отец Сильвестр благословляет Иордань Честным Крестом и погружает его трижды в прорубь — “низводя воду и возводя”. Звучит тропарь “Во Иордани крещающуся Тебе, Господи”. Архимандрит кропит освящённой водой во все стороны. Наступает черёд окунания. Я в середине очереди. Вот только поспешил разоблачиться — морозец больно кусач. Ищу глазами Дмитрия Георгиевича. Он затерялся в толпе. Впереди меня серьёзного вида мужик скороговоркой бубнит: “Хворым и сырм в утешение... Святая вода, погаси пламя страстей, отгони злых духов...” Очередь благообразна. Никто не пихается, не лезет вперёд. В ней на удивление много крепко сложенных ребят и ладных девчонок. Откуда их столько набралось — непонятно! Подходит мой черёд. Кто-то подхватывает свитер, кто-то протягивает руку за очками. Ступив на первую ступеньку, ловлю себя на мысли: “Молодые — понятно. А тебя-то, старого хрыча, какая нелёгкая заставляет лезть в ледяную стынь?!” И, крикнув для куража, окунаюсь в прорубь с головой. Выскакиваю из воды с вытарщенными от ужаса глазами, торопливо крещусь, ныряю второй и третий разы и — пулей наверх, обтираться полотенцем. Тело горит, в душе восторг. Натягиваю поверх всего свитер из непромокаемой и непродуваемой овечьей шерсти и скорёхонько в трапезную. Кастрюльная бадейка взгромождена в центре стола, и в ней безостановочно гуляет поварёшка...

Ну, что сказать в свою похвальбу? Кислые щи оказались наваристыми, в меру ядрёными, а главное — сытными. Слышу со всех сторон удовлетворённое мурлыканье, и меня распирает от гордости. Гляжу, мой “коллега” за второй порцией тянется. По всему видать, что доволен, раз никто спать его не гонит. На радостях он предлагает мне потягаться с ним на руках. Посуду сдвигают в сторону, освобождая нам на столе местечко для ристалища. Малец клещом вцепляется в мою кисть. Старается вовсю, пыхтит, да так, что мне остаётся лишь согласиться с ним на боевую ничью.

Возвращаемся восвояси далеко за полночь. Головы светлые, потому что самое забористое из того, что мы отведали в трапезной, были мои кислые щи. Спиртного за столом у батюшки ни-ни! Ехали, млея от сознания, что хоть на сутки, но страхнули с себя городскую суетень. И ещё — от того, что прикоснулись к чему-то сокровенному. А к чему именно — просто так и не скажешь...

Лавровская кривуля

В девяностые телевидение с утра до вечера занималось рекламным чёсом водочной продукции, табачных изделий или втюхиванием мавродиевских лохотронов. На телеканалах шла ожесточённая драчка за так называемый прайм-тайм — самое смотрибельное экранное время. Всё нерейтинговое безжалостно изгонялось из эфира. И наши спортивные программы оказались за рамками голубого экрана. Например, чемпионат мира по лёгкой атлетике, проходивший в Севилье, удалось показать лишь глубокой ночью. Мне много чего довелось повидать на своём спортивном веку, но такой упорной баталии, которую вели между собою сборные США и России, видеть не приводилось. Наши уступили, но сражались так дерзновенно, что любо-дорого было на них смотреть. Ещё чуть-чуть, и чаша весов качнулась бы в нашу сторону...

Вскоре в Белом доме принимали наших легкоатлетов, хвалили их за стойкость, особо отличившихся награждали. В завершение встречи я попросил слово. Выйдя на трибуну, извинился перед командой, потому что только полуночники смогли оценить всю напряжённость их поединков, и напрямую обратился к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой вернуть спортивные телетрансляции на госканале на подобающее место...

Буквально через неделю-другую меня выставили на улицу. Начались судебные тяжбы, восстановление на работе. Но очень “швыдкое”, а затем и “добродетельное” начальство засадило меня... в кладовку, заставленную ломаной канцелярской мебелью, поставило телевизор и строго предупредило, чтобы я приходил и уходил с работы вовремя. На вопрос: “Чем буду заниматься?” — ответа не последовало. Ко мне были приставлены соглядатаи, которые отмечали в тетрадочке каждое моё появление на “рабочем” месте. Продержаться удалось ровно месяц, а потом в моей трудовой книжке появилась соответствующая запись: “Согласно Приказа по ВГТРК за № 692к от 18.03.2002 года уволить за совершённый прогул без уважительных причин (подпункт “а”, п-6, ст. 81 ТК РФ)”.

Всё можно было бы списать на частности, мол, не сошёлся характером с новым руководством, с кем не бывает? Через полгода в Питере состоялся чемпионат мира по хоккею. За право его показа мои бывшие теленачальники заплатили миллион долларов с хорошим гаком, по тем временам — бешеные деньги. Годом ранее за трансляцию такого же турнира, кстати, из-за границы мы потратили денег втрое (!) меньше. Так что, скорее, не личные амбиции сыграли роль в моём изгнании, а иные соображения. На швыдковском телевидении места мне не нашлось... Возможно, к счастью.

Посудил-порядил, посоветоваться со своим заместителем Борисом Гуль-тяем на предмет тягаться ли далее в судах. Он философски изрёк:

— Охолонь! У них всё схвачено. Дом в деревне — вот твоё пожизненное трудоустройство!

С деревенской идеей я носился давненько. В брежневскую эпоху садовых участков для членов профсоюзов вроде доставало! Но у меня к ним было настороженное отношение. Соискателям давалось по восемь соток в заболоченных низинах или в зонах ЛЭП. Всё это наша семья испытала на своей хребтине ещё при возведении отцовской дачки. Тресту, в котором работал отец, выделили под Гатчиной чётное аж до самого горизонта торфяное поле. Домики тогда разрешилось возводить одноэтажные, преимущественно щитовые и только летние, без печки. За каждую дощечку требовалось отчитаться квитанцией: где брал строительный материал, по сколько платил? Родители осилили дом на паях с соседом, так что на каждую семью пришлось соответственно четыре сотки земли. Приёмная комиссия пришла обмерять дом. Он оказался больше проектных размеров на восемь сантиметров. Встал вопрос о его сносе! Отец предложил компромиссный вариант — отпилить лишние сантиметры. Проверяющие матюгнулись... и махнули рукой на вопиющее нарушение закон. Года три, пока обихаживался участок, в дом через наглухо зашпаклёванные окна просачивалась чёрная взвесь. От неё першило в горле. Потом торфяную пудру обуздали зелёнка: в садиках выросли фруктовые

деревья, а на грядках заколосились редиска и укроп. Народ задружил улицами, внукам соорудили качели. Словом, на приусадебных участках удалось создать социалистический рай с человеческим лицом. Чтобы никто особо не заносился, со стороны железнодорожного полотна, впрытык к дачному кооперативу, возвели огромный домостроительный комбинат размером с Чернобыльскую АЭС. По другую сторону посёлка построили свиноферму на пять тысяч голов. Соответствующее амбре витало в воздухе повсеместно. В довершение всех напастей, через посёлок проложили автостраду. Комбинатовская лимита по осени в поисках консервированного закусона или какого-нибудь алюминиевого имущества на вынос постоянно взламывала фомками двери построек. Так что на замки опытные огородники перестали тратить.

Гатчинская эпопея остудила мой пыл на долгие годы, благо я обзавёлся палаткой, рюкзаком и спальным мешком, заодно приискав себе местечко на Москве-реке, за Звенигородом, неподалёку от деревни Улитино. Там с косогора, заросшего реликтовым дубняком, на левобережные дали открывался умиротворяющий вид. Правда, добираться туда с туристской поклажей сложновато: троллейбус, метро, переполненная электричка, забитый до отказа душный автобус, бравшийся штурмом, и после нужной тебе остановки маршбросок пёхом с рюкзаком к заветному стойбищу, чтобы тебя не успели опередить конкуренты...

В тот вечер я добрался до заповедного бутра ещё засветло. Разбил палатку, разложил вещи и понял, что, кроме пергаментного кулька с фаршем, весь остальной харч забыл дома вместе с хлебом, походной сковородкой, спичками. Идти одалживаться огоньком в деревню? Но не сворачивать же бивуак? Вверх по течению маячила одинокая фигура рыбакова. У него удалось разжигать спичками. В реке нашарил плоский камень и отмыл его от тины. Быстренько сообразил костерок и, накалив отмытую жаровню до нужной кондиции, разложил на ней слепленные на скорую руку не то кебабы, не то котлетки. Они аппетитно зашкворчали. Призрак голодной смерти истаял в наступивших сумерках. Комаров подувало ветерком, а наиболее настырных кровопийц шуганула дымовая завеса. Небо вызвездило. Я заморожённо смотрел на скомороший перепляс сполохов огня и гадал думку: кому же в нашей могучей стране, какому цековскому сусликову понадобилось гонять здорового мужика с палаткой по её долам и лесам?! Купить в деревне развалюху с помощью липовых бумаг, разумеется, было можно, но мне очень не хотелось ловчить!

Сеял мелкий дождичек. Над полем, хлопая крыльями, ни шатко ни валко летела ворона. Низина тянулась до реки. На другом берегу высилась стена леса. Порыв озорного ветерка спутал ветки скособоченных яблонек, превратив их причесоны в сплошные колтуны. Даже не верилось, что очень скоро эти карги зацветут, заневестятся... Дождь проредился, и тут же зажаворонили невидимые в выси птахи.

Я наконец-то понял, что нашёл своё, искомое: старый заросший сад, скворечники, грядки с невыкопанным картофелем, на которые в сумерках совершало набеги дикое кабаньё, и валютный вид окрестностей. Обосновавшись здесь, можно собирать мзду с посетителей просто так — за гляделки на окружающее пейзажное великолепие.

...Мне только что удалось сговориться с хозяином избы. Видок у него был ещё тот: взгляд исподлюба, скулы, обтянутые заветренной кожей, и стрижка по зековским канонам, считай, что под нулёвку. Но выставленные им условия не показались мне рваческими. Попивая из эмалированных кружек кипятков, настоянный на мелко посечённых веточках смородины, мы оговаривали детали сделки. Хозяин продавал свою избёнку если и не совсем за так, то на падающих для меня условиях, выговорив себе право проживания в верандной светёлке, пока он не срубит себе своё жилище рядом со старинным дубом, ограждённым чугунной цепью. Он высился в противоположном краю деревни, недалеко от заросшего ряской пруда. Получалось, что вырос он почти у лукоморья. Местные допрызвыники, окосев от самогона, обмазали его тавотом и подожгли. Спасали дуб всем миром.

— И чтобы никто пока не покушался на мои кроличьи клетки, хлев

с козочкой Розой и кабана. Я его, трёхлетку, вот этими руками в ельничке самолично скрутил. Ну и, конечно же, баньку, — добавил хозяин.

Последняя представляла из себя сооружение, похожее на летательный аппарат из кинофильма “Кин-дза-дза!”. Она с трудом вмещала в себя парильщика при венике и самодельную печурку, для разогрева которой даже в лютые морозы хватало вязанки дров...

Моего благодетеля звали Михаил. Он был из местных. Своего отца, сгинувшего на фронте осенью 1942-го, он помнил смутно. Его только разок отпустили домой на побывку. Он-то и подсказал сыну, что наши снаряды летят с музыкой, а немецкие воют и взрываются, и от них надо прятаться в погребе. Летом Михаил ходил в подпасках. Обувка у него прохудилась, и поутру от заиндевевшей травы ступни его ног превращались в ледышки. Заприметив напряженную коровой лужу, он топтался в ней, отогревая в моче окоченевшие ноги. Закончил семилетку. Работал в колхозе, на разных должностях. После женитьбы и рождения сына лет через пять завербовался на урановый рудник в Узбекистане. Платили прилично. Деньги исправно посылал семье, разумеется, не малую толику оставлял и себе. Её доставало и на водяру, и на красную икру. В спецмагазине шахтной зоны подобного товара было вдосталь. Пили в бригадах по-чёрному. Щадящей нормой считался стакан водки после смены для промывки внутренних органов от стронция. Однажды утром он взглянул на себя в зеркало и тут же взял расчёт. Свою благоверную в деревне он не застал. Она перебралась в Москву то ли из-за непривычки к крестьянской подёнщине, то ли по какой иной, более важной семейной причине. Сын умотал в Волгоград. Так Лавров оказался в деревне в странной роли — не курящего и не пьющего бобыля. Звероферма, где выращивали элитных песцов, из-за отсутствия кормов пришла в запустение. Животноводческий комплекс разнесли по частям. Кто-то тащил шифер, кто-то загружал тягачи бетонными перекрытиями, алкаши курочили трансформаторы, сбывая за спиртное мотки медного провода перекупщикам. Из коренных жителей в деревне доживала свой век и бабка Клавдея, заброшенная родней. Она честила их почём зря и утихомиривалась разве что под Новый год. Наряжая ёлку, Клавдея доставала из закровов коробку с украшениями сплошь доверенной поры: картонных попугаев, шишечки из дутого стекла, острое навершие со следами белого амальгамового покрытия, посеребрённый самовар размером с напёрсток, на бронзовых пружиночках Деда Мороза со Снегурочкой в голубых ватных шубейках. Пригубив горячительного, Клавдея принималась печалиться о лесе. Раньше, мол, детвора собирала грибы да ягоды босиком. А теперь в него и не сунешься — бурелом на буреломе.

В деревне всеми текущими делами ведал Славка, бывший гаишник, по прежней своей должности повязанный с нужными людьми района. Он оказался по всылуге лет не у дел, предпочитал всем видам одежды спортивный стиль братков и, заведя двух доbermanов, откармливал их сугубо суповыми наборами. Михаил оказался обязан ему по гроб жизни. Именно Славка способствовал тому, чтобы у Лаврова наконец-то появился свой личный транспорт. Он сторговал ему за копейку милицейский газик, выработавший дотла свой моторесурс. Михаила это не испугало. Он расстелил суконное одеяло рядом с капотом развалюхи и разложил на нём в рядок все детали и деталюшки изношенного мотора. Промыл их бензином, почистил, продул, где надо, понаждачил и, на удивление зевакам, всё вновь собрал. Машина, почихав, затарактела. Номерной знак ему не выдали. Так что на своём авто Лавров раскатывал по грунтовкам, не рискуя выезжать на шоссе. Михаил устроился было на очистные сооружения, но зарплату и там не платили. Выдали всем тем, кто числился за колхозом, пай — по шесть гектаров на душу. Их на корню скупил какой-то пройдоха, который на публику умильно крестился перед иконами, отрастил благообразную бородку и одевался в китель со старорежимными эполетами. Словом, обул он мужиков по полной, посулив каждому за пай по шесть тысяч долларов. Отслоняив трудягам по тысяче “зелёных”, он умыл руки. А те и тому были рады. Лаврову пришлось перебиваться случайными заработками.

— Миш, а Миш! Надо бы колодец углубить, штуки три бетонных колец вкопать, и чтобы с мотором и прокладкой труб в дом. За пятнашку возмёмся или прибавить?

— Не, за пятнашку не буду!

— А чего так?

— Да работа-то пустяшная. Оно того не стоит. За нее и десятки за глаза хватит.

— Миш! А нельзя ли теплицу передвинуть? Уж больно она неказиста и мозолит глаза!

— Обмозгую! — рассудительно отвечает Лавров.

Я кручусь вокруг теплицы, прикидывая, сколько мужиков надо собрать, чтобы её, сваренную из уголков, шесть на шесть квадратных метров, перетаскать на новое место. Наутро теплица стоит там, где было обозначено.

— Как тебя угораздило её передвинуть?! — наседаю я на Михаила.

— Да подложил под углы обрезки труб, получились катки, и ломиком — поддомкрачу да подвину. Так что магарыч за тобой.

Магарычом Лавров называет мой кулеш с пшеном, курицей и заправленный луковой зажаркой на смальце.

— Михаил! Давай помогу. А то ты там, стоя по колено в воде, колодезные кольца подкапываешь, по лесенке туда-сюда с бадейкой снуёшь!

— Не, не пойдёт! Тут один раззява вызвался помогать и упустил бадейку. Не подставь лестницу, разможила бы она мне башку.

Это он намекал на Альберта, моего соседа, который в расстроенных чувствах возвратился в деревеньку со своей исторической родины. Не показалось ему в Израиле, и не потому, что там сало надо было употреблять под одеялом. Жаркий спор у него вышел с двоюродным братом. И вроде разговор начался из-за пустяка: выдавать ли под пыткой секреты родины врагу сразу или какое-то время погодить? Брат, кипяťясь, утверждал, что надо раскальваться, и побыстрее. Мол, чего ради резину тянуть, если грозятся раскалённый паяльник в зад запихать. Альберт умом понимал, что брат вроде и прав, но вот так сдаваться враз ему не хотелось! И, разойдясь с братом по принципиальному вопросу, вернулся в дорогу ему российскую глубинку. Он, конечно же, был блудным сыном своего народа. Из всех заповедей Ветхого завета Альберт соблюдал лишь самую понятную — “плодись и размножайся”. Его Мариночка родила ему тройку ясноглазых девчушек, но они решили не сдаваться и усердно трудиться до той поры, пока на свет не появится кроха мужеского пола. Альберт вкалывал слесарем-автомехаником в шиномонтажной мастерской. Отдыхал, рыбача или коротая время на крыльчке, непременно с рюмочкой.

В данный момент эту незатейливую радость вместе с ним разделял и я. Мы выскребали шпроты из банки, в которой смешались разрозненные останки когда-то крупных рыбёшек прибалтийского подданства. Рыбёшек с лихвой хватало ещё на пару тостов.

— А давай-ка дёрнем за соловьёв!

— Сойдёт! — соглашается Альберт и продолжает рассказывать мне перипетии своего хождения за три моря. Я смотрю на него, не понимая, кто из нас еврейстей: он, с белёсыми глазами, с вихрами русских волос и вздёрнутой носопырой, или я, уроженец южных степей, казацкого роду-племени?

— Как там на телевизионном фронте? — интересуется моими делами Альберт. Настаёт мой черёд излить ему свою душу:

— Непонятка какая-то! Понимаешь, в своё время я застолбил в ВААПе песенный конкурс. В моей заявке, в отличие от “Голоса”, сварганенного на западный манер, были прописаны только народные песни. А в финале лауреатам должен был вторить весь зал, заполненный любителями хорового пения.

— Да! — поддакивает мне собутыльник. — Чему-чему, а кривляться по-английски конкурсантов они научили.

К возведению нового жилища Михаил близко никого не подпускает. За дубом высятся мысок из столетних елей. Они изъедены короедом и похожи на бродяг, закутанных в ошметья. Лавров пилит деревья спозаранку, рубает сучья, сжигает их, а затем волочёт бревно “газиком”, подцепив его

тросом, к себе на участок. С помощью талей, топора и бензопилы он возводит стены своей хоромины. По его задумке под одной крышей у него должна уместиться изба, банька, колодец и дровяник, чтобы в лютую непогоду носа на улицу не высовывать. Своих гостей я вожу на его стройку словно на экскурсию. Пусть полюбуются, на что способен мужик, когда его припекут к стенке. На Мишку местная администрация точит зубы, особенно охотоведческая. Они догадываются, что Лавров то кабанчика скрадёт, то рысь в кашкан поймает. Но куда им за ним угнаться. Им с випами успевай разбираться. То им дорогу к просеке накатай, чтобы на джипах к номерам подъезжать, то зверя из чащобы выгони. Словом, всё для клиентов в солнцезащитных очках, в белых маскахалатах, с многозарядными карабинами при дорогой оптике... Михаил обставляет своих преследователей почём зря. Но не пиратничает, довольствуясь малым. Секача ему на зиму вполне хватало. Лаврову съезжать от нас не хочется. Мы хорошенько притёрлись друг к другу, да и ребятня его держит за своего.

Зимними вечерами мы засиживаемся с ним допоздна. На магнитофоне крутится бобина с народными песнями. Мы прихлёбываем смородинный чай с мёдом и калякаем о своём...

— Что там с Олимпиадой? — интересуется Михаил.

— Если по-честному, то воспринимаю её как личное унижение. Помнишь, я хвалился тем, как на Московских Играх мы работали исключительно на отечественной технике, а состав телебригад был укомплектован полностью своими спецами. А в Сочи всё наоборот. К производству международной телекартинки не привлекли ни одного из наших! И заметь — это у себя дома!

Мы горюстно качаем головами.

— Не горюй, — утешает Михаил, — зато “Удаль молодецкую” на-гора выдал!

Лавров прав. Сколько лет я носился с идеей предоставить ребятам возможность посоревноваться в народном многоборье: поиграть в лапту, в городки, поупражняться с гирей, поперегиать канат и в завершение — побороться. Года три обивал пороги разных учреждений в поисках поддержки. Если бы не помощь Саши Карелина, не добился бы президентского гранта.

И всё срослось. Самбисты из детских домов, школ-интернатов, ничего дотоле не ведавшие о лапте, носились по полю с горящими глазами. И городки им пришлось по нраву и гиря, и канат. Для психологической разгрузки ребятам подогнали скалолазную стенку, а девчонки из кадетского корпуса, с белыми бантами, в парадной форме, с аксельбантами варили для них в походной кухне солдатскую гречневую кашу. Чемпионами объявлялись те, кто в своей весовой категории набирал наибольшее количество баллов с учётом всех состязаний...

Деревня день ото дня менялась. Обрастая коттеджами, она теряла своё обличие. Какой-то прокурорский чин отгрохал себе особняк. Кованые ворота, стриженный газон, дорожки из булыжника. Генерал секретных служб выстроил финский коттедж из цилиндрованных брёвен. “Лица кавказской национальности” возвели себе на задах некое подобие укрепрайона. Деревня перестала кормить. Она превратилась в потребительницу...

Лавров построился и съехал от нас на новое место. После чего родня затюкала меня: ломай Мишкин хлев да ломай — перед людьми стыдно. А мне в нём вольготно. Заберусь на сеновал подремать, запахи вдыхаю польные, козочкой отдающие. Отсутствует в нём лишь кабаньих дух. Увеличив толщину гумусного слоя, он сиганул через перегородку загона и был таков. Но всё же близкие достали меня.

— Ладно, — согласился я, — но на месте хлева построю хату!

Когда я вернулся из командировки, в моём дворе красовалась хатынка, потому что строили её западенские хлопцы. Ну, и что прикажете мне с ней делать? И тогда я решил преобразовать её в музей крестьянского быта, благо у меня сохранилась икона с вышитым рушником, принадлежавшая моему прадеду Петру, священнику Прохоровской церкви. И откуда что потом взялось! Идёт вдоль забора дядька и окликает меня:

— Говорят, древности собираешь? Хочешь, утюг с портретом Толстого подарю?

— А при чём здесь писатель?

— Когда его анафеме предали, то к заслонке на утюгах прилаживали его изображение. Жар, дым, огонь — чем тебе не ад?

Как-то довелось мне завернуть в деревню Озерки в Липецкой области, где набрёл на разрозненные останки фундамента усадьбы, когда-то принадлежавшей Буниным. Исходив её вдоль и поперек, заметил, что из земли краюха какой-то каменюки торчит. Окопал — оказалось, жёрнов. В заросшем одичавшими яблонями кутке наткнулся на глыбы обвалившегося погреба, а там среди разного хлама — целое богатство: детские санки кружевнойковки, надтреснутая ступа из известняка, колесо прялки, ажурной резьбы колченогий стул.

Мой армейский одноклубник Виктор Лисицкий подарил мне латунный самовар. Плотник, вставлявший окна, заметив его, сказал, что у него тоже такая штукавина имеется. Немедля рванул к нему. И точно, в углу сарая торчит полузасыпанный картошкой трактирный ведёрный самоварище. Я аж дар речи потерял, спросил лишь, сколько он хочет за свою штукавину?

— Уволакивай за так!

— За так не пойдёт! — ответил я ему по Мишиному рецепту.

— Ну, тогда клади пятерку на кон, — ответил плотник.

Сошлись на двадцати тысячах. И я ещё долго испытывал чувство неловкости, будто надул бедолагу. Таким же макаром появились у меня расписные валдайские сундуки, северные прялки. Пропалывая клубнику, наткнулся на грядке на монету 1724 года с гербовым, как полагается, двуглавым орлом и надписью “Денга”. Режиссёрша, снимавшая видеосюжет о моём музее, прислала в дар валдайский колокольчик 1856 года. Недавно у меня в гостях побывал известный футболист Женья Ловчев. Осмотрел все экспонаты и заявил:

— Зауважал я тебя, зауважал!

А мне такие оценки в радость. Ведь музей обустроивал не для себя любимого...

Вплотную к лавровской сараюшке самосевом выросла яблонька. Она хильнулась было к хлеву, ища у него защиты от северных ветродуев, но его крыша придавила деревцо, закрыв ей простор. В штопорном извие яблонька вроде выпросталась из-под “хлевного” узилища, но превратилась в кривулю. Родня убеждала срубить кривулю, уж больно не авантажно она смотрелась на фоне музея. Ретивых пришлось угомонить. Яблоньку оставили в покое, памятуя о Михаиле, последнем деревенском мужике. И она потянулась ввысь на радость всей округе...

ЕЛЕНА ИВАНОВА



ВСЕ ПРОРЕХИ ЛЮБОВЬ ЗАЛАТАЕТ

ТЁТЯ ДУСЯ

Вошла в купе и оглядела нас
Так, словно люди занятые эти,
Что от газет не поднимали глаз,
Ей все — родня, все — собственные дети.

Забив узлами ящик через край,
Оставила плетёную корзину.
— А ну-ка, дочь, на стол стели давай! —
Мне подаёт расшитую холстину.

Прикинула, куда удобней сесть
(С готовностью подвинулась соседка).
И вот сидит, широкая, как ешь
Среди цыплят дородная наседка.

И посмотрели друг на друга мы,
Заулыбались вдруг мы почему-то.
И в теплоте вагонной полутьмы
Запахло пирогами и уютом.

ИВАНОВА Елена Львовна родилась в 1941 году и выросла на Брянщине в рабочем посёлке. Окончила факультет журналистики МГУ. Член Союза писателей СССР (ныне России). Дважды лауреат литературной краевой премии им. А. Т. Губина. Автор нескольких книг стихотворений. Живёт в Ставрополе.

В окне мелькали сёла, как стрижи,
Дымил чаёк в стаканах лёгким паром.
И доброта старинная души
В кругу сияла русским самоваром.

* * *

Обожжённые стужей и солнцем,
На ветру загрубевшие лица...
Что от них на земле остаётся,
Когда сердце откажется биться?

Ни мелодий, ни песенных строчек,
Ни картин, ни прекрасных мозаик.
Только глазки зелёные почек
Прослезятся: “А где же хозяин?”

Только ветер взбежит и споткнётся
На пороге той хаты саманной...
Свечка плавится маленьким солнцем,
Освещает ковчег деревянный.

Над толпою и ближних, и близких
Понесут его средь обелисков,
Понесут среди звёздочек скромных
В мир задумчивый, тихий, укромный.

Отпахал человек-человече
И лежит, ничему не внимает.
Он усвоил однажды навечно:
Просто так — ничего не бывает.

Потому возлегает достойно
В ореоле свечного свеченья.
И лицо его строго, спокойно,
И молчание полно значенья.

* * *

Тихое-тихое, светлое-светлое
Утро над солнечным миром встаёт,
Словно прекрасное Слово заветное
Миру несёт, улыбаясь, восход.

“Ваши смятенья, по мукам хождения, —
Утро прелестное мне говорит, —
Это не более, чем заблуждение”.
Как хорошо! И ничто не томит.

Страсти как будто вовек не тревожили,
Жар только теплится в нашей крови.
Нет ещё в мире иной, кроме Божией,
Всеобнимающей чистой любви.

И на устах ни мольбы и ни жалобы,
Райские птицы на ветках поют...
Что бы я делала, если не знала бы
Этих божественных светлых минут!

* * *

На земле искони ад и рай,
За страдание — вечность награда.
Между злом и добром выбирай —
Вот и всё, что свершить тебе надо.

И считай, что тебе повезло,
Если вытрясти душу из тела
Сколько раз хоть и силилось зло,
Но сломать, покривить — не сумело.

Пусть в миру изнашивается добро,
Все прорехи любовь залатает.
В сердце — чисто. В висках — серебро.
Драгоценная жизнь, золотая!

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА



АБРАМКА

ПОВЕСТЬ

I

На свете есть только две великие идеи — Бог и... другая.

Если бы я верила в Бога!.. Я раздала бы всё и стала бы всем слугой. И мыла бы раны прокажённым, и омывала бы ноги нищим. Но где взять веру?

И я мечтала о красивых и сильных людях с открытыми лицами, ослепительными улыбками и пленительными телами, потому что если нет Бога, то самая прекрасная идея на земле — это быть, как боги.

Быть, как боги, — значит, быть равным среди равных. Мы говорим “мы”, но каждый сознаёт своё “я”. Мы любим друг друга, но каждый не похож на другого. Наше единство не кажется нам обременительным, в нём нет ничего от стадности, когда слабые, неинтересные люди вынуждены сбиваться в стаи. Мы, именно мы — сильное, прекрасное, избранное меньшинство — творим судьбы мира. На нас устрояется мироздание, и на нас равняются народы. Мы освобождаемся от оков любых традиций и становимся для большинства Абсолютом. Именно мы достигаем невиданного ранее расцвета Личности, мы возвращаем человеческое древо, отсекая больные ветви. Для нас нет препон, мы сами есть мера всех вещей. И множество низших, безликих существ, толкаясь, тянут к нам руки и стараются хотя бы прикоснуться к одному из нас!..

ЗАМЛЕЛОВА Светлана Георгиевна родилась в Алма-Ате. Окончила Российский государственный гуманитарный университет (Москва). Прозаик, публицист, критик, переводчик. Автор нескольких книг прозы и публицистики, философской монографии. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Кандидат философских наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), защитила кандидатскую диссертацию на тему “Современные теологические и философские трактовки образа Иуды Искарота”. Живёт в Подмосковье.

Но пока я и сама была таким же ничтожеством, толкущимся возле обители богов. Я знала, что никто из них не ждёт меня. Ведь на Олимп каждый идёт своей тропой, скопом залезть туда невозможно. И на вершине каждый надеется только на себя, не пробавляясь сказками о сербобольности. Потому что там собираются люди, живущие настоящим, презирающие прошлое и не нуждающиеся в будущем. Их удел — наслаждение, которое они заслужили.

Чтобы быть, как боги, нужно иметь что-нибудь особенное, что-нибудь вроде пропуска. Большинству таким пропуском служат деньги или положение в обществе. Кто-то пробивается благодаря своим талантам. Я не располагала ничем в достаточном количестве. К тому же в нашем городе нет и не было ничего похожего на Олимп, а все мечтатели вроде меня уезжали хотя бы в Москву. Везло, понятно, не всем. Но портреты двух или трёх наших земляков мы видели в газетах и журналах. Одна девочка из нашей школы появлялась даже на обложках. И когда я смотрела на это красивое, смеющееся лицо, на ровные белоснежные зубы, на персиковые щёки, блестящие матовым блеском, на белокурые волосы, струящиеся вдоль шеи, на длинные ногти с белыми кончиками, на тонкие бретельки маленького чёрного платья, мне становилось грустно. Ведь она, красивая, сильная, среди себе подобных она уже воплотила мою мечту. Хотя дело, конечно, не в ногтях и бретельках. Это всего лишь атрибуты, знаки отличия прекрасного золотого меньшинства от серого рабского большинства.

“Но что мне делать, чтобы наследовать жизнь красивую?” — пока я только задавалась этим вопросом, в нашем городе произошли странные события.

А началось всё смертью одной старухи.

Происшествие это могло бы показаться заурядным, когда бы не сто пятый юбилей, который Мария Ефимовна Люггер справила незадолго до своей кончины.

Нет никаких сомнений, что Мария Ефимовна была и остаётся легендой и, можно даже сказать, достопримечательностью нашего города. Все мы давно свыклись с мыслью, что Мария Ефимовна — участница двух революций и гражданской войны — есть неотъемлемая часть нашего города, как площадь перед зданием правления или городской парк. Не одно поколение горожан выросло на примере Марии Ефимовны. А потому и в отношении нашем к ней было что-то почти мистическое: казалось, она не родилась от отца с матерью, как все прочие люди, а была всегда и пребудет вовек.

В краеведческом музее с незапамятных времён висит портрет Марии Ефимовны и краткая её биография, из которой можно узнать, что родилась Мария Ефимовна в патриархальной религиозной семье в одной из западных губерний тогдашней империи. Подростком Мария Ефимовна примкнула к революционному движению. И, в качестве проверки, учинённой товарищами по партии, метнула бомбу в какого-то генерала. Генерал вскоре скончался, а Мария Ефимовна оказалась за решёткой. Потом были побег и граница, прокламации и plombированный вагон, революции и гражданская война. В 39-м Марию Ефимовну арестовали, в 54-м ей вернули честное имя. С тех пор Мария Ефимовна посвятила себя народному просвещению, работая и учителем истории, и директором школы, и возглавляя перед пенсией городской отдел народного образования.

Повидавшая Ленина и Максима Горького, для нас Мария Ефимовна давно уже была символом или эмблемой. “Человек-эпоха”, — написала к её столетнему юбилею местная газета. И все согласились с этим, несмотря даже на те разоблачения, без которых невозможно было обойтись в последние годы. Это сегодня журналисты соревнуются в сочинительстве альковных побасёнок, но было время, когда подписчикам предлагали совсем иные истории. Тогда было модным разоблачать и срывать маски. Конечно, столичной печати не было дела до Марии Ефимовны Люггер, но местные борзописцы просто не могли обойти её своим вниманием. Не то, чтобы они как-то особенно ненавидели Марию Ефимовну или жаждали отмщения. Тем более что в городе её любили и гордились ею. Просто время тогда было такое. Публика алкала

правды, а газетчики и романисты, захлёбываясь в новой информации, старались утолить эту алчбу. Многие тогда сделали себе имя, публикуя самые дерзкие и совершенно невозможные дотоле версии истории.

Надо и тут отдать должное Марии Ефимовне, которая отнеслась к разоблачительным заметкам на свой счёт с беспримерной невозмутимостью. И это несмотря на то, что среди разоблачителей оказалось немало бывших учеников её и даже последователей.

В городе статейки почитывали, бывало, и удивлялись. В целом же отношение к Марии Ефимовне не менялось, за исключением разве каких-нибудь крайних, радикальных элементов нашей общественности.

Более же других удивлял всех Иван Петрович Размазлей. Иван Петрович — это мой отчим. Сейчас он городской голова, а начинал учителем истории. В классе, где учился Иван Петрович, классным руководителем была Мария Ефимовна. Это был её последний выпуск, её последняя любовь.

Иван Петрович слыл в классе лидером. Тогда уже это был карьерист — с самого почти детства его то выдвигали, то избирали на какие-то должности. То он занимал совершенно загадочный и непонятный для меня пост председателя совета отряда, то, волею комсомольского собрания, становился комсоргом.

Может, существовало между ними какое-то сходство, и Иван Петрович напоминал Марии Ефимовне её самоё в юности. А может, глядя, с каким рвением следует заветам партии юный комсорг, Мария Ефимовна вспоминала революционную молодость и гражданскую войну, боевого коня и “товарища маузера”... А может, Иван Петрович напоминал ей какого-нибудь молоденького комиссара, затянутого в чёрную кожу? Но только как иначе объяснить особенное расположение Марии Ефимовны к “Ваничке Размазлею”? Ведь и умирая, не забыла она любимого ученика, оставив ему по завещанию “революционный хлам” — так назвал эти вещи Иван Петрович. Среди “хлама” оказалась пачка старых фотографий, на которых Мария Ефимовна, точно кавалерист-девица, позировала верхом. Была ещё потёртая кубанка с красной ленточкой, расшитый мешочек для чернильницы, несколько пожелтевших писем, которые Иван Петрович не удостоил прочтением. Было стальное перо, сломанные очки и изрядно потрёпанный томик Бабеля. Дома, в кругу семьи, Иван Петрович довольно насмеялся над революционной сентиментальностью Марии Ефимовны. На публике торжественно и даже с оттенком трагизма передал её вещи в дар краеведческому музею. Не сомневаюсь, что Иван Петрович и сам мечтает в экспонаты. И надеется увидеть со временем собственный портрет и биографию в одном из залов. Думаю, именно с этим умыслом он и затеял лет пятнадцать тому назад писать диссертацию о революции и революционерах. Само по себе желание понятное, да и тема не предосудительная. Вот только главной фигуранткой исследования опять-таки стала Мария Ефимовна Люггер.

Лучшие и наиболее яркие страницы диссертации публиковались в местных газетах.

Может быть, Иван Петрович и не сказал своей диссертацией ничего нового, зато он так ловко переставил акценты, так мастерски поменял местами чёрное и белое, что город вздрогнул. Все и так знали, что Мария Ефимовна воевала в гражданскую и участвовала в подавлении белогвардейских мятежей. Со слов же Ивана Петровича выходило, что Мария Ефимовна расстреливала пленных белогвардейцев. Да и как расстреливала! Будто бы, расположившись в каком-то брошенном провинциальном театре, Мария Ефимовна и компания услаждались спектаклями: на сцену выводили пленённого офицера, а революционная молодёжь, соревнуясь в меткости, открывала стрельбу из зала. Мишенью служил офицерский лоб.

Ничего более богомерзкого городская пресса ещё не предлагала. А Мария Ефимовна на наших глазах превращалась в отвратительного монстра. Многие просто отказывались верить Ивану Петровичу и кляли его как лжеца и вероотступника. Другие, напротив, торопились и предлагали лишить Марию Ефимовну персональной пенсии.

Но дело это так ничем и не кончилось.

Времена, когда горожане могли позволить себе потолковать об исторической справедливости, были на исходе. Вместо этого стали поговаривать о банкротстве керамического завода. И про Марию Ефимовну скоро забыли. Правда, в связи с кончиной её кое-кто вспомнил об Иване Петровиче и даже усмотрел в его публикациях причину преждевременного ухода стопятидесятлетней старухи. Но это уж была совершенная нелепица.

II

Мне всегда казалось, что Иван Петрович беспрерывно что-то ищет, но что именно, не знает сам. А оттого и найти не может. И в этом, пожалуй, главная его мука, потому что, как вечный жид, обречён Иван Петрович на годы странствий и поиска.

Ведь Иван Петрович так и не защитил своей диссертации о революции и революционерах, потому что увлёкся идеей демократических выборов, которые тогда только входили у нас в большую моду. Возмечтав быть избранным в законодательное собрание, Иван Петрович оставил научные изыскания, и все силы свои бросил на агитацию. Забегая вперёд, скажу, что вся эта затея с выборами провалилась тогда. Молодого и энергичного Ивана Петровича в городе знали не только как автора нашумевших публикаций, он был известен своими прогрессивными убеждениями. Став в продолжение своей карьеры директором школы, Иван Петрович завёл в подвластном ему учреждении такие удивительные порядки, что иные ретроградные родители называли их невозможными.

Был самый конец восьмидесятых годов, и к ретроградям уже не очень-то прислушивались. Даже высокое начальство остерегалось порой одёргивать и ставить на место входивших во вкус преобразователей.

Среди учеников Иван Петрович очень скоро сделался всеобщим любимцем и своим парнем. Прежде всего, Иван Петрович отменил по субботам обязательную тогда школьную форму. Потом он учредил в школе какой-то особенный комитет, куда входили выборные представители от учителей, родителей и от старшекласников. Комитет собирался раз в неделю. Иван Петрович много говорил о демократических преобразованиях в школе, чем приводил слушателей в восторг, но дальше этого дело не шло.

— Теперь всё зависит только от нас, — уверял Иван Петрович. — Мы сами теперь должны решать свою судьбу.

Комитетчики радовались новой возможности и благодарно аплодировали Ивану Петровичу. Однако, что именно нужно теперь делать и почему школа не может существовать, как раньше, никто из них в толк взять не мог.

Наконец, ничегонеделание комитета стало слишком заметным и неприличным. На третьем или четвёртом заседании, в видах борьбы за успеваемость, постановили исключить кого-нибудь из школы.

По поручению Ивана Петровича учителя отобрали двоих. Вместе с родителями жертвы были приглашены на заседание комитета. Иван Петрович вынес на голосование вопрос о целесообразности их дальнейшего обучения в школе. Большинство голосов сочли дальнейшее обучение целесообразным, и заседание комитета на этом закончилось. Собирались потом ещё несколько раз. Говорили об успехах демократии в школе. А потом и вовсе перестали собираться.

И это было в то самое время, когда Иван Петрович готовился принять участие в выборах в законодательное собрание, и повсюду висели листовки с круглой его физиономией. А старшекласники проводили летние каникулы, агитируя на улицах города голосовать “за самого демократичного кандидата”. Когда же какой-то солидный господин, которому школьники сунули пачку прокламаций, попытался выяснить у вожака агитаторов — востроглазой, румяной барышни, — что это такое значит, она только воскликнула:

— Ах! Он такой демократичный!

А больше ничего не нашлась сказать.

И вот, по странному рассуждению горожан, неподготовленных — как отозвался Иван Петрович — к демократии, выходило, что самый демократичный и прогрессивный человек не мог представлять город в законодательном собрании.

И всё же Иван Петрович продолжал оставаться убеждённым поборником реформ. В студенческие годы у него произошла смена мировоззрения, чему способствовала и стажировка в Европе. Иван Петрович любил рассказывать ребятам о своих тогдашних открытиях. Ребята слушали, раскрыв рты. Потерпев поражение на выборах, Иван Петрович придумал устроить в школе кружок по изучению истории и целиком отдался своему новому детищу. Теперь два раза в неделю собирались в классе и при свете зелёной лампы слушали и задавали вопросы. Собственно, историей занимались мало, всё больше разоблачениями. Читали Евгению Гинзбург, “Архипелаг ГУЛаг”, что-то в защиту Бухарина и Троцкого.

Кружок истории просуществовал целый год. Кабинет, где проходили занятия, едва вмещал всех желающих. Родители и учителя ликовали: впервые столько ребят выказывало желание приобщиться к истории. Но, как ни странно, из пятнадцати человек, державших летом вступительный экзамен по истории, справились только двое. Остальным пришлось на год оставить мечту о высшем образовании. Но Иван Петрович уже не был в то время директором школы.

Кажется, был какой-то скандал из-за мимолётного романа Ивана Петровича с одной старшеклассницей. Но скандал этот постарались заглушить, для чего Ивану Петровичу предложили перейти на работу в отдел культуры. Иван Петрович предложение охотно принял.

В каком-то пароксизме нетерпения Иван Петрович хватался за новые и новые идеи, рассчитывая на скорый и громкий результат. Казалось, Иван Петрович всё не может определиться. Старое было поругано и уже смердело. Новое, хоть и открывало возможности, но открывало их не каждому, требуя взамен отказа от привычек и взглядов, отказаться от которых вот так сразу было непросто. А Иван Петрович считал себя человеком интеллигентным, он морщился при виде бесцеремонности. Ему мерещилось какое-то идеальное устройство: хотелось продолжать ощущать себя интеллигентом и наслаждаться при этом всеми благами, доступными смертным, — семейным счастьем и уважением коллег, славой и народной любовью, плодами труда своего и Бога знает, чем ещё. Хотелось, кстати, и в Бога верить, и бывать, по его собственному выражению, на мессах. Но всё почему-то устраивалось не так, как грезилось.

Семейное счастье и вовсе, по-моему, у него не задавалось. Брак с моей матерью — второй у Ивана Петровича. Первая его супруга, Наталья Алексеевна, сама сделала ему предложение, и сама же оставила его после четырёх лет совместной жизни. Оставила ради какого-то разбитного молодца, с которым и уехала в Москву. Объяснила свой поступок Наталья Алексеевна тем, что разглядела в новом избраннике человека предприимчивого.

Наталья Алексеевна нередко совершала довольно странные поступки, объяснение которым находилось не сразу. Это была особа довольно крупная, ширококостная, с сильными руками и большой грудью. Впрочем, несколько сутуловатая. В лице её всегда было что-то напряжённое, даже когда она смеялась. Усиливали это впечатление губы — тонкие и бесформенные.

Главная странность Натальи Алексеевны заключалась в том, что, будучи нрава тихого, она то и дело удивляла всех суждениями настолько циническими, что и выдавшие виды, тёртые и потасканные люди приходили в смущение. Кстати, странность довольно распространённая среди людей, желающих *казаться*. Желание казаться толкает человека на несообразные поступки. Наталье Алексеевне, очевидно, рассудилось, что чем циничнее и бессердечнее будут её деяния и суждения, тем более здравого смысла и ума проглянет за ними. “Никаких сантиментов!” — был, очевидно, её девиз.

Ивану Петровичу Наталья Алексеевна так и объявила:

— Я тебя люблю, Ваня, но выбираю деньги!

Хотя и денег-то особенных тогда не было. А вероятнее всего, что Наталья Алексеевна сочла такого рода поступок за проявление ума, а момент — подходящим, чтобы ум свой кому-то показать. Правда, до нас доходили слухи, что второй супруг Натальи Алексеевны неплохо устроен и даже, кажется, имеет отношение к известному банку. Впрочем, совсем недавно пришло известие, что Наталья Алексеевна в тюрьме и что будто бы она наняла убийцу для расправы с конкурентами мужа. Иван Петрович, когда узнал, совершенно растерялся и долго восклицал, что “этого никак не может быть!” Но потом признал, что именно этого или чего-нибудь в этом роде он как раз-таки ожидал и боялся.

После развода с Иваном Петровичем Наталья Алексеевна хотела забрать дочку, которой было тогда четыре года. Но Иван Петрович вмешался и проявил неожиданную твёрдость характера, настояв, чтобы девочка осталась с ним.

А примерно через год Иван Петрович женился на моей матери. Точнее было бы сказать, что мать женила его на себе. А я так думаю, что кто бы ни позвал его тогда — за любой бы пошёл. И удивляюсь: как могло случиться, что никто до моей матери не успел подхватить этакого жениха!

Мне было тогда три года. Наверное, я была так мала, что Иван Петрович поначалу не замечал меня. По-моему, однажды он удивился, заметив, что у него теперь две дочери. Впрочем, меня никогда почему-то не замечали. Сначала и вовсе скользили по мне взглядом. Потом, стоило мне раскрыть рот, начинали смеяться или довольно грубо одёргивали. Мне всегда казалось, что я всем только мешаю и всех раздражаю. Первое слово, в котором я правильно проговорила “р”, было слово “дрянь”. Иногда так называл меня мой настоящий отец. Когда родители мои развелись, мы с матерью убежали в другой город, где вскоре мать вышла за Ивана Петровича. Убежали, потому что отец даже и после развода не оставлял мать в покое и, случалось, её поколачивал. А бийца был убеждённый. Убеждения его сводились к тому, что “женщину надо учить”. Сколько я помню отца, человек это был маленький, тщедушный и пьяный, как говорится, “у нашего Тита и пито, и бито”. Чему уж он там учил мать — не знаю. Но иногда, грешным делом, почти его понимаю. Есть такая эмблема — змея, кусающая себя за хвост. По-моему, с матерью давно уже происходит нечто похожее.

Войдя в семью Ивана Петровича, мать поставила своей целью доказать, что она “не какая-нибудь там”, а высокодуховная личность, и не без талантов. Происхождения мать действительно была самого простого. Семья же Ивана Петровича — хорошая, с традициями. Так что мать поначалу и оробела. Но тут же в припадке гордости возненавидела новых родственников самой лютой ненавистью. А заодно вспомнила о каком-то троюродном брате, игравшем в Новгородском драматическом театре, и навдумывала для меня необыкновенных музыкальных способностей. За что очень скоро мне пришлось отдуваться в музыкальной школе, а после — в училище.

Вместе с тем, в характере матери прижилась непреодолимая потребность жалеть себя. Родных же Ивана Петровича мать назначила себе обидчиками. Потребность обидеться и пожалеть себя со временем становилась для неё всё неотвязнее. К тому же всякий раз мать обнаруживала, что удовлетворения от обид и обвинений она не чувствует, да и родственники как будто мнения своего не меняют. Всё это вместе только распяляло несчастную, заставляя буквально на каждом углу кричать о брате-артисте и о моих музыкальных дарованиях.

Возможно, и был момент, когда кто-то из родни Ивана Петровича косо взглянул в сторону матери. И этого оказалось достаточно: мать, повидавшая и жестокость, и несправедливость, вспыхнула мгновенно. Озлобленная, приучившаяся уже жалеть себя, мать не привыкла прощать и запоминала каждую маленькую обиду. Лелеемые обиды понуждали мать злорадствовать и злословить, привычка жалеть себя заставляла видеть обиды там, где их не было. Круг замыкался.

Узнав, что Иван Петрович женился на моей матери, Наталья Алексеевна снова потребовала назад свою дочь, которую Иван Петрович намеревался

было оставить у себя и за которую так отважно бился с Натальей Алексеевной. Но на новый виток борьбы сил у Ивана Петровича не достало. И он уступил.

Наталья Алексеевна увезла дочь. Но то ли отчим не обрадовался, то ли Наталье Алексеевне вздумалось ум показывать, только Лизу, не прожившую в Москве и месяца, переправили к бабушке в деревню под Архангельском. И в следующий раз Иван Петрович увидел Лизу только спустя двадцать лет, когда Лиза, получив диплом о высшем образовании, приехала к отцу повидаться. Иван Петрович давно уже приглашал Лизу приехать, но Лиза всё как-то откладывала.

III

Лиза приехала в тот день, когда во дворце имени Радека назначили гражданскую панихиду по Марии Ефимовне Люггер. В городе только и разговоров было, что о смерти старушки. Проститься с ней пожелали все. День был объявлен нерабочим, и ко дворцу имени Радека с самого утра стали стекаться люди. Чем-то это напоминало похороны большевистских вождей. Хотя, конечно, давни на улицах не было. Но это лишь потому, что город наш не слишком многолюден. Думаю, больше здесь было любопытства, нежели другого какого-то чувства.

Хлопоты об устройении панихиды, похорон и поминок выпали на долю Ивана Петровича как городского головы. И дело не только в том, что Мария Ефимовна давно уже сделалась достоянием городской общественности, но главным образом, по причине одиночества старушки. У Марии Ефимовны был сын, но ещё в 60-е годы он переселился в США, где и почил лет десять назад. Остались у него дети и внуки, которых Мария Ефимовна никогда не видела. Сын не раз предлагал Марии Ефимовне переехать к нему, но всякий раз Мария Ефимовна наотрез отказывалась. Внуки и правнуки не баловали Марию Ефимовну своим вниманием, и никто из них ни разу не приезжал в наш город.

И всё же о смерти Марии Ефимовны решено было их известить. Иван Петрович связался по телефону с американскими Люггерами, и те, к удивлению нашему, объявили, что кто-нибудь из них обязательно приедет на похороны.

Грешным делом, я и тут не увидела искренних чувств, а разве только желание развеяться да на медведей посмотреть. Впрочем, про себя я не сочла это чем-то дурным, скорее — разумным. Ведь не убиваться же, в самом деле, американским Люггерам по своей прабабке, которую они и в глаза-то никогда не видели! “Слёзы были бы — *une affectation*”. И не за домиком же, оставшимся от Марии Ефимовны, из Балтимора ехать!

Словом, мне нравилось тогда думать, что у этого приезжающего Люггера ничего, кроме насмешливых и потешных соображений, и быть не могло. Возможно, всё было и не так, но мне именно хотелось думать в этом роде. Я даже решила заранее, что оскорбляться тут нечем, а всё поделом и даже на пользу.

Люггеры делегировали к нам младшего из правнуков Марии Ефимовны. Как только приезд подтвердился, Иван Петрович захопотал. Всё вокруг забегало, засуетилось. Решено было устроить поминки по высшему разряду — с икрой. Кто-то даже предложил шампанское. Но вовремя спохватились, что на поминках шампанское неуместно.

Люггера, прилетавшего в Москву, Иван Петрович распорядился доставить на казённой машине прямо из аэропорта. Составили программу пребывания Люггера с обязательным посещением керамического завода и краеведческого музея. Иван Петрович вошёл во вкус и хотел было предложить Люггеру остановиться в нашем доме, но мать воспротивилась. И была совершенно права. Дело в том, что в доме у нас, помимо кухни и прихожей, всего три комнаты. Так что, где именно собирался Иван Петрович поселить американского гостя, осталось для меня тайной. Казалось, что Иван Петрович возлагает на Люггера какие-то особенные надежды. Дело здесь было не

в русском хлебосольстве — очень уж хлопотал Иван Петрович, очень уж волновался.

На похороны Марии Ефимовны Люггер опоздал. Траурную церемонию решено было не отменять, зато поминки перенесли на несколько дней.

Приехавший Аркадий Люггер — так он представился — пожелал остановиться в родовом гнезде, то есть в домике Марии Ефимовны. Домик, по распоряжению Ивана Петровича, на всякий случай прибрали и приукрасили накануне. Как только сообщили, что Люггер доставлен, Иван Петрович лично отправился засвидетельствовать ему своё почтение.

Домой он вернулся чрезвычайно довольный. Кажется, он даже что-то напел себе под нос.

— Ну, и как Люггер-флюггер? — спросила я.

— Люггер-то? — Иван Петрович рассмеялся. — Люггер хорош! Довольно симпатичный, молодой — лет сорока, может быть. Брюнет! — Иван Петрович снова рассмеялся. — По-русски лучше нас с тобой говорит.

— Женат? — поинтересовалась я.

— Нет! Кажется, нет...

Мать ни о чём не расспрашивала. И по одному только этому было понятно, что гроза надвигается.

IV

В организации панихиды, похорон и поминок Ивану Петровичу удалось задействовать половину города. Ему вздумалось даже настаивать на отпевании. Но Мария Ефимовна не была крещена ни в одной из христианских церквей, и благочинный, к которому Иван Петрович обратился с просьбой устроить как-нибудь отпевание, объявил, что об отпевании не может быть и речи. Ивану Петровичу бы принять и согласиться. Но он вздумал настаивать. И даже взялся объяснять благочинному, что в данном случае отпевание просто необходимо, поскольку смотреть придёт весь город. А внимание множества людей, пусть даже и в такой скорбный день, необходимо как-то занять. К тому же отпевание такой особы явно будет способствовать упрочению роли Церкви в нашем городе.

Разговор происходил в кабинете Ивана Петровича — он вызвал благочинного к себе. Секретарша Ивана Петровича, Вероника Евграфовна, дама почтенная и несклонная к пустым выдумкам, передавала, что благочинный возмущился настойчивостью Ивана Петровича:

— Это Церковь, Иван Петрович! — воззвал он. — Церковь Христова, а не балаган! Я на службах надеваю митру, а не шутовской колпак. И отпевать иноверку или безбожницу, пусть бы и бодрствующую в помышлениях благих, я не стану. Может, не всё и совершенно в Церкви земной, но эта Церковь лишь видимая часть. Есть же часть невидимая — мистическая! И глава ей — Христос! И Ему ответ дадим, и Ему одному поклонимся...

Но Иван Петрович так, кажется, ничего и не понял, потому что продолжал стоять на своём. Благочинный вышел из себя и уехал восвояси. Но, как рассказывала Вероника Евграфовна, позже перезвонил Ивану Петровичу и предложил встретиться уже после похорон, чтобы “очень многое обсудить”. Иван Петрович предложение принял, но до последнего, даже и в обход благочинного, пытался найти “хоть какого-никакого завалищаго попа”, который не отказался бы служить панихиду. Уж очень хотелось Ивану Петровичу обставить похороны Марии Ефимовны!

А ведь было! Было, что обсудить Ивану Петровичу с благочинным! В самом деле, отношения главы города и благочиния складывались весьма не просто. Сначала, казалось, всё шло хорошо. Иван Петрович и отец Мануил жали друг другу руки, целовались троекратно и даже поговаривали о сотрудничестве. Но потом вдруг всё изменилось. Первые разногласия появились в связи с идеей Ивана Петровича устроить в городе парк скульптур.

Ивану Петровичу, как только его избрали городским головой, захотелось войти в анналы, и он принялся выдумывать всякие штуки. К тому же, как я уже говорила, Ивану Петровичу очень хотелось оставаться интеллигентным

человеком. Интеллигентность — это игра, это поза, раз приняв которую, переменить невозможно. Религия, например, требует смирения и покаяния. Олимп ждёт веры в себя и в свои силы. Кстати уж замечу, вера в себя и свои силы исключает веру в Бога. В самом деле: как это возможно, положившись во всё на волю Божию, как того требует религия, верить, что человек сам творец своего счастья? Бог повелел Аврааму убить единственного сына. Можно себе представить, каково это: поднять нож на собственного малютку! Но Авраам таки поднял. Поднял, потому, что верил: какие бы чудачества ни предлагал Бог, в них, несомненно, больше толку, нежели в самых мудрых человеческих мудростях.

Некоторые, впрочем, полагают, что успех ниспосылается за какие-то особенные заслуги или добродетели. Но уж это — чистой воды самообман. Добродетели некогда думать об успехе, да и кому нужен он в вечности?

Олимп и религия — две вещи несовместные. Но удел интеллигенции — всегда оставаться прослойкой. Потому что принять крайнее она не может. Иначе придётся переменить позу. И прощай репутация непрощеного борца за свободу!

Но немножко ото всего отщипнуть и немножко всё покритиковать — вот вам и гуманизм, образованный, духовный, независимый и стремящийся “жить по-человечески”, — интеллигентское кредо. А если что-то не так, если кто-то вдруг обронит колючее слово “подлость” — так ведь “это жизнь!”, и всякий поступок достоин оправдания. Такие люди вечно колеблются между мерзостью и благовидностью. Однако всему предпочитают личное довольство.

И ведь так и живут: у каждого по-своему понятый, удобный Бог, у каждого свои, удобные святые.

Возглавив город, Иван Петрович решил, что первый его долг как современного интеллигентного руководителя — убрать с улиц памятники советским вождям. Отправить на переплавку рука не поднималась, к тому же среди горожан оставалось немало последователей коммунистического движения, а среди скульптур — настоящих произведений искусства. Вот тут-то у Ивана Петровича и родилась идея устроить в городе парк скульптур. Этим выстрелом Иван Петрович намеревался убить не двух, а сразу четырёх зайцев: убрать с улиц напоминания об “Октябрьском перевороте”, избежать недовольства верных ленинцев, сохранить творения знаменитых мастеров и, наконец, устроить в городе место прогулок и паломничества.

Загвоздка была только в одном: в городе, как это ни странно, никогда не было парка. То есть, возможно, парк когда-то и был, но помнить о нём могла только Мария Ефимовна. Был, правда, монастырский сад, где при советской власти появились аттракционы и детские площадки, а потом — автостоянка и свалка. Но о том, чтобы убрать стоянку, не могло быть и речи — капитал был частный и для Ивана Петровича неприкосновенный. Насадить новый сад тоже оказалось невозможным — уж очень долго и хлопотно. Иван Петрович вспомнил, что при монастыре есть ещё и некрополь, где давно уже никого не хоронят и где в старину предавали земле монахинь и славных горожан.

Деревья, шелестя листьями и перебирая ветками, беспорядочно разрослись на старом кладбище. Могилы почти сравнялись с землёй. И только сохранившиеся кое-где каменные кресты и плиты свидетельствовали, что именно здесь нашли свой последний приют никому не известные и всеми давно забытые, но, тем не менее, когда-то любившие и ненавидевшие, верившие и сомневавшиеся, воевавшие или молившиеся за Отечество простые русские люди.

Со стороны Церкви, решил Иван Петрович, возражений не может возникнуть, так как монастырь ей не принадлежит. Действительно, собственником бывших монастырских зданий и по сей день остаётся государство, а в храмах и корпусах размещается наш краеведческий музей.

Иван Петрович собрал городских архитекторов, и те согласились: лучше-го места для парка скульптур в городе просто не найти. Решено было проредить заросли, выложить дорожки, подправить сохранившиеся надгробия, а над неизвестными могилками установить памятники и бюсты вождям.

Иван Петрович ликовал. Новая идея, как всегда, захватила его, и он с поистине молодёжным энтузиазмом бросился воплощать её в жизнь. И нетрудно представить себе его раздражение, когда на пути его непреодолимым препятствием вдруг возник отец Мануил.

Вероника Евграфовна рассказывала, что отец благочинный сам явился к Ивану Петровичу.

— Одумайтесь! — воззвал он. — Одумайтесь, Иван Петрович! Перестаньте быть врагом народу своему! Если сегодня мы хотим выжить, нам надо защищать святыни свои, а не топтать их!

— О чём это вы, отец Мануил? — удивился Иван Петрович. — Что такое случилось? Вот присядьте лучше... Воды, что ли, выпейте... Что такое случилось? Опять безбожники одолевают?

— Вот то-то, — вздохнул отец Мануил, присаживаясь, — одолели совсем безбожники. Пантеон свой задумали на святом месте устроить. Капище богомерзкое.

— Да о чём это вы? — рассмеялся Иван Петрович.

— Если вы, Иван Петрович, решили демонтировать в городе памятники — это ваше дело. Но водружать их над могилами... Изваяния воинствующих атеистов на монашеском кладбище... Так себе славы не снискать, Иван Петрович!..

Настоящего или, как говорят, мирского, имени отца Мануила я не знаю. Известно, что родом он откуда-то из Малороссии и что путь свой выбрал очень давно и совершенно самостоятельно. Происхождения он самого простого, а семья его не была ни воцерковлённой, ни даже просто верующей. Рассказывают, что когда-то в юности он пережил странное видение. Наблюдая как-то на танцплощадке за парами, вдруг ощутил он, что всё, бывшее у него перед глазами, точно превратившись в листок бумаги, свернулось в трубку. И будущий благочинный совершенно отчётливо разглядел у танцующих копыта вместо штиблет и туфель. Поражённый своим видением, в страхе бежал он с танцплощадки.

Природа видения осталась невыясненной. Была ли это галлюцинация, а может, оптический обман или ещё что-нибудь — юноше, задававшемуся в ту пору вопросами “зачем?” и “как?”, было совершенно неважно. Непонятным, нелепым, казалось бы, образом он вдруг получил ответы на свои вопросы. Хотя, быть может, ответы эти таились где-нибудь в недрах его сердца и только ждали подходящего времени, чтобы вырваться из оков, прогнать в душе и увлечь за собой.

Известен ещё один случай из биографии отца Мануила. Старший брат его сжёг как-то в костре живого котёнка. Отец Мануил, как младший, не посмел вмешаться, но, говорят, когда, уже будучи благочинным, отец Мануил вспоминал этот случай, всякий раз ему становилось нехорошо.

Конечно, не один отец Мануил задавался в юности вопросами. Но не все находят ответы. Не все находят, к чему пристать, к чему прикипеть душой. Страх одиночества, неопределённости и безысходности заглушается по-разному. Водка, деланная грубость или жестокость — все средства хороши.

В тот же вечер брат отца Мануила уронил на себя керосиновую лампу, и одежда на нём загорелась. С сильными ожогами увезли его в больницу. С тех самых пор он повредился. Выйдя из больницы, не смог он ни учиться, ни работать и, бессмысленный, влачился всюду за младшим братом.

Случилось братьям поздно возвращаться откуда-то домой. На улице было темно и тихо. В преддверии зимы медленно и неслышно падал первый снег, укрывая грязную мостовую белым ковром.

Никто не встретился поспешавшим домой братьям. Одни, точно в сказке, оказались они на бесшумных белеющих улицах. Будущий отец благочинный и блаженный брат его.

В каком-то переулке из покосившегося, потемневшего домишки услышали они пение и, любопытствуя, кто и зачем поёт в такой хибаре, решили зайти. Приоткрыв дверь в горницу, отец Мануил остолбенел на пороге: комната была полна женщин, одетых во всё чёрное. Это их голоса братья слышали на улице — несколько женщин пели.

Не сразу отец Мануил догадался, что это монашки из закрытого монастыря. Одна из них, заметив непрошенных гостей, ввела их в комнату. Когда закончилось пение, протянула отцу Мануилу книгу и сказала:

— Читай!

Он робко принял книгу и огляделся. Монахини улыбались ему. Спасов лик строго смотрел из угла. Свечи заодно горели. Раскрыв книгу и с трудом разбирая церковнославянские буквы, стал он читать.

— Трудно объяснить, что произошло со мной тогда, — рассказывал отец Мануил, — только пустота в сердце в одночасье исчезла. И наполнилось сердце светом и радостью. Неизреченной, велией радостью!

Разве могли знать те монахини, что спустя более полувека отрок, случайно забредший с блаженным братом в их избушку и разбиравший по слогам “Апостол”, вступится за них, призвав власти вернуть монастырь монашествующим?

Отец Мануил не раз обращался и к Ивану Петровичу, и к бывшему до него городскому голове. Но всякий раз получал один и тот же ответ: “Некуда перевести краеведческий музей. Вот будет здание для музея, будут переговоры с Церковью”.

Что до Ивана Петровича, он решительно выступил против отца благочинного. Ведь речь шла уже не просто о передаче монастырских зданий, благочинный вставал на пути устройства парка скульптур. А Иван Петрович возлагал свои надежды на этот проект. Осуществись он, и Иван Петрович из посредственного местечкового градоправителя обернулся бы преобразователем почти областного масштаба, беспощадным к душителям свободы и наклонным к творческим решениям. А тут появляется благочинный и заявляет:

— Так себе славы не снискать!

— Да помилуйте, отец Мануил! — удивился сперва Иван Петрович. — Кому это помешает? Вождей с улиц уберём — городу профит. В парк туристов будем водить — опять профит. А тем, кто там лежит... Да кто их беспокоит? Пусть покоятся с миром. Прах ничей не тронем, скульптуры поставим исключительно на пустом месте...

— Это не пустое место, Иван Петрович! — перебил благочинный. — Не пустое место и не парк. Это кладбище. Православное кладбище. Там покоятся и те, кого расстреливала безбожная власть. А вы намереваетесь водрузить памятники палачам над могилами жертв! Свет не видывал худшего кощунства, Иван Петрович! Как вы спать после этого думаете? Тут уж не “красавые мальчики”, а сонмы окровавленных мучеников перед глазами явятся!

Думаю, был момент, когда Иван Петрович действительно испугался перспективы увидеть сонмы окровавленных мучеников. Но тут же наверняка встрепенулся и, стяхнув наваждение, рассмеялся:

— Будет вам, отец благочинный! Что вы всё не уймётесь? Лучше бы крестили да венчали, в самом деле. А вы бунт устраиваете. Грех вам...

— Грех на вас будет, Иван Петрович, когда совершите вы сие кощунство!

В ответ Иван Петрович поднялся из-за стола.

— Благодарю вас за визит, отец благочинный. Обещаю подумать над вашей просьбой.

— Я ухожу, Иван Петрович, — поднялся и отец Мануил. — Обещать, конечно, не могу, но приложу все силы, чтобы не дать богохульному замыслу вашему осуществиться.

С тем и ушёл. Ивану Петровичу только и оставалось, что рассмеяться вдогонку.

А через несколько дней в одной из наших газет появилось интервью с Иваном Петровичем. Речь сначала шла о нуждах города, как вдруг без особой связи, на вопрос о возможной передаче Церкви монастырских построек, Иван Петрович ответил:

— Видите ли, это сложный вопрос... Сложность, собственно говоря, в том, что возрождающаяся ныне Русская Православная Церковь может

стать пособницей вчерашних коммунистов. А точнее, тех, кто называет себя сегодня патриотами и борется за так называемое “возрождение России”...

Иван Петрович точно собак спустил. Через день уже все газеты кричали: “Православный иерей сотрудничает с коммунистами...”, “В городе запахло кострами инквизиции...”, “Смирному благочинному не дают покоя безбожники...”, “Жадность, нетерпимость, что дальше — антисемитизм?..”

Вокруг благочинного действительно кружилось много разных людей. Образовалось даже что-то вроде кружка поклонников, костяк которого составляли местные богомольные старухи, почитавшие отца Мануила за святого. Многие приходили за советом и наставлениями. Были и далёкие от веры люди, предполагавшие в благочинном духовного лидера будущего сопротивления.

Но, кажется, благочинный только страдал от своих поклонников. Хотя и принимал у себя всех желающих. Вероника Евграфовна рассказывала, как однажды под вымышленным предлогом отправилась к отцу благочинному. Наслышавшись о прозорливости и чуть ли даже не о чудесах отца Мануила, вознамерилась она лично удостовериться в правдивости слухов. Набравшись смелости, заявила как-то Вероника Евграфовна в благочиние и потребовала самого отца Мануила.

Её провели в приёмную, и не успела она толком оглядеться, как к ней вышел сам благочинный. Вероника Евграфовна оробела, увидев отца Мануила в штопаном коричневом подряснике. Благочинный благословил Веронику Евграфовну и спросил, что ей нужно. Но несчастная так растерялась, что позабыла выдуманную накануне причину визита.

— Я... батюшка... видите ли... — забормотала она, перебирая в уме всё, о чём можно было бы спросить. — У меня... сестра... то есть... у меня племянница хочет стать фотомodelью. Так уж вы помолитесь...

Благочинный нахмурился.

— То, о чём вы меня просите, сделать не смогу, — сурово сказал он, глядя в глаза Веронике Евграфовне. — Сердце человека — Престол Божий. А на Престоле Божиим нет места безблагодатным ценностям. И помните: кланяясь идолам преуспеяния, каждый из нас становится причастным к разрушению общества, ибо потакает разгулу разрушительных страстей. За племянницу вашу помолюсь, а вам вот ещё что скажу: любопытство ради любопытства — это грех пред Богом. Ибо сказано: не сообразуйтесь с веком сим, но сообразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия.

С этими словами он ещё раз благословил Веронику Евграфовну, и та, не чуя под собой ног, выскочила на улицу. Только дома она вспомнила, что намеривалась спросить у благочинного, стоит ли ей подавать в суд на своего соседа по даче, передвинувшего на сорок сантиметров забор вглубь участка самой Вероники Евграфовны. Но как бы то ни было, с того самого дня и Вероника Евграфовна сделала решительной обожательницей отца благочинного. Тем более что и с памятниками вышло по слову отца Мануила.

Благочинный не писал статей в газеты и не давал интервью, но всё складывалось именно так, как он предрёк Ивану Петровичу. Точно невидимая стена встала между некрополем и устроителями парка скульптур. Демонтируя, уронили памятник Ленину — самый большой и наиболее интересный в городе. Так что даже голова у вождя откололась и, говорят, покатилась по мостовой. Памятник пришлось отправить на реставрацию, а дальнейшие работы, из-за непредвиденных расходов и нарушения изначального плана действий, решено было приостановить. К тому же фигуре Ленина предписывалось стать центральной и паркообразующей.

Случайное, казалось бы, совпадение. Но в городе с каким-то даже удальством приписали это совпадение влиянию отца Мануила.

Был отец Мануил невысок, худ и сед. Власы и бороду имел жидкие с прозеленью — седина иногда отчего-то отдаёт в зелень. А между тем, Вероника Евграфовна убеждала нас с матерью, что “это же могучий старец” с пламенным взором и гремящим голосом. Вероятно, такое впечатление сложилось у Вероники Евграфовны под воздействием проповедей отца Мануила.

Проповеди свои благочинный произносил в храме. Не раз передавали их и по местному радио. Услышавшему впервые отца Мануила в самом деле не пришло бы и в голову, что голос принадлежит болезненному и чахлому старичку. Возможно, так сильно было впечатление от радиопроповедей, что и столкнувшись близко с отцом Мануилом, Вероника Евграфовна предпочла видеть в нём могучего старца.

— Любите врагов ваших, крушите врагов Отечества, гнушайтесь врагами Божиими, — гремел из радиоприёмника отец Мануил, и редкий слушатель не стихал, предвкушая, что голос этот скажет именно то, о чём давно хотелось услышать. — Отечество ныне поругано, святыни попораны — всё отдано во власть жрецам новой религии. Новыми идолами стали Богатство и Слава, Успех и Комфорт. А смогут ли новая религия и новые идолы стать основой народной жизни? Нет! И не нужно обманывать себя. Нужно оглянуться и одуматься. Нужно оградить себя от потребительства, этой моровой язвы, от тряпок и побрякушек. В погоне за миражами, за мнимыми ценностями растрачиваются и обесцениваются подлинные основы народной жизни — идея соборности, идея духовной общности, произрастающие не из прав человека, а из общего служения и долга, служения Правде Божией как единственной абсолютной ценности. Служение Правде и самопожертвование возвышают человека и приближают его к Богу. А это, в конечном счёте, и есть смысл человеческой жизни...

Когда, бывало, слушала я отца Мануила, какой-то внутренний голос с восторгом кричал во мне: “Вот то, что тебе нужно!” Но тут же другой, насмешливый голос говорил: “Нет, не то. Со-о-всем не то...”

V

Отпевать Марию Ефимовну так никто и не согласился. Зато какие-то доброхоты посоветовали Ивану Петровичу пригласить раввина. Иван Петрович подумал, но на раввина не решился. Пришлось довольствоваться гражданской панихидой.

Заниматься организацией поминок Иван Петрович поручил матери. Мать взялась за дело с энтузиазмом — из казны ей выдали денег, назначили помощников. Но когда уже арендовали зал в ресторане “Север”, когда оговорили меню и сервировку, вот тут-то мать поняла, чего ей всё это время не хватало.

Сёстры Ивана Петровича, Ольга Петровна и Татьяна Петровна, не принимали участия в организации похорон и поминок, обе они остались в стороне от всеобщей суеты. Но матери вдруг пригрезилось, что тётки должны были как-то особенно скорбеть о Марии Ефимовне и выступать первыми плакальщицами. Произошло это именно вдруг. До поры до времени мать ничем не выдавала своего недовольства и, скорее всего, не думала о тётках.

Не знаю, что именно напомнило ей о золовках, но в один прекрасный день она ославил их на весь город. Мало того, что они не рвут на себе волосы и не посыпают головы пеплом, так они ещё и не думают помочь с поминками! Заодно мать припомнила, как третьего года, проходя мимо дома тётки Ольги на рынок, она зашла поздороваться, а тётка Ольга не напоила её чаем.

С чаем вообще отдельная история. Как только матери хочется на кого-то обидеться, точнее, как только на неё находит приступ жалости к себе — эта похоть себялюбия, — и жребий падает на нового обидчика, мать первым делом вспоминает, что в какой-то момент ей не предложили чаю. “Обидчиков” у матери довольно много. И каждый в своё время не напоил её чаем. А уж чай-то она никому не спускает! Чай — это святое.

Тётка Ольга уже не раз отказывала матери в чае. И вот новый чайный скандал!

Очевидно, до тёток не дошли слухи о том, что они должны были скорбеть — и не скорбели, должны были хлопотать — и не хлопотали. Тётка Ольга, наверное, непростительно забыла, как три года назад не напоила мать чаем. Словом, обе тётки явились на поминки как ни в чём не бывало.

Мать поздоровалась с ними холодно. Тётки сделали вид, что ничего не заметили. Равнодушные тёток раззадорило мать. И, не сомневаюсь, с той самой минуты ни о чём, кроме как об обиде, мать и думать не могла. Она здоровалась с гостями, переговаривалась, распоряжалась, но в каждом её жесте и взгляде, в каждой ужимке и интонации чувствовалась обида. И даже, когда стали произносить успокоительные речи, когда кутья и блины с икрой разошлись по тарелкам, мать всё не уставала показывать, что молчит только потому, что воспитание не позволяет ей высказаться. Наконец, она не выдержала и обратилась к сидевшему подле Люггеру:

— Кушайте, кушайте, Аркадий Борисович. Не стесняйтесь...

Но Люггер и не думал стесняться. Уж чего-чего, а поесть на дармовщинку иностранная братия умеет! Хотя... Если уж нам и предложить больше нечего...

— Вот блинов возьмите, Аркадий Борисович, — мать пододвинула к нему тарелку с блинами. Было видно, что ей очень хочется что-то сказать Люггеру, но она никак не решится начать.

Люггер благодарил и кушал с большим аппетитом.

— Любите блины-то? — простодушно поинтересовалась мать.

Люггер также простодушно закивал.

— Да-а... — вздохнула мать. — А ведь всё это я сама... — и она выразительно посмотрела на Люггера, точно спрашивая: “А как бы вы думали?”

Отмалчиваться дальше становилось неприличным, и Люггер был вынужден вступить в разговор:

— Как? — постарался изобразить он интерес и удивление разом. — Вы одна всё это приготовили?

— Да нет же! При чём тут приготовила! — мать, недовольная бестолковостью Люггера, нахмурилась. — Я одна всё организовала. Понимаете?

— А-а-а! — догадался Люггер. — Значит, вы... *manager*?

— Хм... Ну, пожалуй, менеджер, — согласилась мать. — Но главное... слушайте-ка... главное, что мне никто не помогал. Понимаете?

— О-о-о! Значит, вы... э-э-э... современная женщина?

— Да нет же! — мать снова нахмурилась. — При чём тут женщина... современная. Слушайте-ка... Всё это, — и мать провела рукой в воздухе, указывая на столы и на гостей, — всё это легло на мои плечи, — и мать ткнула пальцем себя в плечо.

Люггер скосил глаза на круглые материны плечи и закивал.

— У Ивана Петровича есть сёстры... две сестры, — мать показала Люггеру два пальца. — Ни одна из них мне не помогала... Да вот, посмотрите. Вон там, у правого стола в розовой кофточке... китайской... это Ольга Петровна. А рядом... такая блондинка... крашеная... это Татьяна Петровна. Ваша бабушка, Аркадий Борисович, очень любила Ивана Петровича. Очень! И, знаете, я тоже очень скорблю по ней. Очень! А Ольга Петровна и Татьяна Петровна... Вы знаете, как будто это их не касается! — и мать посмотрела на Люггера, точно спрашивая: “Каково?”

Люггер уловил вопрос и сочувственно качал головой.

— Слушайте-ка, — продолжала, осмелев, мать и даже доверительно дотронулась до локтя Люггера. — Пошла я на рынок... Тут у нас есть рынок... недалеко. Но он так себе... не очень. Ну, вы меня понимаете?

— Конечно, — отозвался Люггер и подавил зевок.

— Я хожу на дальний рынок. Это возле Ольги Петровны. Я хожу в молочный ряд. Творожок беру, сметанку...

— И Ольга Петровна с вами? — перебил её Люггер.

— Ольга Петровна? — мать даже обиделась. — Я зашла к Ольге Петровне проведать. Я всё-таки её родственница, Аркадий Борисович. И нет, чтобы сказать мне: “Проходи, Лида, садись, выпей чайку”... Она даже чаю не предложила!.. Наврала, что уходит. А куда ей идти-то? В воскресенье в школе выходной — она учительница. Ну, какие у неё дела в воскресенье? Хм... Да если бы у неё были дела, я бы давно знала! О чём вы говорите, Аркадий Борисович? — и мать возмущённо, как будто и Люггер был в чём-то виноват перед ней, махнула у него перед носом рукой.

Люггер в недоумении посмотрел на неё и часто замигал.

— О чём вы говорите, Аркадий Борисович! — продолжала возмущённо мать.

— Да я ни о чём... — начал, было, Люггер, но мать не дала ему договорить.

— А у меня, между прочим, дочь пианистка, в музыкальном училище, — мать кивнула в мою сторону, но Люггер даже глаз на меня не скосил, — и брат у меня в Новгородском театре играет.

— Вау! — лениво заметил Люггер.

— Да. И племянник у меня в Кувшиново вундеркинд. Двенадцать лет парню. И вообще, вы знаете, у нас у всех в семье очень сильная энергетика. Очень сильная! Моя мама — тоже в Кувшиново — до сих пор ещё! Вот если идут соседи ругаться — ведро с помоями и... сразу окатит! Такая энергетика!.. А Татьяну Петровну я вычислила, — она снова махнула рукой. — Она какие-то открыточки попам рисует. Я её в церкви видела с пачкой.

— Попам? С какой пачкой? — оживился Люггер.

— Я пришла в церковь и всё видела. Хотела подойти к Татьяне Петровне, а она меня заметила и спряталась за колонну. А потом — юрк к попам!.. Вот почему у неё денег-то нет!.. Аркадий Борисович!.. — мать наклонилась к самому уху Люггера, а для пущей убедительности положила свою пухлую, с остро отточенными перламутровыми ноготками руку на костлявое его запястье.

Наверняка в тот момент у Люггера закружилась голова или поднялось артериальное давление. А если бы он ещё немного послушал мать, думаю, он упал бы в обморок. Спас его, сам того не подозревая, Иван Петрович.

— Аркадий Борисович, — наклонился он к другому уху Люггера. — Аркадий Борисович, у нас так не принято!

— Простите? — переспросил, видимо, растерявшийся Люггер.

— У нас так не принято, — ласково повторил Иван Петрович, — Мария Ефимовна, как-никак, бабенька ваша. Здесь уж много про неё говорено. А вы — ничего. Нехорошо. И от людей неудобно. Надо бы помянуть бабеньку-то... Все дивятся — вы у нас человек особенный. А? Как вы?

— Я готов, — растерянно отвечал Люггер.

— Так я объявлю? — уточнил Иван Петрович.

— Да, да...

Матери, очевидно, не понравилось, что Иван Петрович вмешался и перebil её. Сделав опять недовольное лицо, она почти незаметно отодвинулась от Люггера.

— Господа, господа! — обратился Иван Петрович к собранию и даже ножом по стакану постучал. — Прошу внимания! Аркадий Борисович Люггер, правнук всеми нами любимой и оплакиваемой ныне Марии Ефимовны, хочет сказать несколько слов. Прошу вас, Аркадий Борисович!

Люггер, по примеру говоривших перед ним, поднялся, взял в левую руку стопку с водкой и повёл свою речь:

— Да, я хочу сказать несколько слов, — неуверенно начал он. Говорил он с лёгким акцентом, впрочем, не коверкая слов, — у меня уже есть впечатления в России, и я бы хотел о них... Ведь я только вчера приехал, и сразу впечатления... Я хочу сказать, что Россия меня немного удивила, — и, как мне показалось, Люггер покосился на мать. — Я родился в Америке, но дома у нас все говорили по-русски. А моя бабушка каждый день смотрит по телевизору русские передачи. Что я знаю или знал о России? Что это страна Ходорковского и Березовского, блинов, икры и водки, — Люггер, усмехнувшись, кивнул на стол, подтверждавший его представление о России. Все слушали с большим интересом. — Ещё Распутин, мафия, матрёшки, блондинки, революция и моя прабабушка, — здесь Люггер обворожительно блеснул зубной костью. — Ещё я знаю, что в России было много умных людей, которые все уехали за границу. Сначала, чтобы заработать денег, а потом все так и остались, чтобы просто нормально, по-человечески жить. И несмотря даже на то, что в России есть и нефть, и алмазы, возвращаться эти

люди не собираются. Это не только моё персональное мнение, так думают все люди на Западе. Но сегодня утром это моё мнение... оно сломалось... изменилось. Очень рано я был на кладбище. Я встретил там одну... э-э-э... персону. Это была очень простая женщина. Она стояла рядом с могилой. Я спросил, кто здесь у неё, и она рассказала мне свою историю. Это была могила её подруги. Они вместе были в тюрьме... в ГУЛаге. Её подруга была француженка, она вышла замуж за советского дипломата и уехала в Советский Союз. Ещё в тридцатые годы. Она была пианисткой и выступала в Москве. Но потом её и её мужа арестовали. Пятнадцать лет она провела в тюрьме...

— Вот одух-то, слушай-ка... — шепнула мне мать. — Про чужую бабу взялся рассказывать...

— ...Она вырезала клавиши на лавке, — продолжал Люггер, — и пятнадцать лет играла на лавке. Когда она вышла на свободу, мужа её расстреляли. Она была одна до конца дней. Жила в маленькой однокомнатной квартире. Могла уехать во Францию, но не уехала. Она говорила, что в тюрьме нашла что-то важное, что во Франции не смогла бы найти. И, признаться, я позавидовал, мне тоже захотелось найти это важное...

Люггер остановился перевести дух. Говорил он довольно медленно, оттого выходило весомо и убедительно. Кругом было тихо — слушали внимательно и даже с удовольствием. Некоторые то и дело кивали, точно соглашаясь или подбадривая Люггера. Русский человек либо обожает послушать про свою так называемую духовность и русскую душу, либо терпеть этого не может. Лично я отношусь ко второй категории, потому что меня просто бесят эти разговоры. Скажу больше, мне даже нравится говорить и думать в противном смысле.

История про пианистку-француженку была хорошо всем знакома. Кажется, эта француженка поселилась в нашем городе в конце пятидесятых. Мы с матерью как-то были на её концерте во Дворце культуры. Помню, я обратила внимание, что первый ряд был занят исключительно старухами. Старухи казались ветхими и потёртыми, но держались сурово, а музыку слушали с таким достоинством и серьёзным вниманием, как будто все до одной выросли на Рахманинове и не мыслили себя без его музыки. Мне показалось это смешным, и я спросила у матери:

— Это что? Культпоход дома престарелых?

Но мать одёрнула меня, объяснив, что старухи — подруги и сокамерницы нашей пианистки и что приезжают они на каждое её выступление.

Эта дружба, заквашенная на общих страданиях, произвела на меня впечатление. Я оставила смеяться. Помню, мне вдруг пришло в голову, что попала я не просто на концерт, где артисты развлекают праздных и скучающих зрителей. Перед нами развёртывалось нечто огромное, хотя и невидимое обычному глазу. И всё, что нам оставалось, — молча, с замиранием сердца и завистью внимать происходящему.

Несколько лет назад француженка умерла. Наверное, Люггер встретил на кладбище одну из тех её подруг, что я видела тогда во Дворце культуры. Кто знает, быть может, и впечатления его были схожи с моими...

Люггер собрался продолжить свою речь. Он оглядел всех — что-то грустное промелькнуло в его взгляде, — набрал воздуха в лёгкие, но в эту самую минуту среди всеобщей тишины по залу разнёсся тихий, но совершенно отчётливый стон. В следующую секунду дверь медленно, как от лёгкого прикосновения растворилась, и в зал, шаркая по-стариковски ногами, вошёл Абрамка.

Завидев его, Люггер замер с выражением такого ужаса на лице, точно увидел не убогого мальчика-дурачка, а, по меньшей мере, разверзшиеся врата ада. Абрамка уставился на Люггера своими водянистыми глазками и проныкал:

— Явился мессия народу Божию! Посетил Господь чад своих в изгнании!

Люггер вздрогнул, так что водка выплеснулась на стол, и тяжело опустился на скамью. Абрамка повернулся и, шаркая ногами, скрылся за дверью.

VI

Абрамка — это мальчик-дурачок из пригородного интерната. Откуда он и кто его родители, я не знаю. Худосочный и золотушный, с белёсыми, водянистыми глазками, с жиденькими, бесцветными волосёнками, несколько лет назад он стал известен у нас каждому. Без штанов и босой, в длинной ночной рубаше появился он однажды в городе и огласил его стогны непонятным бормотанием. Лично я не могла разобрать, что он там бормочет. Но Иван Петрович с самого начала утверждал, что Абрамка говорит следующее:

— Оставил Господь чад своих в рассеянии!.. Взывает к Богу народ его!.. Народился пророк Израиллю!..

Помню, я тогда же сказала, что не вижу никакого смысла в этих словах. И тогда же все, кто окружал меня, стали смеяться: какого, дескать, тебе ещё смысла у дурачка искать! Но, кажется, Иван Петрович был прав: Абрамка действительно бормотал всю эту ерунду. Хотя, может, все мы только решили, что говорит он именно эти слова, да так и слышали — по внушению.

Первое время ночью и днём, по улицам и площадям бродил он, словно тень, и стонал, пока не задержали его и не выяснили личность.

Нетрудно вообразить, какое впечатление произвела эта фигура на горожан. Видевшие его впервые останавливались в оцепенении прямо посреди улицы. Мало-помалу собиралась толпа и ходила за ним по всему городу. Слова, да и самый вид его внушали почти мистический ужас. В белой, с полинявшими цветками рубаше походил он на юродивого в рубище. А слова звучали грозным пророчеством. Кто научил его? Где он мог слышать об этом?

Выяснилось, что зовут его Вася Нагой, а от роду ему одиннадцать лет. Его отправили обратно в детский дом, и, спустя какое-то время, в городе о нём позабыли.

Но он напомнил о себе, появившись опять на улицах всё в той же рубаше и с похожими словами на устах. Тогда-то, заметив его, кто-то крикнул:

— Гляньте, Абрамка!..

С тех пор прозвище пристало к нему.

Его снова отправили в приют, но вскоре он опять бродил по улицам и стонал:

— Оставил Господь чад своих в рассеянии!..

Говорил он загадочными, как будто библейскими фразами. На вопросы не отвечал и, кажется, даже не понимал их смысла. Бывало, он устраивался под чьими-нибудь окнами и хныкал:

— Водички... Дайте Васе водички...

Ему выносили воду, он молча принимал и выпивал всю без остатка.

Слов его никто не понимал, но некоторые уверяли, что это пророчества. Вероятно, облик его производил завораживающее впечатление. Могло показаться, что Абрамка непрерывно размышляет о чём-то, недоступном разумению прочих смертных. И что известно ему нечто такое, о чём не дано узнать более никому. Эта тайна, ореолом висевшая над Абрамкой, эта его недоступность и непостижимость внушали к нему особое отношение, вобравшее в себя все оттенки, от жалости до уважения, до чувства вины и даже до священного ужаса.

В городе даже полюбили Абрамку. Его оставили в покое и стали отправлять в приют только на зиму. Зимой он не приходил в город, но чуть только стаивал снег, как он являлся. Говорят, его особенно полюбил благочинный — будто бы Абрамка напоминал отцу Мануилу блаженного брата.

Абрамку, точно хорошенького зверька, стали прикармливать прохожие; случалось, он заходил в ресторан. Над ним смеялись и спрашивали, чем он собирается платить, но потом отводили на кухню. Видимо, в одно из своих посещений ресторана он и оказался в зале, где шли поминки. Во всяком случае, никто из ресторанных не задержал его. А может, и специально подослали, для смеху.

Зал, который арендовала мать для поминок, находился не в главном корпусе ресторана. Это был небольшой бревенчатый домик, избушка в русском стиле. Вход с улицы был отдельный. Для посетителей избушку открывали только летом. Было здесь уютно, хотя и банально: на стенах висели хомуты, коромысла и полки с глиняными горшками. В одном углу стояла прялка, в другом — чучело бурого медведя. Под окном на лавке красовался огромный самовар. Длинные тяжёлые столы располагались буквой “П”, по внешней стороне которой тянулись скамейки.

Наверное, такой зал больше годился для свадеб, чем для поминок. Но, думаю, мать нарочно из-за Люггера выбрала избу. Хотелось попотчевать гостя экзотикой.

Надо сказать, ей вполне это удалось. Абрамка перепутал Люггера на смерть. Первое время никто не мог опомниться, все точно оцепенели. А потом вдруг поднялся гвалт. Все вскочили со своих мест, началась перебранка, каждый обвинял в чём-то остальных, странно, как не дошло до драки.

— Кто его пустил сюда? — кричал Иван Петрович. — Как он сюда попал? Это официальное мероприятие, приглашены иностранные гости! Как мог попасть сюда этот... уродливый? Лидия Николаевна, — обратился он к матери, — кажется, вы занимались организацией мероприятия? Почему не обеспечена охрана? Зачем вообще нужно было арендовать этот зал?

— Я?! — мать даже побледнела. — Да я... я одна здесь всё!.. На своих плечах!.. — она вскочила и уже размахивала руками. — Мне же никто!.. Никто не помогал! И ваши сёстры, Иван Петрович!..

— Ну, начинается... — тихо, но так, что все расслышали, сказала Татьяна Петровна.

— Да, Таня, начинается! — обрадовалась мать. — И кончается! Мне никто из вас не помогал! Всё одна!.. Всё одна!.. Ладно, когда вы мне с ребёнком не помогали сидеть — понятно, не ваша кровь. Но Марию Ефимовну вы не почтили... Такие вещи, Таня, не забываются и не прощаются!..

Почему они должны были со мной сидеть, что за почести должны были воздать Марии Ефимовне и какое отношение к этим почестям имела мать — на эти вопросы нет ответов. Это всего лишь поводы для обид. Думаю, в жалости к самой себе мать находит особое, извращённое удовольствие, которое не променяет на целый ряд других. Странно, что никто до сих пор не понял этого.

— Какие вещи, Лида! Да ты о чём говоришь-то? — вмешалась Ольга Петровна.

— Ты со мной, Оля, так не разговаривай! — закричала мать. — Ты меня даже чаем не напоила!

— Каким чаем, Лида?!.. Господи! Да откуда ты берёшь всё это?!..

А Иван Петрович, тем временем, отчитывал за что-то бухгалтера. Директор музея пеняла отделу образования, что дети разбегаются из приюта. Шум поднялся такой, что, казалось, все ругаются со всеми. В это самое время ко мне подошла Лиза и тихо сказала:

— Пойдём отсюда?

VII

Предложение Лизы я приняла с удовольствием: сцена в избе становилась отвратительной, к тому же Лиза была мне интересна. Но главное, что я была интересна Лизе. И отчего это так бывает? Стоит лишь новому человеку сделать шаг в мою сторону, как я уже мечтаю о самой искренней и непосредственной дружбе с ним. В какие-нибудь секунды я успеваю нафантазировать, как хорошо мы вместе проводим время, как прекрасно и всем на зависть ладим друг с другом, как легко мы находим общий язык. Но стоит мне, в самом деле, сблизиться с кем-то, как мечты разбиваются и превращаются в прах. Не желая мириться с чужими недостатками или чудачествами, я с какой-то даже злой радостью возвожу из них стену. И тот, за кого я в мечтах своих готова была отдать жизнь, становится вдруг жалок и отвратителен. И уж не то, что жизни, а и пяти минут бы ему не отдала.

Вспоминая все тогдашние события, я не могу не признать, что по ходу общения с Лизой во мне зародилось и постепенно вызрело желание насолить ей. И это с одной-единственной целью — поставить её на место. Другими словами, мечта о дружбе довольно быстро выродилась в свою противоположность.

Лиза показалась мне лживой. Именно лживой, поскольку не могла я допустить и принять того, в чём она пыталась меня заверить.

Но всё это было потом. А пока я сочинила историю нашей возможной и даже обязательной дружбы. Сначала мы просто сойдёмся на каком-нибудь вопросе, и нам станет интересно вместе. Мы будем говорить и не сможем наговориться. Потом я сделаю для Лизы что-то очень хорошее, например, подам ей необходимый совет или одолжу денег, а брать назад не захочу. Мы будем секретничать и всё решать сообща. Только это будет не сразу — ведь должно пройти время, чтобы наша дружба настоялась.

Когда-то очень давно и совсем недолго мы с Лизой жили под одной крышей. Потом мать увезла её, и с тех пор мы не видались. Несмотря на то, что мы были знакомы, времени прошло довольно, и мы стали чужими. Это обстоятельство, по всей видимости, и мешало нам разговориться на первых порах. Было бы проще, если бы мы виделись впервые, — вопросы отыскались бы сами собой, а молчание не казалось бы неловким. Но мы только украдкой рассматривали друг друга, улыбались, встречаясь взглядами, и всё не решались заговорить.

Никто не заметил, как мы ускользнули с поминок.

— Пешком? — спросила я Лизу уже на улице.

Лиза молча кивнула.

Это был первый по-настоящему жаркий день в ту весну. Не успев прогнуться, земля, асфальт и камни не выбрасывали излишки жара, от которого плавится воздух и пересыхает гортань у живых существ. Солнце не изнуряло и не казалось жестоким, не знающим пощады, глумливо ухмыляющимся врагом, но было добродушным, весёлым другом.

Путь наш был недалёк. А идти предстояло по разбитому узкому тротуару, вдоль которого с одной стороны тянулась мостовая, с другой — бестолковые заросли акации, жёлтые цветы которой не радуют ни зрение, ни обоняние.

Разглядывая Лизу, я заметила, между прочим, что она не сильно изменилась. Обратила внимание и на сильное сходство с отцом — Иваном Петровичем. Такое же круглое лицо, такие же мягкие светлые волосы. Маленькие серые глазки глядят лукаво, при этом толстые, от уха до уха губы придают всему лицу какой-то простой и глуповатый вид. Впрочем, в лице Лизы оказалось гораздо более благодушия.

Я видела, что Лиза хочет спросить меня о чём-то, но не знает, с чего начать. Мне вообразилось, что я догадываюсь, о чём именно ей хотелось узнать. И, довольная своей проницательностью, я забавлялась борьбой её любопытства и деликатности. Наконец, мне это прискучило, да и Лизу захотелось сразить прозорливостью.

— Ты хочешь спросить про этого мальчика? — обратилась я к Лизе.

Лиза прищурилась и одновременно с этим подняла брови.

— Какого мальчика? — переспросила она.

— Того, что приходил сейчас в ресторан. Из-за которого всё началось там...

Лиза, рассматривая носы своих простеньких серых туфель, тихонько рассмеялась.

— Ну, и что это за мальчик? — спросила она, не глядя на меня.

— Это Абрамка, дурачок. Он в приюте живёт... в детском доме для детей с задержками развития... — и я рассказала Лизе историю Абрамки. Мне очень хотелось поразить Лизу, произвести на неё впечатление. Я говорила и время от времени заглядывала ей в лицо. Лиза слушала меня спокойно, только раз или два подняла брови.

— Я хотела о папе спросить, — сказала она, когда я закончила.

И точно холодной водой меня окатила. Мне не удалось удивить её — Абрамка был ей неинтересен. Но вместо того, чтобы сказать о том прямо, она

заставила меня разливаться соловьём, чтобы затем насмеяться. Мне стало стыдно собственного рвения.

— Ну, и что же папа? — спросила я холодно.

— Как-то странно... — вздохнула Лиза. — Смотреть на него тяжело. Мучается он, что ли...

— Мучается?! — я так удивилась, что забыла о своей давешней обиде. — Это Иван-то Петрович мучается? Мается — я бы ещё поняла. Но что бы мучиться...

— Мается? — тревожно переспросила Лиза. — Как мается? Почему?

— Да потому что... потому что для людей вроде нашего Ивана Петровича естественным было бы плодиться и работать в поте лица. Но они на такую основательную малость не согласны. Вот и чудят... — я завелась, потому что всегда завожусь, когда говорю об Иване Петровиче. К тому же предоставлялся случай уколоть Лизу, и я просто не могла упустить этого случая. — Вот если попробовать представить разных людей в характерных для них позах... ну, или... за характерными занятиями, что ли... так Иван Петрович представляется мне в масонском фартуке. Или что-нибудь в этом роде.

— Почему? — испугалась Лиза.

— Почему? Да потому что ему бы очень пошло членство в каком-нибудь тайном обществе. Знаешь, такая кипучая бестолковость и чванство... Да, — мне и самой стало забавно, — Иван Петрович вполне сошёл бы за масона. Если бы в своё время не был комсомольским работником.

— Разве он такой? — подавленно спросила Лиза.

— Какой “такой”?

— Ну, такой... пустой, — неохотно выговорила Лиза.

— Почему сразу “пустой”? — мне стало жалко Лизу — столько лет не видеть отца и вдруг узнать, что это пустой и никчёмный человек.

— Потому что... — солидно и основательно, точно это было плодом долгих и трудных её размышлений, проговорила Лиза, — потому что, кто любит тайны, тот замышляет злое. Тайна думает, что одна знает истину, и всегда воюет с традицией. На самом деле, это покров пустоты. Это самообман для немощного духа, это... это пища для голодного тщеславия.

— Хм... — меня насмешили и удивили Лизины формулировки. — Похоже...

— Но, если похоже, то он действительно мучается! — воскликнула Лиза.

— Да с чего ему мучиться?! — разозлилась я. — Катается как сыр в масле... Мученик тоже...

— Человек, зло творя, всегда мучается, — тихо проговорила Лиза.

— Ну, не хотел бы — не творил, — пробурчала я.

Помолчали.

— Ангел пролетел, — сказала вдруг Лиза.

— Что?

— Когда вот так внезапно все замолчат, говорят, что это ангел пролетел.

— А-а-а...

— А что, он тайны любит?

— Кто? Ангел твой?

— Да нет, папа!

— Очень любит. Вот Люггер, например. Только приехал — уже тайны. Да и как засуетился-то!.. Противно...

— Ну, Люггер — это не тайна, — засмеялась Лиза с каким-то облегчением. — Люггер — это Америка. Это папа перед Америкой заискивает.

— Да денег он ищет на свои дурацкие прожекты! — разговор об Иване Петровиче начинал мне надоедать, Лиза стала казаться скучной. — Лучше бы поучился у американцев их зарабатывать.

— Почему надо у них учиться? — искренне удивилась Лиза.

— Потому что Америка — страна свободы, и Нью-Йорк — столица мира... — нарочно выдала я.

— А я — королева Луны, — захихикала Лиза.

Я хмыкнула, хотя эта невинная шутка почему-то неприятно задела меня. А Лиза не унималась.

— Какая же там свобода? — весело спросила она, точно заигрывая.
— Обыкновенная... — лениво ответила я.
— Такая же свобода, как их статуя — слепая, рогатая, на воде стоит. Хи-хи-хи... А ещё я слышала, у них есть бык золотой.

— Бык золотой?!

— Ну да. “Быки” — это что-то такое на бирже. Так вот, у них возле биржи... или как это у них называется?

— Если биржа, то так и называется — биржа, — огрызнулась я.

— В общем, доджоне какой-то, — Лиза опять глупо захихикала. — И там у них стоит фигура быка. Памятник такой... скульптура. И они с ним на счастье фотографируются.

— Ну, и что тут такого? — я разозлилась. — Кто-то монетки в фонтан бросает, кто-то с быком фотографируется. Что тут такого?

— Да ведь это же образ! — удивилась Лиза.

— Какой ещё образ? — меня взбесило, что Лиза точно удивляется моей бестолковости.

— И Свобода, и Бык — это же образы! Слепые вожди слепых — это раз. Золотой Телец, которому они кланяются, — это два. Вот тебе и вся Америка! Хи-хи-хи...

— Америка — это сила, — опять назло Лизе объявила я.

— Ты, значит, тоже силу уважаешь? — погрузнев вдруг, спросила Лиза. Меня удивляли эти скачки её настроения.

— Почему — тоже?

— Как папа... — тихо сказала Лиза. — Он ведь тоже силу уважает?

— Очень может быть. И что в этом плохого?.. Все уважают силу. Ты вот разве не уважаешь?

— Я? Нет...

— А что же ты уважаешь? — усмехнулась я.

— Правду, — тихо сказала Лиза.

— Ой... Ну, конечно! — мне вдруг показалось, что я с самого начала ждала, что Лиза именно о чём-нибудь в этом роде заговорит. — Конечно! Я так и знала... Это же пошло, Лиза!

— Что пошло?

— Все эти слова... про силу и правду... Сколько уже говорено! Есть такие трескучие фразы, типа... “рукописи не горят” или про слезинку ребёночка... Надоело! Надоело это фальшивое умиление! И про Бога... Ну какой может быть Бог, Лиза, если в Него никто не верит? У Него электората нет! Я вот, например, ни одного праведника не видела за всю-то жизнь... Знаешь, все эти руководители со свечечками... И Церковь... Церковь сегодня — это коммерческая организация...

— Ну, раз мир стоит, значит, и праведники где-то живы... — оборвала меня Лиза. — Хотя... ты права... не по правде теперь люди живут...

— А как теперь живут? — усмехнулась я.

— Кто по уму, кто по плоти, — вздохнула Лиза, не замечая моей усмешки. — А по сердцу, по правде — почти никто. Вот была я в одном монастыре... Все думают, что у них там праведники собрались. А я такого там насмотрелась... — и Лиза тихонько захихикала. — Одна прихожанка, знаешь, например, как молится? “Господи, — говорит, — пошли мне искушения богатством и славой!” — и Лиза снова тихо-тихо захихикала. — Сёстры-то её осуждают, а мать Евлалия — та почти презирает и ругается. А сама про благодетеля одного рассказывает: “У него свой банк!” И так это гордо рассказывает, точно это её банк-то. А я возьми да и спроси: “Уважаете, матушка, ростовщиков-то?” Она и замолкла. И обиду на меня с тех пор затаила... Но это не значит, что правды нет!

Признаться, всё, что Лиза наговорила, показалось мне сущим бредом. Потому я решила переменить тему.

— И всё-таки непонятно, что плохого в Америке...

— То, например, что Америка и большевизм — это одно и то же, — спокойно, как о чём-то само собой разумеющемся, объявила Лиза, несколько при этом не смутившись переменной темы.

— Как это?! — опешила я.

— Да так... Всё мечта о лучшей жизни. А главное — с прошлым по-
рвать и с восторгом ждать светлого будущего. В этом их закон и пророки.
В это все верят...

— Ты хочешь сказать, что Иван Петрович... — перебила я Лизу.

— Папа пустоте служит, — сказала Лиза, уставившись себе под но-
ги, — и всегда служил. А пустота — это когда новый человек торжествует.
А разве важно, кто этот новый человек? Важно, что ненависть к старому... — она не закончила фразы.

— К старому человеку? — усмехнулась я.

— Нет. К старому вообще. К старым традициям.

— А Люггер? — мне захотелось сбить её с толку. — Красивый, улыба-
чивый...

— Потому и улыбается, что суда боится, — отвесила Лиза.

— Какого ещё суда?

— Суда... — Лиза поддела носком какую-то жестянку, и жестянка
с грохотом покатила по тротуару. — Они там в Америке отношения в су-
де выясняют...

— Ну, и что? Пусть выясняют...

— Это прибыльно, но не нормально.

— Это цивилизованная форма общения...

— Это пустота, — глядя куда-то в сторону, сказала Лиза.

— Почему?

— Это против традиции.

— И какой же? — усмехнулась я.

— Весьма унижительно иметь тяжбы. Гораздо лучше оставаться обижен-
ными и терпеть лишения...

— Ты это серьёзно?..

— Да...

К счастью, мы уже пришли.

— Ты куда сейчас? — как можно более беззаботно спросила я у Лизы.

— К себе в избушку... — Лиза вздохнула.

Мне показалось, что она окончательно разочаровалась во мне. Впрочем,
так же, как и я в ней.

VIII

По приезде Лизы Иван Петрович долго не мог договориться с сёстрами,
у кого Лизе суждено остановиться. Иван Петрович требовал считаться с от-
цовскими правами, но Ольга Петровна и Татьяна Петровна всячески давали
понять, что в одном доме с моей матерью Лизе может показаться неудобно.
Согласились на том, что Лиза остановится в нашем флигеле. Флигель — это
громкое название сарая, сидевшего, как старый гриб, под огромной берёзой.
Когда-то до отказа набитый разным хламом, стараниями матери сарай был
переоборудован.

Что только не хранилось в нашем сарае: обрезки досок, ржавые вёдра
и лопаты, сломанный садовый столик, старые куклы и велосипеды, казалось,
здесь разместился археологический музей. Но однажды у кого-то в гостях
мать увидела летний домик и загорелась устроить у себя такой же. Хлам не-
медленно был препровождён на свалку, стены сарая обили вагонкой, крышу
перекрыли, полы перестелили. Снаружи домик выкрасили тёмно-зелёной
краской, поставили небольшое крылечко с перильцами, к белому оконцу
прицепили резной наличник, заказанный матерью у какого-то местного
умельца. И сарай стал флигелем.

Мать сама с удовольствием жила в нём. А однажды поселила там сво-
его троюродного брата из Новгородской драмы. И непонятно было, зачем она
его пригласила: не то хотела предьявить городу, не то убедиться, что фли-
гель и впрямь нужен.

Мне кажется, первое время мать была благодарна Лизе за то, что та
квартировала во флигеле. Тем более, что в дом Лиза являлась только к столу.

Я же впервые оценила преимущества флигеля, когда Лиза исчезла за его дверью сразу после нашего разговора.

Мать была уже дома.

— Наконец-то... — суетливо и с каким-то деланным недовольством встретила она меня в сенях. — А где... где Лизунька-то наша?

— Где ей быть? — огрызнулась я.

Меня покорило от этой “Лизуньки”. Свою мать я знаю наизусть. Иногда мне делается противно, оттого что я так хорошо её знаю. Лучше бы мне вовсе не знать её нрава — нам было бы легче существовать рядом.

Этот тон, эта нарочитая ласковость и деловитость означают, что мать, точно паучиха, надумала втянуть новую жертву в свою паутину. Выбор её пал на Лизу. Сначала, только подбираясь, она будет льстить и лицемерно ласкать Лизу. Она станет перехваливать достоинства и оправдывать недостатки. Потом она станет жаловаться Лизе, потом попытается заставить её обругать или высмеять тёток. Потом, когда сочтёт, что дело сделано, ткнёт Лизой в глаза Ольге Петровне. Кончится же этот припадок тем, что и Лиза попадёт в разряд злейших врагов, и мать покажет всему миру доказательства смертельной обиды. Скорее всего, мать явится во флигель в самый неподходящий момент, а после выяснится, что Лиза не напоила её чаем.

Свою жизнь мать превратила в беспрерывную склоку. Наблюдать за этим — сущее проклятие. Я не сомневалась: суетится она, изображая недовольство, только потому, что довольна ссорой в ресторане. Выходило, что день не зря прожила. К тому же предвкушает новую ссору, в которую втянет Лизу.

Мать — та самая бодливая корова, которой Бог рог не дал. Она не понимает, что, сотрясая воздух, досаждаёт своим золовкам не более, чем стайка мошкеры в жаркий день.

Лично меня больше всего угнетает скука, навеваемая этой бестолковой суетой.

— Слушай-ка... давай... давай сбегай за Лизунькой... обедать будем, — не унималась мать. — Сейчас Иван Петрович придет... давай... сбегай. Хотя... Илья там пришёл... иди уж. Сама за Лизунькой сбегаю...

Меня снова покорило. И я пожалела, что Ильи в ту минуту не оказалось рядом. Вот бы на глазах у матери положить его руку себе на грудь и впитать ему в губы! Это сбило бы с матери её бестолковую радость. Но поскольку Ильи не было рядом, мать безмятежно отправилась за Лизой. Мне же ничего больше не оставалось, как идти в свою комнату, где ждал меня Илья.

На вопрос “кто такой Илья?” мне трудно ответить. Пожалуй, самый точный ответ был бы таким: “Илья — это моя болезнь”. Более всего на свете я хотела бы избавиться от привязанности к нему. Я не хочу любить его, но ничего не могу с собой поделать. Я больна этим человеком.

Я знаю его всю жизнь — в школе мы учились вместе. И всю свою жизнь я то ли люблю, то ли ненавижу его.

Я обратила на него внимание во втором классе. На уроке родной речи. Кажется, это именно так называлось. Нашей первой учительницей была нервная, экзальтированная дама. Объясняя нам как-то правописание безударных гласных, она в числе непроверяемых ударением слов привела слово “работа”. Дети приняли пример на веру. Но Илья поднял руку.

— Слово “работа” можно проверить словом “раб”, — объявил он.

Не знаю, хотела ли она сохранить лицо и обратиться неосведомлённостью в преднамеренность. Хотя сложно представить, чтобы она в самом деле не знала того, о чём догадался пытливый второклассник. По-моему, она была вполне искренна, когда ответила ему:

— Конечно, Илья. Но не будем проверять такое слово, как “работа”, таким словом, как “раб”!

И даже глаза у неё заблестели. Бедняжка, наверное, не видела разницы между “работать” и “трудиться”!

Зато я увидела разницу между Ильёй и остальными. С того самого дня я стала считать его умным. А прошло всего лишь несколько лет, и я стала

считать его красивым. Он действительно был хорош, было в нем что-то от Печорина: светлые волосы, чёрные брови. Однажды, кажется, в седьмом классе мы встретились с ним глазами. С тех пор и пошло.

Пока мы учились, мы не “ходили” и не “гуляли”, как это тогда называлось. Мы никогда не целовались и не держались за руки — между нами ничего не было. Но каждый раз, подходя на перемене к закрытой двери класса, рядом с которой мы в ожидании учителя бросали портфели и сумки, я первым делом отыскивала глазами его сумку. И при виде этой убогой кошелёчки из синего кожзаменителя в груди у меня что-то такое сжималось, а в висках начинало стучать.

Взгляды — вот всё, что было тогда. Иногда мы впивались друг в друга глазами, потом, зардевшись, отворачивались в каком-то изнеможении. И клянусь! Было это во сто крат сильнее того, что я узнала потом.

В старших классах он придумал забаву: у меня на виду любезничать, сколько позволял этикет тогдашнего подростка, с другими девицами. Вот так приобнимет раскрасоточку за талию, а меня забрасывает взглядами. И чего только не было в этих взглядах: насмешка, превосходство и даже презрение. И как же я ненавидела его в такие минуты!

После школы он уехал учиться. За несколько лет он не написал мне ни одного письма и ни разу не позвонил. Но я всегда знала: он думает обо мне и однажды, когда я не буду ждать, он появится. Так и вышло.

Помню, стоял сентябрь, и темнело рано. Я сумерничала. Вдруг кто-то стукнул в моё окно. Сначала я подумала — ветер. Но в ту же секунду, сама не понимая, почему, затрепетала. Не включая света, я припала к стеклу. Молча распахнула я створки. Руки мои тряслись. Он, впившись в меня глазами, молча бросил в комнату пёстрый букет астр. Цветы упали на пол, и я тут же забыла о них. Через несколько мгновений Илья был в комнате. Ни слова не говоря, он подошёл ко мне. Я почувствовала, что он дрожит. От него пахло сырой осенней ночью и астрами.

К утру, когда Илья уходил от меня, букет, оставшийся всё это время на полу, пожух.

С той поры Илья почти каждый день приходит к моему окну. Мне нравится считать себя его любовницей. Сначала это казалось мне романтичным, потом пошлым. Но, как ни странно, пошлость может быть более привлекательной, чем романтика. Что такое романтика? Один пшик. Но в пошлости, в пороке можно найти вязкое, почти неистощимое наслаждение, можно испытать неизвестную раньше свободу.

Илья пошёл. Я знаю, что он мелочен и обидчив, мстителен и злопамятен, скуп и самоуверен. Он уверен в своём превосходстве надо мной. Ему нравится, чтобы я спрашивала и с глупым видом выслушивала его бестолковые ответы. Иногда я подыгрываю, и тогда всё заканчивается нашей ссорой, потому что я сама довожу себя до приступа бешенства.

Я заранее знаю всё, что он скажет, и безошибочно угадываю выражение его лица и даже порядок слов. И это невыносимо! Меня до конвульсий бесит его предсказуемость. Я мечтаю, чтобы он сказал что-нибудь невпопад или выкинул какое-нибудь коленце. Но, грубый, он не опрометчив. Едва ли он способен преступить какую-нибудь заветную черту, даже и сильно желая этого.

Но в то же самое время я хочу думать, что он широк и благороден. Именно таким я люблю его. Но он упорно не желает походить на мою фантазию. И даже, по-моему, презирает типаж, который я в мечтах натягиваю на него. А потому я таю от любви, когда его нет рядом. Я растворяюсь, когда он молчит. Но стоит ему открыть рот, как он делается мне неприятен, и я невольно начинаю ненавидеть этого самодовольного идиота. Потому что вижу перед собой одно тупое самодовольство, а за ним — скольжение по верхам, отрицание непонятого, видимость логики и неудержимое резонёрство.

Но меня неистощимо влечёт к нему. Влечение! Этот грубый, жирный чертополох с резким запахом невозможно смять или вырвать. Но любовь хрупка, как нежные астры. Рядом с настоящим Ильёй любовь к придуманному мною Илье вянет. Но неизменно расцветает, стоит ему исчезнуть. Уходит настоящий, а выдуманный остаётся в моих мыслях и снах. Я начинаю

скучать, я хочу ласкать и ласкаться. И когда появляется настоящий, я, в венке из чертополоха и астр, не в силах прогнать его.

Иногда я ловлю себя на мысли, что хочу его смерти. Эта мысль пугает и привлекает меня. И порой, как надоедливая мелодия, подолгу не оставляет в покое.

Не знаю, что ждёт нас дальше. Он уже предлагал мне выйти за него замуж. Но мне отчего-то неприятно думать об этом. Наверное, это было бы уж слишком пошло, настолько, что я бы не вынесла.

IX

К обеду приехали Иван Петрович с Люггером, мать привела Лизу, вышли в столовую и мы с Ильёй. Те, кто не был знаком, перезнакомились, пожали друг другу руки, и все уселись за стол.

Сначала всё было очень торжественно. Мать выглядела довольной чрезвычайно. Люггер методично уплетал всё, что ему предлагали. Иван Петрович не сводил умилённых глаз с Лизы, то кивая, то подмигивая ей. Лиза смущалась и отводила взгляд. Илья старался держаться дружелюбно.

Обычно мы обедаем на кухне, но по особо торжественным дням мать накрывает в комнате. Кроме моей спальни и спальни матери и Ивана Петровича, у нас есть общая комната, которая служит столовой, гостиной, библиотекой и любыми другими возможными помещениями. Иван Петрович намеревается выстроить новый дом — для того, видно, и избирался. Но пока не приступали и к закладке.

Обед наш, в расчёте на Люггера, был особенный, то есть не такой, как подавался матерью обычно. Мать ещё загодя хлопотала на кухне: тушила мясо, процеживала бульон, месила тесто. Готовит она сама и с удовольствием, никого не подпускает помогать — стряпня всегда была предметом её гордости.

— Кушайте, кушайте... — предлагала она кому хлеба, кому добавки, а кому приправы. — Кушай, Лизунька... Вот... кетчупу возьми к мясу... возьми, возьми!

— Спасибо, — ответила Лиза, — кетчупа не ем.

Она произнесла эти слова тихо, но с такой неожиданной и не идущей к месту твёрдостью, что все притихли и уставились на неё почти с испугом. Только Люггер продолжал безразлично поглощать свой обед.

— Тебе нельзя? — заботливо поинтересовалась мать.

— Это... по соображениям здоровья? — почти в то же время заволновался Иван Петрович.

— Нет, — спокойно ответила Лиза, — это, скорее по... — она задумалась, беззаботно и забавно скосив глаза, — по моральным соображениям.

И снова все испугались.

— Ты не ешь кетчуп по соображениям морали?! — не утерпел Илья. — А что... — он усмехнулся и оглядел всех, как бы приглашая посмеяться, — что аморального в кетчупе?

Лиза шаловливо рассмеялась.

— Да ничего... просто мне не нравится, когда из меня делают... дуру.

Мы переглянулись. Даже Люггер оторвал глаза от тарелки.

— В Америке очень любят кетчуп, — сказал он, обращаясь к Лизе, как к ребёнку, которому ставят в пример соседского мальчика.

— Лизавете Ивановне Америка не указ, — вставила я.

Лиза, казалось, меня не расслышала.

— Расскажи нам, Лиза! — вмешался Иван Петрович, заволновавшийся, очевидно, о впечатлении, производимом Лизой. — Расскажи, нам непонятно. Это... это всем интересно. Что за соображения у тебя такие... насчёт кетчупа?

— Ну, я просто считаю, — охотно начала рассказывать Лиза, — что каждая вещь — это послание. А что, например, мне хотят сказать вот этим соусом? — она взяла со стола бутылку. — То, что осуществилась мечта о свободе, равенстве и братстве. И что я, наравне с французскими королями, могу вкушать соусы.

— Ты динамит, Лиза, — фыркнула я.

Все молчали и смотрели на Лизу с каким-то ужасом. Столь глубокомысленные рассуждения относительно кетчупа привели всех в недоумение.

— Ну, и что же плохого? — опомнился Илья. — Вкушай себе...

Лиза улыбнулась снисходительно.

— Знаете, — обратилась она к Илье, — пиво называют “шампанское пролетариата”. Вот и кетчуп...

— Кетчуп, видимо, “соус пролетариата”? — отозвался Илья.

— Соус... хороший соус — это сложное блюдо, его долго готовить.

— Да! — встала мать, обрадовавшись знакомой теме. — Соус приготовить непросто.

— А все эти доступные радости и дешёвые удовольствия, — продолжала Лиза, — только создают иллюзию полноценной и обеспеченной жизни. И всё это очень плохие признаки...

Лиза словно и не замечала, какое впечатление успела произвести.

— Но почему же ты так считаешь, Лиза? — разволновался Иван Петрович.

— Кетчуп — это имитация, — повела плечом Лиза. — Это как фальшивый бриллиант.

Такое сравнение позабавило. Люггер блеснул улыбкой. Илья расхохотался.

— Ну, Лизунька... — погрозила мать пальчиком.

— Можно сказать, что имитация — это порабощение, — задумчиво, ни к кому конкретно не обращаясь, произнесла Лиза.

— Ну, что ты, Лиза! Такое сильное слово... — заулыбался Иван Петрович.

— Почему? — удивилась Лиза. — Мне подсовывают вот эту совершенно ненужную пищу и хотят уверить, что и мне доступны все удовольствия жизни. Ещё и деньги берут. Вместо того чтобы на самом деле сделать что-то... настоящее, мне внушают, что вот это, — Лиза кивнула на бутылку кетчупа, — и есть соус. Это как... демократия в обмен на нефть...

Под впечатлением Лизиных слов, мать взяла со стола эту бутылку и принялась читать, что было написано на этикетке. Не найдя ничего, что подтверждало бы слова Лизы, вернула злосчастную склянку на стол.

— Ну, это у нас тут... всё не так, — пробормотала она.

— Ничего особенного у нас нет, — возразила Лиза, — везде то же. У нас, как всегда, всё... всё более грубо и зримо. А я не желаю быть рабочим стадом. Ни здесь, ни... где-то ещё...

— Что же ты, Лиза... — растеряно улыбаясь, начал Иван Петрович, — что же, неужели ты думаешь, что тебе в кетчуп что-то подмешивают?

Люггер, оторвавшийся от еды и рассматривавший Лизу с каким-то презрительным любопытством, едва заметно ухмыльнулся. Илья расхохотался в голос.

— Я думаю, — как ни в чём не бывало продолжала Лиза, — что меня хотят в чём-то убедить. Хотят, чтобы я поверила.

— Кто и во что? — дерзко и весело накинулся на Лизу Илья.

— Что всё, что мне нужно — это секс и успех. А я не хочу в это верить. Как только поверю, буду стадом.

— Ещё кетчуп! — расхохотался Илья. — Кетчуп, секс и успех...

— Кетчуп — это просто вещь из ряда подобных... таких же наглых и убогих уродцев...

— Нужно понять, что мир меняется, — тихо перебила я Лизу. — И каждому предстоит занять своё место. Будут лучшие особи человеческие. Будет крижистое большинство. Будут слабые и никчёмные. Кому-то из них не стоит и рождаться, чью-то кончину ускорят... из самых человеколюбивых побуждений. Не всем это сразу понравится. Но потом со спокойной совестью примут ещё и не то. Это нормально... Главное, пусть стадом будут другие. Слабые...

— О, Господи! Евгения! — вскинулась мать. — Ты ещё тут... Что ты такое говоришь?..

— Только слабые не худшие, — пристально глядя мне в глаза, произнесла Лиза, — а сильные не лучшие.

— Пусть слабые это докажут.

Лиза покачала головой.

— Нет... Может, и была мечта о счастье и справедливости. Но дорогой оказалась, — сказала она, обращаясь всё так же ко мне. — И тогда те, кто правит миром, сказали себе: выпустим беса, выпустим грех, назовём это свободой — и будет прибыль... Но они сами погрязли. И оттуда не вылезти.

— Увидим, кто вылезет, а кто погрязнет... — усмехнулась я.

Лизе снова удалось завладеть вниманием публики. Все слушали её завожённо.

Когда она закончила, с минуту, наверное, все молчали, точно переводя дух. Я огляделась. Люггер был удивлён, Иван Петрович взволнован, Илья раздражён. Мать ничего не поняла и оттого злилась на Лизу, предвкушая, должно быть, как вздует её перед золовками. Только сама Лиза была спокойна.

— Ну, Лиза! — заёрзал Иван Петрович. — Ты всё такие... такие странные вещи говоришь! Целую теорию, понимаешь, из кетчупа вывела!

— Да ведь она её раньше вывела. Не на ходу же придумала, — тихо заметил Илья.

— Да, пожалуй... — покачал головой Иван Петрович. — Так, Лиза? Ты раньше вывела? Ты, наверное, прочитала в какой-нибудь книжке?

— Нет, папа, — спокойно отвечала Лиза. — Это мои мысли.

— Как же ты додумалась? — не унимался Иван Петрович. — Да ведь это какая-то путаница... Ты, наверное, прочитала что-нибудь такое и перепутала... немного.

— Я, папа, ничего не путаю, — твёрдо сказала Лиза. — Я сама так и думаю, как говорю. Я в деревне всё думала. Там в деревне только книги читать да думать. Я с детства всё читаю и думаю.

— А ещё Лизавета Ивановна утверждает, что Америка и большевики — одно и то же, — вдруг вспомнила и обрадовалась я.

— А это что за новое учение? — усмехнулся Илья.

— Против прошлого за светлое будущее! Так? — улыбнулась я Лизе.

— Так. Но не совсем.

— А что не так? Кстати, религия — это тоже мечта о светлом будущем.

— Будущее может быть разным. Может быть вечная жизнь и Второе Пришествие, может быть утопия и несбыточная мечта, а может быть земной рай. Ну... накопление и всё такое. А это конечное будущее, которое очень скоро может стать настоящим. И тогда впереди ничего не будет. А когда впереди ничего нет — это тоска. И тогда все устремляются обратно в прошлое. Как наши старухи... — Лиза тихонько рассмеялась. — И дороги у них шире были, и закаты ярче... Смешно, правда. Только это для всех опасно. Потому что неизвестно, кто и что выберет для себя в прошлом.

Мать тем временем стала убирать посуду, чтобы подать чай. Я встала из-за стола помочь ей.

— Слушай-ка, даже посуду за собой не уберёт, — прошипела мать уже в кухне.

— Она в гостях.

— В гостях... Ну, и что! За собой и в гостях убирают, — не унималась мать, с грохотом опуская тарелки в раковину. — Разумничалась... Вот порода-то...

— Она в гостях! Тебя же не возмущает, что Люггер тарелки не моет.

— Люггер — мужчина! — назидательно объявила мать.

— Скажи, пожалуйста... Кто бы мог подумать!.. — фыркнула я.

— Вот ты и подумай, — понизила голос мать. — Мужчина. И холостой мужчина. Холостой и небедный.

— Небедный и сексуальный, — передразнила я мать. — Сексуальный и...

— Ну, ладно! — оборвала меня мать. — Он-то уедет сейчас в Нью-Йорк, а ты останешься.

— Всё равно тарелки здесь ни при чём, — вздохнула я.

И опять, как тогда в сених, мне захотелось сделать что-нибудь назло матери. Что-нибудь дерзкое, вызывающее, что бы заставило её ахнуть, а заодно сбило бы с неё спесь. Но вместо этого я схватила поднос с чашками и чайником и потащила его в столовую.

— Что за девка! Порченная... — донеслось мне вслед.

А в столовой Лиза уже пикировалась с Ильёй.

— ...Скинули татаро-монгольское иго, скинули французское, скинули немецкое, скинем и американское...

— Как?! — раздражался Илья, так что рот даже кривился — о! мне прекрасно знакомо это выражение! — Как?! Молитвой? У России нет армии в современном понимании этого слова. Есть только несколько боеспособных частей и стадо, которое при случае сомнует, как в Великую Отечественную смяли, кстати... в первые две недели.

Я заметила, что Лиза слушает Илью с большим вниманием.

— Молитвой? — переспросила она, когда Илья умолк. — Да, молитвой... Странно, что вы это слово сказали. Даже странно, что подумали... Ну, не армией же только воевать...

— Не надо, — обрадовался чему-то Илья, — вот про молитвы не надо! Ответ должен быть адекватным. Око за око, кровь за кровь. А молитва — это не оптимальное средство для кровопускания! А вообще-то, когда кто-то начинает рассуждать, что русских обижают, мне смешно! Правда... Нет, чтобы в себе причины поискать... Знаете, я был в Якутии, общался там с якутами, многие на полном серьёзе утверждают, что их споили русские. То же самое я слышал от молдаван.

— От молдаван-то особенно... — усмехнулся Иван Петрович.

— А курить кто научил якутов? — спросила я, с грохотом опускающая на стол поднос с чашками. — Испанцы? Бедные якуты...

— При чём тут... — повернулся ко мне Илья.

— Да, но если бы не алмазы... — улыбнулся Иван Петрович, — эти слезинки якутских младенцев, отцов которых споили русские дикари, не стоили бы так дорого...

— А разве непонятно? — удивилась чему-то Лиза.

— Что? — переспросил Илья.

— Разве непонятно, что это специально? Разделяй и властвуй...

— Ну, ладно... Ладно... — с напускной весёлостью затараторила мать, входя в комнату с большим пирогом. — Ладно... спорщики. Лучше вон... сыграй-ка нам что-нибудь, Евгения, — обратилась она ко мне.

— О-о-о! — протянул довольный Люггер, адресуясь не то ко мне, не то к пирогу.

Я знала, что она попросит. Она каждый раз просит меня сыграть перед гостями. Для себя лично ей не нужна музыка, но напоказ... Стоило тратить столько денег на моё обучение, чтобы выставлять потом перед гостями!

В другой раз я бы ни за что не стала играть. Но тогда это отвечало моему настроению. Войдя в комнату после разговора с матерью, я вдруг точно увидела всё по-новому. Стоило мне забыть обо всех на десять минут, как, снова возникнув, они показались мне на удивление нелепыми и смешными. Как странно, что совсем недавно я слушала и принимала их всерьёз! И Лизу — эту курносую, нескладную девицу с умом мощностью в две лошадиные силы; видимо, со скуки в деревне накачавшую свой мозг и теперь не знающую, что с ним делать. И Люггера, только внешне не привлекающего к себе внимания и могущего сойти за автохтона, да и то, исключительно благодаря безукоризненному владению языком. На деле же решительно ничего не понимающего и наверняка мнящего себя в Зазеркалье. Ещё бы! Сначала старуха, “играющая” на нарах, потом моя мать, юродивый Абрамка, теперь Лиза...

И мать, уже ненавидящую Лизу за то, что та “разумничалась”, и разволновавшегося Ивана Петровича, и раздражённого Илью, который, едва Лиза скроется за дверь, назовёт её “самородком хреновым” — о! я была уверена в этом! Как же все они смешны! И на меня нашло неудержимое, просто томительное желание чего-нибудь дерзкого и безумного. Мне захотелось хохотать и вертеться волчком! А может... Может, лучше сбросить с себя

всю одежду! Вот сейчас, сию же секунду. Так, чтобы все они рты раскрыли! Нет, лучше отправить что-нибудь из мебели в печку или столкнуть кого-нибудь в подпол, или просто вылететь в окно!

К вящему удивлению матери, я тот же час отправилась к инструменту. Я уже знала, что именно буду играть. Я откинула крышку и, закрыв глаза, опустила голову. Молча сидела так несколько секунд. Мне хотелось остановиться на самом крутом витке настроения, достичь высшей точки внутреннего напряжения. В комнате все стихли. Я не могла видеть того, что происходило у меня за спиной, не могла видеть их лиц. Но, представив себе на миг эти лица, я расхохоталась, как безумная.

Я стала играть из “Пер Гюнта”, “В пещере горного короля”. Это одна из любимых моих вещей. Начинается она *pianissimo*.

Тихо и крадучись, всё ближе к Рондскому замку по тёмным лабиринтам пещер. Всё ближе и явственнее шум из королевского дворца, всё слышнее визг ведьм и гогот троллей. Громче бьётся сердце, скорее шаги!.. Скачи живее, поросёнок! И вот уже тронная зала...

Здесь на *fortissimo* заковка расстегнулась у меня на затылке и упала на пол. Волосы рассыпались по плечам. Я продолжала играть...

Эх! Сбросить бы одежду, вышить мёду, прицепить хвост — и прочь за двери, старый Адам! Будем веселиться! Будем, как боги!..

Х

Утром на крылечке флигеля, где квартировала Лиза, нашли мёртвым Абрамку.

Обнаружила его мать. Выйдя рано утром на двор, она заметила нечто странное возле флигеля. Ещё не разобрав, что это может быть, мать настолько перепугалась, что первое время раздумывала: подходить ли ей к флигелю или позвать Ивана Петровича. Но любопытство, как обычно в таких случаях, взяло верх. Мать осторожно приблизилась к домику и... узнала Абрамку. Он лежал на боку прямо на лесенке, упираясь левым плечом в верхнюю ступень. Шея его изогнулась, как шея лебедя. Голова покоилась на площадке перед дверью.

Заподозрив худое, но продолжая надеяться на лучшее, мать тронула его за правое плечо. Мальчик безвольно и нелепо перевернулся на спину. Мать увидела, что он мёртв.

В ту же секунду от её крика проснулся весь околотов. Иван Петрович выскочил из дому, запахивая на ходу халат. Я бросилась за ним следом. Лиза, высунувшись из флигеля и наткнувшись взглядом на бездыханного Абрамку и вопившую тут же мать, показалась вся из-за двери — босиком, в коротенькой рубашонке — да так и остолбенела. Прибежала соседка, за ней — другая. Не заметив сразу Абрамку, обе кинулись к матери, вообразив, что с нею какой-то припадок. Но мать, продолжая плакать и голосить бессвязно, всё же указала подругам на маленькое, скрюченное тельце.

Несколько уже оправившийся Иван Петрович помчался обратно в дом к телефону. Через четверть часа прибыла милиция, за ней — “скорая помощь”.

Бросились разбираться, и в тот же день выяснили, что умер Абрамка от крысиного яду, которого у нас по двору было разбросано в чрезвычайном количестве. Весной появились в доме крысы, хотя до той поры никогда не водились. Незваные гости съели в подполе пакет муки и лыжные ботинки Ивана Петровича, прежде чем их присутствие оказалось замеченным, и были приняты меры по их выдворению. Но маленькие серые хищницы, уютно почувствовавшие себя в нашем подполе, ни за что не хотели убираться всовояси.

Сначала мать решила пугнуть их своей рыжей мокроносой кошкой, которая от самого своего рождения ничего не умела делать, как только есть, как тигр, и спать, свернувшись клубком.

Кошку переселили в подпол, но затея эта немедленно обнаружила свою бесплодность. Потому что жить в доме, под которым орёт и скребётся кошка,

оказалось делом невыносимым. Освобождённая кошка бросилась к миске, а после уснула, положив морду на собственный зад.

Через несколько дней Иван Петрович принёс “электрота”. Маленький чёрный приборчик, похожий на архаичный радиоприёмник, днём пронзительно пищал, а ночью сверкал синим глазом. Но пока он пищал и сверкал, сверкал и пищал, крысы прикончили второй пакет муки и принялись за картошку.

Вот тогда-то и решено было прибегнуть к ядам. Иван Петрович заботливо разложил в подполе кусочки мяса, пересыпанные отравой, но крысы мяса не тронули, а поднялись в дом. Наглость, а главное, сообразительность их были возмутительны. Иван Петрович с каким-то даже азартом, точно это было делом его чести, бросился на борьбу с легализовавшимися подпольщиками. В доме, на крыльце, во флигеле и на дворе появились крысоловки, дощечки, намазанные каким-то клеем, кусочки мяса, горки муки и прочие приманки, сдобренные ядом. Вот на одну из таких приманок и попался забредший к нам ночью Абрамка. Так и порешили считать.

Правда, никто из нас не слышал, как он пришёл. Да и на руках у него не обнаружили следов яда. Из чего сам собою напрашивался вывод, что яд ему кто-то дал. Но кто? Либо это сделал кто-то из нас, либо его привёл и отравил у нас на дворе кто-то чужой, либо его принесли к нам уже бездыханным. Но поскольку на песчаной дорожке, подготовленной ещё третьего дня наёмными таджиками для укладки плитки, оказались следы босых ног Абрамки, значит, шёл он сам. И так как параллельно его следам на песке других следов обнаружить не удалось, то, скорее всего, был он один. Следовательно, яд ему мог дать только один из бывших в то время в доме. Да ведь нельзя же было так думать! Иван Петрович — первое в городе лицо, и вдруг в его доме — преступление, жестокое, дерзкое и совершенно бессмысленное.

Допросили, впрочем, всех. Но на особом подозрении оказались мы с Лизой.

— Часто ли он приходил под ваши окна? Не возникало ли у вас раздражение? Не мешал ли он вам спать? Не посещало ли вас желание как-то отделаться от него? — около трёх часов провела я на следующий день в кабинете следователя, молоденького и, очевидно, в высшей степени довольного собой господинчика.

Мне хотелось крикнуть, что вот сейчас у меня возникло раздражение, а заодно желание избавиться от вас, от вас! Хорошо бы ещё запустить в него чем-нибудь тяжёлым. Но вместе этого я с самым невозмутимым и любезным видом принуждена была отвечать на его дурацкие вопросы.

Домой я добралась только к обеду. И не успела войти в дом, как услышала:

— Евгения!.. — слабым голосом звала меня мать.

Врач, приехавший на “скорой помощи”, сделал матери какой-то укол и препроводил её в постель. Вскоре она уснула, вечером, проснувшись, совершенно успокоилась. Но, ослабев изрядно, оставалась в постели. Утром, скушав завтрак, принесённый Иваном Петровичем, объявила, что отдохнёт “ещё немножечко”. Теперь же ничто не разубедило бы меня, что она вполне оправилась, а в постель прыгнула, лишь только завидела меня в окно.

Я прошла в её комнату.

— Привет! — как можно беззаботнее сказала я.

— Присядь здесь, дочка! — указала она на стул подле своей кровати. Голос её дрожал.

“Точно завещание оставить хочет! Вот только завещать нечего...” — подумалось мне.

— Да, мама, — сказала я, усевшись на стул.

Мать смотрела на меня из-под полуприкрытых век, мышцы её лица были расслаблены, отчего лицо походило на тряпку, висевшую на гвоздике. Обе руки лежали поверх одеяла — мать изо всех сил изображала тяжелобольную.

— Дочка! — позвала она, точно не замечая, что я рядом.

Я промолчала. Мать выждала немного и снова заговорила.

— Дочка, ну, как ты?

— Нормально... Была у следователя. По-моему, всё в порядке.
— Ну, слава Богу!.. — мать слабым жестом перекрестилась. — А где Лиза? Как она?

— Лизунька?

— Да, — мать не поняла моей иронии.

— Не знаю. Кажется... кажется, к Ольге Петровне пошла, — я специально сказала об этом. Я могла бы не говорить, но специально сказала.

— К Ольге Петровне? — мать шире приоткрыла глаза. — Ну, конечно... это же её тётя. Ох! — она вдруг спохватилась. — Что ж это я? Ты иди, дочка, обедай! Там суп ещё оставался... Я же не готовила сегодня...

— Хорошо, мама.

Я отправилась на кухню. И только села за стол, как на пороге появилась мать.

— Да, правильно. Суп хороший, оставался ещё... — она грузно опустилась поперёк стула напротив меня и уложила на стол свой полный белый локоть. Повернулась и стала смотреть, как я ем.

— Тебе уже лучше? — спросила я, отламывая от куска чёрного хлеба маленький кусочек. Меня раздражало, что она смотрит.

— Получше, — сказала мать своим обычным голосом, но тут же спохватилась и простионала:

— Но не совсем ещё...

— Лиза обедать не будет, так что я не оставлю ей супу, — объявила я.

— А что... она у Ольги Петровны останется обедать? — снова, забывшись, спросила мать.

— Да. У Ольги Петровны обед в честь Лизы. Кажется, и гости будут. Меня тоже звали, но я не пошла. А Лизу и следователь допёк. Так что Ольга Петровна уж постарается её развлечь.

— Следователь? — испугалась чего-то мать.

— Ну, да. Подозревает как будто... Человек Лиза новый, только приехала, а тут такое! Мальчик странный, у нас-то к нему все привыкли. А Лиза — кто ж её знает?

— Так это она убила?! Лизка?! — даже глаза у матери загорелись.

— Да нет же! Просто её проверяли...

Но мать уже не слушала меня.

— Слушай-ка! Как же это я не догадалась-то? А? Конечно, она — больше некому. У неё на крыльце... И на руках яду нет... Значит, он сам не брал... Значит, это она ему дала! Слушай-ка! У неё ведь и мать колодница, кого-то прикончила! А-а-а! Ты подумай! Яблоко от яблони... Вот породато! — мать хлопнула ладонью по столу. — Ты подумай! Этого отравила... А зачем? Меня чуть в гроб не вогнала... Ну, паршивка! Спать, наверное, мешал. Мы-то привыкли все... А тут с непривычки — ходит какой-то, орёт... Слышала ты? Приходил он?... Слушай-ка! Я вот что хотела-то... Ай-яй-яй... Ну, каторжные! — ничто больше не выдавало в ней болезни, разве только неряшливый, растрёпанный вид. — Ты вот что... Люггер-то скоро уезжает... Поняла?

— Что?

— Давай-ка... — кивнула она, — давай-ка... оденься, накрайся... и к нему. И нечего тут!

— Что "нечего"?

— Нечего... Терять уже нечего. С белобрысым твоим... Всё уже потеряла давно, — она безнадежно махнула на меня рукой. — И морщиться нечего. Это жизнь. Все так... Уж всё, как есть... Придёшь и скажешь: так, мол, и так, Аркадий Борисович... Поняла?

— Поняла, — спокойно ответила я. — Прямо сейчас к нему и пойду.

— И правильно. Прямо сейчас иди, — мать недоверчиво рассматривала меня. — Прямо иди сейчас собираться. И посуду оставь... Я помою... потом.

Я действительно встала из-за стола и отправилась в свою комнату одеваться, чтобы затем идти к Люггеру. Стоило матери заговорить о нём, как мне стало не по себе. Не от могущего показаться иным ханжам неприличия её наставлений и не от наивного цинизма, с каким она взялась устраивать

моё счастье. Но я вдруг поняла, что и сама, ещё до того, как она появилась на кухне, успела подумать о том же. По дороге домой меня мучила засевшая где-то глубоко и не могущая прорваться наружу мысль. Иногда, подумав о чём-то и тут же отвлекшись, я пытаюсь вернуться к первой своей мысли, но тщетно. Она прячется от меня в каких-то тайниках, не оставляя следов. Но, не изжитая, она тяготит и лишает покоя. Я именно хотела пойти к Люггеру и предложить себя. Но до тех пор, пока мать не дала благословения, я не решалась выпустить на свет эти мысли. Я отчего-то страшно разозлилась на мать, точно мне было бы приятно, если бы она вдруг стала меня отговаривать и останавливать.

Выслушав её, я решила непременно и во что бы то ни стало идти к Люггеру.

Присев за туалетный столик, я уставилась на себя в зеркало. Узкое, вытянутое, ассиметричное лицо; маленькие, близко посаженные, ничего особенного не выражающие голубые глазки; мясистый нос с широкой, как у льва, переносицей, вечно припухшие, точно покусанные пчёлами, губы. Одно утешение — густые тёмные волосы. Терпеть не могу блондинок, но иногда думаю, что быть блондинкой проще и приятнее. Хотя воображаю, кто увидаётся вокруг блондинок — поговорить не с кем. Но осветлять волосы ни за что бы не стала! Крашеная блондинка — это что-то вроде кетчупа в Лизином представлении.

Интересно, что будет, когда Лиза явится домой? Едва ли мать промолчит. Может, не стоило говорить матери об этом обеде у Ольги Петровны? Но ведь я со смертного одра её подняла! В конце концов, какое мне дело до всего этого?

Я оделась, как одеваются у нас проститутки с Заречья: босоножки на каблуках-ходулях, джинсовые шорты, похожие на плавки-бикини, майка, похожая на лифчик, и огненно-красная бандана. Чтобы не сломать ноги и чтобы в городе меня никто не видел в таком виде, я вызвала к дому такси. Выглядела я отвратительно. И мне нравилось выглядеть отвратительно. Мать усадила меня в машину, да ещё и перекрестила вдогонку.

— На Московскую улицу... к дому Марии Ефимовны, — объявила я таксисту.

Пока мы добирались до Московской улицы, мой водитель, у которого имя Марии Ефимовны оказалось в самобытном образном ряду, рассуждал о пользе сталинизма.

— Позвольте, позвольте! — сильно упирая на “о”, возражал он кому-то. — Сталин боролся с троцкизмом! Ежели вы не за Сталина, стало быть, за Троцкого. А? Третьего не дано...

— Лично я за Цурюпу, — сказала я, глядя в окно и совершенно не думая, что и зачем говорю. Однако слова мои чем-то смутили таксиста. Он замолчал. К счастью, мы уже подъезжали.

В голове у меня было совершенно пусто. Ни на секунду я не задумалась о том, что буду говорить и делать, придя к Люггеру. Никогда я не надеялась, что Люггер увезёт меня с собой после того, как я появилась перед ним в костюме обитательницы дома терпимости. Всерьёз верить в успех подобного предприятия под силу только моей матери. Не знаю, на что я рассчитывала. Но уже потом мне как-то пришло в голову, что привлекла меня исключительная порочность всей ситуации, а главное — это удовольствие. Не физическое, конечно, а тонкое удовольствие, знакомое тем, кто хоть раз пускался во все тяжкие. Слабый — потом, спустя время — непременно застыдится и ночами, заливаясь в темноте краской, станет ворочаться и грызть подушку. Сильный способен копить любые впечатления. Впрочем, может быть, я всего только рисовалась или, как говорит моя мать, “бахвалилась”.

Почему-то в том, что принято называть пороком, мне виделось что-то настоящее, что могут позволить себе только избранные, только сильные и свободные. Ведь я твёрдо знаю, что порочны все, все, как один. Но все, по старой памяти, изображают негодование перед пороком, что означает всего лишь неприятие самого себя. Рабские натуры упираются лбами в традиции, установленные кем-то традиции. Сильные и свободные принимают себя

во всей полноте и утверждают собственные нормы. Сильные и свободные никому не позволят диктовать себе. К тому же *кто-то* уже отменил часть вчерашних запретов. Почему бы не идти дальше? Зачем ждать чьего-то дозволения? Не желаю воровато обкусывать с краю, когда можно съесть весь кусок!..

Машина остановилась прямо напротив калитки. Я расплатилась и, выскользнув из такси, огляделась — мне не хотелось, чтобы кто-нибудь видел меня. Поблизости никого не оказалось, и я, довольная, что осталась незамеченной, прошла в калитку.

Улица Московская — центральная в нашем городе. Но домик Марии Ефимовны стоит в самом её конце, где заканчивается асфальт и начинается поле, за которым уже лес. И после пересечения с Южной улицей дома здесь стоят только на чётной стороне. Вдоль нечётной тянется заросший черёмухой овраг. В мае, когда черёмуха цветёт и аромат её заставляет замедлять шаг, когда в овраге переливаются соловьи и ветер приносит из лесу кукушкин голосок, я люблю приходить сюда. Этот уголок города похож на сказочный мир. Здесь меня всегда охватывает приятная грусть, отчего-то щемит сердце, и хочется плакать. Но это хорошие слёзы — на душе у меня спокойно и тихо. Я прихожу сюда за ощущениями, которых и объяснить не умею. Но мне нравится слагать их в сердце. Быть может, ощущения эти — одно из немногих моих сокровищ...

Правда, в последнее время с чьего-то почина появилась в овраге помойка. И я боюсь, что однажды весной её зловоние заглушит черёмуховый дух.

Я подошла к дому и хотела позвонить. Но вдруг заметила, что дверь на веранду приоткрыта. На двери во внутренние покои, я знала, был свой замок. Первую дверь тоже пытались запереть — задвижка выступала на один поворот ключа. Но в том-то и дело — с непривычки ли, а может, впопыхах, дверь закрыли не на два оборота, а всего лишь на один. Этого оказалось недостаточно: задвижка выскочила, дверь приоткрылась. Неясным оставалось одно: изнутри или снаружи поворачивали ключ.

Почему-то созерцание двери и замка смутило меня. Безразличие исчезло, я вдруг явственно ощутила неловкость и своего наряда, и положения. Но отступать было поздно, и я решительно поднялась на веранду.

XI

Дверь в комнаты оказалась запертой. Я постучала и несколько раз дёрнула ручку. Удостоверившись окончательно, что дома никого нет, я в ту же секунду обрадовалась. Мне уже расхотелось предаваться пороку, и вся затея встала передо мной каким-то отвратительным чудовищем, какой-то грязной, зловонной, раскисшей бабой. Довольная, плюхнулась я на старый кожаный диван и возблагодарила судьбу, которая устроила всё как нельзя лучше.

Не раз бывала я у Марии Ефимовны с Иваном Петровичем. Обстановка комнат и веранды была мне хорошо знакома. Люггер, проведший в родовом имении несколько дней, ничего, кажется, не изменил здесь. Во всяком случае, на веранде всё оставалось, как было при Марии Ефимовне. Стоял круглый стол, покрытый вязаной скатертью, а вокруг стола — плетёные кресла. Стоял старый, а лучше сказать, старинный диван, обтянутый чёрной, изрядно потёртой кожей. Был ещё буфет тёмного дерева и всякая мелочовка: столик на тонких, высоких ножках, низкий комод и кованный железом сундук.

Развалившись на холодной коже дивана и разглядывая с аппетитом мебель и безделушки, украшавшие её поверхности, я совершенно уже успокоилась и даже ослабла, как это всегда бывает со мной после душевного напряжения. Я даже забыла о цели своего визита в этот дом. Как вдруг явственно послышался стук калитки, и в следующую секунду я различила голоса. Кто-то направлялся к дому.

Первым моим движением было броситься в раскрытую дверь. Но я вовремя спохватилась. Если Люггер со свидетелями увидит меня выскакивающей из дому, как потом я докажу, что дверь была распахнута до моего прихода? А ну, как на веранде уже побывали, а заодно прихватили что-нибудь

ценное? Всё это мгновенно пронеслось передо мной. Да и наряд мой, о котором я тут же вспомнила, заставил меня струсить. Я заметалась по комнате.

В моём распоряжении имелись диван, стол со скатертью и сундук. Почему-то первым делом бросилась я именно к сундуку. Но едва приподняла я крышку, как меня окатило такой могучей волной нафталина, что, бросив в ту же секунду крышку, я со всех ног кинулась к столу. Но и тут меня ждало разочарование: не пойму, как сразу я не заметила, что слишком короткая скатерть не скрыла бы меня всю. И как только Люггер с приятелями появились бы в комнате, первым делом они наткнулись бы на меня, с глупейшим видом выглядывающую из-под стола. Воображаю, что стало бы с Люггером! Слишком много впечатлений за такое короткое время.

Другими словами, мне ничего не оставалось делать, как заползть под диван, который оказался для этого настолько низким, что мне пришлось приподнимать его. И даже распластавшись по полу, я, тем не менее, чувствовала спиной диванное днище. К тому же диван оказался ещё и слишком коротким, и ноги мои, а точнее каблуки, вылезали наружу.

Наверное, никогда уже не повторить мне той позы, какую пришлось принять под старым диваном Марии Ефимовны Люггер. Ворочаясь и подтягивая под себя ноги, я, между делом, подумала, что на этом самом диване не так уж в сущности давно сиживал какой-нибудь курчавый бронеет в пенсне и с маузером в кармане скрипучего кожаного пиджака...

Люггер, меж тем, уже подходил к дому — голоса становились всё явственнее. Я уже не сомневалась, что с Люггером был только один человек, но кто именно, я не разобрала пока. Хотя, без всякого сомнения, этот второй голос был знаком мне. И я рассчитывала, что как только они войдут в дом, я вскоре узнаю гостя Люггера.

Встретаться здесь с кем бы то ни было не входило в мои планы. Но меньше всего на свете мне хотелось бы столкнуться с Иваном Петровичем. И какова же была моя досада, когда в вошедшем я узнала по голосу Ивана Петровича!

— ...Да это вы сами и не закрыли, Аркадий Борисович! Посмотрите, на один поворот у вас заперто... Дайте-ка ключики... — послышалось бряцание ключей на связке, а затем щелчок замка.

— Вот видите? — продолжал Иван Петрович. — Это вы сами не закрыли. С непривычки... понятно.

Люггер хмыкнул, пробормотал что-то, и я снова услышала, как щёлкает замок. Потом хлопнула дверь, и Люггер с Иваном Петровичем направились в мою сторону. Наконец, они поравнялись с диваном, и я увидела, как тяжёлые шнурованные боты Люггера, не останавливаясь, прошли мимо, к столу. А остроносые замшевые туфли Ивана Петровича на секунду задержались, после чего закружились на месте, и Иван Петрович грузно опустился мне на спину.

— Ерунда, — сказал Люггер, усаживаясь в плетёное кресло, — хотя, думаю, здесь есть... э-э-э... чем поживиться. Кофе хотите?

— Нет, благодарю. Ничем тут особенным на веранде не поживишься. Ту-то дверь, я вижу, вы хорошо заперли? Захотят, Аркадий Борисович, поживиться, всё равно влезут... запирай, не запирай... Э-хе-хе... — шумно вздохнул Иван Петрович. — Что за жизнь такая пошла? Тут режут, тут грабят... И кто их всему этому учит?.. Вы слышали? — вдруг оживился он. — Слыхали? Мальчишку-то того убили... Ну, полоумного-то нашего, юродивого...

— Да, слышал, — равнодушно отозвался Люггер. — Ужасно.

— Ужасно!.. — усмехнулся Иван Петрович. — Ужасно — это не то слово, Аркадий Борисович! Не то слово. Убили-то его не где-нибудь, а у меня на дворе. Вот что гаже всего. Ну, кто, скажите? Кто мог мне эту пакость устроить?! Ну, будем, конечно, считать, что это он сам отравился. Как-нибудь там... случайно... Но если начистоту... То ведь непохоже...

— Вы кого-то подозреваете? — осторожно спросил Люггер.

— Ну, для дела-то можно многих подозревать. А если опять же начистоту... Ума я не приложу! А тут ещё... Кто-то донёс Лидии Николаевне, что

следователь... ну, как бы это... интересовался Лизой. Господи! Это Лизу-то подозревать! Да и то сказать — подозревает! Ну, задал лишний вопрос... Так ведь наступали уже!.. Сволота... А Лидия Николаевна уже вбила себе в голову, что Лиза и впрямь убийца! И уж трубит по всему городу! Что ты будешь делать!.. Это, говорит, у неё семейное. Мать, говорит, у неё колодница, а яблоко от яблони недалеко падает.

Я чуть не вскрикнула под диваном. Значит, мина, заложенная мной, уже подействовала.

— Мать Лизы? — удивился Люггер.

— Ну, да... Какая-то тёмная история в Москве. А в Москве, знаете, ни дня без тёмной истории...

— Мегалолис, — заметил Люггер.

— Так-то оно так... Но Лиза-то здесь при чём! А Лидия Николаевна если что вобьёт себе в голову... — Иван Петрович вздохнул тяжеленько. — Разубедить... это легче воробьёв руками ловить. Уж я и так, и этак! Не труби ты, говорю, на весь город! Меня же этим ославишь! Ни в какую!.. Она, говорит, убийца, как и мать её. И ведь до седьмого колена всех приложила!

— Не обращайтесь внимания, — усмехнулся Люггер. — Обычное дело — женщины...

— Да как же, Аркадий Борисович! Лиза-то ведь только домой, на порог только вошла, а уж Лидия Николаевна в крик! Убирайся, кричит, убийца! Так и назвала ведь её! Что ты будешь делать!.. Не хочу, говорит, чтобы моя дочь под одной крышей с убийцей жила. Это Лизонька-то моя убийца! Господи! Да ведь она сама, как блаженная, сама юродивая! Вы же видели... Кого ж бы она убить-то смогла!

— Да, — уклончиво заметил Люггер, — много странных людей.

— Лизонька, доченька моя, — продолжал блажить Иван Петрович, — теперь ведь и не приедет ко мне! Двадцать лет я с ней не видался, Аркадий Борисович! Двадцать лет... С доченькой единственной... Нет же у меня больше детей. Да и не будет уж...

“А я, значит, не в счёт!” — промелькнуло у меня. Господи! Да ведь я и впрямь живу среди юродивых! Первый из которых — Иван Петрович Размазлей, юродивый себя ради.

— Ничего, — равнодушно заметил Люггер, — вы сами к ней поедете. Это лучше.

— Да, пожалуй, — грустно, но уже без причитаний заметил Иван Петрович. — И вот ещё что... Просьба у меня к вам, Аркадий Борисович. Точнее, приглашение.

— Какое же? — удивился Люггер.

— Завтра... если, конечно, время... Это, видите ли, старая история. Отец Мануил...

— Кто? — испугался чего-то Люггер.

— Отец Мануил. Наш главный поп! — объяснил Иван Петрович и тут же вслед за Люггером хихикнул. — Эту встречу сам он и назначил. Говорить со мной желают! Так что пойдёмте, это может быть интересно.

— Да, это забавно. Что он, гей?

— Виноват... — растерялся Иван Петрович.

— Ну... поп этот ваш... гей?

— Да что вы... С чего вы это... Какой там!..

— Ну, хорошо, хорошо... Я пойду с вами.

— Ну, и прекрасно! — обрадовался Иван Петрович. — Прекрасно... Обязете! Вам интересно, а мне, знаете, сподручно. Вы человек чужой, иностранец даже. Может, урезоните нашего... святого отца! А то, понимаете, очень активный культовый работник.

Они засмеялись.

— А тут ещё эта смерть... — продолжал Иван Петрович, — этого убогого. Так некстати! Так некстати!.. У меня ведь, грешным делом, промелькнула мысль на них это дело повесить. Убийство-то!..

— На кого?

— Да на патриотов, как они себя называют. Хм... Как будто другие не патриоты! Отец Мануил-то у них вроде духовного лидера. Наш, так сказать, мстечковый и доморощенный аятолла Хомейни.

Они снова засмеялись.

— И что же убийство? — вернулся к разговору Люггер.

— Убийство-то? Да ведь найди только следствие какую-нибудь вещичку — книгу ли, тетрадку, листок ли бумаги — всё одно! Но только чтоб непременно со свастикой или с другой какой ерундой в этом роде. И вот вам указание на убийцу! И ведь сразу двух зайцев: и злодея станем искать, и всю эту компанию поприжмём!

Снова засмеялись.

— Свастика — это понятно, — заметил Люггер, — но при чём тут ваша Церковь?

— Да как же? Патриотизм, национальные всякие идеи... Это уж не на кого и думать будет... А то что же, Аркадий Борисович! Затеяли мы парк скульптур — наш поп в крик. Собрались в городе храм всех религий устроить... Это ж... вы посудите... Иерусалим с Меккой и Тибет в придачу! Да уж говорил, вы в курсе!.. Деньги-то... капитал... на что привлекаем!..

— Да, проект интересный... Может и получится с инвестициями...

— Да уж как бы хотелось!.. Иностраннный капитал нам интереснее!..

— Это всем выгодно.

— Нужно непременно, чтобы всем миром строить. В смысле, сами верующие со всего света, отринув предрассудки и рознь, захотели поклониться единому богу, для чего и слились, так сказать, в едином порыве веры. И общими усилиями выстроили обновлённый дом молитвы... Понимаете?.. Презрев наставления своих пастырей, веками несших слово разделения и раздора, люди доброй воли объединились бы, чтобы — и это впервые в истории! — поклониться сообща творцу, создавшему их... Как?

— Убедительно...

— Привлечём капитал, и дело пойдёт!.. А то что же... Межконфессиональный совет хотели у себя созвать — поп костями! Что ты будешь делать! И ведь пронюхал же! До всего-то ему дело есть! Что за расплозающаяся клерикализация! Шпионы, что ли, у него всюду! — Иван Петрович вздохнул. — Прямо по пословице, — горестно заключил он. — “У кривого Егорки глаз шибок зоркий. Одна беда — глядит не туда”.

Люггер расхохотался. Иван Петрович следом.

— Так что же с убийством? То есть вы хотите из несчастного случая сделать убийство?

— Да нет, Аркадий Борисович. Погожу... А вы-то вот правы: не убийство это, а несчастный случай. — С этими словами Иван Петрович поднялся с дивана. — Пора нам, Аркадий Борисович. Если вы готовы, то поедемте — нотариус ждёт. Не сегодня-завтра в права вступите... Новая недвижимость — новые хлопоты...

— Пару минут — и я буду готов, — Люггер встал с кресла, пересёк веранду, и я услышала, как он загремел ключами, открывая дверь в комнаты. Дверь проскрипела, шаги Люггера стихли где-то в доме.

Почему-то когда Люггер ушёл, мне стало страшно. Точно я ждала, что в отсутствие хозяина Иван Петрович непременно бросится обыскивать веранду и уж, конечно, заглянет во все укромные места. Но Иван Петрович всего лишь прошёлся взад-вперёд, повздыхал. Остановившись, тихонько пропел: “Ты ждёшь, Лизавета, от друга привета...” Потом неспешно подошёл к дивану, опустил мне на спину и замер.

Послышались шаги Люггера.

— Я готов, — объявил он, — можно ехать.

Иван Петрович легко поднялся. Они заторопились и, сойдя с веранды, стали возиться с дверью. Иван Петрович что-то объяснял Люггеру, щёлкала задвижка, бряцали ключи. Наконец, заперев и удостоверившись, что заперли, они стали удаляться.

ХП

Ещё слышны были их голоса и шаги, когда я сделала первое движение освободиться от диванных оков. Но оказалось, что выползти из-под дивана — это ещё полбеды. Потому что, едва я попыталась подняться на ноги, как со мной произошло нечто до того страшное, что я, забыв всякую осторожность, готова была звать на помощь хоть Люггера, хоть Ивана Петровича, хоть самого первого встречного. Лишь только я встала, как ноги мои подкосились, и я рухнула на колени. Не успев ещё толком ничего понять, я предприняла новую попытку. И снова упала. Ноги меня не слушались. А точнее, я не чувствовала, что располагаю, как обычно, ногами. Ужас охватил меня. Не было никаких сомнений, что пока я лежала под диваном, у меня отнялись ноги. И теперь я вынуждена буду валяться здесь на полу до тех самых пор, пока не вернется Люггер и не найдет меня разбитой, в пыли и полуголой! Хороша соблазнительница! И когда мне придется объяснять ему всё от начала до конца, какой же смешной и жалкой буду я казаться! Но главное: с сегодняшнего дня моим домом станет инвалидное кресло...

Обливаясь слезами, я решила переместиться на диван — не оставаться же в самом деле посреди веранды. Но только я шевельнулась, как ощутила, будто в ногах, налитых вместо крови каким-то расплавленным металлом, этот самый металл взвыл и забегал вверх-вниз. Я пошевелила ногами, металлическая волна поднялась с новой силой.

Господи! Мои ноги всего-навсего затекли от неудобной позы под диваном. Ужас немедленно сменился стыдом той же силы. Мне отчего-то стало стыдно разом за всё: и за свой визит в этот дом, и за лежание под диваном, и за глупый испуг, и за страх показаться Люггеру больной и смешной, — словом, почти за весь свой сегодняшний день.

Спустя пару минут я пришла в себя. Теперь мне предстояло подумать, как выбраться из дому, — ведь на сей раз Люггер совладал с замком. На всякий случай я подёрнула дверь. Но задвижка держала её прочно, замок был исправен. И мне ничего не оставалось, как лезть в окно.

Помню, мысль о том, что рядом с окошком не должно быть отпечатков моих пальцев, показалась мне удачной и своевременной. Ведь окно найдут открытым. Следовательно, если Люггер вызовет милицию, первым делом станут исследовать окно. Отпечатки в комнате я могла оставить в последнее своё посещение Марии Ефимовны. Но если на оконную раму поверх прочих лягут мои пальцы, я не смогу объяснить это явление. Решение нашлось тут же. Сняв с себя майку, я намотала на руку этот кусочек ткани и принялась орудовать рядом с окном, как заправская форточница. Стоит заметить, что под майкой на мне не было другой одежды, однако воспользоваться банданой мне почему-то не пришло в голову.

К счастью, никаких затруднений не возникло. Я распахнула раму, выпрыгнула на улицу, натянула майку и рысцой побежала к калитке. Уже на улице я вызвала по мобильному такси “к пересечению Большой Московской и Южной”, и сама поспешила к назначенному месту. Мне снова повезло: я никого не встретила, такси — сине-зелёная “шестёрка” — пришло быстро, и очень скоро я была дома.

Первым делом я вымылась и переоделась. Затем прошла в кухню, где столкнулась с матерью. Она гремела какими-то кастрюлями возле плиты, и вид её ничем не выдавал давешнего недуга. Напротив, уже и спина, и затылок выражали настроение воинственное и готовность сию же секунду схлестнуться с кем угодно. Заслышав, что я вошла, мать резко обернулась.

— Ну, что? — отрывисто спросила она.

Я усмехнулась: как будто она посылала меня в магазин за кефиром.

— Его не было.

— Что ж ты так долго? — недовольство её возрастало. Мне показалось, что сейчас она прибавит что-то вроде: “Тебе ничего поручить нельзя, хоть самой иди”.

— Ждала, — ответила я.

Мать отвернулась к плите.

Мне хотелось спросить о Лизе. Но, не зная, чем может обернуться мой вопрос, я решила подождать подходящего момента, а пока выпить чаю. Я рассчитывала, что мать сама заговорит. Но мать молчала.

Наконец, чай был выпит, а подходящий момент так и не наступил. Я решила действовать напрямик.

— А где Лиза? — как можно беззаботнее спросила я. — Почему она не ужинает?

Мать, не оборачиваясь, чему-то усмехнулась.

— Наужиналась...

— Вы ужинали? — притворно удивилась я.

— Она здесь больше ужинать не будет, — объявила мать. И по её тону, и голосу было понятно, что она необыкновенно довольна собой.

— Почему? — снова притворилась я.

— Значит, так! — наконец-то мать повернулась ко мне, уперев руки в боки. — Здесь вам не малина и не притон. И я в своём доме никому не позволю устраивать преступные сходки! Понятно? И убийц я у себя селить не стану! Не стану!.. Это ж надо... Мальчика убить... большого! Это кем же надо быть!.. А меня-то чуть до смерти не довела!.. Я такие вещи не прощаю!.. И передай им, что они свиньи! Московские свиньи! — на последних словах мать сошла на визг.

— Кто свиньи? Кому передать?

— Все они! И Ольга Петровна, и Татьяна Петровна, и Лизка ихняя... Все свиньи!

— Почему московские?

— А как же? — удивилась мать. — Эта колодница-то давно в Москве. Как сбежала с тем проходимцем...

— А Ольга-то с Татьяной при чём?!

— Да как при чём... — возмутилась мать. — Они — родня, одним миром мазаны! Они и Лизку свою привечают — душегубицу... охлынцицу... вшивую биржу!.. Одна шайка! Я и не удивлюсь, что это они её подучили-то... чтоб меня только извести...

Мать, по своему обыкновению, несла ужасную чушь. Но весь её вид кричал о том, что ей необоримо хочется разогнать всех злодеев, провозгласить что-нибудь и навести кругом себя идеальный порядок. И всё упирается лишь в то, где взять злодеев и что бы такое провозгласить. Конечно, проще всего в этом случае было обидеться.

Я дождалась, когда мать отвернётся к плите, и, ни слова не говоря, выскользнула из кухни.

Мне нужно было увидеть Лизу...

Постучав и дождавшись Лизиного приглашения, я вошла во флигель. Лиза в каком-то смешном, старомодном сарафанчике с крылышками на бретельках сидела на кровати, сеутившись и сложив по-турецки ноги.

— Входи, — безучастно повторила Лиза своё приглашение и отвернулась от меня к окну, располагавшемуся как раз напротив входа.

Флигель наш богат всего лишь одной вытянутой от двери к окну комнатой. Впрочем, довольно большой. По левой стороне от входа стоит кровать, маленький письменный столик и старая софа. По правую — секретер и ещё софа.

— Можно сесть? — спросила я у Лизы.

— Да, — она недоуменно дёрнула плечом, точно удивляясь, зачем я спрашиваю.

Я присела на софу напротив. Лиза не сводила глаз с окна. Рассматривая Лизу, я подметила, что она удивительно вписывается в эту обстановку. Ни царские покои, ни роскошные наряды не пошли бы к ней так, как её сарафан и железная койка, на которой она восседала. Такая странная и смешная, такая одинокая и маленькая, и оттого ещё более одинокая.

— Ну, как ты? — тихо спросила я.

Лиза снова дёрнула плечом.

— Хорошо, спасибо.

— Что тут было?

— Ничего...

— А мать?..

— Твоя мама говорит, что это я убила, — помолчав немного, сказала Лиза.

— А ты что?

— Я сейчас соберусь и пойду к тётё Оле... а там уеду...

— Нет, я про то, что убила...

— Я никогда и никого не убивала, — спокойно отозвалась Лиза и повернулась, наконец, ко мне.

Пока она смотрела в окно, я старалась перехватить её взгляд и беспокоилась, оттого что не вижу её глаз. Но стоило Лизе повернуться и спокойно взглянуть на меня, как беспокойство моё возросло. Под её взглядом я смутилась и начала ёрзать.

— Ты что же, думаешь, это он сам? — спросила я.

— Я ничего не думаю, потому что ничего об этом не знаю, — так же спокойно проговорила Лиза.

— А я знаю, — тихо сказала я. Мне снова захотелось поразить Лизу, произвести на неё впечатление.

Я всё ждала, что она начнёт выспрашивать, но она молчала и разглаживала сарафан у себя на коленях. И мне вдруг показалось, точнее, я поняла, что Лиза всегда была где-то очень далеко от меня, гораздо дальше архангельской деревни или даже Америки, там, куда мне нет доступа. И меня охватила какая-то жгучая зависть — до тоски, до злобы. И недавняя жалость к Лизе сменилась злорадством и садистским желанием жестокости.

— А знаешь, Лиза, кто убил-то? — оскалилась я.

— Нет... — Лиза удивлённо подняла брови. — Откуда же мне знать...

— Я! Лиза...

Вскочив зачем-то с места, я расхохоталась. Мне было не смешно, но я хохотала, как безумная. Больше всего на свете мне хотелось тогда испугать Лизу, хотелось насладиться сполна подстроеной мною же пакостью.

Лиза внимательно и несколько удивлённо следила за мной.

— Зачем? — вдруг совершенно спокойно спросила она.

Меня задело, что она не усомнилась в моих словах и как-то сразу приняла их на веру.

— Не знаю, Лиза! — вскричала я. — Не знаю... Из-за тебя, может... Из-за Ильи, из-за Абрамки, из-за меня самой... — И, помолчав немного, добавила: — Скучно, Лиза.

И уселась обратно на софу.

Мне, правда, вдруг сделалось скучно. Но главное, страшно. Именно в тот момент я поняла, что в действительности я пришла к Лизе потому только, что меня давно уже перестала забавлять подстроеной пакостью.

— Зря ты, — сказала Лиза.

— Понятно, зря... — усмехнулась я, но тут же сообразила, что Лиза говорит о другом.

— Зря ты так себя выворачиваешь, — пояснила Лиза.

— Как это... “выворачиваешь”?

— Ты свою изнанку за лицо принимаешь. Вот и всё. Вот и вся ты. Оттого и скучно.

— Не понимаю я тебя, — вздохнула я. — Всё, что ни скажешь, — ничего не понимаю.

Лиза дёрнула плечом и отвернулась к окну.

— Что же... ты и в суд на меня не подашь? — точно надеясь на что-то, спросила я после короткой паузы.

Лиза усмехнулась.

— Я-то уеду... А ты сама на себя в суд подала.

Я ещё посидела немного, но было уже понятно, что все слова с этой минуты будут не просто лишними, но и вредными. Тихо, словно опасаясь, что Лиза повернётся ко мне, я поднялась и крадучись вышла из флигеля.

Лизы я больше не видела.

ХШ

Всё это было чистой правдой. Это я отравила Абрамку.

Сейчас, спустя время, я сама удивляюсь тому, что совершенно не думала в ту минуту об этом убогом. Я была возбуждена и взвинчена, мне хотелось проучить Лизу и поразить Илью. Странно теперь вспоминать, с какой лёгкостью я насыпала Абрамке крысиного яду. Но всё это представлялось мне тогда только отчаянной штукой, одновременно дерзкой и забавной. Не было в тот момент передо мной грани, отделяющей человека от уничтожения себе подобных! Не пойму я только, когда и почему эта грань стёрлась. Ведь не месть даже, скорее, баловство заставило меня взять чужую жизнь. Да ещё, помню, как я обрадовалась, что Абрамка так кстати пришёл!

В ту минуту я не раздумывала специально о возможном наказании. Но как-то безотчётно понимала, что его не будет: никто не мог видеть меня, а если и видели, Иван Петрович не позволил бы дать делу ход.

Конечно, это была не просто шалость. Пожалуй, это был вызов. Лизе — потому что на неё могут подумать. И, обвинённая в совершённом не ею преступлении, станет ли она, как все, искать правды по судам или же явит собой образец кротости и всепрощения? Конечно, я была уверена, что последнее невозможно.

Илье — потому что он всегда терпеть не мог Абрамку, но в неприязни своей ни за что не посмел бы зайти дальше проклятий и грязных ругательств.

Матери — потому что с некоторых пор эпатировать мать сделалось для меня удовольствием.

Ивану Петровичу — потому что это происшествие могло бы устроить значительную брешь в его карьере, и то-то я посмеялась бы!

Всему городу — потому что одни глупо благоговели перед дурачком-Абрамкой, другие, подобно Илье, терпеть его не могли. И, как Илья, никогда не решились бы на такой поступок, хотя исходу, я уверена, были бы рады.

Словом, видя во всех одну только ложь, я хотела, чтобы все они обнажились, я презирала их и заранее смеялась над ними. Было и ещё кое-что. Вообще мысль эта пришла как-то вдруг. И вот что мне вспомнилось. Как там у Достоевского? Раскольников делит людей на обыкновенных и необыкновенных, на старушенок и Наполеонов. Ну, сам-то, понятно, метил в Наполеоны, оттого и вывел, что убийством должен проверить себя: “тварь ли он дрожащая или право имеет”. Но всё это не то! И всё это совершенно несовершенно. Дело вовсе не в том, *тварь ли я*, например, *дрожащая или право имею*. Я совсем не хочу быть каким-нибудь Наполеоном и не хочу осчастливливать одних за счёт других. Мне вообще наплевать на всех! Я, может быть, хочу оставаться совершенно обыкновенной, даже более обыкновенной, чем та старушонка, но принадлежать к избранным и не *право иметь*, а пропуск на Олимп. Мне не нужно распространять великие и полезные всем идеи с возможными при этом жертвами, я не готовлюсь забыть свою армию в песках Египта или снегах России. Я всего лишь желаю примкнуть к золотой части человечества, пребывая в уверенности, что мир существует для моего удовольствия. И пусть я ещё не примкнула, но уже воспринимаю остальную часть как... Как они того и заслуживают! И вот же: я делаю первый шаг, чтобы для самой себя обозначить своё место, чтобы никогда уж не позабыть своей цели, потому что *Рубикон пройден*.

Это сейчас я ужасаюсь, хотя ужас и удивление кажутся мне решительно чужеродными моим идеям и взглядам. Я ещё не во всём разобралась, и в голове у меня много путаницы. Но я хочу быть последовательной, для чего и стараюсь соотносить идеи и чувства. И в этом случае выходит, что поступок мой совершенно нормален: никаких великих дел, просто устраняю то, что мешает и путается под ногами.

В тот вечер все были возбуждены: вином, разговором, музыкой. Когда все разошлись, когда Иван Петрович с матерью отправились спать, я в своей комнате поджидала Илью.

Я кружилась, я напевала мелодию из “Горного короля” и чему-то смеялась. Волосы мои оставались распущенными. Я была в каком-то чаду.

Наконец звякнуло стекло под его пальцами.

Но не успела я запереть за Ильёй створки, как снова стукнула калитка, и снова заскрипел песок под чьими-то ногами. Я высунулась в открытое окно: по нашей дорожке влачился Абрамка. Он уселся на скамеечку под моим окном и застал:

— Водички... Дайте Васе водички...

Теперь я смеялась под стоны Абрамки и проклятья Ильи.

— Что за чёрт принёс его! Надо было именно сейчас притащиться... Иди отсюда! — зашипел Илья, свесившись через подоконник, так что белая в синюю полоску рубашка его вылезла из-под брюк и заголила спину.

— Тихо! — шепнула я в самое ухо Илье. — Мать услышит...

— Ублюдочная рожа!.. Твоя мать и его услышит... И что, придёт?

— Водички... Дайте Васе водички... — донеслось с улицы.

— Чтoб ты сдох... — шипел Илья.

— Мать на него внимания не обратит. А вот если ты будешь орать, она точно придёт.

— Ну, чего таскается!.. Урод... И как его до сих пор не прибил никто?..

— Дайте Васе водички...

— Заткнись! Убью!.. Ну, кто этому придурку разрешает шататься? А? Зачем вообще жить такому уроду? Говорят все про эвтаназию... вот к таким бы применяли...

— Водички...

— Да пошёл ты!.. Слушай, а его надо к твоей сестре... Вот была бы пара! Откуда только такие берутся? Ну, этот урод — ладно, его в крапиве нашли. А сестра твоя? Вот чудила... Её вроде твой отчим родил? А? Откуда она вообще взялась?

— Из архангельской деревни...

— Хм... Оно и видно! Вот тоже ещё... мыслитель из народа... самородок хренов...

— Дайте Васи водички...

— Так... всё... Дай ты ему воды! Пусть заткнётся!.. А то я уйду...

И вот именно в ту минуту в голову мне пришла блестящая, как показалось тогда, мысль. Я побежала на кухню, налила в стакан воды. Да, это был тонкостенный стеклянный стакан с нарисованным олимпийским медведем — символом Московской Олимпиады—80. Потом я присела и вытащила из-под буфета дощечку с крысиным ядом. Точнее, крышку от использовавшихся когда-то почтовых ящиков. На этой дощечке был насыпан яд вперемежку с какой-то приманкой. Я присела со стаканом в руках перед дощечкой, взяла изрядную щепоть порошка и бросила её в воду. Потом снова задвинула дощечку под буфет. Оставив стакан на полу, вымыла тщательно руки, стряхнула брызги в мойку, потом подхватила стакан и поспешила на двор.

Удивительно, но сейчас я в точности не помню, сначала ли я подсунула ему эту “водичку”, а уж затем повлекла к флигелю, сама — по траве, а он — по песчаной дорожке, или всё было наоборот? Оставив Абрамку на ступеньках, я побежала на кухню. Дважды вымыла я стакан с моющим средством, насухо вытерла полотенцем и вернула на прежнее место в буфет.

Илья ждал меня в комнате, но я снова выскочила на улицу. Я была в каком-то сильнейшем, диком возбуждении, так что сама себе казалась пьяной. Я понимала: с точки зрения обычной морали, то, что я сейчас сделала, было отвратительно и ужасно. Но, по-видимому, мерзость содеянного и пьянила меня. Я всецело отдалась неистовству, клокотавшему в груди и шумевшему в голове. Только единожды взглянула я на Абрамку: сидя на ступеньках крыльца, он держался за баясину и молча раскачивался из стороны в сторону. Полная луна ярко освещала двор. И Абрамка в лунном свете казался прозрачным. Я остановилась, подставив лицо луне, и вспомнила вдруг, как мечтала давеча сбросить с себя всю одежду. Я молча расхохоталась, и в ту же секунду всё, что было надето на мне, оказалось на земле. Ах, какая блаженная лёгкость охватила меня! Хотелось лететь, кружиться в пляске и чтобы со мной рядом плясали такие же, как я.

Но, вспомнив, что меня ждёт Илья, я подхватила одежду и взлетела по ступеням крыльца. Дверь не стукнула, ни одна ступень не скрипнула. Илья не услышал, как я вошла в комнату. И когда, обернувшись, увидел меня, испугался. Но я, подскочив, закрыла ему рот рукой. Я хохотала беззвучно, и мне казалось, что кожа моя светится в темноте и глаза горят ярче звёзд. Но Илья молчал. А потом спросил, что я делала на улице. И я рассказала ему всё. Он слушал, и в глазах его был ужас. А когда я кончила, он назвал меня безумной и встал, чтобы уйти. Но я вскочила и обняла его. Я хотела и целовала его так, что он остался.

Потом он спросил меня:

— Ты не боишься?

— Чего? — усмехнулась я.

— А чего ты боишься? — помолчав немного, переспросил Илья.

Я задумалась. Конечно, я боюсь тараканов, боюсь быть никому не нужной, боюсь нищей старости — да мало ли чего я боюсь! Но всё это было не то. И я понимала, что Илья спрашивает не об этом. Тогда я закрыла глаза и стала представлять себе всё, чего я боюсь, всё разом. Кишащие тараканы, нищая старуха — всё это мысленно проходило передо мной. Наконец, я увидела её. И от одного только воображаемого её вида я содрогнулась, я поняла, что это воплощение всех моих страхов.

— Я боюсь... — сказала я Илье, — я боюсь высокую, толстую женщину. Такую рыхлую, отвратительную толстуху на воспалённых ногах. Неопрятную и зловонную. Ей лет шестьдесят. У неё седые, залезанные назад жирные волосы, круглые очки и огромный серый берет... А может, измятая шляпа... У неё гнилые зубы, прищуренные глаза и улыбка. Всегда улыбка. Это не глумливая улыбка, но это плохая улыбка... Может быть, это самое страшное, что есть в ней... Вот этой женщины я боюсь.

— Ты сумасшедшая, — прошептал Илья. — И что ты теперь будешь делать, я не знаю.

Уже светало. Илье пора было уходить. Он поднялся и медленно стал одеваться.

— Зато я знаю! — расхохоталась я, и это была последняя, усталая вспышка моего ночного неистовства. — Теперь, если мне что-нибудь не понравится, я донесу на тебя!

— Тогда я донесу на тебя... — огрызнулся Илья.

Я улыбнулась: он снова становился самим собой, мой грубый, самовлюблённый хахарь.

— Ты забыл: я боюсь толстой женщины, а не тюрьмы.

— Там в тюрьме ты обязательно встретишь толстую женщину.

— Ничего. Я утешусь, что ты в соседней камере.

Илья ушёл. А примерно через час меня разбудил крик матери.

XIV

Вслед за смертью Абрамки и изгнанием Лизы произошло новое странное и страшное событие, ставшее, однако, последним в ряду тех замечательных и чрезвычайных событий, которые случились одновременно. Точно какие-то невидимые и злые силы ступились над нашим городом и произвели в нём настоящее разрушение. Признаться, никогда меня не покидало чувство, что всё произошедшее было не простой случайностью, а закономерным и ожидаемым следствием каких-то общих процессов, давно начавшихся и тянущихся до сих пор.

На другой день после моего признания Лизе Иван Петрович снова привёз к обеду Люггера. Обедали четвером, без Лизы. Но все видели её отсутствие и, памятуя о причинах, чувствовали себя неловко. Только мать хорохорилась и старалась глядеть с непринуждённой весёлостью, точно и Лизу-то она выгнала, не отдавшись злomu, мстительному чувству, а руководясь гневом праведным.

В пять часов во дворце имени Радека у Ивана Петровича была назначена встреча с отцом Мануилом. Встречу предполагалось устроить в виде

открытого обсуждения или обмена мнениями, для чего и вход решено было оставить свободным. Специально о проведении встречи не объявляли, но люди посвящённые могли присоединиться, чтобы высказать предложения или просто выговориться.

Напросилась и я поехать с Иваном Петровичем.

— Ты?! — удивился было он в ответ на мою просьбу. — Ты хочешь участвовать? Ну что ж... пожалуй... поедем. Я думал, Лиза... ну, да, впрочем...

Предстоящая встреча не сулила Ивану Петровичу ничего приятного. Даже думал о ней он с большим неудовольствием.

— Набежит на эту встречу народу пустого, — сокрушался он за обедом. — С одной стороны — патриоты. Местная, патриотически, так сказать, настроенная интеллигенция. С другой стороны — богомольные девки и бабы. Злые, как черти. Все отчего-то косноязычные... Освящали тут источник. Одна, значит, для прессы... Сей, говорит, колодчик... Ну, почему ж непременно “колодчик”? Почему не колодец...

— Колодчик? — рассеянно переспросил Люггер.

— Именно! И так, знаете, жалобно, так тихо... Что ты будешь делать! И крестятся все, крестятся... С залипанием, иначе не скажешь.

— Как это так? — заинтересовалась мать.

— Да так, что пальцы ко лбу прилипают. А человека-то вот сожрать готовы... Я не спорю, ведь и я сожрать готов. Да ведь я в святые не ряжусь. Платками не обматываюсь, физиономию в постные узоры не складываю и язык не коверкаю... Не юродствую, одним словом. А если ты вырядился в постные одежды, так будь примером грешным людям! Да, может, я, на святого глядячи, и сам святым сделаюсь!..

— Ой! — веселилась мать. — Святой выискался...

Люггер хоть и ел, как обычно, с большим аппетитом, казалось, тоже был чем-то встревожен.

— Удивительное дело, — разговорился он за чаем. — Соседка, моя соседка, утверждает, что видела у меня в окне голую женщину в огненном платке. И что будто бы эта женщина вышла от меня через окно веранды.

Я точно окаменела, я боялась поднять глаза на Люггера. Мне казалось, что он неспроста завёл этот разговор. И стоит ему перехватить мой взгляд, как в ту же секунду он расхохочется и уличит меня перед всеми. Но в то же время мне вдруг неудержимо захотелось взглянуть на Люггера.

— Ну, если б ещё вылетела! — усмехнулся Иван Петрович.

— Вот вам смешно, Иван Петрович, а я что должен думать?

— Да ничего не думайте, Аркадий Борисович! И думать-то нечего... Тем более, вы, с позволения сказать, один объяснить можете.

— Да не было никаких женщин! — воскликнул Люггер.

Я усмехнулась: впервые Люггер вышел из себя. Не выдержав, я подняла глаза: Люггер и забыл обо мне. Мало-помалу я успокоилась.

— Это ваше дело! — с каким-то не то самодовольством, не то ехидством произнёс Иван Петрович. — Мы с вас ответа не требуем...

— Не было, говорю вам, не было никаких женщин! — горячо настаивал Люггер.

— Ну, не было, так и не было, а хоть бы и были! Да и соседке могло померещиться. Мало ли что в глаза-то лезет! — Иван Петрович мелко рассмеялся. — Больше всего мне про “огненный платок” понравилось. Значит, именно в огненном!..

— Странно, что это в один день: дверь, женщина в окне...

— Ну, дверь, положим, вы сами не заперли. А “женщина в огненном платке” — это уж соседкины видения! Вы бы заинтересовались... Может, она и змея зелёного видела...

— Да ведь окно было открыто...

— И что же... Пропало что-то?

— Кажется, нет. Но... ведь я... я плохо знаю дом...

— Вы бы заметили следы или что-то... А потом! — Иван Петрович рассмеялся. — Кто ж это голым ходит грабить, Аркадий Борисович! Бред какой-то, как ни крути! Если всё на месте и ничего не пропало, советую вам

забыть эти сказки про женщин в огненных платках. Соседка-то ваша, поди, любительница абсента, а? Напробовалась до бесовидения, так хоть бы молчала... Нет, Аркадий Борисович! Этот народ невежда в законе, проклят он...

— Племя злодеев, сыны погибельные, — подхватил, усмехаясь, Люггер.

— Истинно так, — согласился Иван Петрович.

И, помолчав, добавил:

— Пустое всё это, пустое!

— Не знаю, — неуверенно отвечал Люггер. — Не знаю...

— ...Конечно, отец Мануил — это человек, пользующийся повсеместным уважением, — продолжал сетовать Иван Петрович уже в машине по дороге к Дворцу культуры. — Но это же камарилья!.. И ведь вся эта благочестивая гвардия сейчас явится на встречу, чтобы забрасывать меня горящими взглядами и колющими вопросами. “Остаётся удивляться, как это в городе ещё ходит общественный транспорт и зажигаются фонари!” — Иван Петрович смешно передразнил чей-то женский голос.

— Что такое? — не понял Люггер.

— А это они, Аркадий Борисович, про меня в газетах пишут.

Иван Петрович задумался...

Собственно, я только предположила, что он задумался, поскольку не видела его лица. Иван Петрович с Люггером помещались на заднем сиденье служебного автомобиля Ивана Петровича. Меня же усадили рядом с водителем, которому велено было поторапливаться.

Дело в том, что Иван Петрович опаздывал на встречу. Мать, узнав, что к обеду придет Люггер, подала и горячее, и холодное, и тельное, а к чаю — ещё и пирожки с брусникой. И обед здорово затянулся. Не думаю, чтобы обед вообще мог иметь какое-то влияние на ход жизни Ивана Петровича. Вероятнее всего, Иван Петрович позволил себя задержать. Осознанно или нет, малодушно стараясь оттянуть неприятную встречу или расчётливо желая заставить ждать себя, но Иван Петрович опаздывал...

— Ну, это естественно, Иван Петрович! Это вам не женщина в огненном платке. В России теперь демократия, как во всём цивилизованном мире. И оппозиция...

— А-ай! Бросьте, Аркадий Борисович! Демократия, оппозиция... Оппозиция себя тешит. Вот вам тайна века сего: всяк себя тешит. Причём кто как может. Взять хоть наш городишко... Фантазии у местных немного, так ничего лучше не придумали, как писать...

— Писать?! — удивился Люггер. — Что же они пишут?

— “Что!” Это ж не город, а литературный клуб какой-то... А уж мне-то как надоели эти писатели!.. То им денег, то помещение, одному книжку издай, другому презентацию созови... И каждый-то в глаза заглядывает — восхищения талантами ищет...

— Да? — удивился Люггер. — Я не знал, что ваш город... такой литературный.

— Ну, как же! Даже бабенка ваша стишками баловалась. Неужто не знали?

— Нет!

— Как же это у неё... Да вот: “Пробирался раз медведь сквозь густой валежник. Перестали птицы петь, и родился Брежнев”. Не слышали?

Люггер молчал. Мне очень хотелось видеть его лицо, но было неловко обернуться. Иван Петрович, как настоящий артист, выдержал паузу и от души расхохотался. Даже водитель затрясся от беззвучного смеха и замотал головой, точно хотел сказать: “Молодец, Иван Петров!”

— Шутка, Аркадий Борисович! Шутка... Это присказка такая...

— А-а-а! — сообразил Люггер. — А я уже подумал, что у вас все в таком роде пишут.

— У нас как только не пишут! У нас, Аркадий Борисович, каждый второй — публицист, каждый третий — поэт, каждый десятый — беллетрист. Даже Лито есть. Во главе с известным поэтом.

— Как вы сказали? Ли-то?

— Литературное объединение. Действительно, вроде клуба... Чердачников руководит. Не слышали?

Последовала пауза. Люггер, очевидно, сделал какой-то знак, имея в виду, что знать не знает никакого Чердачникова.

— Пётр Чердачников, — продолжал Иван Петрович. — Человек-то не старый... Да вот, решил переселиться в провинцию. Поближе, так сказать, к народу. Это, знаете, русская литературная традиция — в народ ходить. А народ-то по сей день смотрит на них и думает: “Чего эти ряженные к нам таскаются?” Это у Толстого, кажется, что-то такое было... Впрочем, Чердачников в Москве, в Литературном институте лекции почитывает. Посидит, посидит у нас — и лекции читает.

— И что? Хорошие стихи?

— У Чердачникова?.. Какие у мракобеса стихи! — ухмыльнулся Иван Петрович.

— А что... он мракобес?.. Что значит — “у мракобеса”?

— Для кафе подходящее название. А? “У Мракобеса”!.. Каково?.. Обрядился он, Аркадий Борисович, в доспехи борца за чистоту русского языка, вооружился лозунгами чистки литературы от графоманов — и в бой...

— В бой?

— Это в фигуральном смысле... Но поскольку до провозглашённого идеала ему и дела нет, он и ему подобные топчут всё вокруг — и своих, и чужих... Да я, Аркадий Борисович, хоть и небольшой знаток литературы, но голову даю на отсечение: явись завтра новый Гоголь, и все эти радетели его не то что не заметят, а и затопчут, объявят графоманом и на что-нибудь оскорбятся... Ханжи!.. Да и не хотят они никакого Гоголя! Появись только Гоголь, как все они останутся не у дел. Ругать некого будет... Этот Гоголь отнимет у них хлеб и даже, я бы так сказал, интерес к жизни. Литераторы-то они так себе... польститься, что называется, не на что. А как борцы, они всюду правы и ото всех уважаемы.

— Да, — согласился Люггер, — есть люди, которые ничего другого не умеют...

— Они не то, чтобы не умеют... а только славы очень хотят. А потому всяк себе служит и всяк себя тешит, Аркадий Борисович. А и то бывает, что любуются собой безо всякого прибитку... Чисто кликуши... или юродивые.

— Опять юродивые? — усмехнулся Люггер.

— А что делать, Аркадий Борисович? Что делать, коли у нас в городе через одного все юродивые! Юродивые себя ради.

Я чуть не вскрикнула. Вчера под диваном Марии Ефимовны этим словом я назвала самого Ивана Петровича. И вдруг сегодня Иван Петрович проносит его вслух! Уж не читает ли он мысли? Чердачниковым Иван Петрович точно хотел усыпить мою бдительность, чтобы затем, выбрав момент, огорошить необъяснимым совпадением.

Впрочем, это был тот редкий случай, когда я целиком разделяла мнение Ивана Петровича. Как и всем в городе, мне прекрасно известен Чердачников. Этот томный господин с выдающимся волнистым профилем смотрит вокруг себя не иначе, как из-под полуприкрытых век. Говорит он тихо и медленно, пытаясь тем самым придать себе пуще достоинства и внушительности. Стихи и разного рода статьи под его подписью публикуются во всех наших изданиях.

Стихи его неплохие — складные и даже обременённые мыслью. Но никогда ни одна его строфа не испугала и не насмешила меня. Ни разу мороз не пошёл по коже и слеза не выкатилась из глаз. Вялые, дряблые строки его не заразили меня ни ненавистью, ни отвращением, ни любовью. Статьи, звавшие на борьбу, не заставили бы меня сойти с дивана. Многословный и в витийстве своём несодержательный, Чердачников, любуясь кружевами собственных словес, забывал, казалось, о взятой на себя роли трибуна.

— А ведь я наперёд знаю, о чём разговор пойдёт, — продолжал тем временем вздыхать Иван Петрович. — Не делайте парк скульптур, не стройте храма, не созывайте Совет... А то, что деньги в бюджет потекут, — до этого и дела нет никому. Ходить с протянутой рукой все мастера. А вот чтоб зарабатывать... Они вместо этого к совести моей взывать станут. Любят стыдить —

хлебом не корми. Сами бы лучше к народу лицом повернулись. Вон католики как агитируют! А нашим на всё наплевать, только деньги им дай. В других церквях — скамеечки, молитвословы. А тут — грязные подолы перед носом, никакого молитвенного настроения...

Про себя я усмехнулась: ну, кто бы мог подумать, что наш Иван Петрович снедаем ревностью по доме Божьем!

— Ну... вот и приехали!.. — вздохнул Иван Петрович. — Это, Аркадий Борисович, и есть Дворец культуры имени Радека...

XV

Впоследствии от Вероники Евграфовны, пришедшей на встречу более из любопытства, нежели из желания выказать поддержку одной из сторон, я узнала, что же происходило во дворце имени Радека до нашего прибытия.

Отец Мануил явился на встречу строго к назначенному времени. Мало-помалу, предворяя благочинного или вслед ему, собрались и все, изъявившие желание участвовать в обсуждении. Не было только Ивана Петровича.

Спустя некоторое время кто-то из окружения отца Мануила выразил намерение справиться об Иване Петровиче по телефону. Но благочинный воспрепятствовал и призвал собравшийся люд запастись терпением и не суетиться понапрасну. Слово пастыря возымело своё действие: суета улеглась понемногу.

Но дни стояли жаркие, и в зале заседаний, где собрались за круглым столом участники встречи, было душно и пахло пылью. Кто-то, — кажется, Чердачников — предложил переместиться в фойе, где легче дышалось и где вдоль стен стояли мягкие красные кресла. Предложению обрадовались. И вслед за отцом Мануилом все спустились со второго этажа вниз.

Все потели, обмахивались газетами, а поклонницы отца Мануила промакивали лица кончиками своих платков. На месте никто усидеть не мог. То и дело вскакивали и принимались прохаживаться в надежде расшевелить застывший от жары воздух. Пробовали выходить на улицу, и точно в парной оказывались. Только отец Мануил неподвижно сидел в своём кресле. Как всегда, суров и спокоен.

Вероника Евграфовна утверждает, что и тогда уже он был бледен, а “вокруг глаз у него синева выступила”. Кто-то выразил готовность сходить в ларёк за водой для отца Мануила — буфет во Дворце культуры открывался в шесть тридцать. Но благочинный отклонил предложение.

— Нехорошо... — сетовала потом Вероника Евграфовна. — Как просителя какого истомил Иван Петрович нашего батюшку...

Мы подъехали к дворцу культуры без десяти шесть. Наше прибытие было немедленно замечено, и в фойе всё забегало, зашевелилось. Поднялся и вышел навстречу Ивану Петровичу и отец Мануил.

— Каюсь! Каюсь, батюшка! — с порога загоготал Иван Петрович. — Простите, что заставил ждать. Ей-богу! Ей-богу, батюшка, стыжусь!..

— Ничего, — спокойно и внушительно отвечал отец Мануил. Голос его был слабым, лицо осунулось, вокруг глаз, действительно, легли синеватые тени. — “Стань всем слугой”, — завещал Господь наш. И Сам пред Тайной Вечерей омыл ноги всем ученикам своим.

— Включая Иуду, — шепнул кто-то из-за спины отца Мануила.

Иван Петрович не обратил внимания на “Иуду”.

— Как чувствуете себя? — спросил он с наигранной заботой, заметив, очевидно, перемену в лице отца Мануила.

Благочинный едва заметно сдвинул брови.

— Благодарю вас, Иван Петрович, неплохо. Однако...

— Ну, и слава Богу! — перебил Иван Петрович и навесил на себя люгеровскую улыбочку. — Слава Богу!.. Да ведь мы с вами, батюшка, ещё и не поздоровались.

И с этими словами Иван Петрович шагнул к отцу Мануилу и троекратно — по-русски — расцеловал его. Благочинный нахмурился и вздрогнул, точно желанием его было отшатнуться.

— Мы с вами не в Гефсиманском саду, Иван Петрович, — тихо сказал отец Мануил и покосился отчего-то на Люггера.

Но Иван Петрович не унимался. Любитель дешёвых эффектов, он не обратил никакого внимания на слова отца Мануила — ему во что бы то ни стало хотелось довести до конца задуманный им спектакль.

— Благословите, отец Мануил, — слащаво и нараспев вдруг проговорил он и, словно нищий, вытянул вперёд руку.

Не зная толком, как следует испрашивать благословения у иерея, Иван Петрович мог бы показаться нелепым и жалким, если бы не задор, с каким обращался он к благочинному. Именно благодаря этому сочетанию задора с полным незнанием церковного этикета, Иван Петрович глядел каким-то бесом-искусителем, материализовавшимся только затем, чтобы поколебать отца Мануила.

Благочинный, не шевелясь, смотрел из-под нахмуренных бровей на Ивана Петровича. Пауза затянулась. Вокруг всё стихло. Только с улицы доносились звуки.

— Благословите, Владыко! — жалобно повторил свою просьбу Иван Петрович, обращаясь к отцу Мануилу не по чину. — Благословите!

Отец Мануил вздрогнул, рука его со сложными для благословения перстами шевельнулась, но в ту же секунду упала. Глаза, наполнившиеся вдруг невыразимым ужасом, устремились куда-то поверх головы Ивана Петровича. Казалось, он смотрит на Люггера, отчего все, проследившие за взглядом отца Мануила, повернулись к американцу. Люггер стал озираться испуганно и даже сделал шаг назад, как вдруг отец Мануил покачнулся и рухнул на пол.

— Не благословить не мог и благословить не смог, — шёпотом передавала потом Вероника Евграфовна.

Вся “благочестивая гвардия”, как назвал этих людей Иван Петрович, запричитала на разные голоса и обступила отца благочинного. Ивана Петровича, Люггера и меня отгеснили в сторону. Замелькали мобильные телефоны — сразу несколько человек пытались вызвать “скорую”, — запахло валидолом, послышались всхлипывания и неразборчивое бормотание — наверное, слова молитв.

— Иван Петрович, — тихо, наклонившись к самому уху Ивана Петровича, проговорил Люггер, — лучше уехать. Здесь без нас разберутся. Мы уже не нужны.

— Да, да, конечно...

И, бросив мне повелительное “идём”, Иван Петрович направился к выходу. Я поняла, что сейчас лучше повиноваться, и последовала за Иваном Петровичем. Рядом поспешал Люггер.

Со слов Вероники Евграфовны, “скорая” приехала спустя двадцать минут. К тому времени благочинный преставился.

XVI

На другой день Люггер покинул наш город. По слухам, он отправился в Москву. Ни со мной, ни с матерью проститься он не пожелал. И мать, конечно, затаила обиду. Кажется, этот отъезд стал неожиданностью и для Ивана Петровича. Но точно сказать не могу, поскольку Иван Петрович, застыдившись, очевидно, своего расположения к Люггеру, на которое тот ответил совершенным безразличием, ничего не рассказывал дома. А на все вопросы матери отвечал неопределённо.

Как-то вечером, дня три или четыре спустя, мать, расположившаяся в гостиной перед телевизором, вдруг заголосила, как будто снова увидела перед собой мёртвого Абрамку. Иван Петрович, а за ним и я прибежали на её крик.

— Люггер!.. — пронзала она воздух перстом указующим, и голубые блики от экрана отскакивали от её перламутрового ноготка. — Люггер!..

Мы застыли. Шёл репортаж о некоем гражданине Соединённых Штатов, задержанном в аэропорту Шереметьево-2 при попытке перевезти через

границу несколько советских плакатов и старинных икон. Лица задержанного так и не показали, но мать уверяла и даже божилась, что лицо всё-таки мелькнуло, и она успела признать Люггера. В доказательство она привела неоспоримый довод:

— Чего бы я стала вас звать, если это не он!..

Мы с Иваном Петровичем сочли нужным промолчать, но, кажется, подумали об одном и том же.

На другой же день мать понесла по городу весть, что “Люггер-то проходившим оказался”.

— Видали? — обращалась она к знакомым на улице. — Люггера-то нашего в Москве с поличным взяли.

При этом весь вид её излучал какую-то непонятную и не идущую к делу торжественность, точно это она сама помогла московским таможенникам взять Люггера с поличным. Кроме того, в словах её слышались неясные намёки на существующую будто бы связь между Люггером и сёстрами Ивана Петровича. И хотя ни Ольга Петровна, ни Татьяна Петровна не вели знакомства с Люггером, со слов матери выходило, что все они чуть ли не сообщники. Во всяком случае, они “нашли, кого пригласить, неспроста это, уж точно...” Иван Петрович в который раз пытался внушить матери, что верит она своими фантазиями не золоткам, а исключительно ему самому. Но на мать эти увещания не действовали, поскольку она и тут пребывала в искренней убеждённости, что долг её как подруги жизни раскрыть всему городу глаза на неприглядное влияние Ольги Петровны и Татьяны Петровны на своего несчастного и добрейшего брата. И если в городе не всё ладно, если Иван Петрович, как всякий человек, допускает ошибки, то виной всему его злодейки-сёстры. Но тут же мать спотыкалась и являла всему свету истинные причины своего возмущения:

— А у нас-то столовался — из-за стола и не вылезал! И ел-то как по-много... И ведь ничем не отблагодарил! Попрощаться даже не зашёл. А к себе и ни разу не пригласил. Не говорю уж в Америку, здесь-то ни разу чайку не предложил!.. А ест-то так много, много и быстро так!.. Голодные они там, что ли, в своей Америке?..

Подтверждений тому, что задержанным в Шереметьево-2 действительно оказался Люггер, так и не нашлось. К Ивану Петровичу не обращались ни из Интерпола, ни из каких бы то ни было других могущественных организаций. Правда, и никаких опровержений мы не получали. К тому же Иван Петрович наотрез отказался звонить в Балтимор, объяснив свой отказ тем, что не видит в таком звонке никакой необходимости, а забот у него и так слишком много. Словом, в истории с Люггером каждый верил в то, во что хотел верить.

А забот, действительно, прибавилось у Ивана Петровича. Не успели в городе забыть Абрамку, не успела оппозиционная пресса насладиться послевкусием собственной жёлчи, разлитой в связи с таинственной гибелью несчастного юродивого, как всех потрясла и отвлекла на себя гибель отца Мануила. И снова оппозиционеры обмакнули свои перья в жёлчь. А Чердачников написал даже стихотворение под названием “На смерть праведника”. Стихотворение это печаталось во всех наших изданиях. Поэт воспевал добродетели отца благочинного и разъяснял значение его личности в русской истории. Была и строфа, посвящённая преступной власти, убившей отца Мануила. В олицетворявшей власть фигуре угадывался Иван Петрович. Чердачников сравнивал его с Малютой Скуратовым и пророчески обещал, что и его, Ивана Петровича, имя так же будет предано народному проклятию, как имя злого опричника. “Враги народа нарекутся именем твоим!” — грозил Ивану Петровичу поэт и гражданин Чердачников.

Иван Петрович ознакомился со стихотворением и заметил только, что “теперь про Малюгу Скуратова иначе пишут”.

Но, признаться, всё это перестало интересоваться меня, потому что с некоторых пор у меня началась новая, хоть и невидимая постороннему глазу жизнь.

XVII

Прошла неделя с той самой ночи. Всё это время Илья не был у меня. Я не смущалась: бывало, мы ссорились, бывало, у него находились дела.

Он появился как-то вечером, когда все мы были дома. Я удивилась, что он не дождался ночи и не вошёл ко мне, как обычно, через окно. Но всего более удивило меня то, как он держался. Развязный обыкновенно, в этот раз он мялся и даже, как мне показалось, избегал смотреть на меня.

Из-за этой странности я сразу насторожилась. Я впилась глазами в Илью: вот он садится в кресло, не откинувшись на спинку, не развалив под тупым углом ноги, но на самый краешек. И одна только вольность, какую он позволяет себе, это опереться локтями в колени. Вот он косится на меня и часто-часто моргает. Вот поджимает губы, вот крутит в пальцах завалившийся в кресле и подвернувшийся очечник.

Кажется, ни мать, ни Иван Петрович не заметили всех этих странностей, что сразу бросились мне в глаза. Мать, которой решительно не было известно, знает или нет Илья об открывшихся ей проделках Люгтера, даже обрадовалась его приходу.

— Что-то тебя, Илюшка, давно не было видно? — ласково заговорила она с дивана, на котором уютно устроилась, вытянув перед собой ноги в ярких полосатых вязаных носках.

— Дела были, — буркнул “Илюшка” и покраснел.

Этот румянец сразу бросился мне в глаза и пуще прежнего разволновал меня. Я вдруг подумала, что не припомню, чтобы Илья когда-нибудь краснел.

— А-а-а... — с деланным безразличием протянула мать. — Какие дела-то?

— Разные, — покосился на матернины носки Илья.

— Разные? — переспросила мать в нерешительности, раздумывая, очевидно, как ей вести себя дальше: рассердиться на дерзкого Илюшку или обратить его дерзость в шутку. И поскольку на тот момент мать была вполне довольна и собой, и жизнью, она предпочла пошутить.

— Ну, какие это у тебя могут быть “разные дела”? — с весёлым кокетством обратилась она к Илье. — А? Ну, какие?.. Ох, молодёжь! Ну, до чего ж деловые!..

— А это правда, что вашего американца посадили в Москве за воровство? — спросил вдруг Илья у матери и усмехнулся чему-то.

Странно, но я, как только он задал этот вопрос, преисполнилась уверенности, что говорит он совсем не то, что хочет сказать. И всего вероятнее, что он боится начать неприятный для него разговор.

— Откуда ты знаешь? — мать округлила глаза, а пальцы её ног, окутанные цветной пряжей, задвигались нетерпеливо.

— Говорят...

— Кто? Кто тебе сказал?

Илья в ответ только пожал плечами.

— Слушай-ка! — завелась мать. — Уже слухи... Во-первых, он не наш американец. Это его Ольга Петровна и Татьяна Петровна пригласили, это их приятель...

Иван Петрович, расположившийся в углу в кресле и отгородившийся от нас газеткой, не то вздохнул, не то зевнул из своего угла.

— Во-вторых, — не обращая внимания на Ивана Петровича, продолжала мать, — его в Шереметьево взяли... в Шереметьево-два... Я сама видела... С иконами взяли и с плакатами какими-то. В чемодане нашли у него, я сама видела... В Шереметьево, а не на улице в Москве... Надо же кому-то сочинить! — обратилась мать ко мне.

Я кивнула.

— Слушай-ка, — мать снова переключилась на Илью, — ну, интересно даже... ну, кто тебе сказал?

— Да не помню! — огрызнулся Илья, который, казалось, совсем не хотел поддерживать этот разговор и давно пожалел, что вылез со своим вопросом.

Впрочем, мне совсем не было его жалко. Я даже радовалась, что мать насадет на него. Ещё ничего толком не зная, я уже не сомневалась, что Илья в чём-то виноват. Про себя я решила, что не пророню ни слова. Илья просчитался, если вообразил, что я помогу ему облегчить душу.

А мать всё не унималась.

— Слушай-ка... слушай-ка, вот говорят все: “Америка! Америка!” И что? Люггер у нас каждый день столовался...

Илья вдруг поднялся. Мать от неожиданности умолкла. Илья потоптался на месте и, глядя себе по ноги, забормотал:

— Я пойду. Мне вставать рано. Я попрощаться зашёл. Завтра уезжаю.

— Куда это? — испугалась мать.

— В Питер еду. Там друг у меня... учились с ним... зовёт работать к себе. Говорит: приехай, Илья, будем бизнес делать.

— Слушай-ка, ну, надо тогда поужинать, — зашевелилась мать. — Проводы надо устроить.

— Нет, нет! — испугался Илья. — Не надо! Спасибо...

Иван Петрович опустил газету и повернулся в нашу сторону, с интересом прислушиваясь и приглядываясь.

— Что это ты... как будто... убегаешь? — насторожившись, спросила мать.

— Почему убегаю? — огрызнулся в ответ Илья. — Не убегаю, еду срочно. Меня там ждать никто не будет. Потом вернусь...

Мать всё ещё недоверчиво смотрела на Илью. Повисла пауза. Но Илья, торчавший свечой посреди комнаты, обрадовался ей. Вдруг он засуетился, затоптался. Подскочил пожать руку Ивану Петровичу, раскланялся с матерью, кивнул на ходу мне и уже попятился к выходу.

— Евгения, хоть ты проводи! — нашлась вдруг мать.

Я послушно поднялась и последовала за Ильёй. Мы молча прошли в сени. В сенях я нарочно не стала включать свет. Илья долго возился в темноте и даже надел туфли не на ту ногу.

— Я позвоню, — сказал он, справившись, наконец, с обувью. И потянулся, чтобы поцеловать меня.

Но я отстранила его. Я не сказала ни слова.

— Ну, пока, — он насмешливо рассматривал меня.

Я отвернулась. В следующую секунду дверь за ним захлопнулась.

Что ж, я знала, что он струсит. Но, признаться, не думала, что он так позорно убежит. В ту минуту он был мне противен. А самое обидное будет, если он залезет на Олимп без меня. Хотя я и хочу думать, что ничего у него не выйдет. Что он с радостью войдёт в рабочее стадо, как называет это Лиза, или в кряжистое большинство, как понимаю это я. И пусть его уделом будет залапанное счастье. Тогда мне останется пожалеть его.

Но тогда мне было жаль себя.

Когда Илья ушёл, первым моим движением было броситься в свою комнату и упасть на кровать. Но я не могла этого сделать. Я не могла позволить ни матери, ни Ивану Петровичу думать, что Илья меня бросил.

Я вернулась в комнату и невозмутимо уселась на прежнее место. Иван Петрович и мать повернулись ко мне, но я делала вид, что не замечаю их любопытных взглядов. Меня бил озноб и душили слёзы, но я улыбалась, изо всех сил стараясь казаться беззаботной.

— Слушай-ка, что это с ним? — первой не выдержала мать.

— С кем? — притворилась я.

— “С кем!” С Ильёй твоим... с кем ещё-то?..

— Ничего, — удивилась я.

— Что это он... уезжает...

— Работу нашёл хорошую, вот и уезжает.

— Так ты знала?

— Конечно, — соврала я и фыркнула для убедительности. — Это он с вами заходил попрощаться.

Больше о нём не говорили в тот вечер.

Только после ужина я смогла отправиться в свою комнату. Я опустилась на кровать и оперлась об неё ладонями. Я развеялась — слёз уже не было. Но мне непременно хотелось поплакать, и я нарочно стала нагонять на себя слёзы. “Ничтожество! — думала я. — Пустое место, ничтожество. Я — ни на что не годна. Даже пианистки из меня не получилось... Зачем надо было столько учиться, чтобы потом, как последняя неудачница, давать частные уроки? И французский язык зря учила... Ни на что не годна и никому не нужна! Матери нет до меня дела, Иван Петрович... Даже Илья бросил меня! Конечно! Зачем ему нужна такая никчёмная и бесполезная...”

Наконец, мои усилия увенчались успехом. Слёзы выплеснулись, как из двух вёдер, и обожгли щёки. Я упала лицом в подушку. Вернулась унявшаяся было ледяная дрожь, вдобавок, к неудовольствию моему, навалилась неизвестно откуда взявшаяся икота.

Не знаю точно, сколько я так проплакала и проикала, но я настолько устала, что уснула, не раздеваясь, и пришла в себя только утром. Сон не принёс мне облегчения, голова была тяжелая, и весь день я чувствовала себя разбитой. Была суббота, мне позвонила одна моя знакомая, с которой мы иногда совершаем вылазки в город, и пригласила в недавно открывшийся восточный ресторан. Я подумала, что мне не помешает немного развеяться, и приняла приглашение.

Хозяева заведения, разместившегося в подвальчике старого особняка, — вчерашние вышибалы и вымогатели. Обозвали они своё заведение “Алладин”. Странно, но никто в городе не обратил внимания на то, что вывеску писал полуграмотный заика. Впрочем, ресторан получился неплохим, а, в конце концов, и вывеску переправили.

Иван Петрович с матерью уехали на дачу. И мне пришлось в голову отправиться в ресторан на машине матери. Я оставила машину у входа, подождала приятельницу, и мы спустились с ней в зал. Горели факелы на стенах, лилась грустная восточная песня. Мы молча пили кофе и курили кальян. И мне вдруг страстно, до какой-то тоски, захотелось рассказать своей знакомой все свои злоключения — и про Илью, и про Лизу, и про то, что я ничего не понимаю в себе и не знаю, что теперь делать. И хотя мы не были с ней очень близки, меня охватила иллюзия огромного удовлетворения, могущего будто бы наступить от моей откровенности.

Но в ту секунду, когда я уже собиралась начать свой рассказ, в окно влетели отвратительные, резкие звуки автомобильной сигнализации. Вопила моя машина. Я подскочила к окну: прямо передо мной на новеньком, ещё блестящем эвакуаторе, появившемся в городе неделю тому назад по инициативе Ивана Петровича, стояла машина моей матери, которую я взяла без спросу. Машина мигала, кричала, взывала о помощи, не желая отправляться на штрафную автостоянку и не соблазняясь возможностью стать первой жертвой городского эвакуатора. Ничего мне не оставалось, как броситься ей на помощь. И долго ещё пришлось мне доказывать не желавшим расставаться со своей жертвой рабочим, что машина, в которую они вцепились, принадлежит супруге городского головы.

Домой я приехала в каком-то изнеможении.

Иван Петрович с матерью должны были вернуться в воскресенье. Я оставалась на ночь одна. Мне было страшно и неудобно. Голова моя болела и кружилась. Непонятное беспокойство томило меня. Я точно чего-то ждала. Я слонялась по дому и не могла найти себе места. А между тем, страх и тоска разрастались и становились почти нестерпимыми. Не придумав ничего лучшего, я отправилась спать. Я заперла входную дверь и особенно заботливо — дверь в своей комнате.

Не помню, как я уснула. Не знаю, долго ли спала. Я слышала, что сновидения длятся секунды, хоть кажется, что смотришь их целую ночь. Я проснулась, когда уже обутрело. Это немного успокоило меня.

Мне приснился сон, который, так или иначе, стал повторяться с той самой ночи. Я видела себя в какой-то комнате. Кругом было темно, но я почему-то знала, что это не моя комната. Более того, мне было известно, что комната большая и с высокими сводами. Из темноты вдруг навстречу мне

вышла дева. Я нарочно использую именно это слово — так прекрасна и величественно спокойна была она. Мне казалось, что она не замечает меня. Но мне отчего-то доставляло истинное наслаждение смотреть на неё и быть рядом с нею. И вдруг я не то, чтобы увидела, но скорее почувствовала в ней что-то знакомое. Это сходство с близким и хорошо известным мне человеком лишило меня покоя. Я мучительно хотела понять, кто эта прекрасная дева. И понимание пришло. Нисколько не удивляясь и не пугаясь такой странности, я поняла, что эта дева — я сама. В восторге я протянула к ней руки, но тут из темноты выступило другое существо — высокая, толстая женщина. Рыхлая, отвратительная толстуха на воспалённых ногах. Неопрятная и зловонная. Я рыхлых очках и измятой шляпе. Она щурила глаза и улыбалась мне, показывая гнилые зубы. Но, несмотря на ужас и отвращение, я не бегу прочь. Я разглядываю это лицо, это рыхлое, трясущееся в беззвучном смехе тело. И снова приходит ясное, безошибочное понимание: это существо — тоже я. Не знаю, как это может быть, но это именно так. Но всего ужаснее, что Я вторая оттеснила Я первую. И дева, точно фантом или марево, растаяла. И всё, что от меня осталось, — это толстая, зловонная тётка... Я проснулась.

Кажется, с той самой ночи странные сны стали одолевать меня. Ночью они производили во мне такое расстройство, что днём я не могла забыть о них и чувствовала себя подавленно. Потом случилась ещё бóльшая странность. Как-то я прилегла. Было за полночь, хотя и не слишком поздно. Мне казалось, что я не сплю и обзираю свою комнату, освещённую ночником. Этот старый и простенький на вид ночник позволяет менять яркость самой обычной лампы, от него можно добиться силы света одной свечи. Я прекрасно помню, что в слабом свете видела шкаф, стоящий в линию с кроватью, а напротив — книжные полки и туалетный столик. Но главное — дверь. Я помню, что рассматривала свою белую крашеную дверь, и она не давала мне покоя. Филёнка разохлась и разошлась. Выступающая в самом центре продольная рейка сместилась и обнажила некрашеный бок. Это бельмо овладело моим вниманием настолько, что я не могла думать ни о чём другом. Помню, я сильно разволновалась, точно от этой высохшей филёнки и в самом деле что-то зависело. И вот в это самое время из-под моего окна послышались два — я это точно помню! — слабых вдоха, и в следующую секунду раздалось это отвратительное, столько раз уже слышанное мною нытьё:

— Водички... Дайте Васе водички...

Об Абрамке я почти забыла. Во всяком случае, я давно о нём не вспоминала. Да и никто вокруг не напоминал. Вот почему сначала я даже не удивилась, заслышав этот голос. Но уже в следующую секунду меня словно подбросило с кровати: Абрамка не может ходить и тем более говорить!

— Водички... Дайте Васе водички... — донеслось до меня, как опровержение, с улицы.

Господи! Нет спасения от этого даже мёртвым надоедливого дурачка! К ужасу, который, естественно, охватил меня, подмешалось вдруг что-то вроде злости на Абрамку, на этого мерзкого, негодного уродца, который ещё смеет являться и пугать меня! Как только злость появилась, страх дрогнул. И я, сама не зная, зачем, побежала на улицу.

Ночь была прелунная, настоящая колдовская ночь. Тихо было кругом. Скамеечка под моим окном стояла пустой.

Я вернулась домой.

Больше я ничего не слышала в ту ночь.

Конечно, я никому ничего не сказала...

ДИАНА КАН



НАЗЛО ВСЕМ ТЕМ, КТО ЖИЗНЬ МОЮ ИТОЖИТ

* * *

Край мой мятежный.
Край мой крамольный...
Ветер-ведьмак пугачёвщиной дышит.
Край мой далёкий от Первопрестольной.
Горем завейся — Москва не услышит.

Горем завейся, ветром укройся,
Песней утешься, а я буду рядом...
Ойся ты, ойся! Столицы не бойся,
Край мой крамольный, оно тебе надо?

Царь ли царевич? Король-королевич?
В баньке уважь их да в печь на лопату.
Кроток в молитве и страшен во гневе,
Край мой, кровавым рассветом объятый.

Что приуныл, опечаленный в стельку?
Что пригорюнился, счастье не чая?

КАН Диана Елисеевна — известная российская поэтесса, автор книг “Високосная весна”, “Подданная русских захолустий”, “Междуречье”, “Покуда говорю я о любви”, “Звёзды окликаю” и др., а также множества публикаций в центральных и региональных изданиях России. Член редколлегии литературно-художественных журналов России “Подъём” (Воронеж), “Дон” (Ростов-на-Дону), “Арина” (Нижний Новгород), “Волга-21 век” (Саратов), “Гостиный Дворъ” (Оренбург), “Парус” (Москва) и т. д.

Где ж он твой царь — самозванный Емелька?
Чай, ты слушаем о нём не скучаешь?

Тёплым платком оренбургским закутай
Зябкую степь, что от ветра продрогла...
Вспомни свою залихватскую удаль
И выходи на большую дорогу.

* * *

Всю жизнь рифмуя розы и морозы,
Всю жизнь воюя с собственной судьбой,
Я не унижусь до презренной прозы,
А значит, не унижусь пред тобой.

Перед тобой, дарившим вдохновенье,
Перед тобой, ушедшим в злую мглу,
Перед тобой, мой непутёвый гений,
Хвалу воспринимавший, как хулу.

Любовь и кровь пожизненно тасуя
И раскрыляясь на сквозных ветрах,
Господне Имя не тревожа всеу,
О сокровенном как сказать в словах?..

Буксуя на житейских бездорожьях
И матом кроя брентную тщету,
Назло всем тем, кто жизнь мою итожит,
Остаться поэтессой предпочту.

* * *

Он вёл их молча по былинным,
По диким муромским лесам —
Иуд, что верили наивно
В то, что и он иуда сам.

Вёл, обходя в пути святыни,
Не тратя понапрасну слов,
Духовно-ядерной твердыни,
Что называется Саров.

Он вёл их, Китеж огибая
И светлый болдинский приют...
Знать, на Руси судьба такая,
Что первыми героев бьют.

В пути не раз им повстречался
Шальной разбойник-соловей.
Вослед ведомым так смеялся,
Что листья сыпались с ветвей.

Вёл, обходя Урал и Волгу,
Хоть их никак не обогнуть...
Во временах-пространствах долгий —
Единственно возможный путь!

И мысль одна терзала сердце,
Ведомым вовсе не в укор —
Как миновать в пути Освенцим,
И Саласпилс, и Собибор?..

...А дальше, братья-ляхи, сами.
Эх, ни покрышки вам, ни дна...
“Кажись, пришли! — вздохнул Сусанин. —
Варшава-матушка видна!..”

* * *

*Чудище обло, озорно, огромно,
стозевно и лаляй...*

Василий ТрEDIAKовский

Распилы-откаты. Откаты-распилы.
И это, ребята, не лесоповал.
Чиновная шобла почуяла силу
И нас превратила в доходный товар.

А впрочем, стозевное чудище обло,
О коем ещё ТрEDIAKовский писал,
Себя почитает нисколько не шоблой,
А — солью земли и началом начал.

От веку всегда при чинах и в законе.
Её не касается смутная хмарь,
Стальной ли генсек восседает на троне,
Сусально-елейный помазанник-царь.

Будь имя её не помянуто всуе.
Осыплет себя мишурою наград
И так венценосца искусно танцует,
Что сам, бедолага, порою не рад.

Забавно, что так прозаично-неброско,
Без гнева, патетики, пафосных слов,
Похожий на стёб неформала-подростка,
Звучит мой проворный стишок про воров.

Бюджет распилили проворно и ловко,
И не презирая презренный металл...
Знать, самое время с державной сноровкой
В Сибири осваивать лесоповал.

НИНА КРОМИНА



БАЛЛАСТ

РАССКАЗ

Иван Андреевич любил день своего рождения с детства. Гости приносили подарки и радость в скучную размеренность жизни. И так вошло это в его натуру, что какой бы день рождения он ни отмечал, всегда предчувствовал нечто приятное. Правда, когда-то в этот день мама заставляла его надевать колючую, накрахмаленную рубашку, но и это не мешало ощущать праздник.

Сегодня он отмечал своё шестидесятилетие. А потому — новый костюм, свежая рубашка и даже одеколон. Рубашка была мягкой, хлопчатобумажной, в ней дышало тело, а воротничок не натирал шею. Последнее было особенно важно для Ивана Андреевича, поскольку кожа у него была нежной. Как, впрочем, и душа... Он ждал, что сегодня он наконец-то получит долгожданную признательность за свой многолетний труд в родном НИИ. Нет, конечно, не орден, не медаль, но хотя бы приказ из министерства, приветственный адрес. Он всегда знал, что когда-нибудь его обязательно отметят. А в этот день он представлял себя окружённым друзьями, молодёжью, смотрящей на него с уважением, и надеялся на присутствие высокого институтского начальства.

Конечно, было бы хорошо отпраздновать юбилей в ресторане. Но прожив свою жизнь скромно, по-хорошему бедно, Иван Андреевич привык к тощему кошельку бывшего советского, а ныне российского инженера, и потому был

КРОМИНА Нина Александровна родилась и живет в Москве. По основной специальности библиотечарь-библиограф. В 2011 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Печаталась в журнале "Простор" (Казахстан), "Вологодская литература", "Москва", "Звезда", альманахах, сборниках. Автор сборника рассказов "В городе и на отшибе". Член Союза писателей России.

готов ограничиться пирожками и салатами, приготовленными женой Антониной Фёдоровной.

Когда-то Антонина Федоровна, его Тонюшка, была хороша: тёмные густые волосы, тонкий стан. Правилась она не только Ивану, но и его приятелям. Однако в мужа выбрала именно Ивана Андреевича. Это был брак по расчёту: Тоня часто слышала, как однокурники Ивана восхищались его математическими способностями. С такой головой, думала Тоня, он и до академика доберётся... Однако Иван Андреевич не только не стал академиком, он даже не выбился в руководство института. Поэтому ей всю жизнь пришлось ходить на работу пешком, бегать по магазинам и печь пирожки.

На эти-то пирожки Иван Андреевич в день своего рождения как раз и рассчитывал. К пирожкам у них в институтском коллективе до сих пор отношение было трепетное, и если кто из мужиков приносил их на торжество, то все говорили: “Повезло с женой”.

Увы, в последнее время Антонина Фёдоровна не горела желанием стряпать. Вечером накануне юбилея Иван Андреевич нервно поглядывал на часы и в окно... Антонина Фёдоровна задерживалась. Когда же явилась, бросила пакеты с продуктами на стол, обругала сначала продавцов, потом весь белый свет, и пришлось Ивану Андреевичу сдирать наклейки с пластиковых упаковок с салатами, чтобы сослуживцы не догадались, что они куплены в супермаркете. Он, правда, хотел спросить у неё про пирожки, но только смиренно вздохнул.

Но то было вечером, а утром в приподнято-торжественном настроении он шёл через проходную, где ещё недавно сидел живой дядя Паша, когда-то ушедший на фронт из их института. Правда, вернувшись, столяром, как прежде, он работать не мог, поскольку потерял руку, но вахтёр из него получился сговорчивый. Теперь вместо дяди Паши стоял стальной турникет, мимо несгибаемой руки которого не проскочишь до тех пор, пока не сунешь ему в пасть пластмассовую карточку: время прибытия, убытия... Ничего личного.

Если раньше их отдел занимал целый этаж, то теперь он сжался до одной комнаты, где когда-то размещалась институтская техническая библиотека. Иван Андреевич хорошо помнил, как они с дядей Пашей помогали перетаскивать библиотечные каталоги во двор, где полыхал костёр. Рядом с костром, на перевёрнутом каталожном ящике сидела библиотекарьша. Опустив голову, она время от времени подбрасывала в огонь библиотечные карточки, которые в начале своего трудового пути заполняла от руки, потом на пишущей машинке “Ятрань”. Перевести каталог на жёсткий диск она не успела... Иван Андреевич тогда подошёл к библиотекарьше.

— Смотри, Иван Андреевич, как на Опернплаце, — сказала она и добавила: — “Сожгите меня”, помнишь, у Брехта?

Библиотекарьшу, и правда, скоро сожгли. И дядю Пашу следом. В крематории... А после этого увезли куда-то институтское оборудование вместе с мебелью.

Освобождённые помещения, большие, просторные, светлые, с высокими потолками — ну, сталинский ампир, — разделили перегородками на офисы, и в них теперь вращались какие-то арендаторы. Чем они там занимались, никто из институтских не знал, но Ивану Андреевичу порой казалось, что из-под дверей в коридор нет-нет да пробивается запах денег.

Время от времени к зданию института подъезжали автомобили прокуратуры, и тогда на улицу выбегали арендаторы с испуганными лицами. На удивлённые взгляды сотрудников института охранники лишь разводили руками.

После очередного исчезновения арендаторов в коридоры выползали сотрудники института. Их ноздри жадно втягивали воздух свободы. Мужчины трясли друг другу руки, женщины оживлённо ворковали. Однако проходила неделя-другая, и в опустевших помещениях въезжали новые арендаторы, с новой офисной мебелью и оргтехникой. Иван Андреевич с удивлением смотрел на незнакомых людей, которые стояли на лестничных площадках, курили

и перекидывались впечатлениями. Иногда до него доносились обрывки фраз, в которых звучали мерзкие слова “бабло”, “тусовка”, “прикид”. С особенным недоумением смотрел он на бледных девиц с разноцветными ногтями: их одежда казалась ему непристойной, а лица — пустыми. И ещё он не мог понять, почему вдруг женщины стали выше мужчин?! В смысле роста. Но больше всего Ивана Андреевича поразил Анатолий Максимович, Толя, его однокурсник, выросший до директора их института, которого он частенько видел смеющимся среди этих новых и чуждых по духу людей.

“Что стало с его лицом?” — думал в последнее время Иван Андреевич.

Однако сегодня его волновало, придёт ли Толя в их закуток и вызовет ли его к себе в кабинет? С этими мыслями Иван Андреевич шёл к двери своего отдела, спеша поскорее оказаться среди своих. Как-то месяца два назад, поднимаясь по лестнице, он услышал, как кто-то из офисных бросил ему вслед: “Смотри, какой перец пошёл!” — и стоящие рядом с ним рядом глумливо расхохотались, а кто-то из них потом ещё добавил: “Балласт!”

Это последнее слово так задело Ивана Андреевича за живое, что он до сих пор негодовал: “Какой же балласт, у меня и авторские есть, и внедрения. А что эти могут?” И всё же отвратительное словцо присосалось к нему, как пиявка, и он лишь сокрушённо качал головой, будто открывая для себя что-то новое, страшное. Помнится, в тот вечер, придя домой, он с возмущением рассказал об этом жене и неприятно поразился тому, что она не разделяла его негодования. Ему даже показалось, что при слове “балласт” на её лице промелькнула злорадная улыбка...

Но жизнь продолжалась, и по утрам Иван Андреевич надевал джинсы, втискивался в автобус, потом почти бежал, совал в стальную пасть турникета пластмассовую карточку и, пыхтя, поднимался в свой отсек, нет-нет да вспоминая это словечко, от которого ему становилось тошно.

И вот сегодня, в день своего рождения, он вдруг почувствовал себя как-то неуютно. Может быть, оттого что на нём был костюм? Он никогда и не надел бы его, если бы не торжественная дата.

— Неприлично, — несколько дней до этого твердила ему жена, — перед начальством и в джинсах. У тебя же костюм ненадёванный.

— Жена заставила меня его надеть, — оправдывался Иван Андреевич перед сотрудниками, — а я костюмы терпеть не могу.

— Да уж, — посмеивались сотрудники, — тебя, Иван Андреевич, прямо как в гроб обрядили.

Иван Андреевич заставлял себя улыбаться, а в голове крутилось проклятое “балласт”.

После обеда дали, наконец, команду праздновать. Выпивки было достаточно, но Иван Андреевич и рюмки не выпил: вызовут наверх, а от него — пахнет. Неудобно.

Но не вызвали...

А на следующий день к ним в отдел зашла кадровичка, сунула Ивану Андреевичу приказ и попросила расписаться.

“Уволить в связи с уходом на пенсию”, — прочитал Иван Андреевич, и его лицо побледнело. Ладонью левой руки потер шею и... расписался правой, не веря, что это про него. Вышел в коридор, пошёл к кабинету директора, но Анатолия Максимовича на месте, конечно, не оказалось...

С тех самых пор с утра до вечера лежал он на диване, щёлкал пультом телевизора. Все передачи были отвратительны. Похожие друг на друга девицы с неестественно раздутыми губами преследовали его. “Неужели все они шлюхи?” — думал он и с раздражением выключал телевизор. Однажды Иван Андреевич решил, что хватит страдать на диване и пора позаниматься с внуками. Но вдруг оказалось, что ни математику, ни физику он не помнит... Скоро он совсем слёг, и его Тонюшка теперь крутилась, как белка, зарабатывая деньги в какой-то мутной страховой компании.

— На мужиках далеко не уедешь, — любила повторять она подругам и, обводя рукой комнату, добавляла:

— Все сама — и ковёр, и хрусталь...

Иван Андреевич лежал пластом, и от него пахло чем-то старым и больным. Он чувствовал, что становится обузой для жены, и часто повторял про себя то мерзкое словечко, брошенное ему однажды в спину.

Как-то встретив на улице школьную подругу, Антонина Фёдоровна возошла:

— Не могу больше! Мы с мужем в одной комнате, в другой — дети да внуки.

— А ты перевези его на дачу, — посочувствовала подруга.

— Ты думаешь? Только это ведь щитовой домик на болоте.

— Да ничего с твоим мужем не случится! Есть один таджик. Он у меня на даче всё лето работал. У него даже паспорта нет, так что готов на всё! Только ты его деньгами не балуй. Корми и ладно. Что ему ещё?

В ноябре Ивана Андреевича повезли на дачу.

Когда машина подъехала к участку, пошёл мелкий холодный дождь. Худощий таджик по имени Ахмат в какой-то бабьей накидке уже поджидал их у забора. Увидев приезжих, Ахмат заулыбался, начал лопотать что-то тарбарское.

— За ноги его крепче держи, тащи на себя, — с раздражением говорил таджику сын Ивана Андреевича, когда они вытаскивали отца из машины. Сын Ивана Андреевича был неуклюж, толст и не слишком подходил для успеха, но изо всех сил пытался понравиться новой жизни: ещё весной обрил голову, повесил на грудь золотую цепь с массивным крестом и даже купил праворульный джип. Теперь он старался смотреть на людей безразличным холодным взглядом, но его пухлые, немного детские губы выдавали его с головой.

Ивана Андреевича кое-как дотащили до крыльца. Антонина Фёдоровна пыталась открыть замок, но ключ не поворачивался.

— Потерпи, Иван Андреевич. Что ты ноешь, как маленький? — раздражённо говорила Антонина Фёдоровна.

Но ни она, ни сын дверь открыть не смогли. Замок открыл Ахмат.

В доме было холодно и сыро. Антонина Фёдоровна показала Ахмату на буржуйку и сказала:

— Топи чаще. В лесу сушняк навалом. Так что холодно вам не будет...

Иван Андреевич посмотрел на жену, на пар, который шёл у неё изо рта, и тихо сказал:

— Тоня, привези мне молитвослов...

С тех пор началась у Ивана Андреевича новая жизнь. Жена Ивана Андреевича навещала его не часто, на электричке не наездишься, сын же сразу предупредил, что у него куча дел и ездить туда-сюда он не собирается. Поэтому случались дни, когда продовольственные запасы у Ивана Андреевича и Ахмата заканчивались, и тогда Ахмат шёл в магазин за шоссё и там, если везло, за небольшую плату разгружал фургоны с товаром. Как-то Ахмат раздобыл на свалке старый велосипед, на котором теперь время от времени объезжал садовые участки, предлагая дачникам рабочую силу: чинил забор, бетонировал подвал... Поздно вечером возвращался домой с продуктами. Иван Андреевич, глядя, как Ахмат чистит картошку, думал: "Неужели ворует?"

Иногда Ахмат расстилал коврик и начинал молиться. Ивану Андреевичу тогда тоже хотелось молиться. "Может, какой-нибудь Бог нас и услышит!" — думал он, хотя помнил только "Господи, помилуй!"

Когда Ивану Андреевичу становилось особенно плохо, Ахмат молился без усталости, и через некоторое время Иван Андреевич засыпал. Уснув, Иван Андреевич стонал. Два сна постоянно преследовали его. В одном он будто идёт

по тёмному институтскому коридору. У кабинета Анатолия Максимовича горит тусклая электрическая лампочка. Иван Андреевич замечает, что идёт он по узкой половице, а вокруг него грязная жижа, в которой плавают чертежи и схемы. Наклонившись, он видит, что это его авторские свидетельства, его незащищенная диссертация. Он пытается поднять их и падает в грязь... Во втором сне они с сыном гуляют вдоль железной дороги: зелень, жёлтые одуванчики. Сын его, маленький, розовощекий, бежит впереди него, вдоль железной дороги, а по рельсам мчится состав с бревнами. Потом эти бревна начинают сыпаться прямо на сыночка. “А-а!” — кричит Иван Андреевич...

Как-то Ахмат сказал ему:

— Больше молись. Я молюсь, и мне Аллах помогает. Он и тебе поможет.

Иван Андреевич улыбнулся. Он уже давно непрестанно молился про себя. И молитва не только утешала его, но и поднимала словно на крыльях над этой промозглой жизнью.

Как-то Иван Андреевич сидел у окна и вдруг увидел идущую к дому Антонину Фёдоровну. Иван Андреевич удивился, как жена вдруг помолодела. “Конечно, — подумал он, — теперь она живёт без балласта!” И мелькнула мысль, что, может быть, она никогда не любила его и всегда жалела о том, что вышла за него, дурака, а не за красавца Толю, ставшего директором института...

Антонина Фёдоровна буквально ворвалась в комнату. Не поздоровавшись с Иваном Андреевичем, она принялась сбивчиво рассказывать ему что-то такое, чего Иван Андреевич никак не мог понять и всё пугался, не случилось ли что с сыном или внуками. Наконец до него дошло, что институт, где когда-то работал Иван Андреевич, закрыли и теперь там будут апартаменты.

— А как же Толя? — взволнованно спросил Иван Андреевич.

— Толя теперь... никто. На Кипр собрался и... знаешь, меня с собой пригласил, — покраснев, сказала Антонина Фёдоровна, потом добавила:

— Завтра вы с Ахматом должны отсюда съехать. Валерик наш участок продал. Кредиты у него, долги.

Иван Андреевич опустил глаза и уже хотел спросить: “Куда же нам?” — но вдруг ему стало мучительно стыдно, так стыдно, что он даже покраснел.

— Ты что? — закричала Антонина Фёдоровна.

Но Иван Андреевич не ответил ей, и лицо Антонины Фёдоровны пошло пятнами. Как ошпаренная, она выскочила на улицу. Быстро, почти бегом, пошла на станцию, то и дело восклицая: “Да пропадите вы все пропадом!”

Потом, зажав себе рот ладонью, завывала.

Плакала Антонина Фёдоровна и в электричке, и уже поздно вечером дома. А после того, как в их квартиру ввалились какие-то бритоголовые мужчины, и вовсе зарыдала в голос, потому что Валерик сказал ей: “Мама, теперь эта квартира не наша...”

На вопрос, куда ей податься, сын промямлил, что у неё подруг полгорода. Подруг у Антонины Фёдоровны было действительно много, и уже на следующий день ей удалось въехать к одной из них на пару недель.

Но теперь, что бы ни делала Антонина Фёдоровна, её мучили мысли об Иване. Ей казалось, что если бы сейчас рядом был Иван, всё могло быть иначе. Ночью, когда она пыталась заснуть, Иван являлся ей, бледный или весь красный, и после этого у нее бешено колотилось сердце и перехватывало дыхание...

И однажды она не выдержала ночных пыток — решила съездить туда, где оставила мужа на произвол судьбы. Пока Антонина Фёдоровна ехала в электричке, её воображение рисовало страшные картины: то ей казалось, что тело Ивана Андреевича валяется где-то в кустах, то оно лежит распластанное на дне котлована, и его терзают вороны. Он даже представлялся ей

залитым раствором бетона в качестве одного из столбов под новую дачу. Мысли путались, она хваталась за виски и пыталась не думать о том, что ждёт её на бывшей даче.

Когда Антонина Фёдоровна вышла из электрички, её волнение усилилось. По мере того, как она приближалась к участку, ноги шли всё медленнее. И вдруг она увидела то место, где ещё пару недель назад стояла их дача: ни дома, ни беседки, ни яблонь у веранды. Только утрамбованная песчаная площадка, и на ней несколько строителей, откидывая комья сырой земли, копают узкую траншею.

— Вам чего? — спросил один из них.

— Ничего. Я так, — испуганно произнесла Антонина Фёдоровна.

— Иди, мать, не мешай, — мрачно посоветовал ей другой строитель.

Антонина Фёдоровна отошла от площадки, но далеко уйти не смогла: принялась кружить в окрестностях, уверенная в том, что муж где-то здесь. Ей представлялось, что ещё живой Иван Андреевич там, бледный с заваленными песком глазами и ртом, хочет пошевелиться и не может...

— Иван! — шептала она и всё ходила между участками, на которых поднимались островерхие крыши нойшванштайнов, плутала по мокрой траве, пока вдруг не заметила Ахмата, выезжавшего из-за кустов на велосипеде.

Когда Ахмат исчез, Антонина Фёдоровна вошла в заросли. С трудом продираясь сквозь хватающие её за плечи ветки, вышла на небольшую поляну и тут заметила нечто необычное, что заставило её остановиться. Откуда-то из-под земли выходило тепло, ломающее воздух. Подойдя поближе, она наткнулась на какую-то тряпицу, прикрывавшую вход в погреб. Осторожно сдвинула её в сторону, заглянула. Там внизу, во тьме, что-то шевелилось. Антонина Фёдоровна испуганно отпрянула. В висках застучало. Заглянула опять и, кажется, увидела лежащего там человека. Она даже заметила блеск его глаз. Не оглядываясь, бросилась прочь. Она бежала через заросли, мимо сваленного у дороги строительного мусора, в котором шевелились от ветра обрывки старых обоев, тряпки...

“А если это всё же не Иван? — пронзала её отчаянная мысль. — А кто же тогда? Иван, конечно Иван!” — успокаивала она себя и шла, с трудом вытаскивая ноги из грязи...

Казалось, что земля уходит у неё из-под ног. Всё плыло у неё перед глазами, и Антонина Фёдоровна вдруг осознала, что без Ивана идти ей некуда, да и незачем. Остановившись, она уже хотела вернуться к землянке, но только сейчас заметила, что уже спускается с горы, в которую превратилась мусорная свалка. Сил вернуться у неё не было. Она стояла и стояла, одна среди мусора, а где-то совсем рядом из-под земли поднимался едкий дым и перепрыгивали с места на место огненные языки.

ТАТЬЯНА ШОРОХОВА



ВОПРОШАЕТ ТЕБЯ МАТЬ — РОДНАЯ ЗЕМЛЯ...

В ПОТАЁННОМ УГЛУ

Вчера жеребёнка кормила с руки,
Росой умывалась
И песней, плывущей вдоль синей реки,
Лелеяла жалость.

Россия! Расея! Начало начал!
В твоём самовластье
Конёк-Горбунок под Иваном скакал,
Одаривал счастьем.

Сегодня, пустившись в распыл и в разлёт,
В наручниках кодов,
Душа твоя по электричкам поёт,
Поёт в переходах.

ШОРОХОВА Татьяна Сергеевна родилась в г. Люботин Харьковской области. В детские годы оказалась в Крыму, где в 1982 году окончила исторический факультет Симферопольского государственного университета. Работала экскурсоводом, библиотекарем, администратором культурного центра. В 2001–2013 годах жила в пригороде Санкт-Петербурга. Член Союза писателей России с 2001 года. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат Всероссийской премии имени Святого благоверного князя Александра Невского, Государственной Премии АР Крым, литературной премии им. Л. Н. Толстого (Севастополь), Пушкинской премии (Симферополь). Награждена медалью “Николай Рубцов”, церковными орденами. С 2013 года живёт в Севастополе.

Надтреснутый голос выводит в тоске
Для нищих и сытых
Куплеты. Да вот о Коньке-Горбунке
Все песни забыты.

Но где-то ещё в потаённом углу,
Под стражей сосёнок
Растёт Горбунок на зелёном лугу,
Конёк-жерёнок.

* * *

Надрывный хохот со всех сторон,
Пляс ошалелых...
Но если слышу России стон,
Что с этим делать?

От плутократов — потоки лжи,
Муть — без предела...
Но если к Царству душа лежит,
Что с этим делать?

Но если сказка в моей душе
Не онемела,
А мне — по мерке чужой — клише!
Что?! с этим?! делать?!

У КРЕМЛЁВСКИХ СОБОРОВ

Заведением кассовым
Кремль подмят — не вздохнуть,
От ухмылок пластмассовых
Сердце врезалось в грудь.

Здесь стервятников карканьем,
Здесь кривляньем блудниц —
Туристическим шарканьем
Смята святость гробниц.

На билеты распродано
За бесценок цены
Наше сердце народное,
Сердце нашей страны!

Крест, князьями целованный,
Неба русского цвет —
Образ занумерованный,
Наш молитвенный свет.

С образком Одигитрии
Перед Богом стою,
У Донского Димитрия
Слёзы горькие лью.

По Руси, по Расеюшке,
По России моей,
Слова молвить не смеющей
В немоте алтарей...

* * *

Взойду на сцену, как на эшафот.
Я эту казнь предпочитаю плену.
Где море мне отнюдь не по колено,
Вступаюсь я за собственный народ.
Не потому, что я смелее всех, —
По коренному, родственному праву!
И пусть мне этот пафос не во грех
Зачтёт Господь, а Родине во славу!
На трёх обломках стоя, говорю,
За вас, славяне, возвышаю голос,
За поле оскудевшее, за колос,
Что не народит хлеба к сентябрю.

Сегодня забивает трын-трава
Святое притяженье братской крови.
Но как забыть, что первые слова
Сказала я на украиньской мове?

* * *

Наяву, не в кино,
Сердце охнет — не ахнет,
Что в России давно
Русским духом не пахнет.

Есть и Кремль, есть и квас,
И берёза с рябиной,
Только душу у нас
Кто-то заживо вынул.

Нам не выжить, народ,
Среди градов и весей,
Если мать не поёт
Колыбельные песни.

Нам не вынести ран
От стервятников стаи,
Если мальчик Иван
Русских сказок не знает.

НОВЫЕ РУССКИЕ

То московские, то калужские —
Посреди народных напастей —
Так нелепы новые русские
С их мечтой об отдельном счастье.

Между делом жуя и лузгая, —
Корифеи услуг постельных —
Так беспечны новые русские
Так приманчивы, так прицельны.

Даровитые, неискусные.
С мёртвой хваткой, спортивным рвением
Так несчастны новые русские,
Словно осы в банке с вареньем!

О НЕНАВИСТИ

Когда — с лица такие милые,
Такие умные на взгляд —
От страха перед нашей силою
Нас ненавидят и клеймят,
Мы знаем высшее могущество —
Светить и духом пламенеть!
Не наше это преимущество —
От ненависти умереть.

ПОСЛАНИЕ СТАРОМУ РУССКОМУ

Не Господу — себе не лги.
Суд учинив прямой и строгий,
Коль сроки — отдавать долги,
И время — подводить итоги.
О главном совесть вопросы
В чаду кромешных революций,
На изувеченной Руси
К груди прижав не руки — руци...
Спроси о жизни, что на прах
Пустил, хотя и верховодил.
Ты — не умноженный в сынах
И дочерях в своём народе!
И, может, прошибёт слеза,
Когда предстанут в древнем свете
И женщин брошенных глаза,
И не родившиеся дети.
И если ты не из глупцов,
Поймёшь, за что страдаешь ныне,
И отчего земля отцов
Теперь становится пустыней.
Её оплачет неба синь,
Что никогда не предавала!
А ты — неверный сын Руси, —
Чьим клятвам Родина внимала,
Пойдёшь, куда глаза глядят,
Разочарованной походкой
Смотреть, как мимо семят
Разочарованные тётки,
Которые с твоей руки
Твоё потомство покосили.
...Суд совершился, мужики,
Опустошители России.

РОДИНА-МАТЬ — СЫНУ-ВОИНУ

Ты, терявший друзей в неподдельных боях
То в высоких горах, то в широких степях,
Почему же в их честь, коль друзей больше нет,
Ради Жизни детей не являешь на свет?

Видел ты много раз, как редют ряды,
Прикрывая меня от горючей беды.
И с тебя я спрошу, мой боец, мой герой:
Где твои сыновья, чтоб поставить их в строй?

Вопрошает тебя Мать — родная земля:
— Кто распашет меня? Кто засеет поля?
Ты, потомкам своим объявивший войну,
Сам врагу ни за грош сдал такую страну!
Так прозрей, наконец, у кричащих могил:
Добывает детей — тех, что ты не добил! —
Враг, пришедший на Русь и пленивший тебя...
Что ж не смог ты, сынок, постоять за себя?
Что ты песни теперь мне поёшь о любви,
Но не слышишь мой плач на невинной крови?
Не детей ты сгубил — мою мощь, мою плоть!
И с отмщеньем к тебе не замедлил Господь.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВА



ХАНУМАН

РАССКАЗЫ

Барабулька

Уши заложило, звуки вокруг стали неяркими, будто их поглощали блики — прожилки света в морской воде. Всё дно каменное. Папа говорит, что это лава старого вулкана. Я дотрагиваюсь до большого мохнатого булыжника: водоросли на нём от касания раздвигаются в разные стороны, как шторы в гостиной, когда мама хочет сделать так, чтобы было светло. Люстру мы ещё не купили. Я хочу большую и с прозрачными висюльками. Старая разбилась, когда папа кинул стул.

Отталкиваюсь от дна и выплываю наверх. Вырываюсь из густоты воды, которая не хочет отпускать.

— Вот это да! Ты так долго держишься под водой! — Катька, соседка по отелю, боязливо держится на плаву с помощью нарукавников, ей мама не разрешает нырять:

— Нахлабашься воды и заболеешь на весь отпуск!

* * *

— Володя, мне кажется, нам пора развестись, — говорит мама как-то излишне тихо, внутренне надеясь, что он не услышит и тема останется ещё долго нетронутой.

ФИЛИППОВА Татьяна Владимировна родилась в 1997 году в Орске. Публиковалась в альманахах "Орь", "Гостиный двор", газете "Вечерний Оренбург". Лауреат Всероссийской премии "Капитанская дочка", в 2015-м выпустила первую поэтическую книгу "Будто мы незнакомы", в 2018-м — сборник стихотворений "Акварели рек". Учится в Литературном институте имени А. М. Горького, семинар А. Ю. Сегеня.

— Я ждал, когда ты это скажешь.
— А как же ребёнок?
— Я буду забирать её на выходные.
— Я о том, что в нежном возрасте дети очень остро реагируют на развод родителей...
— Скажем, что из-за ремонта будем жить в разных квартирах. От тебя до школы ближе. Она и не поймёт, что случилось.

* * *

Марьяна смугленькая, и я ей очень завидую: кажется, что она всегда загоревшая. Наверное, не нужно с такой кожей страдать от солнечных ожогов и лежать в отеле с температурой.

Она говорит, что ненавидит море. Из-за того, что их дом рядом с ним, вся семья работает лето и часть осени. Марьяна хочет отдыхать и веселиться с нами, а приходится помогать маме — мыть гостевые номера, кухни, туалеты.

Ещё у неё очень густые волосы, чёрные-чёрные и всегда кудрявые. Мне для таких волн на голове нужно заплести аж десять косичек! И спать с ними всю ночь, да и держатся они не очень долго... Кажется, это ужасно нечестно.

Сегодня Марьяна открыла мне *тайну*.

* * *

— Даже маленький ребёнок — личность, и нужно говорить с ним, как со взрослым, о важных вещах.

— Да угомонись уже, все бу-бу-бу да бу-бу-бу! Хорошо, я скажу ей всё начистоту, сейчас. И если мороженое куплю, она и не заметит этой новости. Вся ведь в тебя.

— Хорошо.

* * *

В стародавние времена вулкан замерзал из-за холодного моря. Его пенящаяся лава остывала в холодных волнах, но, умирая, он оставил своё сердце там, где провёл всю жизнь. И поэтому море стало тёплым. Многие люди боялись смерти вулкана: вдруг это предзнаменование богов? Всё ясно, теперь дела станут гораздо хуже, ведь привычный ход вещей нарушился. Другие торжествовали, что огнедышащей опасности под боком нет и можно жить спокойней, без страха. Некоторым было всё равно, но о таких сказки не складывают.

Когда вулкан умирал, он почувствовал два этих разных настроения. И тогда сделал ещё один дар людям. Застывая, его лава стала чёрной галькой — в память о тех, кто держал в сердце страх перед ним, и белой — как напоминание о смельчаках, забывающих разрушительную силу природы...

— А с серыми камнями чо? — Катя недоверчиво фыркнула.

— Ну, серые — это как чёрные.

— А рыженькие?

— Катя, замолчи, бесишь уже, я тут вам *тайну* рассказываю, а ты лезешь с дурацкими вопросами!

Так вот. И теперь можно задать самой душе вулкана, оставшейся в этих камнях, любой вопрос. Но только один. И отвечает он всегда правдиво... Главное — отплыть на то расстояние, когда не касаешься дна, и нырнув, задать вопрос. Чёрный — “нет”. Белый — “да”.

— Да глупости это всё, — не унималась скептическая Катя.

— Вот люди за эту *тайну* деньги платят! Мой брат Эдик, между прочим, тоже в это верит! А он большой и взрослый! Вместе с туристами он

отплывает туда, где море чистое и можно увидеть дельфинов. Потом тот, у кого есть вопрос, ныряет с братиком глубоко-глубоко, только вот у этого человека маска вся чёрная, и он ничегошеньки не видит! Экстрим называется! Только вот Эдо положил в ту область лишь белые камни, чтобы люди не расстраивались, и это всегда работает, к нему столько людей приезжает ради этого! Только иногда плохо выходит — один мужчина загадал, изменяет ли ему жена, а камень-то белый... Но это редко происходит, так что мы, как говорит братик, “в наваре”!

— Ну, я же говорю, что всё обман! — не унимается Катька. — Вот я недавно с родителями была в парке, там дядька стоял железный, все ему терли руку и загадывали желание, мол, непременно сбудется! Видели бы вы эту ручищу — аж золотая стала! Ну, и моё не сбылось, фигня это всё!

— А что ты загадывала?

— Ящик мороженого и пони.

— Ну, ты и тупеха! — рассмеялась Марьяна. — Даже глупые дети знают, что если веришь в волшебство, то всё-всё-всё получится, а ты недостаточно верила!

— Нет, верила!

— Нет, не верила!

Девочки начали брызгаться, а я немного отплыла. Стало страшно. Ведь это опасно. Но мне нужно знать правду.

* * *

— Эгоист. Оставляешь на меня одну ребёнка.

— Буду забирать его по выходным, обещаю.

— Её! У тебя дочь!

— Ну да, ещё одна баба в семье — то, чего я совсем не хотел.

— Ты ведь нашёл кого-то на стороне, да? Уже определился с новой “женщиной всей жизни”?

— Скажем так, провожу кастинг.

— Скотина. Семь лет жизни коту под хвост.

— Кота, кстати, тоже заberi. Он зверски линяет на мои костюмы.

* * *

Я уже слишком долго была в воде и чувствовала мурашки на коже. Родители не звали на берег. Не хочу выходить, они там точно ругаются. У Жени в моём классе развелись родители. Теперь её мама ходит с заплаканным лицом, а Женья больше не играет во дворе. Ей приходится нянчиться с младшим братом, которому и года нет, а ещё стирать, гладить, убирать, готовить. Всё из-за того, что её мама теперь работает допоздна.

Я не хочу видеть свою мамочку плачущей. Наверное, это больно. И не хочу не играть во дворе — это же так тяжело. Поэтому мне очень нужно узнать правду. Если это не скажут взрослые, то я узнаю это от души вулкана. Главное, не нахлебаться воды, а то меня опять будут ругать.

Жаль, что никто с берега не наблюдал за мной.

* * *

— Может быть, дадим нашим отношениям второй шанс? Ребёнку расти в полной семье очень важно, особенно в таком возрасте...

— Если это нужно только одному супругу из пары, то такое называют “эгоизмом”.

— Это нужно нашей дочери.

— Эх...

* * *

Под водой хорошо. Я не хочу выныривать. Сейчас или немного потом меня позовут с берега и заставят греться, хотя мне совсем не холодно. Это нечестно.

С закрытыми глазами нырять приятнее, будто засыпаешь. Нащупываю дно. Задаю вопрос. Галька будто соскальзывает ко мне в руку.

Я почему-то потяжелела и пузырьки воздуха яростным бурлением вышли изо рта. Море тянет к себе.

Наверное, всё-таки надо плыть наверх. Если я умру, мама точно расплачется.

* * *

— Ну смотри, у тебя же аж губы синие, куда столько плавать?! Дорвалась, называется! — мама яростно растирает меня махровым полотенцем.

— Хочешь мороженое? — спрашивает отец, но мне становится страшно: я вижу себя в отражении его чёрных очков. Неужели я такая некрасивая и к тому же трясусь?

— Нет.

— А что тогда?

— Барабульку хочу.

— Это ещё что за зверь?

— Не знаю, её тут все продают, а звучит она вкусно.

— Давай я куплю тебе её, а потом мы сядем и поговорим, хорошо?

Моё отражение в папиных очках испуганно и резко кивает.

Девочка боится. Девочка ещё не успела изучить находку. И ей страшно это сделать. В маленьком кулачке, как последнее спасение, она сжимает застывший огонь древнего вулкана — чёрный камушек.

* * *

— Что с ней? Она что, аутист?

— Тшш.

— Моя дочь — ненормальная? Почему она разговаривает с этим дурацким камнем?

— У неё стресс. Она так переживает его.

— Нет, я понимаю, с куклой, во время игры, но она всем им поотрывала головы. Это нормально?!

— Она просто говорит, что все барби похожи на твою ...новую маму. Ты сам покупаешь ей одних блондинок.

— Ах, так это ещё и я виноват?

— Успокойся и не повышай тон.

* * *

Дорогой дневник, сегодня все в классе рассказывали про домашних животных, я написала красивое сочинение о том, как мой кот Феля и камень Галя дружат, но все стали смеяться, а учительница похвалила меня за фантазию. Что тут смешного? Зато "пять" хотя бы поставили. А Феликс и правда любит гонять камушек по полу, примуркивая что-то. Наверное, они всё-таки и правда разговаривают, просто я не могу подслушать (секретничают).

* * *

Переезд. Опять. Снова. Заново.

Коробки, пакеты, сумки, рюкзак.

— Кажется, мы сделали это, да, да?

Руки ноют от тяжести, которые полдня перетаскивались из квартиры в новое место обитания. Надеюсь, хотя бы здесь останусь на подольше.

Квартира отягощает своей пустотой, нет какого-то внутреннего домашнего хаоса — признаков обжитости и обитания людей.

Зато красивые белые пластиковые окна: такие не будут пропускать косяй дождь или холод, такие не нужно к заморозкам заделывать слоями строительного скотча, ваты и старых газет. Старое, тщедушное дерево не будет пластами отдавать слои краски при любой попытке помыть их. Широкий подоконник — золотое сечение этой комнаты. Мне захотелось поставить яркую чёрную точку на его белоснежной беспредметности.

— Ты что делаешь?

— При переезде обычно первым должен зайти котёнок. Но у меня другое домашнее животное.

— Да ладно, шутишь?

— Ага. С командировками ничего звериного не завести. Цветы все иссохли после моей последней стажировки. А этот — ни к ветеринару, ни корма, да и мебель не испортит.

— А как зовут хоть?

— Камень. Просто Камень.

ХАНУМАН

— Либо эта тварь сейчас же отдаст мне очки, либо я её сейчас задушу!

Эти слова в различных вариациях, приправленные сочным матом, я слышала уже битых пять минут. Заезженный репертуар переходящая на ультразвук Вика менять не собиралась.

Зато на ветке над нашими головами разыгрывалась постановка одной из самых известных басен дедушки Крылова. Аккомпанемент симфонической истерики только подбадривал единственного актёра. Он входил в раж и наплевывал эти “дизайнерские за пятьдесят баксов, менямамаубьеззаних” очки то так, то сяк, согласно классическому сюжету.

Возможно, я испытываю некоторое злорадство. Но когда ты идёшь в храм Ханумана, будь готов к долгому пути под неистово палящим солнцем в сопровождении “аватаров” обезьяноголового бога. Идеально не иметь ничего заманчиво-блестящего: в этом тропическом лесу определённые животные могут отнять у туриста и серьги, и цепочку, и бутылку с водой, и кепку. Нужно идти подготовленным. Тореро не бросается в “бой” в неудобной одежде и в красном — лишь алая тряпка будет вызовом животному.

Откормленная обезьяна не шла на обмен — ей предлагали яркую “Фанту” и печенье, но она и не сдвинулась с места, любуясь своей обновкой.

Я заметила немолодого монаха, идущего из храма навстречу к нам.

— Если сейчас не заткнёшься, может прилететь. Это священное животное и за его оскорбление могут выгнать.

— Да пусть хоть трижды священное, этот волосатый мешок говна издевается надо мной. Слышь, тварь, живо отдай мне очки! Отда-а-а-ай!

Вика подняла камень и замахнулась, целясь в упитанную, светло-рыжую обезьяну. Я схватила её заведённую для броска руку. К нам подошёл монах. Я мысленно преодолела три километра назад под нитьё Вики об утерянной драгоценности. Жалела упущенное время. Злилась на то, что пошла именно с этой дурындой. А до храма оставалось совсем немного!

Вика оторопела от приветствия монаха и выронила камень. Мы стояли, как нашкодившие школьницы перед учителем: не хотелось слышать о плохом поведении.

— Я Радж-бабу, — представился он полусёпотом на хинди.

Я сверлила глазами землю, наблюдая за тихим ходом красного громадного муравья мимо моей левой кеды.

— Вы можете что-нибудь сделать с этой обезьяной? — с претензией сказала Вика.

В этот момент я впервые в жизни поняла, что такое “испанский стыд”, когда тебе невыносимо стыдно за другого человека, который мук совести ни-сколечко не испытывает. Шепча, будто у него нет сил, чтобы полноценно выговаривать слова, на мягком и тихом хинди он произнёс:

— Хануман благословил вас своей игрой. Он любит так оказывать своё почтение иноземцам. Удача будет сопутствовать вам.

Седая борода недлинна, она касается груди монаха и будто бы заправлена внутрь запахнутого халата. Мне показалось, что это не один старик, а два карлика, стоят друг на друге, и один дергает другого за бороду через одежду, чтобы второй не забывал раскрывать рот, когда прожёвывает и, едва размыкая губы, доставляет слова до слушателей.

— Вы что, научили их этому? Перепродаёте ворованное? Как вы можете так спокойно говорить, когда моя собственность у этой волосатой дряни! Это не Хануман, а наглая, толстая, вредная мерзавка! — Вика вполне порусски выкрикивала возмущения то монаху, то замершему на ветке животному. Я не могла понять, кто больше шокирован или раздражён такой тирадой — оба лица не выражали ни одной эмоции.

Тишина звенела так, что я не слышала даже шелеста листьев на деревьях.

Обезьянка, видимо, переварив всё сказанное, прыгнула на ветку соседнего дерева, потом на другую и быстро удалилась в лес.

Монах неторопливо проговорил:

— Не хотите ли зайти в храм?

Вика начала бычиться — стоять на своём. В животном мире — животные правила. Я ущипнула её, как это делают гуси, больно, сильно. Жертва ощутила мой протест и всё же стала человеком.

— Да, конечно, спасибо, — пыталась я строить из себя самую беспечность после произошедшего. Но ответ монаху, видимо, был не нужен — он уже развернулся и спешно пошёл. Я быстро его догнала. Вика плелась немного позади нас, с надеждой поглядывая на лес. Ясно, что очки безвозвратно утеряны. Или подарены богу. Тут уж как посмотреть.

Широкая каменная лестница с шатающимися от времени ступенями вела к небольшому храму. На воротах — каменной арке перед ним, — как бы в насмешку Вике, сидела обезьяна из ярко-рыжей глины. Точь-в-точь, как воровка.

Храм меня не впечатлил. Небольшой, усеянный изображениями обезьян, которые смотрели на посетителей с купола потолка, рыжеватых стен. Перед блестящей золотом статуей Ханумана курились большие пучки благовоний, от дыма в помещении слезились глаза. Пол рядом с богом устлан лепестками и головками цветов. Я быстро расстегнула рюкзак и кинула подле него уже слегка увядающую гирлянду гибискуса, которую на меня нацепили утром работники отеля. Не хочу сказать, что я поклоняюсь чужим богам, просто мне показалось, что там эта вещь будет на своём месте. Монах поднял гирлянду и повесил на шею Ханумана, читая мелодичную мантру. Он немного постоял, глядя на идола, но мне показалось, что в статуе за это время что-то изменилось. Будто она подмигнула старику. Это слишком странно. Глаза слезились от дыма. Может примерещиться всякое от быстрого моргания и неприятных ощущений; обоняние желало свежего воздуха. Радж-бабу резко развернулся к нам и сказал, что пора выходить, скоро будет совершать пуджу — приношение богу. Его серая одежда сидела так мешковато, что я всё ещё не упускала из виду версию про двух карликов, стоящих друг на друге.

После приглушённого света в этом маленьком храме мир стал свежее, ярче и громче. Я услышала окрики обезьян. Если Дарвин прав, то и мы когда-то так же общались нечленораздельными звуками, перескакивая с ветки на ветку. Пока шли до храма, успели вдоволь насмотреться на этих животных, ловких, громких, но пугающих своей отдалённой схожестью с человеком. В этот момент я больше склонялась к версии про Адама и Еву.

Радж-бабу вызвался проводить нас до ближайшей станции электрички. Он сказал, что там есть такси и можно сторговаться, чтобы нас отвезли до

города примерно за семьдесят руший. Тут недалеко. Вышли из храма, пройдя арку с застывшей в неестественно счастливом выражении лица обезьяной из глины. Монах показал тропинку, по которой путь занимал меньше времени, так как вёл к ближайшей станции, а не к той, которая указана во всех туристических справочниках, потому что на такси до города делают большой бизнес. Старик шёл с нами недолго. Сказал, что должен успеть вернуться к пудже, дальше нужно идти просто прямо-прямо. Я сверилась с картой — действительно, до станции рукой подать. Ободрённая маленьким расстоянием, Вика ринулась вперёд. Я обернулась, чтобы поблагодарить монаха, но его уже не было. Только на ветке дерева, под которым он стоял, объясняя нам дальнейшую дорогу, сидели две очень маленькие грязно-серые обезьянки. Стало не по себе. Они будто следят за нами.

Вика торжественно отомстила, ущипнув меня за руку:

— Чего зеваешь? Хочешь, чтоб у тебя карту из рук зверюги выдрали? Пошли скорей, я в отель хочу-у-у!

Я решила идти, не оглядываясь. Впереди уже был слышен гул междугороднего поезда. Можно было разглядеть впереди небольшой вокзал. Но на этот раз остановилась уже Вика:

— Смотри, эти серые твари на нас всё ещё зырят. Вон, на ветке. Слышь! Передайте там своей подруге, что я её всё равно ненавижу и не верю в этих ваших обезьяньих богов!

Вика для убедительности показала язык, а обезьянки будто только этого и ждали. Я схватила юного осквернителя храмов и святых животных за руку и побежала. Примерно представляла, как нужно спуститься с небольшой лесной возвышенности, чтобы добежать до вокзала, не переломав себе ноги, но обезьянки знали лес с самого детства. Преимущество на их стороне. Я подвернула ногу и кубарем полетела, больно ударилась спиной о дерево, и экстренный слёт вниз оказался непродолжительным. Меня охватил страх, когда я ощутила, что по спине что-то растекается. “Только не кровь, пожалуйста, только не это”. Что-то предательски хрустнуло, словно позвоночник перестал быть целостным. Я читала о таком. Люди первые несколько минут не чувствуют ничего из-за болевого шока. Я могу сейчас постараться что-то сделать. Но что? Решила лучше ощупать спину, попытавшись представить масштаб бедствия. Сначала нужно снять рюкзак. При этой простой процедуре меня осенило — от удара лопнула спасительница-бутылка. Ощувив, что нужные кости на месте и сильных повреждений нет, отплёвываясь от травы и грязи, я поклялась себе, что с меня хватит лесов и всяких этих прогулок на природе в туристическом экстазе первооткрывателя. Саундтреком неожиданного исцеления был непрекращающийся вопль Вики. Вспомнилась мамина фраза: “Если Вику едят тигры — ей уже не помочь, спасайся сама”. Подумав о том, что заново умереть мне совсем не хочется, причём шанс сделать это по-настоящему увеличился с каждой секундой крика несчастной, я решила не испытывать судьбу, постараться встать и доковылять как можно быстрее до станции. Да, друг из меня никудышный, но этот нытик омрачал каждую идею в течение двух месяцев нашего знакомства. А что я скажу её родителям? А что я скажу в посольстве? “Извините, её разодрали на части тигры, а я героически спасала свою жизнь”? А вдруг она выживет, станет отшельником-дрессировщиком обезьян и когда-нибудь последнее, что я увижу в жизни, — острый кинжал, занесённый волосатой лапой исполнителя — безвольной и тупой марионетки?

Крик затих. Ладно, была — не была. Я поднялась и поняла, что нога не так уж и сильно повреждена. Нечто, судя по шороху кустов, направлялось прямо на меня. “Ну, если это тигр, я не успею. Если это человек, что маловероятно, с такой ногой — тоже не успею. Привет, смерть!” Как бы радостно это ни звучало, руки охолодели от страха.

— Ты тут?

Голос Вики стал наивысшим радостным звуком в жизни. Я была готова поверить во все тридцать три крора индусских богов, раз всё так потрясающе получилось.

— Да. Я думала, тебя задрали тигры.

— Ты тупая? Тут тигров нет, они бы всех этих мразот пережрала. И правильно бы сделали. Эти две твари вцепились в мои волосы, я закричала, они ещё сильнее вцепились, я тогда упала на землю и начала их отди- рать, бить, заорала сильнее, и они, видимо, испугались.

Мы начали обниматься, будто лучшие друзья, и я рассказала историю своего падения. Как вдруг послышался этот мерзкий звук — обезьяний окрик. Две серые бестии, радостно погумкивая, сидели на ветке. Вика схвати- ла большую палку и кинула. Обезьянки, вереща, убежали вглубь леса, при этом одна выронила из лапок что-то небольшое. Оно упало почти к Ви- киным ногам.

— Смотри! Это же бумажник!

Действительно, это чёрный кожанный бумажник от “Лакост”. Серебри- стый крокодил словно смеялся, разинув пасть.

— Да мне тут на десять таких очков хватит! — Вика прыгала, быстро сменив гнев на милость, стараясь не думать, что у кого-то эти деньги вырва- ли наглые обезьянки.

В такси она призналась, что даже готова поверить в догмат о непогрешимости и святости культовых животных, ведь, по сути, всё было predetermined, даже монах похож на обезьяну, и это напоминает какую- то степень инициации простого смертного на пути понимания великого бога.

Я молча слушала восторженный трёп, чувствуя, как волнообразно нака- тывает боль от подвернутой лодыжки. Внутри зарождалась макакофобия. Интересно, такая есть?

Таксист, не обращая на нас внимания, болтал на хинди по телефону, ви- димо, решив, что мы, как и все иностранцы не понимаем его. Он жаловался, что в фирме ввели какой-то налог на каждого клиента, а младшему по- ра в школу, и они хотели купить стиральную машину, потому что у него сердце сжимается, когда его старая мать полощет одежду в ведрах. Вика са- мозабвенно придавалась изучению “дара Ханумана”. Я решила озвучить свои опасения.

— Давай пока не будем тратить.

— Почему?

— В этой стране пятьсот долларов — настоящее состояние. Посмотри на этого бедолагу. Он только что сказал, что его зарплата два доллара в день.

— Ну, не может себе обычный индеец позволить кошелек от “Лакост”!

— Я видела на базаре в Пахарганче сумки от Гуччи и Тиффани за 200 рупий. Это дешёвая подделка. Посмотри на кошелек, какая грубая ко- жа! Замок на отделении для мелочи тугой. Нитки торчат из швов. Здесь лю- бят похвастаться призрачным достатком. Вон, у нашего водителя палённый айфон.

— Ты почему так решила?

— Когда он набирал номер, было видно, что на нём стоит прошивка ан- дроида. Хотя человек, как ты можешь слышать, не может себе позволить да- же стиральную машину.

На лице Вики отобразился долгий мыслительный процесс. Я разгляды- вала фигурку Ханумана на бардачке машины. Мне стало противно от обезья- няньего немигающего взгляда.

Резкая остановка! Впечатываюсь лицом в спинку кресла водителя. Ощу- щение, что сломала нос. Виду тоже не слабо впечатало, но будь сила инерции выше — вылетела бы в лобовое стекло. Вот зачем в машине ремни безопас- ности. Тяжело дышать — мир с запахом железа. На дороге будто ничего не произошло. Мы чуть не врезались в резко затормозившую машину впереди. Водитель высовывается из окна, громко бибикает. Поворачивается к нам и на неприятном английском вещает: “Итз онлайн коав”. Действительно, про- сто корова. Даже за её непреднамеренное убийство здесь реальный срок в тюрьме. Священное животное.

Ждём уже двадцать минут, пока скотина перейдёт дорогу. Может быть, на неё наехали. Не знаю. Не хочу знать. На джинсы капает кровь с тонкой салфетки в руке. Индийцы из ближайших машин, как и наш водитель, вы- ходят посмотреть, Вика тихо матерится. Ещё полчаса ждём, нас настигают

сумерки. Движение наконец-то реанимировано. Кровь не идёт. Но я выгляжу, как бывалый боец. Хочется сфотографироваться и отправить кому-нибудь. Чтоб попереживали. Ощущение, что до меня нет никому дела, даже Вика уткнулась в инстаграм, хотя я тут истекала кровью. Так, всё. Выключаю детский сад в голове. Сама всё остановила, нашла влажные салфетки и привела лицо в порядок.

Вика предложила выйти чуть раньше, чтобы зайти в круглосуточный супермаркет и купить чего-нибудь поесть. Я согласилась. Единственное, что она сказала за время стояния в пробке:

— Ну, понимаешь, эти деньги — нам воздаяние от бога за мои очки.

Внутри маркета было не супер. Маленький, с еле работающим кондиционером. Я выбрала большую бутылку ласси — что-то вроде не кислого кефира с соком фруктов — и килограмм манго. Здесь это очень дешево, хотелось наесться, чтобы не мочь видеть их в Москве со стопроцентной наценкой. Как-то раз Вика сказала, что я думаю калькулятором. Возможно, так и есть. Сейчас поняла, что на эти пятьсот долларов из найденного кошелька можно купить столько еды, что ей может кормиться два месяца семья из четырёх человек. А если проводить закупку на базаре, то корзина увеличится раза в три — там всё неизменно дешево. Но для местных. Когда я хотела купить в магазине под навесом один ананас, который, судя по надписи на коробке, продавался за сто рупий килограмм, продавец пытался втюхать мне его по триста рупий за штуку. Пока не понял, что нарвался на человека, понимающего надписи восточной абракадабры на ящиках.

Вика присоединилась ко мне на кассе, сжимая палку колбасы и бутылку рома. Она радовалась, что нашла что-то мясное. Я почитала состав и огорчила её — там была куриная чепуха и соя.

— Ну, зато хоть что-то!

Номер один на двоих. Приходилось делить личное пространство. Принимая душ, я слышала, как Вика описывает родным день по скайпу. Мне даже стало её жалко. Спина всё ещё саднила, но зеркало не показывало синяка. Наверное, будет завтра. Пока Вика занималась водными процедурами, напевая что-то попсовое, я бухнулась на диван. Внимание привлёк тёмный предмет на столике — бумажник. Крокодил заманчиво поблескивал в свете лампы. Я взяла его.

Да, это обычная дешёвая подделка. Рептилия пластмассовая, а не железная. Мне не нравится этот кусочек чужой жизни, случайно попавший к нам в руки. Он какой-то неорганичный в порядке вещей моего мира. Бумажник из грубой кожи молодого дерматина. Я открыла его. Внутри двести долларов. Видимо, Вика перепрятала другие деньги. Но зачем? Я открыла маленький кармашек для мелочи. В нём лежал небольшой железный ключ с гравировкой: “Hanny-hotel, 223”. На столике лежал в точности такой же — наш ключ, только цифры отличались всего на одну — мы живём в 222 номере. Не люблю такие опасные случайности. Я положила его на стол, он громко звякнул о стеклянную поверхность. Сложив деньги обратно, я села в кресло, начала вертеть в руках бутылку рома.

Медик, консультировавший нашу группу перед вылетом, прослужил много лет в странах Востока. Он говорил, что здесь есть всего два страха: первый — остаться без воды, второй — съесть то, от чего умрёшь. Про первый случай он рассказывал, что, будучи в одной из арабских стран, должен был срочно ехать в какую-то деревню в пятнадцати километрах от города, где один человек из группы исследователей, собиравших арабский фольклор, внезапно свалился с лихорадкой. Связь была ужасной, он успел только сказать о том, что нужно огородить больного от контактов с незаражёнными. Связь оборвалась, так как начиналась песчаная буря. Будучи молодым специалистом, ещё помнившим наизусть клятву Гиппократу, он решил во что бы то ни стало добраться до деревни. Машину не дали. Сказали, застрянет даже вездеход, его просто-напросто замурует слоем густого песка. Не хотели отпускать. Но махнули рукой, видя его успешность и горячность. Может, и успеет, тут всего пятнадцать километров, верблюд преодолеет это расстояние за пару часов, а бурю ждали только ночью. Согласно прогнозу, она уляжется

до обеда следующего дня. Но это же около восемнадцати часов, за которые с больным может случиться что угодно. Горячность молодого специалиста восприняли как подвиг все, кроме местных. Они считали, что он умрёт.

Большую группу на вездеходе выслали только после полудня на следующие сутки. Оказалось, это не лихорадка. В пустынях ночи холодней, чем кажутся, исследователь спал в слишком лёгкой одежде, из-за чего подхватил слабую форму пневмонии. Но группа фольклористов утверждала, что никакой специалист за день ранее к ним не приезжал.

Нашли его через два дня, истощённого, в двадцати километрах от города. Он поехал на мираж деревни, который оказался старой разваливающейся на части мечетью. Переждав в её стенах бурю, которая длилась дольше, чем планировалось, он понял, что выпил всю воду. Жажда — чёрная смерть в пустыне. Очень долго терпел, но понял, что может просто упасть в обморок от обезвоживания на страшной жаре. Песок скрипел на зубах, хозяйничал в волосах, под одеждой. В аптечке были только лекарства и бинты. Он решил на страшный шаг, отрезав себе путь назад. Всё равно не знал, в какую сторону деревня. Понимал, что его скоро начнут искать, и главное — переждать некоторое время. Покорный верблюд сидел в тени мечети. Ласково глядя по длинной и бархатистой морде цвета песка, медик резко и точно перерезал его артерию. Чтобы не погибнуть от обезвоживания, он мешал верблюжьей кровью с медицинским спиртом, снижая риск заболеть чем-нибудь, что носит в себе животное.

Инструктируя нас, этот человек сказал, что вода и спирт — вот что спасёт вашу жизнь. В Индии, стране, где есть прямые источники холеры, нужно раз в два дня дезинфицировать желудок, убивая всю патогенную микрофлору, снижая риск заболеваний. Дезинфекцию решили совмещать с приятным — двести граммов рома подходило для этой задачи. Со второй опасностью, о которой говорил инструктор, мы уже почти справились — килограмм манго плавал в ведре ярко-фиолетового раствора марганцовки. Через пятнадцать минут нужно будет разложить фрукты на полотенце, дать обсохнуть, протереть ромом нож (спирт кончился, когда мы прижигали свои царапины) и начать объедаться спелыми фруктами.

Вика вышла из душа. Я всё ещё задумчиво вертела бутылку в руках. “Old Monk” — говорила золотистая надпись. Под ней красовался портрет старого средневекового монаха. Его черты чем-то напомнили мне лицо служителя культа Ханумана в сером балахоне. Стало противно. Я со стуком поставила бутылку на столик.

— Прикинь, в Москве такой стоит под три тысячи, здесь — всего двести рупий! И это именно индийский ром, его здесь готовят, — заметив мои раздумья, весело сказала Вика.

— На нём монах противный. И вообще его завезли британцы, солдатам, обслуживающим колонии, нужно было что-то пить. А эта их местная водка слишком отвратная.

— Ну, вот и не кукуйся. Помнишь, что Матвей Михайлович сказал? Раз в двое суток — обязательная дезинфекция!

После такого напряжённого дня мне хотелось каночить или скорее лечь спать. Желудок недовольно урчал о своей пустоте, электронные часы показывали час ночи. Вика с энтузиазмом укладывала манго на белое полотенце. На нём появлялись фиолетовые следы марганцовки, растекающиеся незамысловатыми лужицами.

Я открыла ром и вылила немного на бумажную салфетку, она сразу прилипла к руке. Протерла нож, часть стола и пакет, на котором предполагалась импровизированная разделочная доска. Когда спирт испарился, осталась неприятная горьковатая отдушка. Индийская колбаса резалась слишком просто, как масло, хотя, выдавший виды нож был не слишком острым. Оказалось, на вкус это соя. Коллективным разумом решили сделать салат из манго и всё же доесть чудо продуктовой промышленности. Дежурные двести грамм выпиты и резко начали согревать. Ели в тишине. Я думала о том, что же лучше привезти близким, но в какой-то момент поняла, что лучше всего — себя живую. Ну, и магнитики. И конечно, благовония с чаем.

Послезавтра самолёт в Кералу, второй этап стажировки. Нам даже не сказали, к чему готовиться. В принципе, проекты защищены, лекции и мастер-классы мы посетили. Наверное, предстоит что-то экскурсионно-отдыхающее. А ещё океан. Тёплый...

Вика быстро расправилась с салатом и взяла в руки злополучный бумажник.

— Я его открывала, пока ты мылась. Там ключ от соседнего номера. Может, занесём его владельцу?

Глаза Вики округлились.

— Таня, тут восемьсот долларов! Мы как-то лихо обсчитались!

Я откладываю тарелку и рассказываю, что пока она была в душе, я увидела там двести долларов. Вика смотрит ошалело.

— Ты, видимо, когда кубарем катилась, башкой тоже деревья пересчитала.

Я понимаю, что ничего доказать не могу. Хотя верю своим глазам. Заставляю Вика выложить купюры на чистую часть столика. Ровно восемьсот. Бумажник пуст. Я беру его в руки и верчу. Никак не изменился. Противный запах, торчащие нитки, крокодил с открытой пастью. Или он был с закрытой? Так.

— Мы немного выпили, был тяжёлый день. Я считаю, что сейчас нужно убраться на столе и идти спать. Утро вечера мудренее. И не пиши об этом в общую беседу. Нам нужно самим разобраться.

Парадоксально, Вика впервые решает не спорить. Я засыпаю с мыслями о том, что просто с утра позвоним на ресепшен и всё узнаем о соседях. Может, они вообще уже уехали. Или потерялись в том прихрамовом лесу. Может, всё-таки виноваты тигры. Подушка слишком жёсткая. Спина саднит. Я привстаю на кровати. Иду в гостевую часть номера, собираю все деньги со столика, считаю — да, восемьсот. Открываю кошелёк, укладываю туда аккуратно купюры. Мысль о том, что их нужно вернуть, преследует меня. Я вновь открываю отделение для мелочи. В нём лежит пятьдесят долларов. Бужу Вика. Она просит ущипнуть себя. И ещё. Снова пересчитываем деньги. Да, на пятьдесят больше. Она предлагает повторить эксперимент. Мы вытаскиваем все деньги на прикроватную тумбочку, удостоверяемся, что купюр больше нет. Через пару мгновений томительного ожидания вновь открываем дерматиновый чёрный кошелёк. Он пуст. Может, ему нужно полежать некоторое время?

Решаюсь на отважный шаг. Вертя в руках ключ от чужого номера, звоню на ресепшен. Девушка с яркоокрашающим английским отвечает мне. Я хотя бы понимаю этот акцент.

— Доброго времени суток. Я вас слушаю.

— Здравствуйте, у меня один вопрос...

— Да, конечно.

Я немного молчу, стараясь подобрать слова. Ключик холодит руку железом. На ресепшене оживают.

— Если мисс хочет определённых видов услуг, которых нет в преискуранте...

— Нет-нет. Вы меня неправильно поняли. Наши соседи. Через стену, в 223 номере. Они очень громко шумят, не могли бы вы сказать им быть потише?

Вика мотает головой и шипит: “Ты чего ващццще делаешшшь?”

На другом конце провода висит молчание.

— Мисс, извините, возможно, это ваши соседи сверху, мы позвоним им. Жильцы из 223 ещё не вернулись.

— О, спасибо, нет, впрочем, уже ничего не нужно, спасибо.

— Всегда рады по...

Я с колотящимся сердцем бросаю трубку. Пересказываю Вике услышанное.

— А вдруг этот кошелёк месяц назад потеряли? И это вообще другой человек?

— А вдруг нет?

Вика хочет думать, что хозяин утерян и бумажник наш. Я хочу спать и понимаю, что на свежую голову любая проблема решаема. Она соглашается. Долго ворочаясь, никак не могу провалиться в темноту.

Утром порадовал индийский шведский стол. Несколько видов нарезанных фруктов, омлет, чай, кофе и гулаб-джамуны. Вика возмущалась, что перед её носом кончились манго. За соседним столиком престарелая немка возмущалась по телефону том, что наглые обезьяны вырвали кошелек её мужа рядом с храмом. Вот и решение проблемы. Сейчас отдадим и гора с плеч.

— Айн таузенд ойро! Айн таузенд ойро!

Неприятное ойкающее произношение евро засело глубоко в ушах. “Таузендойро” — калькулятор в голове скрипел, но не мог сопоставить наши восемьсот пятьдесят и тысячу. Может, она привирает приятельнице? Хотя нет, немцы вроде народ расчётливый и бережливый. Фу-фу, стереотипы — вон из головы! Она, смакуя, описывала, как же дешево они купили с мужем на ближайшем рынке “вундерную” подделку под “Лакост”. И теперь они намерены разбираться и просить компенсацию у ошалевших храмовников! Всё сходилась.

— А я вчера в интернете ночью почитала, что если брать найденные деньги правой рукой, то всё будет хорошо, а если левой, то они несчастье принесут. А я уже не помню, какой брала. А ещё там кто-то писал, что лёгкие деньги должны легко уходить. А индийцы вроде как верят, что любая находка — дар за что-то. И есть один американский фильм, там подростки нашли много денег, а они оказались прокляты... — балаболила Вика, не понимающая немецкого.

Вспоминая, что многие немцы старшего возраста ещё помнят русский, который в их время часто факультативно преподавался в школах, я нежно и тихо попросила Вику заткнуться.

Когда дорожная фрау ушла, я перевела ситуацию Вике. Мы поняли, что никто не поверит в сказку об обезьянках, которые вынули немного “ойро”. Нас заподозрят в краже части денег. И вывалиться из кошелька они не могли.

— Говоришь, быстрые деньги быстро тратятся?

Я вновь поняла, что в жизни никогда нельзя зарекаться. Меньше чем через полчаса стою у той самой тропинки через лес к храму Ханумана. Вика жлобилась, считая, что мы должны их потратить на себя. Хотя и соглашалась, что удача отвернулась от нас, возможно, из-за этой вещи. Так что я сегодня представляюсь ужином. Памятуя недавние события, она осталась ждать в машине.

Мне кажется, что это самый правильный вариант развития событий. С кошельком к нам пришли неприятности, мы не знаем, куда его деть. И как правильно с ним поступить? Лучше избавиться от него. Да, возможно, это иррационально.

Тропинка резко поднималась по небольшому возвышению, с которого пришлось мне вчера скатываться. Взойдя на него, я увидела протоптанную дорожку. Хотя бы не потеряюсь. Когда до храма было уже так близко, что улыбающиеся фигурки обезьянок можно было разглядеть и посчитать, стало казаться, что затея ужасно глупая.

Я зашла в маленькую молельню. Благовония делают воздух объёмным. Ощущаю дым кожей. Кладу к ногам идола кошелек. Где-то рядом громко вскрикивает обезьянка. Оборачиваюсь. Никого.

Почти все древние монументальные изображения индусского пантеона из камня или металлов имеют одну особенность. Боги с закрытыми глазами. И только в этот момент я ощутила неопределённость. Веки Ханумана дрожали. Я решила, что это дым. Или слезятся глаза. Или всё же сотрясение из-за вчерашнего поклонения священной дуре-корове. Выбегаю из храма. Радж-бабу или очень сильно похожий на него монах останавливает меня жестом.

— Бог любит играть. Мы всего лишь его дети.

Я вспыхиваю: слишком долго негодование и обида за все эти приключения зрели внутри:

— Я поклоняюсь другим силам.

Тишина принимает эти слова. Монах, затихшие животные и священный лес провожают долгим взглядом. Вслед смотрит глиняная обезьянка, резко повернув голову в сторону удаляющегося человека.

НАТАЛЬЯ СКОРОДЕНКО



В ДРУГОЙ ЭПОХЕ,
НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ...

* * *

Пусть дно у нас на всех одно,
Очнись, взгляни — и небо тоже!
Взлететь не каждому дано,
А в омут кануть всякий может.

Тебя я больше не зову —
И мне знакома та усталость,
Вот только Небо наяву
С тобою ближе мне казалось.

* * *

Как я хочу тебя поцеловать,
Сначала нежно, а потом — сильнее,
Скулы коснуться, шею обласкать,
В глаза взглянуть, как только я умею...

СКОРОДЕНКО Наталья Владимировна родилась в Москве. Окончила Московский государственный лингвистический университет. Писательница, сценарист, поэтесса, переводчик художественной литературы. Автор десяти детских стихотворных сборников и двух романов, вышедших в издательствах ЭКСМО, АСТ, РОСМЕН и др. Публиковалась в журналах "Киносценарии" и "Радуга". Живёт в Москве.

Как я хочу тебя околдовать,
Чтоб лишь во мне ты видел центр Вселенной
И смог сполна испить и испытать
И боль, и сладость этой силы древней.

Как я хочу сейчас тебя забыть,
Чтобы потом стихотворенья эти,
Тебя узнав, тебе же посвятить,
В другой эпохе, на другой планете...

* * *

Подарите мне время —
Хочу отдышаться.
К тёплой детской щеке
Безмятежно прижаться,
Помолиться за всех,
Чтобы свечка горела,
И до суетных дел
Чтобы не было дела...
Чтоб очнуться и вспомнить
О тайне рожденья
И ребёнка, и слова,
И стихотворенья...

* * *

Что происходит, расскажи...
Опять сентябрь скребётся в двери.
Ни правды не хочу, ни лжи,
Сама себе уже не верю.
Зачем опять идут дожди?
Зачем опять мы ждём морозов?
Как глупо пролетают дни,
Всё больше громоздя вопросов.
И кто сегодня — за меня
Стеною встанет, скажет Слово?
Никто... Пускай... Но лишь любя,
Переживу все зимы снова.

* * *

Мне б на пару недель — одной,
Мне б на пару неделек — к морю,
Чтобы только прибой — отбой —
Унесли моё счастье-горе.
Мне бы птицей к Монблан-горам,
Там мне ветер споёт и вьюга...
В одиночества тихий храм,
Где ни недруга нет, ни друга...

* * *

Я украла летний поцелуй
Жадными горячими губами —
Полетели в бездну мы с тобой
Или поднялись над облаками?

И исчезли город, время, век,
Мир исчез, как будто не бывало,
Потому что раньше никогда
Так я никого не целовала.

* * *

За силу рук, за беззащитность губ,
Горячность слов и одержимость тела
Преодолею тысячу разлук
И выдержу, что раньше не умела.
За чистоту молитвы и слезы
Втройне воздам
И благодарна буду,
Не зная сроков будущей весны,
Поверю в жизнь,
Как в очевидность чуда.

ВЛАДИМИР ПРОНСКИЙ



ВЕТЕР ОКОЛЬНЫХ ДОРОГ

РАССКАЗ

Александр Шурьгину почти сорок, но он по-юношески строен, всегда аккуратно подстрижен, всякая одежда ему к лицу — не мужчина, а загляденье. До последнего времени казалось, что жизнь у него ладится, он цветёт от неё, но неожиданно впечатление испортилось. И причиной этому стала Ксения — его первая любовь, когда-то забытая, но вдруг появившаяся будто ниоткуда, а против неё он не боец.

Как-то на исходе лета увидел её в магазине и обомлел, едва признав из-за непривычной полноты и смешного узелка на затылке. Пригляделся и увидел приметное родимое пятнышко на шее за левым ухом, а главное — голос ни капли не изменился, а её бархатный голос Александр узнал бы из тысячи иных голосов. Она болтала с продавщицей, а он застыл за её спиной, смотрел на пятнышко, на пушистый, словно пуховый, завиток рядом с ним, и чувствуя, как перехватывает дыхание, боялся глубоко вздохнуть, словно мог спугнуть волшебное видение. Мысли моментально унесли в юность, встречи с Ксенией вспомнились так чётко и ясно, словно он и не расставался с ней никогда.

Когда она расплатилась за покупки и пошла к выходу, Александр радостно окликнул:

— Ксюш...

ПРОНСКИЙ Владимир Дмитриевич родился в городе Пронск Рязанской области в 1949 году. Работал токарем, водителем, корреспондентом, редактором. Автор романов “Провинция слёз”, “Племя сирот”, “Три круга любви”, “Казачья Засека”, “Стяжатели”, нескольких книг повестей и рассказов. Лауреат премии имени А. С. Пушкина, Международной литературной премии имени Андрея Платонова и премий нескольких литературных журналов. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Она не сразу, но оглянулась. На какое-то время замерла, словно ослышалась, и, улыбнувшись, кивнула, приглашая за собой. А он даже забыл, за чем заглянул в магазин. Выскочил следом.

— Вот кому не пропасть-то! — удивилась она на улице и прислонилась к его плечу, по старой привычке залиvisto хихикнула. — Ты откуда взялся-то, герой?

— Всю жизнь здесь живу, не как некоторые...

— А я вернулась к маме. Болит она, а отец умер в прошлом году. Пришлось бросить работу, мужа. А детей у меня нет, Сашенька, — ты когда-то постарался, чтобы их не было.

Шурыгин сперва промолчал, а потом вздохнул:

— Чего теперь ворошить старое. Пустое дело.

— Да я и не ворошу, а как вспомню, как душу выматывал из тогдашней девчонки, то до сего времени ночью вскакиваю, слезами заливаясь... Молчишь. А тогда говорюном был отменным. Каждый день приставал: “Без тебя жить не могу!”, “Всё для тебя сделаю!” Таким заботливым оказался, что даже к врачу потом водил, не постеснялся, денег не пожалел.

— Ты тоже не терялась, как ретивый сержант постоянно давала вводную: то “Проводи”, то “Поцелуй”, то “Чтобы завтра без цветов не являлся!”

Александр сразу вспомнил ту зиму, когда демобилизовался, начал работать водителем и влюбился в подросткую Ксению, жившую на соседней улице. Вернее, она сама влюбила его в себя, постоянно мелькая перед глазами. До его призыва в армию неприметной была, с косичками бегала, но, однажды увидев на танцах, едва узнал: невеста невестой! На один танец пригласил, другой — и всё, прикипел. Думал, это навсегда, на всю жизнь, но у неё были другие планы. Побывала она у врача после их встреч, кое-как сдала в школе экзамены и поехала поступать в институт. И не вернулась. А он и не переживал особенно, не зная, что уехала она с обидой в душе. Даже радовался, что всё обошлось без огласки и лишней нервотрёпки.

Вскоре познакомился с сероглазой Полиной из городского соцотдела, в тот же год женился. Жил сперва у неё, а когда родился сын Павлик, родители помогли купить двухкомнатную квартиру. Правда, пришлось немного занять, но Александр в ту пору заруливал на междугороднем автобусе и неплохо зарабатывал. Но потом их автобаза развалилась, и Шурыгин, окончив курсы охранников, начал мотаться в Москву: две недели отбарабанит, а две недели потом дома с сынишкой. Встретит его из школы, проследит, чтобы тот сделал уроки, а после, если располагала погода, уходил с ним на Сосну — рыбу удить. Уловы почти всегда незавидные, зато с сыном настоящее общение. Поднимутся они от реки, оглянутся, окинут взором заречные дали, а Шурыгин скажет:

— Вот она, Павлуш, наша Родина! Разве можно её не любить?

Сын всегда отмалчивался в такие минуты, но как-то сказал:

— И мамку тоже любить надо!

— Об этом и разговора нет, — согласился Александр, хотел напомнить, что и об отце забывать нельзя, но промолчал, опасаясь уж слишком навязывать своё мнение.

Всякий раз они, радостные, возвращались, занимались чем-нибудь по дому, и Полина в такие дни была спокойна за сына.

Когда муж уезжал на вахту, за Павликом следили его бабушки. Правда, они не всегда успевали за внуком, взрослеющим с каждым годом и проявляющим всё бóльшую самостоятельность. Сын мог улизнуть от надоедливой опеки и полдня бродить по городу: то на карусель отправится и там подерётся с мальчишками, то в тире все карманные деньги потратит, то к матери на работу зайвится. А как-то в Москву к отцу махнул. Но не доехал — в тот же день с поезда сняли. Но всё это теперь в прошлом. Сын повзрослел, правда, но по-прежнему ластился, как детсадовец: “Папка” да “Папка”.

Все эти годы Шурыгин ничего не знал о Ксении, хотя чего проще: сходи к её родителям, поговори, глядишь, какая-то появится ясность. Но не хотел ворошить старое. Хотя кое-что узнал в прошлом году от её одноклассницы. Оказывается, уехав после школы, Ксения вместо института устроилась

в Москве на электрозаводе, поселившись в общежитии, работала в обмоточном цехе, но эта работа показалась по-настоящему тягостной. Узнав, что заводские подруги вербуются на Камчатку, примкнула к ним и потом на плавбазе разделявала рыбу, ставшую сниться в кошмарах.

Более её подруга ничего не рассказала, хотя знала, что Ксения при очередном возвращении из плавания закрутила роман с местным парнем, вскоре расписалась с ним, и каторга на плавбазе осталась только в воспоминаниях. Они, понятное дело, хотели ребёнка, но ничего не получалось. Ксения для вида ходила по врачам, хотя догадывалась о причине своего несчастья, нехорошо вспоминала Шурыгина и укоряла себя, тогдашнюю дурочку. Долго мечтала об искусственной беременности. Когда же поделилась заботами с мужем, то он наотрез отказался показываться медикам, да ещё укорил: “Тебе надо — ты иди, а меня не позорь на весь город!” Ксения понимала мужа, но и обиду не могла терпеть: предложила развестись, и он легко согласился. Так и закончилась её камчатская эпопея. И вот уже полгода прошло, как она вернулась на малую родину. Устроилась диспетчером в автоколонну.

Шурыгин после разговора с подругой Ксении жил размеренно и спокойно, зная, что ничего изменить не может. Но вот, совсем не ожидая, встретил её саму, и вновь полыхнула весенней свежей молнией прежняя любовь, и вернулись нерастратенные чувства, и он, забыв обо всём на свете, провёл с Ксенией на съёмной квартире несколько ночей. Вскоре бросил работу в Москве, вернулся за руль, устроившись в такси, и Ксения обеспечивала выгодными заказами. Но главное, из дома ушёл, никому ничего толком не объяснив, не поговорив; однажды по-тихому заехал и набрал сумку вещей. Лишь жене потом доложил по телефону коротко и грубо:

— Можешь не ждать...

— Я-то ладно... А как же сын? — охнув, спросила она.

Он промолчал, не найдя нужных слов, потому что и сам не знал их, лишь надеясь на предстоящий разговор с Павлом. Он поймёт, должен понять. Взрослый ведь совсем, недавно паспорт получил.

Пока собирался поговорить, месяц проскочил, как во сне, а он и не заметил этого из-за привалившего счастья, повторявшегося изо дня в день и ставшего продолжением начальных давних дней. Он всё-всё вспомнил, как у них начиналось: как впервые пригласил Ксюшу на танец, как впервые поцеловал, как утешал и вытирал слёзы после вспышки трепетной близости, когда никто из них не понял, как она произошла. Но ведь произошла и потом повторялась неоднократно. Шурыгин в те дни потерял голову. Он и теперь, пережив всё заново, продолжает находиться в необъяснимо волшебном состоянии. Даже забыл на какое-то время о сыне и вспомнил о нём, когда позвонила жена и будто обожгла, сказав, что он ушёл из дома и второй день не появляется.

— В полицию-то хотя бы заявила? — резко спросил Шурыгин, сразу вернувшись с небес на землю.

— Заявила, да что толку... Это всё из-за тебя, из-за твоей крали...

— Он и прежде сбегал, с поездов снимали.

— Когда это было-то? А если и сбегал, то с тобой хотел быть, а ты этого так и не понял. Променил сына неизвестно на кого!

— Хватит мораль читать. Найдётся. Не мог он далеко уйти. Где-нибудь на вокзале болтается.

Разговаривал Шурыгин при Ксении, и она сразу поняла, о ком речь, но всё-таки спросила:

— С сыном что-то случилось?

— Из дома ушёл.

— Ничего особенного... Набегается и вернётся. На Камчатке, бывало, молодёжь месяцами на реках живёт, когда рыба на нерест идёт. И ничего — родители не переживают особо. Это же так романтично! — А у самой рот до ушей, будто вспомнила что-то неописуемо приятное.

Уж лучше бы Ксения промолчала, а то после её пустых слов да ухмылочки в Александре всё перевернулось; он догадался, что она радуется его несчастью.

— Одно дело, когда с разрешения, а другое дело, когда... — Он не договорил, не стал уточнять, имея в виду свою вину перед сыном.

Ксения хмыкнула, а он вдруг посмотрел на неё невидящим взглядом, вспомнил все отношения — и сделалось необъяснимо погано на душе от её привычки беспричинно хихикать. И ладно бы если по-настоящему рассмеялась: открыто и радостно, если случай подобает, а то хихикнет и затаится. Разреши ей, она и сейчас бы заверещала. И представив это, он вдруг понял, как ненавидит её. Никогда не думал, что перемена в отношениях может произойти в одно мгновение, но у него это произошло. И сразу посмотрел на неё с плохо скрываемым презрением, впервые пожалел, что вновь связался.

Ксения это поняла, но промолчала, не стала обострять отношения, догадываясь, из-за чего ушёл из дома сын Александра. Но когда Шурыгин, вздохнув, отвернулся, она впервые почувствовала злорадство, вспомнив себя и его, из-за которого теперь не может иметь детей. Она даже согласилась бы на такого взбалмошного ребёнка, как у него. У неё бы он не убегал, она бы и на секунду не оставляла его одного. А то ведь он привык бегать из-за одиночества. У какого ребёнка хватит выдержки ждать отца две недели, если мать, как рассказывал Шурыгин, выражая недовольство, днями пропадала на работе, а после спешила в народный театр. А у их театра только название громкое, а так сплошная самодеятельность, но жене его об этом не скажи, а кто осмеливался — навсегда враг. Александр даже и о бабушках рассказал. Они ещё те у его сына: суетливые, назойливые — либо закормят, либо заучат, а настоящей пользы от них почти никакой, если норовят всё делать посвоему, будто соревнуясь друг перед дружкой, особенно тёща, работавшая прежде бухгалтером, а теперь билетёром в кинотеатре, поэтому днём почти всегда свободная.

После известия о пропаже сына Шурыгин не стал долго пререкаться с Ксенией, сразу же поговорил со знакомым полицейским, с которым когда-то учился в школе, объяснил ситуацию, и майор успокоил:

— Не переживай, Санёк! Парень твой нормальный, никогда ни в чём не замечен, приводов не имеет. Оголодает — сам вернётся.

— В том и дело, что ни в чём не был замечен. На таких олухов всё и сваливают. Попадёт в историю, потом попробуй исправь.

— Всё пучком будет. Заявление от твоей приняли, завтра в розыск его объявим, но ты и сам по городу поищи, всё равно ведь мотаешься из конца в конец. В автоколонне объявление повесь, извести водил о пропавшем сыне, приметы сообщи, фотографию размножь. Обязательно где-нибудь отыщется. Уж поверь мне.

Шурыгин только вздохнул.

Из-за одолевшей паники он сутки мотался по городу, изучил все подозрительные места вокруг вокзала, переговорил с бродягами, оставил им номер своего мобильного, дал денег, чтобы позвонили, сообщили о белобрысом парнишке в цветастой куртке. Несколько раз говорил с Полиной, но и у той никаких новостей — лишь слёзы. Шурыгин всегда считал, что она не особенно любит Павлика, но теперь понял, что это не так, если любой разговор заканчивала укором: “Ну, что ты за отец такой, если сына найти не можешь!” Даже как-то заехал к ней, чтобы обсудить дальнейшие поиски. В прихожую зашёл и не узнал Полину. Она и прежде не отличалась упитанностью, а теперь совсем превратилась в тень, лишь глаза зарёванные округлились и смотрят до невозможности укорительно.

— Ну и зачем явился? — спросила, не глядя в глаза.

— О сыне поговорить... Я вот о чём подумал: может, его девчонка в курсе. Ведь знаешь, какие они в этом возрасте скрытные. Видел его несколько раз с одной из нашего подъезда — с короткой стрижкой такая, чернявенькая, на пятом этаже, кажется, живёт. Сходила бы к ней, может, что-то знает о Павлике.

— Об этом мог бы и по телефону попросить. Да и при чём она, если Паша меня заподозрил в измене... Видишь, сумка стоит? Двоюродный брат с женой на днях с Украины приехали работу искать... Несколько дней у нас помотались, а теперь в Воронеж отправились. Если ничего и там не найдут — в Москву поедут.

— Брат-то при чём?

— При том... Паша увидел его в коридоре и подумал, что я чужого мужчину привела тебе назло, вот и сбежал. Да ещё обозвал, как последнюю... — Она не договорила, закрыла лицо руками, зарыдала.

— Что же не разъяснила-то?

— Он и слушать не захотел. Рюкзак с учебниками бросил — и сразу за порог. Сказать ничего не успела.

— Да, закавыка... Ладно, успокойся — у нас теперь общая забота! — Он попытался обнять жену, утешить, но она оттолкнула его:

— Не прикасайся гадкими руками... Когда зимние вещи заберёшь?

— Заберу-заберу — не переживай... — сразу осёкся он, хотел сказать, что до последнего времени был верен ей, но понял, что сейчас бессмысленно говорить об этом. Развернулся, торопливо шагнул к двери, ничего более не сказав от досады.

Перепадка с женой настроения не улучшила, но дала понять, что и Полина переживает о сыне всерьёз. Оказывается, ещё что-то шевелится материнское в её театральной душе. Шурыгин всегда думал, что у жены на первом месте самодеятельность и свихнувшиеся тётки с их косматым престарелым режиссёром, мянцать себя, как он говорил, небожителем. Иногда собирались у них на квартире — расфуфыренные, в невообразимых одеждах, — и тогда они с сыном брали удочки и шли на Сосну или отправлялись гонять мяч на спортивную площадку.

После разговора с женой Шурыгину стало не до Ксении. Даже более того, она сделалась окончательно неприятной, особенно после того, когда у неё появились сигареты. Он отмалчивался, как мог, скрывал чувства, но как их утаишь, если они без слов понятны. А на работе и вовсе с ней о личном ни гугу. Она же из вредности стала давать заказы самые мелкие и невыгодные, а он как будто не замечал ничего: молча зайдёт в диспетчерскую, возьмёт путёвку, заказы, если есть, — и прощай до конца смены. На всю эту мелочность Александр не обращал внимания. В эти дни одна терзала забота: где отыскать сына? Уж весь город, казалось, прочесал, чуть ли не во всех подъездах побывал — никакого толку. С одноклассниками его разговаривал, с директором школы. К кому ещё обратиться — не знал. Ведь всю страну не охватишь. Оставалось ждать и надеяться. Но хорошо ждать, когда знаешь, что встреча состоится, а вот как быть, если сплошная неизвестность. Волком вить?

Прошло несколько тяготных дней, и Шурыгин вдруг испуганно понял, что привык к поискам и ожиданию, отупел от него. Оно стало привычным состоянием и почти не волновало, словно история с сыном должна разрешиться сама собой или с чьей-то посторонней помощью. А вот каким конкретно образом — это оставалось загадкой. Поэтому пустил розыски на самотёк, хотя продолжал по инерции присматриваться к прохожим, расспрашивать водителей автобусов. Всем показывал фотографию сына, но всё впустую.

Вскоре похолодало, иногда шёл снег, и где мог скрываться в такую погоду Павел? Где? Из полиции тоже никаких новостей. Позвонил приятелю, но тот как о нестбщем:

— Потерпи, потерпи. Людей годами ищут.

— Вот спасибо, дорогой друг, вот обрадовал! — не сдержав досады, подначил Шурыгин. Он и прежде-то относился к приятелю-полицейскому, у которого главным в жизни было желание получить очередную звёздочку на погоны, насмешливо, а теперь и вовсе потерял к нему уважение.

А тут ещё собственная мать, узнав от Полины об исчезновении внука и о том, что Александр ушёл от неё, закатила истерику, попросила немедленно приехать, сославшись на боли в сердце, а когда он, всё бросив, примчался, устроила показательную взбучку.

— И где же ты, милоч, гнёздышко новое свил? Кто же она, что сына вынудил скитаться из-за неё? — подступила она к Шурыгину, забыв о болячках.

— Мам, не бросал я его и никогда не брошу, потому что люблю всех сильнее на свете. Всё случайно приключилось.

— Такие дела случайными не бывают. В общем, так: пока дело далеко не зашло, возвращайся к Полине, вместе сына ищите.

— Был, не нужен ей стал... Брезгает.

— Простит, если к нам жить переберётся, пусть и не сразу. А ты змею-разлучницу, какая пригрела тебя, забудь, пока не поздно! Чтобы нога к ней не ступала!

— Что, достукался? — устало укорил вышедший из спальни на разговор отец, совсем поседевший за последнее время, сердито посмотрел из-под густых бровей.

— Что вы всем скопом навалились... Ладно, подумаю... — Это всё, что мог сказать родителям Шурыгин. Хотел забыть разговор с ними и не обижаться на стариков, но их нагоняй всё равно не прошёл впустую.

Отношения с Ксенией вскоре окончательно разладились, и теперь он только ждал момента, чтобы рассчитаться из автоколонны и вернуться в охранники. Уж лучше так, чем неволить себя. В какой-то вечер сказал ей об этом, даже попросил прощения, что взбаламутил, но она совсем не удивилась, лишь зябко повела широкими покатыми плечами:

— Ты как был скотиной, так ею и остался. Уходи — держать не буду! — и завернула его в одеяло.

“Вот дожид до чего, — подумал он, — обе гонят и видеть не хотят!”

Перебрался он на следующий день, хотя чего перебираться-то — сумку собрал и был таков. Правда, сказал на прощание, пытаясь сгладить расставание:

— Нам надо одним пожить. Вот тебе деньги за квартиру — расплатишься с хозяйкой. В случае чего — звони, я буду у родителей.

— И не подумаю, больно нужно.

От её вредных слов Шурыгину сделалось легко на душе. Значит, не надо объясняться, что-то придумывать, врать. Ушёл — и ушёл. Как говорится, скатертью дорога.

Вроде бы легче сделалось, но мысли о сыне не покидали ни на минутку. Он ставил себя на его место, пытаясь воссоздать цепочку его возможных действий и поступков. Мыслями голову забивал, но разве можно всё проследить и предугадать, пусть и за сына. Ведь наверняка у него всё по-другому, если он и думает не так, как сам думал в его годы. У них на уме был футбол и хоккей, а то, бывало, драки устраивали: улица на улицу, милиция разгоняла. А разве нынешних чем-то заинтересуешь. Вахлаками растут, слова поперёк никому не могут сказать. И хорошо, что у него хватало времени заниматься Павликом, учить уму-разуму. За полмесяца они успевали многое: в футбол играли, за грибами ездили, опять же — на реку ходили. Зато другую половину месяца сын проводил под надзором бабушек. Придёт из школы — рюкзак под стол, перекусит и за компьютер. Напомнят ему об уроках, а у него один ответ: “Не задавали! — Как же так?” — возмутятся они, а если сильно пристанут, то он приврёт: “Теперь уроки через компьютер удалённо делают. Совсем отстали от прогресса!”

Они, конечно, жаловались матери, когда она приходила с работы или из театра. Та надоедливо ругала, призывала к совести, а потом усаживала за письменный стол, а он носом в тетрадку начинал клевать, засыпая. Поэтому у Полины и бабушек вся надежда была на него, Шурыгина, — всегда строгого, рассудительного и авторитетного: как сказал, так и сделал.

Но как ни слыл Александр примерным, всё-таки недавняя встреча с Ксенией, уход от жены всю его примерную жизнь поломали и всё в нём перевернули. Когда же пропал сын, ходил небритый, взъерошенный, к себе наплевательски равнодушный. Если прежде, когда в жизни всё ладилось, шагал легко, открыто, словно по проспекту, то теперь, поддаваясь студёному ветру надвигающейся зимы, будто пугливо вихлял окольной дорогой, постоянно спотыкался, не зная, как свернуть с неё. И это продолжалось до того дня, когда у родителей привёл себя в порядок.

В эти же дни договорился с начальником автоколонны, что доработает календарный месяц, хотя надо было бы сразу рассчитаться, чтобы не мелькать перед Ксенией и поскорее забыть её. Окончательно и навсегда. И Полину

забыть, потому что дважды в одну воду не войдёшь. Теперь у него осталась только одна забота: сын! Вот кого он любил по-настоящему и ради него готов на всё. Эта внутренняя установка вывела его из недавней меланхолии, когда опускались руки от неопределённости, отсутствия хоть каких-то вестей о Павле.

Мотаясь по городу, Шурыгин постоянно отслеживал прохожих на тротуарах, на автобусных остановках, в иных людных местах, пытаясь не пропустить разноцветную куртку сына. Дважды обманывался. В одном случае оказался молоденький пацанчик, а в другом — кособокая старушка. “Тебе-то зачем молодой рядиться? — подумал он, чуть не поперхнувшись. — Модница выискалась, едрит твою в корень!” Но даже и эти случайные встречи не отбили охоту к поиску, и он превратился в механически озирающегося робота.

В предпоследнюю смену перед увольнением он в поздний час возвращался в автоколонну и увидел на мосту через Сосну торопливого прохожего, в походке которого виделось много знакомого: левая рука прижата, а правая работала, словно маятник. Такая походка была только у сына, только он мог так идти, словно загребая воздух. Вот только смутила непонятная одёжка, казавшаяся в ночном освещении серо-грязного цвета, и высокая кепка, в каких прежде ходили старики. И всё-таки Шурыгин резко затормозил, заскользив по наледи, остановил машину, хотя на мостах запрещено останавливаться, и подбежал к шарахнувшемуся от него человеку.

— Стой же, стой! — отчаянно закричал Александр, узнав сына, еле догнав его и ухватив за широченную куртку. — Пашка, это я — твой отец!

Отдышавшись, Александр прижал сына к парапету, попытался посмотреть ему в глаза, но тот лишь отворачивался и вырывался. А когда, повернувшись, выкрикнул: “Отстань, всё равно домой не пойду!” — Шурыгин увидел, что у сына подбит левый глаз, и от этого стало ещё жальче его.

— погоди, не ерепенься! Не хочешь домой, поедem к бабушке! Ведь мы все ночи не спим, весь город по десять раз прочесали, а ты как растворился!

— В Липе неделло был, зря старались...

— Ну, и чего в том Липецке забыл? Это там под раздачу попал и куртки лишился?

— Да... Пацаны местные бортанули.

Через силу, исподлобья косясь, Павел будто цедил слова, и Шурыгин не знал, как успокоить его, заговорить нормальным языком.

— Чего не звонил-то?

— Телефон отняли... Но даже если и не отняли бы, всё равно звонить не стал. Ты и мать — предатели. Оба бросили меня!

Неожиданно Павел вырвался и пустился наутёк, но бежал, неуклюже прихрамывая, поэтому остановился, почувствовав, что отец догоняет.

— Стой! — истерично выкрикнул сын, не подпуская его к себе. — Если подойдёшь, в реку сброшусь!

Угроза прозвучала так отчаянно, что Александра обожгла мысль: “А ведь действительно сбросится... Тогда всё...” И он замер в нескольких шагах, стараясь не провоцировать сына опрометчивым движением, успокоить его, понимая, что в этот момент всё может произойти от случайного неуклюжего слова.

— Ладно, не подойду, только выслушай меня... — обиженно попросил Шурыгин и замаялся. — Ты дуешься на нас, но это правильно лишь наполовину. О матери ты зря плохо подумал... К ней брат с женой приезжал с Украины — работу они искали, не нашли и дальше поехали. Вместо того чтобы поговорить и что-то выяснить, ты фыркнул и убежал, сделал по-своему... Ладно, у тебя на меня обида, но мать с бабушками и дедом при чём? Или ты только о себе думаешь? Если считаешь, что такой безгрешный и умный, то продолжай скитаться, мне более нечего тебе сказать! — выкрикнул Александр срывающимся голосом.

Чувствуя, как от обиды глаза застилают слёзы, а более от своего неумения повлиять на сына, хоть как-то уговорить, он резко повернулся и пошёл к машине на ватных ногах, понимая, что проиграл, что зря старался, и не

знал, что теперь делать. Хотел вернуться, ещё раз поговорить с сыном, убедить его, но почти у капота услышал сзади топот, оглянулся — а это Павел совсем рядом... Подбежал, ткнулся в грудь, вздохнул и посмотрел в глаза, жалобно попросил:

— Прости, пап! Я всё понял! — и совсем по-детски заревел.

От его признания и слёз Шурыгин онемел, крепче прижал к себе сына и долго стоял с ним в обнимку, чувствуя, как он весь дрожит. Когда они более или менее успокоились, Шурыгин твёрдо сказал:

— Садись в машину, к матери отвезу! Хватит, набегался!

И сын покорно согласился, а Шурыгин всё ещё не верил в этот счастливый случай, когда всё разрешилось столь неожиданно просто.

Пока ехали, Павел во все глаза смотрел на отца. Хотел что-то сказать и не решался. Только у самого подъезда, когда Александр спросил: “Сам дойдёшь?” — он попросил:

— Пойдём вместе, пап, пожалуйста!

Александр замялся:

— Не могу. Я ведь теперь у родителей живу...

— Как хочешь, — не стал настаивать сын, укоризненно посмотрев долгим взглядом. — Всё равно спасибо, что нашёл меня!

Он, оглядываясь, направился к подъезду, а Шурыгин смотрел ему вслед, всё ещё переживая и волнуясь. Но вот Павел у двери остановился и быстро вернулся, твёрдо сказал в открытое окно, как приказал:

— Пошли, тебе говорю! Я мамке всё объясню. Она поймёт — вот увидишь!

— Как же это... — растерялся Александр, не ожидая от сына такого напора, и засомневался в себе, но лишь на малое время; тотчас душа его распустилась, и он не посмел послушаться, радуясь за Павла, за себя и за тех людей, кто в этот поздний час возвращался с окольных дорог.

Редакция поздравляет нашего автора с 70-летием!

Однажды (в 1992 году в Иркутском Доме литераторов на улице Степана Разина, 40) мы оказались с В. Г. Распутиным вдвоём в зале, немного поговорили о проблемах нашего писательского бытия, о литературе, о скудеющем языке, а потом я сказал:

– Валентин Григорьевич, есть преподаватель в пединституте, которая ездит в деревни, общается со старыми людьми, записывает их истории о прошлом, о работе, об охоте и рыбалке – обо всём, что было, и как это было отразилось в их восприятии мира. Главное, она старается записать и сохранить народную речь, слова, которые забываются, стираются из памяти. Она издала книгу “Рождественская ночь”, в которой собраны сказки, былички и бывальщины, заговоры. Замечательная книга.

Валентин Григорьевич внимательно слушал, смотрел на меня, ждал, к чему я это говорю.

– Зовут её Галина Витальевна Афанасьева, по мужу Медведева. Надо принять её в Союз.

Он помолчал немного, размышляя, видно было, что не согласен, сказал:

– Вряд ли в Москве утвердят: это же не писательский труд – собрать, записать, – это не литература. Труд, конечно, но, скорее, научный.

– Но записанные рассказы – это же порода, из которой ещё нужно извлечь и отшлифовать алмаз, разве это может сделать не художник? Кроме того, у неё там есть и очерки о сказителях – великолепное художественное слово! Были же у нас писатели-очеркисты. . .

– Да, – кивнул Валентин Григорьевич, – есть.

Он будто согласился, но видно было, что сомнение осталось.

10 лет прошло с тех пор. Галина Витальевна продолжала поездки в отдалённые деревни и посёлки, записывала, фотографировала и, наконец, решила оформить своё богатство в виде “Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири”.

К подготовленному первому тому Словаря небольшое предисловие написал научный редактор, доктор филологических наук Ф. П. Сороколетов, но требовалось сказать и о высоких художественных достоинствах книги. Галина Витальевна попросила меня написать предисловие. Я выполнил просьбу, но посоветовал обратиться к Распутину, он не откажет – это будет лучше и веселее.

Галина Витальевна принесла рукопись первого тома в Дом литераторов и оставила её для Валентина Григорьевича. Он прочитал, позвонил Галине Витальевне и предложил встретиться. А для первого тома Словаря дал предисловие “Русь Сибирская, сторона Байкальская”.

Это Предисловие (с большой буквы!) Валентина Григорьевича, несомненно, вошло ещё одним бриллиантом в Словарь как образец народного Слова и как пример для всех пишущих на русском языке.

В члены Союза писателей Г. В. Афанасьеву–Медведеву приняли. Она защитила докторскую диссертацию, у неё вышли две книги об охоте на медведя, в 2017 году ею был издан Словарь “Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина”.

В 2018 году у Галины Витальевны прошло несколько юбилеев. Сколько ей исполнилось лет, тайну раскрывать не будем. Но дату стоит назвать – 6 июня, как у А. С. Пушкина!

И на выходе **двадцатый** (но не последний!) том “Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири”. За тринадцать лет (первый том вышел в свет в 2006 году) – двадцать томов, да каких! И всё это сделано без отрыва от экспедиций. Она постоянно – зимой и летом, весной и осенью, в распутицу, в зной и в стужу – “в работе”. И сегодня, когда пишутся эти строчки.

Пусть голос Валентина Григорьевича из его Предисловия напомнит нам, как надо относиться к негромким, но подлинным патриотам русского народа. Будем считать это Предисловие поздравлением юбиляру, к которому, надеюсь, присоединится и редакция “Нашего современника”.

Да, каждый словарь – это 500–600 страниц с фотографиями и более пятисот сказов с указанием имён сказителей и с названиями деревень. А деревень, в которых побывала Галина Витальевна, уже к 2002 году (ещё до Словаря), набралось 1230, ныне же число обследованных поселений перевалило за две тысячи.

Иван Комлев

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

РУСЬ СИБИРСКАЯ, СТОРОНА БАЙКАЛЬСКАЯ

(предисловие к “Словарю говоров русских старожилов Байкальской Сибири”)

У М. Горького в романе “Жизнь Клима Самгина” есть такая сцена: “На эстраду мелкими шагами, покачиваясь, вышла кривобокая старушка, одетая в тёмный ситец, повязанная пёстреньким, заношенным платком, смешная, добренькая ведьма, слепленная из морщин и складок, с тряпичным круглым лицом и улыбчивыми детскими глазами...”

С эстрады полился необыкновенно певучий голос, зазвучали веские старинные слова. Голос был бабий, но нельзя было подумать, что стихи читает старуха. Помимо добротной красоты слов было в этом голосе что-то нечеловечески ласковое и мудрое. Магическая сила, заставившая Самгина оцепенеть... Ему очень хотелось оглянуться, посмотреть, с какими лицами слушают люди кривобокую старушку? Но он не мог оторвать взгляда своего от игры морщин на измятом добром лице, от изумительного блеска детских глаз, которые, красноречиво договаривая каждую строчку стихов, придавали древним словам живой блеск и обаятельный, мягкий звон.

Однообразно помахивая ватной ручкой, похожая на уродливо сшитую из тряпок куклу, старая женщина из Олонецкого края сказывала о том, как мать богатыря Добрыни прощалась с ним, отправляя его в поле на богатырские подвиги. Самгин видел эту дородную мать, слышал её твёрдые слова, за которыми всё-таки слышны были и страх, и печаль, видел широкоплечего Добрыню: стоит на коленях и держит меч на вытянутых руках, глядя покорными глазами в лицо матери...”

Сцена эта описана М. Горьким с натуры: в 1896 году на Всероссийскую выставку в Нижний Новгород приезжала знаменитая сказительница былин Ирина Андреевна Федосова и имела огромный успех. Спустя ещё полтора и два десятилетия на былины не менее знаменитой исполнительницы с Пинеги М. Д. Кривополеновой собиралось в столицах столько же слушателей, сколько на концерты Шаляпина. Широкий интерес и даже восторг русского общества народным творчеством продолжались к тому времени почти полный век и были сбиты только революцией, да и то ненадолго, и изучение и собирание

фольклора не прекратилось и во весь XX век. По справедливости считалось, что уж это-то нам не изменит.

Одновременно шло и пополнение русского языка: все жанры фольклора, сколько их ни есть в малых и больших формах, сказывались и выпевались народным словом. Это даже и не сравнение, не уподобление одного другому, а органическая жизнь языка, закон его существования и функционирования: основное его русло полнится, оживляется и украшается многочисленными притоками местных говоров, “истечением” его огромных словообразующих площадей и устных поэтических оазисов. И как для экологии природы вредны грязные производства, так и экологию языка загрязняют “фабрики” чужесловия, дурно- и тупословия, против которых вместе с охранительными законами нужна и постоянная расчистка родных истоков.

Чудного, поистине волшебного звучания в XIX веке русский язык достиг благодаря народным речевым кладовым, открывшимся вместе с фольклором. Столь совершенным поэтического “инструмента”, как Пушкин, не было ни до-толе, ни после, но явление его счастливо совпало с интересом к крестьянской Руси, которая в своих преданиях и сказаниях из уст в уста накопила такую мудрость и такую поэзию, что только ахай да ахай. Пушкин и сам записывал песни и сказки, и подвигал к этому занятию своих друзей-литераторов. Без него не было бы бесценного собрания народных песен П. В. Киреевского, положившего начало богатейшей песенной библиотеке (в записях П. В. Шейна, П. Н. Рыбникова, А. И. Соболевского и др.), без него Гоголь не освоил бы столь виртуозно самую музыку русского языка; не дружи с Пушкиным В. И. Даль – как знать, решился бы он на свой гераклов подвиг и смог ли бы собрать столь щедрый урожай, сам-сто или даже сам-двести с живого великорусского языка в своём бессмертном “Толковом словаре”! В XIX столетии началось дружное движение из местных таёжек, лесов и гор, с побережий морей и рек всех жанров устного народного творчества, и лучшей частью влившись в литературный язык, оно своей живостью, яркостью, мудростью и точностью окончательно раскрепостило, усладило и щедро обогатило нашу письменность.

В обильном пиршестве великорусского языка, как за скатертью-самобранкой, с которой чем больше потчешься, тем больше прибывает, участвовали и Тургенев, и Лесков, и Бунин, и Шмелёв; будто на гармошке, растягивая полнозвучные меха, играли на нём Никитин, Кольцов, Есенин. Драматург Островский называл свои пьесы народными поговорками, для своих нраво-учительных рассказов их же отыскивал Л. Толстой. Он восхищался: “Что за прелесть народная речь! И картинно, и трогательно, и серьёзно... Язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может сказать поэт, мне мил... Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное – язык не позволит”.

...Это преддверие разговора о настоящем словаре, эта торжественная похвала в честь простонародного языка, надо полагать, не будут лишними: да, были времена, и не столь далёкие, когда этот могучий источник нашей словесности представлялся неиссякаемым. И что же – прошли былинные?

Двадцатитомный словарь, и сам подобный эпосу по богатству вобравшего в себя материала, должен бы, казалось, располагать к оптимизму: какая глыбища! какое безбрежье нетронутого и самородного! И это по следам прежних экспедиций, по торным фольклорным тропам, по которым прошли М. К. Азадовский и Е. И. Шастина, и В. П. Зиновьев, и Л. Е. Элиасов, и Р. П. Матвеева, и другие до них и после них... Стало быть, источник этот и в самом деле неисчерпаем и воспроизводство областных говоров в поколениях столь же естественно, как воспроизводство почвы от растительного покрова?

И это так бы и было, когда бы русская деревня оставалась в здравии и если бы оставалась она хотя бы в относительной изоляции от большого, распахнутого всем ветрам и поветриям, теряющего последнюю родовую и культурную индивидуальность мира. Корневище народного языка может быть питательным только в глубинах почвы и в глубинах неповреждённой жизни, а нет их – не будет и корешков у старины, не даст побегов и зачахнет самоцветное слово.

Этот величественный труд под названием “Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири” собирался больше четверти века, и те сотни

и сотни деревень, по которым прошла Галина Витальевна Афанасьева-Медведева, тем и привлекали фольклористов, что лежали эти деревни в стороне от набитых дорог, жили теми же занятиями, что и при заселении (охота, рыбалка, пашня), и находились в естественной резервации. Предыдущие 250 лет быт в сибирской таёжной деревне изменили меньше, чем последние 25 лет. Последние 25 лет его, можно сказать, обрушили. По Ангаре, окончательно превращённой в электрическую силу, старые поселения по берегам и островам постигла участь Матёры, ушедшей под воду; по Лене они опустели оттого, что окончательно были оставлены государством – точно отступило оно в спешке от превосходящей силы какого-то невидимого противника. Не лучше картина по забайкальским тайгам и рекам. С корнем выдраны деревни из земли, торчат одни печища. “Где стол был яств – там гроб стоит”: заросли крапивы по местам семейных гнёзд да в сторонке скорбный погост – вот и всё, что осталось от крепких и полнолюдных обитателей.

И впечатление такое от этого словаря, будто говоры его были чудом подхвачены уже на излёте в небытие. Чуть бы замешкаться – и не догнать, не услышать, не записать этот бесценный памятник не одного лишь языка, но и народной жизни в трудах, праздниках, общении, обычаях и верованиях, в претерпении судеб и необычайной духовной силе.

Структурная особенность словаря в том, что заглавное слово, будь то географическое обозначение или диалектная изюминка, не изымается из текста с короткой ссылкой на его применение, а даётся в “работе”, в пространным рассказе, и от этого вместе “со товарищи” украшает и текст, и ярче и богаче становится само, получает полное семантическое, фонетическое и морфологическое значение. Это двойная, даже тройная отдача текста: рассказ оживает, у него появляется интонация, голос, избранное в “предводителе” слово таинственным образом организует его в одно целое информационное и художественное свидетельство жизни.

Словарь этот и есть энциклопедия народной жизни из уст самого народа, сказываемая столь буднично, будто в установлениях своих и законах она естественно, сама собой соткалась из дружеского расположения друг к другу человека и природы. Вот рассказ-обычай, иллюстрирующий слово “запрета”. Уже само слово вызывает вкусовое ощущение, удовольствие: если есть “запрет”, в просторечии “запрета” – должна быть и “распрета”, только не каждому она даётся. “Вот раньше *запрёту* делали. *Августóвская запрёта*. Никто за ягодам не пойдёт, пока не будет *августóвской распрёты*, никто. Важной ягоде был свой бой... Раньше-то – ой! Срок на охоту, раньше строго это было, охотиться да ягоды. Всё в своё время”.

Это с моей родины на Ангаре голос донёсся, из моего детства, когда такие “запреты” и “распреты” почитались законом и на ягоду, и на кедровую шишку, и на зверя, и на рыбу. И законы эти не Думой принимались, не президентом утверждались, а являлись самим дыханием местного народа, сыновьям правилом взаимоотношений с тайгой и рекой, высшим велением брать у них то и тогда, когда это не нанесёт их “пастбищам” урона. “Ухожье было” – пояснит в другом месте словарь, имея в виду нравственную опрятность деревенского человеческого мира в отношениях с миром Божиим.

А вот ещё свидетельский голос с моей родины, судьба которой оказалась трагической от государственной “неопрятности”, разом, всего в несколько десятилетий сокрушившей Ангару вместе с её притоками и тайгу вместе с её живностью и сезонными дарами-припасами. “Мы в своём доме жили в *Абáкшиной-то*. *Потома-ка* там всё затопило. *Счас* там всё сплошь *водопóлье*. *Или́м-то* весь. ГЭС строили <...>. А *кака бра́ва-то* была, *Абáкшина-то* наша. Она на двух речках стояла. Там *Чóра*, она в *Или́м па́дат*. Вот она там стояла. *На угоре* на высоком... Народ был хоть и не в достатке, голодный и холодный был, всякий, а было весел и дружнё было. Народ был дружный (...). *Горе* то одно тогда было. Богатых не было, все *ро́мно* жили. А теперь видите?! Ты живёшь хорошо, я живу худо, уже *кака-то* различия есть. Уже *на́розь*. Вот так от. А раньше?! Вот у ей если есть, у меня нету – я пришла к ей, она мне последне поделит. Как-то вот *дружли́вый* народ-то быу, *союзно* жили. Делилиша. Последний кусочек поделить. А теперь чё?! Как жить-то будете? А?”

А ведь это психология народа, душа его – тоска по былой общественной жизни, пусть бедной (да и бедность-то надо относить к коллективизации, когда весь уклад хозяйственный был перевернут с ног на голову, и к военно-послед-

военной тяжкой поре, а до того и после того жили справно) – пусть всё-таки временами бедной, но справедливой, дружной, в обрядах и обычаях красивой, “бравой” среди полноносного природного окружения. Это государствен- ный ум: “Как жить-то будете? А?”

Записи ещё тёплые, сказители ещё не все сошли в могилы, а чудится – огромные сроки миновали, и перед нами новая редакция “Повести временных лет”, чуть прояснившей доисторические события. Всего-то двадцать-тридцать годочков тонким слоем припорошили сибирские просторы, а окунувшись в это недавнее былое, о котором повествует словарь, трудно отделаться от впечатления, будто вековые заносы погребли то время и то бытие и нет между ними и сегодняшней действительностью никакой родственности. Кто теперь поймет: “Счас-то рыбы нету, её потопили...” – да ведь это нонсенс, как непременно определит образованный новожитель, а между тем точнее о гибели рыбы в запруженных плотинами сибирских реках не скажешь.

Или того чудней старина: “...Раньше друга жись была... *К чичасной жизни рази приверсташь?* Нароботасся, устанешь в плаху, язык выслупишь. Но к вечеру ничё, *одыбашь*. На вечёрку бежишь (раньше-то народ в *мирьбё* жил). Или старикам *займовасся*, за заплот зацепишься, на лавочку ли присядешь, потокуешь с *имям заодня*. Я с детства старикох любила. Язык у их чуд- ненькай... Любила за *имям* ухаживать, услужить кода. Они люди-то *сызвеш- ные, изжиты*, жалостливы, пожалеют:

– Чё же?! Ты без матери.

Щас-то без их неродно́. И жись *кака-то* скучна пошла. Народ *какой-то* всё ненастной... Друг ко дружке редко кто ходит *щас*. Ко мне кода Любава зай- дёт. А то всё одна *курюся*. И смерть-то меня не берёт. Никто-то меня не ук- радёт. Кто *ба* хоть на игрушки *украу*...”

Вот так бы слушал и слушал, так бы пил и пил из этого глубинного само- тканого источника! До чего же звучно и красиво здесь слово, как радужно оно переливается, приобнимается с другими, чтобы сказать тепло и живо, трепещет крылышками, взлетая в замысловатых формах с каких-то таинственных гнездовий, почти песенно выговаривая душу... Не станем идеализировать: срывались и у моего земляка выражения за пределами словаря, не без того, но позволял он себе это только как бы на заднем дворе бытия, зная место и время, даже и в этом грехе отличаясь сдержанностью. Утверждаю это со знанием дела: побывал и на великих стройках коммунизма, и в гостиних сто- личной интеллигентной элиты. Никакого сравнения.

Что касается суеверий и языческих текстов (а их в словаре немало) – так это не мировоззрение и не вера сибиряков XX века, а дань былому мировоз- зрению, устная фольклорная традиция, из которой слова не выкинешь. У каж- дой реки есть старицы, отставленные в сторонку места прежних ходов и ру- сел; обыкновенно они отдаются царству мифических существ. Подобные же духовные “старицы” сохраняются и в народе: жизнь и вера пошли своим пу- тём, но в неизменном окружении природной обители, вместе с уцелевшими неизменными приёмами труда и быта остаются в памяти и старинные, мхом поросшие предания.

А без них свод полносушной жизни был бы и не полон. Повторюсь: сло- варь этот именно свод, энциклопедия, житие и сказание сибирских окраин, которые Г. В. Афанасьева-Медведева объединила в Байкальскую Сибирь. Славное, достойное нашего поколения житие и вдохновенное, из уст этого жития многоголосое сказание.

И богатырский подвиг Галины Афанасьевой-Медведевой, подобного ко- торому после XIX века, кажется, не бывало. А по мере трудничества, по объ- ёмам и размаху старательства на “золотоносных” сибирских землях, вероят- но, и сравнить не с чем.

ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВА

ПОД НЕБОМ РОДНЫМ И ТРЕВОЖНЫМ

О роли Валентина Распутина в жизни земли Иркутской

Редко кто из выдающихся личностей столь крепко укоренён в родных местах, как писатель Валентин Григорьевич Распутин.

Многообразие связующих нитей диктует ещё не выявленное количество тем, достойных исследования. Вот некоторые из них: “Распутин и Иркутская писательская организация”, “Распутин и Иркутск: защита памятников старины”, “Распутин и Байкал: борьба с БЦБК”, “Распутин и православный “Литературный Иркутск”, “Распутин и Восточно-Сибирское книжное издательство”, “Распутин и Дни русской духовности и культуры “Сияние России”, “Распутин и альманах “Тобольск и вся Сибирь”...

Свои темы добавляют Аталанка и Усть-Уда, порт Байкал, Иркутская православная женская гимназия и Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, Издательство Сапронова, иркутские театры и т. д. “Распутин с нами!” – скажут и они, и это будет правдой.

* * *

Надо ли говорить о том, что всё творчество Валентина Распутина связано с Сибирью, Приангарьем и Байкалом? И если этим местам уготовано в будущем какое-то особенное положение на планете, то писатель Распутин во второй половине XX века прозрел его чутким и любящим взглядом.

Здесь пробудился его талант, и он отдал его здешней природе и здешним людям, не ища красот и диковинок на стороне. Он верил в Сибирь как в одну из самых надёжных частей России, и всем известны его слова: “Нет ничего в мире, что можно было бы поставить с Сибирью в один ряд”. Он не раз говорил, что родная Аталанка припасла ему сюжетов столько, сколько хватит не на одну жизнь. И доказал своими книгами, как, сосредоточившись на судьбах российской глубинки, можно многое сказать о сложнейших вопросах бытия, волнующих людей в разных концах земли.

Начало пути Распутина в большую литературу связано с двумя городами: Иркутском и Красноярском. Ещё будучи студентом Иркутского госуниверситета, в 1957-м он пробует перо как журналист-газетчик; в 1965-м на Читинском зональном семинаре молодых писателей получает высокую оценку за рассказы

и очерки, написанные во время недолгой работы в Красноярске; в 1966-м в двух сибирских городах выпускает сразу две книги: “Костровые новых городов” (очерки, Красноярск) и “Край возле самого неба” (очерки и рассказы, Иркутск). В 1967-м в Иркутске вступает в Союз писателей СССР. В том же году в иркутском альманахе “Ангара” и новосибирском журнале “Сибирские огни” почти одновременно состоялась первая публикация повести “Деньги для Марии”, а в следующем, 1968-м, она уже выходит отдельной книгой в издательстве “Молодая гвардия”. Валентин Распутин становится лауреатом областной премии ВЛКСМ им. Иосифа Уткина 1968 года, в 1969-м включён в состав редколлегии альманаха, бюро писательской организации. А в 1970-е развернувшийся во всю сибирскую мощь талант молодого прозаика делает возможным выход в свет новых повестей и рассказов сразу в нескольких центральных издательствах и за рубежом. Распутин избирается депутатом областного Совета, делегатом на писательские съезды, его ожидают премии, награды, звания.

При этом он остаётся жителем Иркутска, членом Иркутской писательской организации.

* * *

Воздействие Распутина на культуру малой родины возрастало естественно, по мере развития его литературной и общественной деятельности. Как это происходило, во всей полноте ещё предстоит осознать, пока же приведу те свидетельства, что оказались в поле зрения.

Писатель находился в одной творческой среде с Александром Вампиловым, Геннадием Машкиным, Вячеславом Шугаевым, Глебом Пакуловым, Евгением Суворовым, Сергеем Иоффе, Альбертом Гурулёвым, Геннадием Николаевым, Станиславом Китайским, Анатолием Шастиным, Владимиром Жемчужниковым, Алексеем Зверевым, Валентиной Мариной, Дмитрием Сергеевым, Марком Сергеевым, литературоведами Надеждой Тендитник, Василием Трушкиным, Павлом Забелиным. С несколькими будущими писателями начинал работать в газете “Советская молодёжь”, с Иоффе вместе потрудился на телевидении, с Суворовым какое-то время снимал одну квартиру; с Шугаевым и Вампиловым прятался от редакционной и житейской суеты в ангарской гостинице “Тайга”, чтобы поработать над своими произведениями. Как и все, выступал в Иркутске, в городах Братске, Усть-Илимске, Ангарске, Усолье, посёлках области по линии Бюро пропаганды художественной литературы.

Со многими был дружен, вместе ездили на Байкал, обзаводились дачами на его берегу.

“Иркутская стенка”, потеряв в 1972 году талантливого драматурга Вампилова, нашла опору в Распутине. Хотя он был по характеру скорее замкнутым, чем общительным, однако его мнение по творческим вопросам всегда имело вес. Ровесники стремятся показать ему только что написанное, с ним советуются старшие по возрасту А. Зверев и Д. Сергеев, он пишет предисловия к книгам Г. Машкина, А. Преловского, Г. Николаева, к посмертным изданиям А. Вампилова и фольклориста В. Зиновьева, к повести Е. Суворова “Совка” для “Нового мира”, помогает с московскими публикациями писателям младшего поколения А. Байбородину, В. Сидоренко. Запомнилась его благожелательная оценка повести В. Нефедьева о Байкале “Ухожу в море” на конференции “Молодость. Творчество. Современность” 1979 года. Он и в дальнейшем продолжал следить за теми, в кого поверил когда-то. Уже в недавние времена оказывает поддержку трудам Г. Афанасьевой-Медведевой – его предисловием “Русь сибирская, сторона байкальская” открывается первый том составленного ею “Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири” (2007).

Результатом влияния Распутина на собратьев по перу стало то, что никто из них при новых рыночных порядках не соблазнился лёгкими жанрами массовой литературы. И потому среди первых лауреатов Национальной премии имени В. Г. Распутина 2018 года – четверо из Иркутска: Анатолий Байбородин, Александр Донских, Александр Семёнов, Валерий Хайрюзов.

* * *

Он как-то сразу взял на себя заботу о просвещении земляков.

С 70-х годов часто бывая в Москве, выезжая за рубеж, молодой писатель оказывается в курсе многих событий. По возвращении в Иркутск делился впечатлениями, раздумьями. Залы обыкновенно были переполнены. Иркутяне интересуются, как в других странах восстанавливают пострадавшую от технического прогресса природу, спрашивают о жизни простых людей; удивляются тому, что шведский король свободно гуляет по улице, а с его детьми играют обычные дети.

Временами привозил с собой друзей – Василия Белова, Владимира Крупина, вместе с Глебом Пакуловым встречал на Байкале Виктора Астафьева и Евгения Носова. До сих пор в памяти, с какой болью говорил Белов о трагической судьбе русского крестьянства в XX веке, а Крупин от злободневных проблем легко переходил к побывальщинам и прибауткам, вывезенным из родной Вятки. И не нашлось бы читателя, который не посчитал бы за великое счастье попасть на такую встречу!

Иркутск довольно быстро ощутил действенность слова Распутина.

Уже приходилось писать о том, как очерк “Иркутск с нами” с подзаголовком “Полемические заметки”, опубликованный в центральной газете “Советская культура” в сентябре 1979 года, стал своего рода защитной грамотой в деле спасения иркутской старины. Очерк о городе, в котором сложилась писательская и личная судьба, проникнут чувством тепла и благодарности, и одновременно тревоги, и такие же чувства он вызывал в читателе. А в сентябре 1980-го “Советской культуре” в статье под острым названием “А чего на неё глядеть?..” писатель в соавторстве с архитектором Валерием Щербиным отстаивает иркутскую Троицкую церковь с её исторической средой (в то время в ней размещался планетарий). И это не остаётся незамеченным – статья вскоре была перепечатана иркутской газетой “Советская молодёжь”. Ныне Троицкая церковь – в числе действующих православных храмов. К слову, такое тиражирование распутинской публицистики, да и прозы в его родных местах началось ещё в советское время и усилилось в постсоветское, когда центральная пресса перестала доходить до сибирской глубинки.

* * *

Байкал – особая глава в судьбе и творчестве писателя.

Священное сибирское море чудесно соединилось с художественным и публицистическим даром Распутина, наполнило его произведения образами необычайной красоты, стало источником духовной силы, вызвало глубокие философские мысли о единстве человека и природы. Домик в порту Байкал сроднил писателя с озером, возникло естественное желание защитить его от неразумного промышленного освоения.

Борьба Распутина против Байкальского целлюлозно-бумажного комбината становится первостепенным делом на многие годы. Напомним статьи и очерки того времени: “Байкал” (Советская культура. 1981. 15 мая); “Сибирь без романтики” (Сибирь. 1983. № 5); “Моя и твоя Сибирь” (Советская молодёжь. 1984. 5 янв.); “Байкал у нас один” (Известия. 1986. 17 февр.); “Что имеем... Байкальский пролог без эпилога” (Правда. 1987. 11 марта). Нет необходимости долго перечислять, публикации известны, как известно и личное участие писателя в действиях, направленных на закрытие комбината.

В годы перестройки БЦБК попал в частные руки, споры о нём угасли. Однако же неподкупное слово Распутина в защиту сибирского моря продолжало звучать, жить в сознании людей и как бы витало в самом байкальском воздухе, напоминая о ядовитых выбросах комбината. И, наконец, он был закрыт.

Проект поворота северных рек волновал в 80-е годы общественность всей страны. Не только учёные, но и писатели были на острие проблемы, в их числе и Распутин. Земляки следили за его выступлениями в Москве, но однажды аукнулось и в Иркутске.

Произошло это на семинаре по теме “Актуальные проблемы современной советской литературы” на первом курсе филфака ИГУ. Подводя итоги обсуждения “Прощания с Матёрой”, преподаватель Н. С. Тендитник сообщила

о новом проекте. Посоветовала вступить за северные земли и отправить протестные письма в газеты, различные инстанции. Студенты же написали на имя Горбачёва, и не отдельные письма, а одно коллективное, начали собирать подписи. Местные партийные органы пришли в большое волнение, преподавателю грозили неприятности. Но вмешался Распутин, он обратил внимание собкора “Известий” Леонида Капелюшного на конфликт, предложил Надежде Степановне написать статью, которая затем была напечатана в этой газете под рубрикой “Гласно о гласности” – “Много шума – из-за чего?” – вместе с послесловием спецкора З. Александровой¹. В редакцию пришло немало писем в поддержку иркутян, и буря улеглась.

Надо сказать, Распутина и Тендитник связывала многолетняя дружба. Известный критик и литературовед, профессор Иркутского госуниверситета в самом начале своей работы на филфаке вела древнерусскую литературу у первокурсников, среди которых был Распутин и другие будущие писатели. Позже она напишет почти о каждом из них, особенно подробно и обстоятельно о Вампилове и Распутине. Ей принадлежит первая книга о Распутине (“Ответственность таланта”, 1978). Самый основательный труд об авторе “Матёры” – монография “Валентин Распутин. Очерк жизни и творчества” (1987) была одобрена критикой и заняла достойное место в литературоведении.

Ни разу, ни на йоту не усомнилась Тендитник ни в художественном, ни в публицистическом даре писателя, откликалась на его каждое новое произведение, разделяла его патриотическую позицию и горячо отстаивала в своих статьях и книгах, на лекциях в университете и выступлениях перед читателями. По её собственному признанию, она не могла судить его. Она верила ему, понимала его, и бывший студент не мог не ценить этого. Общенье единомышленников не прерывалось до тех самых пор, пока Надежда Степановна не ушла из жизни в 2003 году.

Многие годы преподаватель современной советской литературы ИГУ, как могла часто, приглашала Распутина к студентам, и можно утверждать, что писатель с молодых лет был вовлечён в воспитание будущих учителей-словесников.

* * *

Влияние Распутина распространяется и на Восточно-Сибирское книжное издательство. Во-первых, оно исходит от его книг, которые издаются здесь с 1966 года, начиная с уже упомянутого “Края возле самого неба”. Это была одна из двух первых книг молодого автора, и она вышла в Иркутске. В дальнейшем в городе, где жил и творил писатель, печатались, как правило, переиздания после столичных книжных издательств либо толстых журналов, особенно “Нашего современника”.

Тем не менее, за творчеством Распутина земляки следят пристально. Об этом говорит появление в иркутских газетах отрывков из его новых повестей накануне их первой публикации на страницах журнала “Наш современник”. Это значит, что в редакциях интересовались, над чем работает писатель, и просили что-нибудь дать.

Сборники повестей и рассказов, называемые каждый раз по одной из новых повестей: “Последний срок”, “Деньги для Марии”, “Живи и помни” и т. д. выходят в Восточно-Сибирском издательстве с промежутком от трёх до пяти лет, очерки и рассказы печатаются в коллективных тематических сборниках. В 1987 году здесь впервые в стране вышел в свет отдельный томик публицистики Распутина “Что в слове, что за словом?” До этого очерки в небольшом количестве подвёрстывались к книгам прозы.

Во-вторых, Распутин подключён и к формированию издательского процесса. В 1978 году он входит в редколлегия серии “Литературные памятники Сибири”, в последующие годы – в состав редсовета, участвует в его заседаниях. Помогает в разрешении спорных вопросов при подготовке публицистических серий “Писатель и Сибирь”, “Позиция”, книг “Слово в защиту Байкала” и “Твоя Земля”, составляет сборник рассказов современных писателей для детей “Санний путь”.

¹ Известия. 1985. 16 авг.

В середине 1980-х директора Ю. И. Бурыкина захватила идея создания в Иркутске всесибирского книжного издательства. Даже название было придумано – “Издательство “Сибирь”. Восточно-Сибирское, успешное в то время, могло стать базой. Началась подготовка почвы. За подписью Ю. Бурыкина и В. Распутина в “Правде” выходит статья “Сибирская книга” о развитии регионального книгоиздательства¹.

Но всё пошло в другую, провальную, сторону. В 1996 году вместе с иркутскими писателями Распутин пытается спасти издательство. Коллективная статья под названием “Исход редакторов – не выход” была опубликована в один день – 13 января – в обеих областных газетах. Увы, не помогло: преуспевающее и единственное в Восточной Сибири государственное издательство вскоре прекратило свою более чем 85-летнюю историю собирания культурных сил региона, уступив место самодеятельному книгоизданию.

* * *

Не мог остаться Распутин в стороне от такого небывалого для советской истории явления, пришедшего вместе с празднованием 1000-летия Крещения Руси, как возрождение Православия. За десятилетие до этого он принял крещение в Ельце.

Газета “Литературный Иркутск”, прежде выходившая лишь по поводу наиболее значительных событий писательской жизни, с 1988 по 1993 год принимает православное направление, вырастает в объёме и становится периодическим изданием. Те, кто следил за выпуском этой газеты-альманаха, могли видеть, как один за другим появлялись у Распутина очерки иной, чем прежде, направленности.

С высокой духовной позиции писатель размышлял на темы, посильные лишь русским классикам прошедших эпох, публицистам и философам: о значении Православия, о смысле давнего, но не истлевшего в веках раскола, о сути русскости, состоянии национального сознания, судьбах славянства на новом витке испытаний, путях женщины, изломанных цивилизацией. Сергей Радонежский в очерке “Ближний свет издалека” – пример тончайшего воссоздания идеального в простоте и святости образа русского человека.

Инициатор и составитель-редактор газеты, писательница Валентина Сидоренко в интервью журналу “Сибирь” говорит о том, как много сделал Распутин для “Литературного Иркутска”. Она называет его самым надёжным членом редколлегии, помогавшим всесторонне: писал очерки, составлял отдельные номера, помогал изыскивать средства.

“Литературный Иркутск” в определённой степени подготовил открытие в 1996 году единственной за Уралом Иркутской женской православной гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Среди инициаторов создания редкого для того времени учебного заведения был и Распутин, который вошёл в попечительский совет гимназии.

За деятельность в православном направлении и за книгу очерков “Россия: дни и времена” (Иркутск, 1993) Валентин Распутин стал первым лауреатом учреждённой епархией премии имени святителя Иннокентия Иркутского I степени. “Много у меня премий, но эта будет дороже всех”, – сказал писатель на вручении, которое состоялось на Иннокентьевских чтениях в Иркутском ТЮЗе в 1995 году.

* * *

Многое, о чём писал и за что боролся Распутин на пороге перестройки, непосредственно касалось культурной жизни Иркутска. Так, внезапно повторилась ситуация, описанная Н. Лесковым в “Соборьях”, когда на волне свободы и демократии в спектакле областного ТЮЗа “Каин” по пьесе Дж. Байрона библейский сюжет переосмысливался с уклоном в оправдание Каина как борца с несправедливостью. Разгорелась дискуссия в местных газетах,

¹ Правда. 1987. 3 февр. С. 3.

на телевидении, а в журнале “Театральная жизнь” появилась статья В. Распутина в соавторстве с Р. Филипповым с резкой критикой спектакля¹.

Значимость Распутина для Иркутска усиливалась до начала 1990-х. Перестроечные годы принесли раскол в обществе. Распутин остался на позиции писателей-“деревенщиков”, консерваторов-государственников, не отвергающих советского прошлого.

Особенно разошлись на публицистике. Неприятие позиции Распутина по самым актуальным вопросам выливалось у либеральной части иркутского общества в неприятие этого жанра его творчества в целом. И не только иркутского, и не только в те годы, это отношение сохранилось по сей день. Смысл таков: Распутин неоспорим как художник с его плечом о деревне, а вот его ответы на жгучие вопросы, размышления о судьбе народа – это всего лишь политика, не стоящая внимания. Так вычёркивалось из публицистики Распутина главное – её духовно-нравственная составляющая.

Случались нападки и в иркутской прессе, и они не оставались незамеченными. Так, автору одного из самых ярких и несправедливых опусов (газетной передовицы, между прочим), увидевшему в Распутине помеху на пути становления сильной России, было, по меньшей мере, два возражения².

Не слышалось отзывов на публицистику Распутина от властей придерживающих, чего хотелось бы ожидать. На представлении книги “Сибирь, Сибирь...” 2006 года в Иркутской областной юношеской библиотеке им. Иосифа Уткина Распутину был задан вопрос: “После выхода книги позвонил ли вам кто-нибудь из чиновников: я прочитал ваши очерки и хотел бы поговорить с вами о перспективах Сибири?” Распутин отрицательно покачал головой... По предыдущему выпуску “Сибири...” 2002 года силами иркутских писателей, филологов, историков-краеведов в Научной библиотеке ИГУ была проведена научно-практическая конференция. Жаль, не догадались пригласить представителей областной и городской власти.

Сегодня с таким же сожалением могу заметить, что иркутской общественностью была упущена возможность широкого обсуждения статей и очерков Распутина по мере их выхода в свет. Подобный разговор мог бы оказать оздоровительное воздействие на смутную обстановку той поры. Но и теперь не поздно: ничего не устарело в его публицистике.

Нельзя не упомянуть и о том, что в 1990-е годы охладилось отношение Распутина с филологическим факультетом ИГУ, выпускником которого, а в 1980-е – частым гостем был писатель. Однако в следующее десятилетие настрой изменился. В 2007 и 2012 годах на филфаке ИГУ прошли полномасштабные конференции по прозе и публицистике Распутина с участием учёных из столичных и областных городов России, из зарубежья. В их организации и издании сборников докладов ведущая роль принадлежала доктору филологических наук Ирине Плехановой. Филфак стал инициатором присвоения имени В. Г. Распутина Научной библиотеке ИГУ.

* * *

Между тем жизнь по новым порядкам набирала ход. Для Распутина в середине 1990-х она разделилась надвое – московскую и иркутскую. И это обернулось двойным грузом, легшим на его плечи. В Москве – заботы о большой родине, в Иркутске – о малой.

Вместе с иркутянами он переживает местные политические бури, приватизацию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, два раскола писательской организации, отстаивает журнал “Сибирь”, едва не закрывшийся к концу 1990-х. Теперь на собраниях в Доме литераторов товарищи по перу спрашивают, за кого голосовать на выборах президента России, учителя взывают: что делать с новыми программами, с ЕГЭ!

¹ Распутин В., Филиппов Р. Под знаком Каина // Театральная жизнь. 1987. № 14.

² Симиненко В. Валентин Распутин как русофоб // СМ Номер один. 2004. 10 июня. Возражения: А. Лаптев. Открытое письмо Владимиру Симиненко // СМ Номер один. 2004. 24 июня; В. Семенова. Передовица как диагноз // Сибирь. 2004. № 4. С. 187–191.

Он по-прежнему продолжает получать награды, в Иркутске ему присвоено звание почётного гражданина города, но прибавляло ли это сил? Скорее тяжести ноше, которую он взял на себя.

* * *

В самые трудные годы в Иркутске возникает праздник с названием, которое никому из униженных перестройкой “дорогих россиян” в голову прийти не могло, — “Сияние России”. Оно и явилось в начале 1990-х издаелека, из Русского Зарубежья, вместе с певцом Александром Шахматовым, потомком первой волны эмиграции, который привёз с собой и программу, и несколько вариантов названий.

Начало Дням русской духовности и культуры положил Омск, где в 1992 году с успехом прошёл праздник “Душа России”, после чего Шахматов предложил Распутину провести подобное мероприятие в его городе, и писатель согласился.

В Иркутске Распутин заручился поддержкой епископа, ныне митрополита Иркутского и Ангарского Вадима. Позвав с собой известного и уважаемого властями поэта и общественного деятеля Марка Сергеева, отправился на приём к мэру города Б. А. Говорину. Мэр не отказал писателям, из предложенных Шахматовым названий было принято самое звучное — “Сияние России”. И не только не отказал: вскоре с его приходом на пост губернатора мероприятие было переведено в статус областного и стало проводиться ежегодно.

Так заработал на земле Иркутской постоянно действующий семинар культурного назначения. Россия искала опору в традиции, духовности, ценностях классики. Не случайно возглавил дело выдающийся писатель-патриот.

Хроники “Сияния России” публиковались в журнале “Сибирь”, по ним можно представить, как это происходило. Остановлюсь на отдельных моментах, в особенности на встречах с Распутиним, которые, как магнит, притягивали всех.

Начать с того, что Валентин Григорьевич вместе с иркутскими писателями и сотрудниками областного Комитета по культуре (ныне Министерство культуры и архивов Иркутской области) работал над программой, определял состав гостей, сам приглашал их в Иркутск и сам встречал в аэропорту. Всегда бывал на праздничной службе, которую служил владыка Вадим в соборе Богоявления в день открытия “Сияния”, участвовал в Крестном ходе. В следующие дни выступал с гостями в студенческих аудиториях и библиотеках не только Иркутска, но и Ангарска, Усолья-Сибирского, Усть-Уды, Анги.

Благодаря Распутину в Иркутской области побывали известные писатели, деятели культуры и образования, выдающиеся певческие коллективы и солисты России.

Это прозаики В. Белов, В. Лихоносов, В. Крупин, А. Сегень; поэты Ю. Кузнецов, М. Аввакумова, В. Костров, Н. Зиновьев; публицисты И. Шафаревич, Э. Володин, К. Мяло, А. Казинцев; философ А. Панарин; главные редакторы толстых журналов Ст. Куняев, Л. Бородин; критики И. Стрелкова, К. Кокшенёва, В. Бондаренко; реставратор С. Ямщиков, художник В. Сидоров, книгоиздатель А. Елфимов, фотограф А. Пантелеев; певцы А. Шахматов, Б. Штоколов, А. Ведерников, Т. Петрова, Е. Смольянинова, наш земляк, в своё время солист ансамбля им. А. В. Александрова Л. Харитонов, балалаечник М. Рожков; Кубанский казачий хор, Московский камерный хор В. Минина, капелла В. Чернушенко из Санкт-Петербурга, Хор Свято-Данилова монастыря, Омский народный хор; киноактёры Г. Жжёнов, В. Заманский, Н. Оляин, В. Лановой, Ю. Назаров; кинооператор А. Заболоцкий, основатель кинофорума “Золотой Витязь” Н. Бурляев, кинодокументалисты Н. Ряпов и С. Зайцев — всех перечислить невозможно, это более сотни имён.

Постепенно прибавляются представители самых разных регионов России. Гостями нынешнего, 2018 года “Сияния России” стали писатели из новых субъектов федерации — Крыма и Севастополя — Т. Воронина, В. Сорокин и К. Фролов. Патриот Валентин Распутин, все силы отдавший стоянию за Россию, без сомнения, был бы рад видеть крымчан на иркутском празднике русской духовности и культуры.

Открытие памятника Александру III можно назвать самым значительным событием осени 2003 года. В десятый год “Сияния России” праздник начался на день раньше обычного – 4 октября – церемонией освящения владыкой Вадимом вернувшейся на постамент бронзовой фигуры императора (автор копии А. С. Чаркин, изготовлена в Санкт-Петербурге). Среди выступающих на открытии – В. Н. Морозов, исполняющий обязанности министра путей сообщения, – ведомства, оказавшего поддержку в восстановлении памятника, главы двух регионов Восточной Сибири Б. А. Говорин (Иркутск) и Л. В. Потапов (Улан-Удэ). Рядом с ними – писатели Валерий Ганичев, Валентин Распутин. Их присутствие не случайно: Ганичев – автор произведений на исторические темы, в том числе книги “Всенародная дорога”, посвящённой Транссибу, по которому он проехал из конца в конец в год столетия магистрали в июле 2001 года. Ему, председателю Союза писателей России, было присвоено редкое для литератора звание почётного железнодорожника. Распутин – тоже участник поездки (от Иркутска до Читы), в эти же годы написавший для нового издания книги “Сибирь, Сибирь...” очерки “Транссиб” и “Кругобайкалка”.

Писатели приветствовали возвращение памятника на прежнее место, говорили о необходимости духовного воссоединения настоящего и прошлого. Распутин назвал это событие очень важным, поскольку восстановлена историческая справедливость, и поблагодарил руководство железной дороги за благотворительность. “Памятники восстанавливаются не только в Иркутске, – сказал он, – но это новоделы. У нас другой случай. У нас памятник был разделён, то, что осталось, походило на надгробие. Это напоминало о судьбе России. Когда всё было разрушено, остался постамент, но не было духовной второй части, что идёт сверху. Бетонный шпиль не заменил, как не заменила бездуховная жизнь ту, что наступила в то время.

Когда меняется атмосфера, мы не замечаем, но становится легче дышать. Вроде должны привыкнуть, но не привыкли. Иркутск – исторический город, и это надо подтверждать”¹.

В дни “Сияния России” рождались идеи, которые претворялись в жизнь. Так, в 2000 году по предложению ректора Литературного института Сергея Есина в Иркутске был образован и действовал несколько лет семинар молодых литераторов при Распутине. Активно содействовал этому тогдашний председатель правления Иркутского отделения СП России Андрей Румянцев. Группа студентов занималась в Иркутске, заочно обучалась в Москве, выезжая на сессии.

Примерно тогда же Иркутск и Верхняя Савойя (Франция) обменялись изданиями: сборник иркутских писателей перевели на французский, сборник писателей Верхней Савойи – на русский, с сопутствующим обменом делегациями. Участие Распутина в этой акции, безусловно, имело большое значение.

После встречи с Ириной Стрелковой, составителем учебного пособия “Русская литература XX века” для 11-го класса под редакцией В. В. Кожина (М., 1999) со статьями известных литературоведов о творчестве самых крупных писателей XX века, часть тиража пособия была закуплена департаментом образования города для иркутских школ.

Сопровождая гостей, Распутин, по обыкновению, старался меньше говорить сам, чтобы не отнимать у них время. С особым удовольствием – и он не раз говорил об этом – представлял тех, кто умеет сочетать слово с конкретным делом на благо культуры Отечества. Так, в дни “Сияния России” иркутские учителя прослушали лекции Ивана Гончарова, доктора педагогических наук из Санкт-Петербурга, руководителя Всероссийского движения “Современная русская школа”, и были вдохновлены его трудами, основанными на народной педагогике; в библиотеках состоялись встречи с реставратором Саввой Ямшиковым, возродившим к жизни сотни произведений иконописи, с издателем альманаха “Тобольск и вся Сибирь” Аркадием Елфимовым, выпустившим целую библиотеку книг, посвящённых истории сибирских городов.

¹ Здесь и далее факты и цитаты приведены из хроник, опубликованных в “Сибири”, а также из записных книжек автора очерка. – В. С.

Как известно, Распутин подарил альманаху название и вошёл в редакционный совет.

* * *

Но ведь и они, гости, приезжали в Иркутск, чтобы послушать Распутина! И такую возможность давал издатель Геннадий Сапронов, приурочивая выпуск его книг к “Сиянию России” – их представление (Распутин не любил слово “презентация”) проходило как раз в эти дни.

...На конференции по книге “Дочь Ивана, мать Ивана” в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского в 2004 году внимание было приковано к новой повести, давшей название сборнику¹. Выступали представители иркутской филологии и философии, писатели, педагоги и просто читатели. Школьники из пригородного села Пивовариха подготовили художественное чтение отрывков из распутинских текстов. Было тесно, в читальный зал не всем желающим удалось попасть. После окончания никто не торопился уходить – ждали от Распутина ответов на вопросы. Знали, что отвечать будет прямо, не уклоняясь.

Писатель говорил о главной беде времени – торгашестве, которое разъедает нашу жизнь. “Всё превратилось в рынок, в зло. Наука, образование, культура – разве не рынок?.. Я перебрал все способы стояния за Россию. Участвовал в составлении разных бумаг. Может, не все? Остались самые тихие: вцепиться и не даваться”.

По следам конференции журнал “Сибирь” опубликовал отзывы на повесть литературоведов О. Шахеровой, И. Плехановой, О. Юрьевой, учительницы Е. Дулимовой².

Представление сборника публицистики Распутина “В поисках берега”³ совместились с представлением книги Саввы Ямщикова “Послушание истине” – Геннадий Сапронов издавал к “Сиянию” и книги гостей. Распутин высоко оценил и деятельность, и очерки-воспоминания известного реставратора, радеющего за истинные ценности русской культуры и создателей этих ценностей, сравнив его с острым публицистом начала XX века М. Меньшиковым. Тогда же Распутин высказал своё отношение к публицистике как жанру, выходящему вперёд в переломное время: “Проза нынче в тяжёлом положении, её место должна занять публицистика. Хотя занять, конечно, нельзя, но то, чего не может сказать проза, скажет она. В древности публицистику пели”.

А вот представления книги о творчестве Распутина, вышедшей к его юбилею 2007 года, той осенью не произошло. По простой причине – писатель был против. Он всячески избегал мероприятий, связанных с его именем, а их было немало в том юбилейном для него году. Он и книгу “В поисках берега” отказался поставить отдельным пунктом программы, а уж исследование, посвящённое ему, заведомо положительное – они были с автором единомышленниками, – нет, на это он не согласился. Таким образом, “Свет распутинской прозы” остался в тени, и нарасно: подход философа Сирина к творчеству Распутина оказался основательным, взгляд – самобытным⁴.

Ещё повод для встречи в дни “Сияния России” 2007 года – двухдневная конференция учителей-словесников в областном Институте повышения квалификации работников образования, организованная кафедрой русского, иностранных языков и литературы (руководитель – кандидат филологических наук Ольга Шахерова), под названием “Валентин Распутин: общество, культура, образование”. Среди восьми направлений, которым следовали докладчики, были: “В. Распутин и история рубежа эпох”, “Национальный и региональный аспекты творчества В. Распутина на разных ступенях образования”, “Язык прозы В. Распутина”.

¹ Распутин В. Дочь Ивана, мать Ивана: повесть, рассказы. Иркутск: Издатель Сапронов, 2004. 464 с.

² См.: Сибирь. 2004. № 5. С. 191–206.

³ Распутин В. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. 528 с.

⁴ Сирин А. Свет распутинской прозы. Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. (Об этой кн. см.: Одухотворённое восприятие света. // Сибирь. №2, 2008).

Беседа после конференции показала обоюдную заинтересованность друг в друге писателя и учителей. Больше всего тревожило Распутина положение с русским языком. Он ссылался на учительские письма — получал их во множестве. Ему жаловались на сокращение часов русского языка, делились способами сохранить грамотность: "... Мы уже исхитряемся: если нет какого урока — мы русский проводим". Мастер художественной прозы, постоянно, с разных трибун отстаивавший русский язык, благодарил учителей за их подвижнические усилия: "В нелёгкую минуту я доставал эти письма... Вся надежда на учителя", — говорил он.

Вопросы были и на другие темы: о состоянии современной литературы, гибели ленских деревень, туризме на Байкале. Всегда отвечая откровенно, о последнем писатель высказался категорично: "Надо ли развивать туризм? Да не надо... Это всё уродует природу... Побережье Байкала, что со стороны Бурятии, собираются сдать в аренду частникам на девяносто девять лет. Кого туда будут пускать? Нас могут и не пустить".

По прошествии десяти лет можно видеть развитие процесса: туристов, особенно китайских, стало столько, что сибирякам непросто попасть на байкальские турбазы, поговаривают и о скупке земель на Ольхоне туристами-предпринимателями из Поднебесной...

Тогда же той же кафедрой к 70-летию писателя был организован творческий конкурс среди учителей русского языка и литературы "Уроки Распутина". Из школ области поступило около пятидесяти учительских сочинений. Лучшие из них были опубликованы в журнале "Сибирь".

Работы привлекали пониманием творчества писателя, при всей его знаменитости остающегося близким по мироощущению своим землякам. Так, З. Хомич (Братск) делится воспоминаниями о родной деревне, навеянными повестью "Прощание с Матёрой"¹; Л. Сергеева (тоже Братск) выделяет главное стремление Распутина — "достучаться до сердец наших, предупредить нас о грядущей нравственной катастрофе"². И ещё цитата: "Читаю рассказ "Женский разговор" и думаю: как передать старшеклассникам мудрость писателя и его героини? Как избежать ханжеских ухмылок во время чтения трогательных и деликатных эпизодов?" (М. Пуговкина, Усолье-Сибирское)³.

Такое совпадение взглядов объяснимо: общение Распутина с учителями было тесным с 1980-х годов. Он хорошо знал о проблемах поспешного, непродуманного реформирования школы и советовал держаться здравого смысла, продолжать, как ни трудно, давать ученикам настоящие знания. В 1997-м, особенно тяжёлом для учителей году одна за другой проходили акции протеста против задержки зарплат. Они соединились с протестами педагогов против планируемого в школах предмета "Половозрастное воспитание учащихся. Основы сексологии". Главное управление народного образования области успокаивало общественность обещанием отложить на несколько лет введение этого предмета, однако у протестующих имелись сомнения, пикетирование областной администрации продолжалось. В пикете 13 мая 1997 года, как писала газета "Восточно-Сибирская правда", "приняли участие писатель В. Распутин и епископ Иркутский и Ангарский Вадим"⁴.

Поддержкой в этом противостоянии были для учителей нашей области лекции о воспитании Т. Шишовой и И. Медведевой — известных публицистов, отстаивающих нравственные начала в педагогике, а также главного редактора журнала "Литература в школе" Н. Крупиной; они приезжали сюда в дни "Сияния России".

* * *

Можно ли взвесить, и на каких весах, значение того, что проходило в прозрачно-светлые осенние дни на земле Иркутской?

Поле высокого напряжения мысли о России, одухотворённого слова и задушевной песни притягивало иркутян и приезжих в библиотеки, Театр народ-

¹ Хомич З. Читая повесть о Матёре // Сибирь. 2007. № 5. С. 208–210;

² Сергеева Л. Голос совести. Там же. С. 203–208.

³ Пуговкина М. "Женский разговор" // Сибирь. 2007. № 2. С. 206.

⁴ Мадьярова Д. Протестуют... А есть ли повод? // Вост.-Сиб. правда. 1997. 14 мая. С. 1.

ной драмы, Дом литераторов им. П. П. Петрова, в областную филармонию. Всё это замыкалось на Распутине, сверялось с ним и воодушевляло людей, причастных к действу.

Так продолжалось почти двадцать лет, и только в последние годы жизни писателя программа составлялась без него, с ним лишь согласовывалась. Всё меньше становилось и встреч с читателями. Приглашение гостей взял на себя главным образом Владимир Скиф.

Обращаясь к “Сиянию России” в год 25-летней даты его проведения, нужно признать не только полезность этого праздника, но и необходимость его совершенствования. Постараться, например, преодолеть разрозненность в действиях культурных ведомств города и области. Надо подходить по высшему счёту к тому, чему отдал Распутин столько времени и сил.

* * *

Причалом постоянного возвращения оставались для писателя родные сельские места. Распутин приезжал в Аталанку и Усть-Уду, встречался с жителями, вникал в их нелёгкую жизнь, помогал. Приложил силы к тому, чтобы появилась новая школа в Аталанке, православный храм в Усть-Уде, жертвовал на храмы, дарил часть своих книжных собраний библиотекам.

Хватало забот и в городе. Распутин откликался на многие события в Приангарье, начиная с 1950-х годов, о чём свидетельствуют указатели по его творчеству (в Иркутске вышел уже третий по счёту). Заметки, очерки о людях, интервью, беседы по самым волнующим вопросам! Их вели иркутские журналисты и писатели. Распутин говорил с земляками обо всём так же серьёзно и ответственно, как и со столичной прессой.

Как всегда, слово не расходилось с делом. Уже не так давно, в 2010 году, пришлось отстаивать писательский дом, едва не отнятый облечёнными властью любителями старинных особнячков; удалось помочь областной библиотеке обрести новое восьмизэтажное здание (2012). Если говорить обо всём, неизбежно собьёшься на перечисление, хронику, отчёт, что, видимо, и следует сделать в форме подходящего жанра.

Но кое о чём стоит сказать и теперь.

На одной из иркутских конференций по Распутину 2012 года прозвучала тема: “Валентин Распутин как бренд”. Имелось в виду использование имени писателя в продвижении той или иной культурной акции. Действительно, ни одно сколько-нибудь значимое культурное событие в Иркутске не обходилось без его хотя бы присутствия. Но здесь надо различать: в каких целях поднимается на щит крупное имя – для саморекламы организаторов акции или чтобы оградить благое дело от формализма и безвкусицы.

Многие, к примеру, удивились причастности Распутина к Всероссийскому театральному фестивалю современной драматургии им. А. Вампилова. Как известно, Валентин Григорьевич театром особо не увлекался. Но директор Иркутского драмтеатра им. Н. П. Охлопкова и организатор фестиваля Анатолий Стрельцов сумел убедить писателя в необходимости его участия в разработке концепции, чтобы защитить фестиваль от излишне ретивых “самовыраженцев”, заполнивших сцену в 1990-е годы.

В буклете Вампиловского фестиваля 2005 года концепция была напечатана за подписью Валентина Распутина. В ней сказано, чего следует избегать и к чему стремиться: “Режиссёр-механик правильно Вампилова не поставит, а только извратит его, если даже сохранит в тексте все запятые. Актёр-ремесленник не сыграет ни Сарафанова, ни Валентину, ни Зилова. Из Вампилова нельзя высекать “электрического разряда” – это будет насилием и неправдой. Его воздействие на зрителя, изначально заложенное во всей ткани пьес, – лекарственное, глубинное”.

Первое время Распутин вместе с другими иркутскими писателями принимал участие в отборе спектаклей, посещал круглые столы, где обсуждались проблемы театра.

Если немного задержаться на театральной теме, то следует отметить: связь иркутских театров с Распутиным с годами крепла, и по-другому быть не могло. И ТЮЗ им. А. Вампилова (“Прощание с Матёрой”, 2003), и Иркутский академический драматический театр имени Н. П. Охлопкова (“Последний

срок”, 2008), и Театр народной драмы (“Изба”, 2012) ставили и ставят по его произведениям спектакли, получают за них Губернаторские премии в Иркутске, награды фестиваля “Золотой Витязь” в Москве, успешно выступают на гастролях.

Идея литературных вечеров “Этим летом в Иркутске” (2007) принадлежала издателю Сапронову. Его поддержал директор драмтеатра А. Стрельцов, областной департамент (в то время) культуры и архивов, название придумал В. Курбатов. Он и вёл вечера после опечалившего всех внезапного ухода из жизни Геннадия Сапронова два года спустя.

Ежегодно в июне, в течение трёх-четырёх дней известные российские писатели и общественные деятели со сцены драмтеатра говорили о состоянии современной литературы и культуры, представляли свои книги, выпущенные за прошедший год издательством Сапронова. Перед иркутянами выступили критик И. Золотусский, прозаики А. Варламов и В. Карпов, поэт В. Костров, художник и поэт А. Карташов, директор Музея-усадьбы Л. Н. Толстого “Ясная Поляна” В. Толстой; реставратор, архитектор и писатель А. Сёмочкин, директор Музея-заповедника М. А. Шолохова А. Шолохов и многие другие. Приветственное слово Распутина звучало в день открытия и на отдельных вечерах.

* * *

Есть и ещё одна необъятная тема – круг общения Распутина с земляками. Самое удивительное в ней то, что, считаясь человеком закрытым и немногословным, он был знаком и связан со многими людьми.

Понятно, к нему тянулись по разным причинам: литераторы – как к профессионалу высокого класса за советом, случайно оказавшиеся рядом искали помощи от влиятельного человека в своих житейских проблемах, кому-то было просто лестно упомянуть о знакомстве со знаменитостью. Но главное всё-таки – та искренность, с которой Распутин относился к людям и которую невозможно скрыть. Отсюда и его интерес – и писательский, и человеческий, – к тем, кто жил, не выбирая судьбы, нёс, как мог, груз своих забот, черпал мудрость из опыта.

Прежде всего, надо сказать о деревенских жителях, ставших прообразами героев повестей и рассказов писателя. Это родственники – семья бабушки писателя Марии Герасимовны и она сама, Улита Ефимовна Воложнина, Иван Егорович Слободчиков, колхозный шофёр, запечатлённый в повести “Пожар”, другой Слободчиков, Диемид – друг детства в рассказе “Мы с Димкой”, бывшие одноклассники, соседи, давние знакомые. Валентин Григорьевич навещал их каждое лето, любил с ними беседовать, интересовался их судьбой. Все знают, что, не будучи ни охотником, ни рыбаком, он с удовольствием ездил за ягодами в компании местных таёжников и друзей-писателей.

Постоянно поддерживалась связь с учителями из разных уголков области, с преподавателем ИГУ и критиком Н. С. Тендитник, о чём уже говорилось. То же самое относится к библиотекарям, охотно устраивавшим встречи писателя с читателями в городах и сёлах Приангарья. Много значило общение с духовенством: владыкой Вадимом, о. Алексием – настоятелем Князь-Владимирского храма и духовником, священниками сельских храмов, а также с иркутским философом А. Д. Сириным. Сподвижником в защите Байкала был учёный-биолог Г. И. Галазий.

Шесть десятков лет продлилась дружба с писателем Альбертом Гурулёвым. Книга его воспоминаний была опубликована не так давно, но уже хорошо принята читателями и отмечена премией губернатора Иркутской области за 2017 год¹. Часто случались встречи с редакцией “Сибири”, где главный редактор Василий Козлов неизменно предлагал сотрудничество. В последние двадцать с лишним лет близким человеком стал журналист Константин Житов, попутчик и помощник в поездках, шумный обозреватель газетно-журнальных новостей и друг всех московских друзей писателя. Надо отметить, что Житов, в своё время работая в “Восточно-Сибирской правде”, пожалуй, единствен-

¹ Гурулёв А. Остановиться... и оглянуться: воспоминания о Распутине. – Иркутск: Сибирь. 2017. 192 с.

ный из иркутских газетчиков многие годы освещал праздник “Сияние России”, давал интервью с гостями.

Не отказывался Распутин и от контактов с чиновниками, главами предприятий. Так было начиная с советских времён. В 1990-е – начале 2000-х обращался к губернатору Б. А. Говорину по нуждам писательской организации, делам сельчан и находил понимание; шли навстречу и последующие губернаторы. На многие годы установились деловые связи с областным министерством культуры и архивов, главой которого до 2012 года, с небольшим перерывом, была В. И. Кутищева. Бывший замминистра С. Г. Ступин, ныне директор Иркутского областного краеведческого музея, непосредственно занимался созданием Музея В. Г. Распутина, который вошёл в состав краеведческого.

Сложилась дружеские отношения с директором Усольского свиного комплекса И. А. Сумароковым, чьё образцовое хозяйство не однажды посещали гости “Сияния России”, директором ЗАО “Облагроснаб” В. А. Поповым, ветераном боевых действий А. П. Ширяевым (ныне председатель Фонда им. В. Г. Распутина) и другими известными в области людьми.

Среди тех, с кем общался писатель, можно назвать представителей разных политических сил. Главное для Распутина в человеке, кем бы он ни являлся, – руководителем, госслужащим, предпринимателем, – не партийная или должностная принадлежность, а был ли он государственным. Если да – таких он ценил. Потому появление многочисленных воспоминаний о нём – не случайность и не обязательно стремление засветиться рядом с выдающейся личностью. Действительно, он произвёл сильнейшее впечатление на всех, с кем пересеклись пути-дороги на малой родине.

Об этом свидетельствуют публикации в различных изданиях, которые появились в год ухода из жизни Распутина и к его юбилейной дате. В сборнике исследований Иркутского госуниверситета на кончину автора “Матёры” отозвались не только литературоведы и собратья по перу, но и люди других профессий. Так, подал голос посёлок порта Байкал: учительница Ирина Прищепова в очерке “У нас на Байкале” поделилась наблюдениями о связи творчества Распутина с природой мест, где находилась в своё время дача писателя и где создавались его знаменитые повести¹. К 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина вышел в свет большеформатный красочный том под названием “Живём и помним”². В нём почти половину места занимают воспоминания. Сошлюсь на одно – автора из среды крепко стоящих на земле людей.

Предпринимателю, потомственному охотнику из Тулунского района, Николаю Терещенко Распутин увиделся человеком тонкой души, скромным, застенчивым. От приметливого взгляда таёжника не укрылось, насколько он “аккуратен во всём: в словах, в действиях, в пользовании одеждой и обувью” (пример со сборами писателя на выступление в селе Едогон – щёточка для обуви всегда при себе!). Вспоминая поездку с Распутиным за черникой, обращает внимание на то, как он собирает ягоду – не совком, как другие, а непременно руками. “В тайге с ним было легко, – читаем дальше. – Он знал, что и как делать. Не гнушался и дрова заготовливать, и еду готовить. Подолгу сидели у костра. Разговоры начинались по-простому: о жизни, об экономике, о бизнесе. Как это, как то. Интересовался всем искренне и хотел знать напрямую”³.

* * *

Свою роль защитника и ходатая Распутин воспринимал как неизбежность и не жаловался. В схожем положении оказывались и Белов, и Абрамов, и Астафьев – трудна жизнь российской глубинки! И порой как-то забывалось, что

¹ См.: Творческая личность Валентина Распутина: живопись – чувство – мысль – во-
ображение – откровение: сб. науч. тр. / Иркут. гос. ун-т; под ред. И. И. Плехановой. Иркутск: ИГУ. 2015. 503 с.

² Живём и помним: воспоминания о Валентине Распутине / Предисл. В. Скифа. Редактор, руководитель проекта В. П. Скиф; составители Е. И. Молчанова, Д. В. Тимкович. Иркутск, 2017. 448 с.

³ Живём и помним. С. 383–384.

даже очень сильный человек с годами может перестать всё успевать. Тем более последнее десятилетие стало для писателя временем тяжких потерь. Трагическая гибель дочери Марии, болезнь и смерть жены Светланы... И хотя всё продолжалось в прежнем русле, и он был нужен многим, — просто сил становилось меньше, здоровье ухудшалось. Иные обижались, если не откликнулся на их просьбу. Не оборачиваясь на себя: а много ли сам-то сделал для других? Ведь тот, кто помогает другим, чаще забывает о себе.

И тем не менее.

Распутин не собирался покидать землю у Байкала, где полной чашей пришлось испытать добра и лиха. И тому немало свидетельств. После смерти жены в 2012 году говорил о намерении вот-вот завершить московские дела, чтобы уже не выезжать из Иркутска.

Но вышло по-другому. После отъезда в столицу вместе с гостями “Сияния” в октябре 2014-го, операции, на которую была надежда, жить оставалось всего лишь до дня рождения в марте. И — путь назад, в Сибирь, к месту вечного упокоения у стены Иркутской Знаменской церкви...

* * *

И что Иркутск сегодня?..

Иркутск привыкает жить без Распутина.

Наверное, что-то изменится, и есть опасение впасть в провинциальность не самобытного, а самодеятельного толка, когда то, что создается в культуре, будет довольствоваться скромными результатами, самоуспокоенностью и самохвальством. Распутин уже не придёт в Дом литераторов, чтобы перемолвиться словом с его обитателями, не появится ни в одном из театров, с трепетом ожидающих оценки спектакля по его повести, не будет сидеть на пресс-конференции в день открытия “Сияния России”... И не с кем будет измерять степень качества нашей общей работы.

Но придётся держаться, иного выхода нет.

Пока ещё — пока ещё память свежа, и прошедшее в 2017 году 80-летие со дня рождения писателя, с открытием музея, с конференциями по его творчеству, презентациями книг и разного рода проектов, театральными постановками, — всё устраивалось достаточно ответственно. И даже показалось, что в последние годы на спектаклях по Распутину залы внимательнее, сосредоточеннее вслушиваются в каждое его слово. И актёры отыскивают верный тон, чтобы донести это слово. Выходят книги воспоминаний, статьи, посвящённые большому писателю, совсем недавно жившему рядом с нами. Они делят время нашего общения с ним — значит, это возможно!

Так, может, права известная поэтесса Мария Аввакумова, написавшая в дни прощания с Распутиным такие строки:

*Распутин скончался...
Не мог он скончаться! —
Он только начался.*

И мы ещё успеем для утверждения его слова сделать то, чего не успели при его жизни.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 2

“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ...”

Случившееся с Вадимом по пути в столицу едва не окончилось трагедией. “Когда мы возвращались в начале апреля 1943 года в Москву, — рассказывал Кожин, — я перенес то тяжелое недомогание, которое постигло многих людей, вырвавшихся из блокадного Ленинграда.

Дело в том, что перед отъездом кто-то надоумил мою мать купить для обмена на продукты в дороге стекла для керосиновой лампы, которые имелись в ашхабадских магазинах. И, действительно, на некоторых станциях за такое стекло отдавали, например, две жареные курицы. Отвыкший за год от подобной пищи, я съедал ее буквально с костями, и в результате ко дню приезда в Москву еле-еле передвигал ноги...”

Вадим чуть не умер и вынужден был продолжительное время провести на больничной койке. К счастью, медицина была на высоте, и мальчишку удалось спасти.

“Сейчас как-то забылось, — вспоминал Вадим Валерианович полвека без малого спустя, — что после победы под Москвой вплоть до осени 1943 года линия фронта на отдельных участках проходила всего лишь в двухстах километрах от Кремля! Однако Москва жила это долгое время без особой тревоги, хотя и скудной, но многосторонней жизнью; и мои сверстники, тогда тринадцатилетние... ясно видели и чувствовали спокойную уверенность города и его Кремля в незыблемости от столь недалёкого фронта...”

И в этой атмосфере тревоги за близких, бывших на фронте, предчувствия скорой победы, общего воодушевления на фоне очевидных жизненных тягот воздух был насыщен поэзией. Стихами и песнями. Во дворе молодая учительница, муж которой — на передовой, читает вслух симоновское, известное всей стране, стихотворение, не сдерживая слез, а собравшиеся упоенно слушают, переживая каждое слово, каждую паузу.

*Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой.
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.*

Что уж говорить о песнях! Из репродукторов, в тех же дворах под аккомпанемент баяна или простой гармошки звучали, призывали, грели душу “С берёз, неслышен, невесом...”, “На позицию девушка провожала бойца...”, “Бьётся в тесной печурке огонь...”, “Эх, дороги, пыль да туман...”, “Ночь коротка, спят облака...”, “Тёмная ночь. Только пули свистят по степи...” Позже со слезами горечи и радости одновременно, под полный стакан или “всухую” пели победители (побеждавшие и на фронте, и в тылу) – “Враги сожгли родную хату...”, “Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...” Больше всего Кожинов любил одну из фатьяновских песен, и уже в зрелом и пожилом возрасте напевал ее своим слегка надтреснутым голосом:

*Горит свечи огарочек,
Гремит неравный бой.
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой.
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой!
Не тратя время попусту,
Поговорим с тобой.*

Предоставим опять же слово нашему герою:

“Ясно помню себя школьником пятого класса московской школы №16. 1943 год. Наш класс – старший тогда в школе – едет на грузовике за дровами для отопления школьного здания. И мы поем – и по дороге, и в перерыве между тяжкой для совсем ещё юных и недоедающих тел работой и после неё. Немецкие танки стоят в Гжатске (через много лет мы узнаем, что где-то там недалеко в деревне подрастал тогда девятилетний Юра Гагарин), всего в 180 километрах от Белорусского вокзала... Но нас это нисколько не страшит, и, полагаю, не будет выдумкой утверждение, что защитой была в то время и песня – как для нас, так и для всей России... Каждый юнец мог петь тогда потому, что из радиотарелок в любой квартире постоянно звучали голоса настоящих певцов (пусть не всегда выдающихся, но настоящих), певших и старинные и сегодняшние песни. И наше – разумеется, заведомо несовершенное – пение было отголоском настоящего...”

Через два года, в 1945-м, Кожинов записывал в дневник запомнившееся из военных лет:

“...4 года войны. Москва, озаренная заревами июльских пожаров; тревожные, страшные дни; 9 дней пути через Россию, Казахстан, Среднюю Азию; чёрные дни эвакуации, сумрачной тенью проходившие надо мной; зловещие призраки нищеты и разрухи; первые победы в Междуречье; обратный путь, полный счастливых надежд и чаяний; первые дни в столице, изменившейся от страшного года; вестники небывалого разгрома врага, наступление, победы, вторжение в Германию перед открытием немцами Западного фронта англичанам, и, наконец, крах врага и победный сказочный салют 9 мая, – всё это соединилось в одно целое, тесно сплелось с обыденными фактами, всё это само по себе стало обычным...”

...Вадим продолжал запоем писать стихи. Несколько стихотворений и “поэму”, называвшуюся “Ответ соловья”, его старший товарищ послал Александру Жарову, достаточно известному тогда стихотворцу из плеяды “комсомольских поэтов 20-х годов”, и через некоторое время получил от него следующий ответ:

“...Стихи мальчика Вадима я прочитал с живым интересом. Для 12-летнего возраста они просто достижение, правда, чуточку опасное: если мальчик в этом возрасте убедить, что он уже поэт, то можно тем самым принести ему вред, нарушив нормальное его развитие. Пусть лучше он относится к сочинению стихов пока, как к приятному культурному развлечению, но ни в коем случае не перенапрягает своих сил, чтобы раньше времени казаться себе заправским писателем... Наблюдательность, которую я обнаруживаю во многих строках Вадима, мне весьма приятна. Но и ее следует развивать, на мой взгляд, спокойными темпами. Накопление впечатлений надо сочетать с накоплением познаний. Это лучший путь постепенного формирования личности, на определенной ступени которого может всерьез начинаться поэт! Прошу Вас

эту мысль популярно объяснить Вадиму, если, конечно, Вы сами признаете правильность ее...”

Далее следовал разбор “поэмы” с многочисленными указаниями на неточные рифмы, а завершалось письмо доброжелательным внушением: “Достаточно сказать ему пока, что ляпсусы у него есть, что они... в большинстве, естественны и простительны пока и что у него есть несомненные задатки поэтических способностей, зачатки свежести языка и особого поэтического зрения. Всё это надо развивать помаленьку на основе общекультурного и житейского роста. Писать надо ему покамест поменьше, а читать хорошие книги — побольше, а то можно исписаться раньше времени...”

Был еще один человек, с которым Вадим состоял в постоянной переписке, которому он посылал свои стихи. Это — его тётушка, родная сестра отца Зинаида Фёдоровна Кожина.

О ней Вадим Валерианович обронил несколько слов в уже упоминавшейся статье “Правда и истина”: “Младшая сестра моего отца, врач З. Ф. Кожина, была ассистенткой знаменитого терапевта Д. Д. Плетнева, осужденного в 1938 году на 25 лет заключения за “умерщвление” Горького, Куйбышева и других; она была изгнана из клиники, скиталась по стране и, наконец, по своей воле, завербовалась в лагерные врачи в Воркуту”.

(Профессора Плетнева “подвели” к этому процессу через организованную диффамацию, предварительно обвинив в “насилии над пациенткой” — обвиняющее письмо, судя по всему, психически ненормальной женщины было опубликовано в 1937 году в газете “Правда” через три года (!) после “случившегося”. Небезынтересно, что резолюции, клеймившие еще недавно всеми уважаемого врача, подписывали, в частности, такие его коллеги, как В. Зеленин, М. Вовси, Э. Гельштейн, А. Земец, Б. Коган, о которых страна через пятнадцать лет — через ту же “Правду” — узнает, как о “врачах-убийцах”... Подобного рода факты и их сопоставления также откладывались у юноши в памяти).

В кожиновском архиве сохранилось несколько писем Зинаиды Федоровны к племяннику, где она не только рассказывает о своей бытовой жизни, но делится жизненными картинками, впечатлениями о прочитанном и увиденном в местном кинотеатре, о прочитанных стихотворениях юного Вадима.

“15.11.44 г.

...Твое стихотворение “Весна” я читала своим друзьям, и все мы нашли, что оно очень неплохо написано. Конечно, оно несовершенно, но все же очень и очень недурно... Произвести более детальный разбор в этом письме я не могу за недостатком времени, а в части стихов считаю себя вообще плохим мастером всяких стилистических фокусов, поэтому боюсь взять на себя такую миссию... Больше читай — это лучшее средство овладеть литературным языком. Но читай вдумчиво, серьезно, делай выписки, это очень помогает закрепить в памяти прочитанного и извлекать из него пользу... Посылаю тебе несколько трав из тундры, расцветенных осенними красками. По ним ты можешь себе представить, каким красивым ковром расстилается тундра осенью...”

“9.10.45 г.

...Много и долго я жила тесно и близко с природой, встречалась с ней в разное время суток и в весеннем цветении, и в знойное лето, и в золотую осень, и белой, пушистой зимой, такой милой и поэтичной в родных просторах... Много дорогих сердцу лирических картин сохранила память за семь с лишним лет моих участковых скитаний... В них вошла и суровая мрачная красота таежной глухомани Нарыма. Она не была близка сердцу, но также была полна своеобразного очарования, немного подавляющего своей первобытной дикостью... Здесь есть довольно милые уголки и тоже своеобразная красота, но сердцу так хочется иногда родного, так много говорящего без слов...

Ты пишешь, что прочел нынче летом “Войну и мир”... Какое совпадение! Я тоже только что закончила эту неповторимую книгу, прочитав ее, кажется, в 3-й, если не в 4-й раз... Конечно, она нисколько не утратила для меня своей свежести и очарования. Больше того, в ней я, как в зеркале, увидела пройденные мной пути-дороги, отразившиеся в новом восприятии когда-то прочитанного. Вот будешь и ты шагать дальше по жизни и, наверное, не раз прочитаешь еще это монументальное произведение. А читая — увидишь, как

ты изменился, как портрет Дориана Грея в оригинальном произведении Оскара Уайльда (читал ли ты его?). Больше того, читая “Войну и мир” сейчас, я не могла не поводить параллели с нашей великой эпохой и с теми великими событиями, свидетелями и даже участниками которых мы только что были...”

(Это наставление, видимо, вспомнилось Кожинуву, когда он писал в статье “Искусство живет современностью” уже в 1966 году: “...Я хочу напомнить жесткий, но неотменимый закон: книгу, которую нельзя прочитать во второй раз, не стоило читать и в первый. Если человек даже прочитывает каждую неделю по книге, он за целую жизнь сможет прочитать всего две-две с половиной тысячи книг. А “Войну и мир”-то и “Братьев Карамазовых” надо бы перечитать раза три. Поэтому приходится выбирать”).

“25.1.46 г.

... Вот уже больше 2-х месяцев перегружена работой, не имею выходных, мало читаю, нигде не бываю и даже на сон времени не всегда хватает. Прими хоть теперь мои запоздалые поздравления с Новым годом... Где бывал? Что видел? Это, немного, жаль, что ты мало посещаешь театр, т. к. посещение театра очень развивает, расширяет кругозор, прививает художественный вкус. Но еще года 2, и ты сможешь ходить туда один на любые спектакли, тогда и увидишь много хорошего. У тебя ещё всё впереди, и с театром никогда не опоздаешь... Кино у нас стало что-то редко, вот за месяц я видела только 3 картины: 1) “В 6 ч. веч. после войны” 2) “Сестра его дворецкого” – америк. фильм и 3) “Маленький погонщик слонов” – английский фильм по Редьярду Киплингу. Очень приятное, какое-то светлое впечатление произвел на меня первый фильм с лирическими стихами Гусева, музыкой Хренникова и режиссерским талантом Пырьева, автора “Свинарки и пастуха”, тоже очень понравившегося когда-то. Второй фильм исключительно пуст и бессодержателен. Третий – много лучше второго. Читаю мало – нет времени. Прочла художественные биографии-романы о Верди и Жозефе Фуше (надеюсь, об обоих слышал и знаешь). Сейчас читаю “Кузину Бетту” Бальзака и “Записки штурмана” Марины Расковой... Сегодня пуржит 7-й день подряд, дав только 2 раза короткие передышки на 2-3-4 часа...”

Зинаида Федоровна не просто была прилежной читательницей. Она (о чем Вадим Валерианович никогда не упоминал) с юности писала стихи. Сохранилась ее тоненькая тетрабочка, куда аккуратным почерком переписаны ее стихотворения начала 1920-х годов.

В этих самодельных опытах она подражала даже не поэтам “серебряного века”, а, скорее, стихотворцам 1890-х годов, творивших по следам Надсона, Апухтина и Фофанова. Да и названия говорят сами за себя: “Романс”, “На мотив из Достоевского”, “Осенние мотивы”, “Мелодия печали”, “Сон”, “Вы помните?”...

*На осинах лишь листья слегка протрепещут,
На березах росинки как слезы заблещут,
На душе станет легче, и в сердце больном
Вновь заблещут надежды безумным огнем.*

... Вадим, судя по сохранившимся страницам его дневников, много и где-то даже бессистемно в это время читал. Это тоже примета времени – книга ценилась в каждом доме выше многого и многого – что наверно, сейчас, молодые люди не в силах себе вообразить... Но помимо чтения – был и еще один серьезный стимул к собственному творчеству: стихотворство отца и тётушки. Незначительное, подражательное, не оставившее ни малейшего следа, но оно много значило в той атмосфере, в какой рос юноша, для его самоопределения. Живое поэтическое слово, какими-то неуловимыми нитями связанное с прошлой, оставшейся за дымкой времени эпохой, давало своего рода основания для концентрации собственной творческой энергии. Вадим читал и писал, читал и писал...

Из его дневника:

“3.1.43 г. Я окончил 6 класс средней школы, проучился полгода в 7 классе... обогатился новыми знаниями, написал много *неплохих* (относительно...) стихотворений, научился плавать... получил новые представления о людях, о жизни, прочитал несколько десятков книг, собрал библиотеку

в 100 томов... Жизнь моя хороша и весела... Но что ждёт меня впереди? Кем я буду? Буду ли я счастлив? Кто мне может ответить на эти вопросы? Никто. В бога я не верю, в судьбу верю. Эта странная формула слепа, но, кажется, справедлива. А что, если она не справедлива?.. Ну что же, жизнь прекрасна и коротка. Надо прожить ее так, чтобы перед смертью не жалеть о неиспользованном счастье, не скорбеть о бесцельно проведенных годах. Итак, мой тост за жизнь!"

(Кстати, о "библиотеке в 100 томов". Послевоенное время было золотым временем для библиофилов, книжных коллекционеров. За сущие копейки на книжных развалах, располагавшихся на базарных площадях, можно было купить ценнейшие (в историческом смысле слова!) книги XVI–XVIII веков, не говоря уже об изданиях пушкинской поры и второй половины XIX столетия. Нетрудно было из подобных "покупок" составить и роскошное собрание раритетов "серебряного века", включая и раритеты, вышедшие в считанном количестве экземпляров.

На этих же барахолках (москвичи старших поколений вспоминают знаменитую "Тишинку") разворачивалась торговля иностранными товарами как европейского, так и азиатского происхождения. Всё привезённое – немецкое, американское, английское, венгерское, чешское, японское – продавалось, покупалось, перепродавалось, выменивалось... Это была нормальная жизнь того времени, времени послевоенной разрухи, когда люди вынуждены были вертеться, как получалось, чтобы прокормить себя и свои семьи. Как вспоминал Кожин, "вполне подобная нынешней широчайшая "коммерческая деятельность" стала уделом миллионов (кстати, и я сам – тогда школьник – в известной степени был в нее вовлечен")...

8.1.45 г. "Вчера 7.1 (Рождество Христово!)... Привез от п/я 269 три своих книги: Лион Фейхтвангер "Сыновья" и "Иудейская война", В. Скотт "Граф Роберт Парижский" – часть III. Сейчас сажусь за продолжение и переписку своей "Истории западноевропейской литературы в ее выдающихся представителях и лучших памятниках". Мною уже написано (начало еще в 1944 г.) 5 глав из нее. Это: Греция, ранний Рим, "Золотой век", Христианство, Раннее Средневековье. Всего же книга должна состоять из 9 глав. Осталось написать: Гуманизм, 17 век, 18 век, и также, если окажется возможным, 19 век. Завтра я решил съездить к З. (Дом Правительства)...

20.1.45 г. ... Собрана коллекция монет, выпущенных русскими государями, начиная с Анны Курляндской и кончая Николаем II (1738–1901 г.). Достал книгу (изданную Народным университетом) "Очерки по истории русской литературы" (меня заинтересовала в ней новейшая литература). Написано стихотворение (вернее, дописано) "Корабли, встречаясь в море, разговаривают друг с другом огнями" (Лонгфелло) (Это не название, а эпитафия)... Прочел книги: "Записки Пиквикского клуба" Дикенса... "Как закалялась сталь" – Островского Н. (в полном издании) и сейчас читаю "Рожденные бурей". Отписал письмо З. Ф. Кажется, получилось ничего...

30.1.45 г. ... Ну что же я сделал за последнее время? Нахватал двоек в школе, написал стихотворение "На Берлин", прочёл рассказы Тургенева: "Затишье", "Переписка", "Пасынков", "Первая любовь". Впечатление – прекрасное!

9.IV-45 г. ... На улице стоит прекрасная погода. Лучи солнечного света врываются в комнату. Неумолчно щебечут птицы за окном. Весенний ветерок бороздит воздух, разнося благоухания весны. И словно нарочно, для того, чтобы весна вселила во всех еще большее очарование, в воздухе звучат неповторимые мелодии штраусовского вальса (радио). Звуки наполняют комнату, журча и переливаясь, как прозрачные воды хрустального горного ручейка. Хочется идти, хочется лететь куда-то далеко-далеко, в таинственные леса, под ветвями которых лежат, сохраняя свою зеркальную голубизну, небольшие лесные озера; в луга, которые давно обнажились и кое-где покрылись молодой, нежно-зеленой травой-муравой; куда-нибудь дальше и дальше, в привольные и прекрасные своей необозримой шириной русские степи, усеянные цветами и полные птичьих песен. Жизнь хороша, хороша тем, что вокруг расстилается чудная, неповторимая русская природа, прекрасна произведениями искусства и древностями, прекрасна любовью и чувствами, и те, те, которых я презираю всем своим существом, те, которые не понимают ни искусств, ни природы, те, у которых нет чувств, только эти полулюди не могут быть счастливы

в этом мире. Я люблю свою родину, Россию, люблю три березы на узком клине земли, поросшем травой, люблю покосившиеся избушки с соломенными крышами, люблю раздольные, как сама Русь, песни, люблю нежные и грустные, полные любви к тебе, Россия, стихи твоих поэтов. Пусть я буду несчастлив в жизни, пусть только горести выпадут на мою долю, но я буду помнить годы своей юности, буду любить природу, искусство, поэзию и буду чувствовать и любить. Да исполнится это!..

20.V-45 г. ... Зеленеет молодая трава по обочинам фронтовых дорог, блестит чистая вода реки с торчащими из неё сваями разрушенного моста, зелёный лес со сломанными стволами и ветвями, с грудями разбитого и ржавого железа на просеках и полянах, полон птичьего гомона и цветущей зелени. Всё кончено. Только незажившие ещё раны остались на груди России. Да кипит ещё ненависть к немцу в сердце русского человека за родимые горы и сёла, за любимых людей, за сломанные берёзки и поруганные святыни... (выделено Вадимом Кожинным. — С. К.).

11.VI-45 г. Сдал пять экзаменов... Но ведь ещё шесть! Завтра немецкий язык. Этот собачий язык! Что мне до того, что на нём писали и говорили Шиллер, Гёте, Гейне? Что мне до того, что в Германии родились Гуттен, Гольбейн, Кранах и Дюрер? Все они, или почти все, были патриотами своей гнусной страны. Пусть они рожутся в развалинах рейнских замков и воспевают рейнские берега! Не лежит у меня к ним сердце! Да здравствует Россия! Пусть цветут её поля и зеленеют берёзы и рощи! Не жалкие идиллии германских колбасников, а раздольные песни русского народа люблю я!

Сегодня тёплый хороший день. Сегодня... ходил купаться (в Москве-реке. — С. К.)... в Нескучном, на Воробьёвых горах и в Берёзовой роще. Любова чудесными левитановскими видами. За годы войны парк запустел, пышно разрослась трава и кусты. Аляповатые скульптуры сброшены с пьедестала!..

Сейчас я интересуюсь, как и ранее, историей Москвы и её архитектурой. В данный момент увлекаюсь историей Замоскворечья, где я сейчас живу..."

(Настроения, которыми пронизаны эти страницы, типичны и естественны для того времени. Многие и многие впервые, вдохнув мирного воздуха, ощутив под ногами окровавленную и разоренную, но мирную землю, стали про себя и вслух произносить слово "Россия". Кстати, в дневниках Кожинна мы встречаем именно это имя Отчизны — никогда он в личных записях не употребит аббревиатуры "СССР" или сочетания "Советский Союз". И не потому, что ему чужд интернационализм — мы еще увидим, сколь безоснователен этот упрёк, периодически бросающийся в его сторону. Но историческая Россия, вобравшая в себя всю военную и мирную, кровавую и относительно спокойную современность, стала его главной и всепоглощающей любовью.

Отношение к Германии также очевидно естественно для тех послевоенных дней. И вот эти настроения долго не задержатся. Он выучит "этот собачий язык" — который, можно себе представить, с каким трудом давался мальчишке в последних классах школы! Он будет читать немецких поэтов и учёных в оригинале и напишет умные и проницательные страницы о влиянии немецкой философии на русскую литературу в первой трети XIX столетия).

"20.X-45 г. Пятнадцатая осень склонила надо мной золотые березы свои. Холодный и сырой ветер срывает золото и бросает на дорогу, и люди топчут поверженную красу. Лес стонет, и скрипят молодые березки от порывов ветра. Серые тучи плывут по серому небу на юг и проливают дождь на мокрую, поблекшую траву. Но вот пришёл тот день, и полетели белые мухи, и закружились над землёй в торжествующем танце. Всё сильнее и сильнее сыплет снег, чистый, холодный, мёртвый... Скрыл он под собой осеннюю грязь, окутал землю белым покровом, повис на ветвях деревьев.

Вечер. Чисто небо, улетели тучи далеко, луна сияет с неба, звёзды шлют свои бесстрастные лучи на засыпающую землю. Снег блестит зеленоватым блеском, волшебные деревья как в сказке стоят, в белом серебре. Леденящий ветер застыл и повис прозрачным туманом между землёй и небесами..."

3.XI-45 г. Эта осень очень плодотворна в отношении моей поэзии. С июля месяца я написал 8 стихотворений и одну поэму "Москва", правда незаключенную. Почти все стихи пессимистического содержания и только последнее в оптимистическом духе..."

Плохи дела в школе. Нахватал много двоек. В четверти будет, вероятно, 3-4 двойки. И по поведению снижена отметка за опоздание"..."

Вот, пожалуй, и ответ на вопрос, почему Кожинов уже в зрелом возрасте утверждал, что “в школе учился очень плохо”. Осталась в душе заноза от того, что он, круглый отличник в начальных классах, так “опустился”. Двоек-таки в табели успеваемости не было, но предметы “непереносимые”, по которым больше “уд.” не получал, видно сразу: геометрия, всё тот же немецкий и военное дело... Впрочем, похоже, книжное собирательство, собственное творчество и изучение истории Москвы значили для него в это время больше, чем школьные успехи.

А нота лирического патриотизма в дневниках всё не ослабевает.

“Русь! Страна моя чудная и великая. Сердце моё то замирает, то бьётся с пылкой страшной быстротой, когда я вижу тебя. О, Родина! Почему я так люблю твои леса и степи, реки и озёра. И когда весной иду по твоим зеленеющим рощам, почему я обнимаю со слезами счастья березы и мне хочется броситься на землю и целовать её? Почему когда я вижу волнующийся океан ржи с ласковыми голубыми огоньками васильков, всё трепещет во мне? О, я люблю тебя, Русь, прекрасную, как сама жизнь, необъятную, как небо, и бессмертную, как любовь! Очарование родной старины приводит меня в упоение... Как мне милы твоя страстная цветущая весна, лето с утренними туманами и ароматным лесным зноем, грустная золотая осень и вьюжная зима. О, сколько нежной любви я отдаю тебе, Россия, о, сколько вдохновения и свежих сил ты мне приносишь! Приди вновь, пылкая весна, одень голые ветви берёз в зелёный дым и пропой гимн жизни, счастью, любви!

Я сын твой, Русь, я верен тебе до смерти, благослови ж меня на жизнь, Родина!

8 ноября 1945”.

Понятно, что это писал пятнадцатилетний школьник. Понятно, что любой из читавших критические, литературоведческие, исторические работы Вадима Валериановича в 1960–1990-е годы не мог не почувствовать в них глубоко запрятанного, временами еле ощутимого схожего порыва. Он присутствовал в “словесном теле” его писаний, он прорывался в минуты, когда Кожинов читал Пушкина, Есенина, Рубцова или брал гитару и пел русскую классику или свои любимые стихи тут же присутствующих поэтов на собственные незамысловатые мелодии... И всё же — никогда, насколько мне известно, в обыденной жизни он не позволял себе раскрыться подобным образом. Любовь к России, к Руси (обращает на себя внимание это слово в дневнике 1945 года!) он нёс глубоко и затаённо, подчас дружелюбно иронической или намеренно суховатой репликой сбивая излишний пафос беседующего с ним.

А сейчас мы подходим, пожалуй, к главному в этот период его жизни. К школьному окружению.

“1-го сентября 1945 г. я пришёл в среднюю школу №16 ЛОНО... 7-й класс “А”, где учился я в 1944/45 г.г. был довольно дружный класс, т. к. большинство учеников учились вместе с 5-го класса. Ребята моего круга были Е. Скрынников, Н. Запенин и другие, менее близкие. Скрынников уже сейчас в худож. училище, т. к. обладает недюжинным талантом...”

Художник Евгений Скрынников оставил короткие воспоминания о мужской школе №16 (с 1945 года с СССР было введено отдельное обучение). В частности, он вспоминал:

“Дима жил тогда на Донской улице, а я на Большой Калужской, 12. Конечно, ходили друг к другу в гости... У меня дома — и на Калужской, и потом, когда я переехал, на Ленинском проспекте — была колоссальная библиотека (мой отец имел возможность приобретать книги по спецсписку). И Дима, конечно, любил рыться там...”

У нас был директор школы по прозвищу Геббельс; маленького роста, очень любил ораторствовать. Он строил все классы в коридоре, залезал на стул и произносил речи. Ещё любил вызывать к себе в кабинет и говорить по душам (спрашивать, какие у нас есть вопросы, о чём мы думаем и т. д.). Я помню, в седьмом классе мы с Димой на полном серьёзе спросили его: а в чем смысл жизни? И он не смог ответить на этот вопрос... Добрые воспоминания у меня остались о преподавательнице по литературе, которая привила нам вкус к классике. Всем нам, “гуманитариям”, трудно давались точные науки. Учитель математики Ангелина Фёдоровна нас прямо называла баранами...”

Об Ангелине Фёдоровне, и не только о ней, вспомнил и другой одноклассник Вадима — Гелий Протасов.

“Контингент учащихся в нашем классе был самый разный. В нём учились дети как высокопоставленных советских чиновников, министров, известных артистов и ученых, так и дети рабочих и служащих...

Соответственно уровень воспитания “контингента” был разным. Поэтому между учащимися проходила незримая граница, разделяющая “интеллигентов” и “босяков”. Вадим по своему воспитанию относился к “интеллигентам”.

Вспоминаются уроки истории, на которых наша “историчка”, Зоя Федорова, заставляла нас заучивать до десятка разных исторических дат. Мы, “босяки”, конечно, делали шпаргалки. Вадим же отвечал на вопросы без всяких “шпор”, а потом к ним добавлял такие исторические подробности, что удивлял не только нас, но и нашу учительницу.

Но когда проходил урок математики под руководством Ангелины Фёдоровны, то для некоторых из нас, в том числе и для Вадима, наступали критические моменты... Она просто свирепела, если кто не мог решить задачи или примера. Она в буквальном смысле хватала такого ученика за шиворот и начинала таскать его с криками: “Болван! Дурак! Баран!” – от одного края доски до другого, тыкая его головой в классную доску. Ткнув бедолагу в один край доски со словами: “Болван! Видишь, что ты здесь написал?!” – а он с испугом отвечал: “Вижу!” – она тащила его в другой край и, тыкая его головой в доску, кричала: “А теперь, что ты, баран, написал, видишь?” Ошалелый ученик отвечал: “А теперь не вижу”. В классе раздавался дружный хохот...

Подобные преподаватели раз и навсегда убивают интерес к своему предмету – нет ничего удивительного, что математика Вадиму на этих уроках давалась с трудом, и занимался он без всякого желания (домашние задания – другое дело, здесь он включал свою фантазию, подвергал ум жесткой “гимнастике”). “Евглена Зелёная” (так называли её ученики) пыталась своими “методами” воздействовать и на него, но тут нашла коса на камень. Вадим один раз негромко ответил ей таким образом, что та больше не пыталась не только воздействовать на него физически, но и прекратила все словесные оскорбления.

Интеллектуально Кожинов умел постоять за себя с подросткового возраста, но, честно говоря, наблюдая его в зрелости и в “пожилом периоде”, я (и думаю, не только я) не мог представить себе его участвующим в драках даже в школьные годы. Но Гелий Протасов вспоминает, что Вадим не давал себя в обиду и более старшим, и более злобным соученикам. Так, он сначала послал куда подальше сына директора фабрики “Красный Октябрь”, перед физической силой которого пасовали и пресмыкались другие его товарищи, а потом вступил с ним в жестокую драку. Досталось Вадиму крепко, но тут за него заступились “босяки”, которые с одобрением отнеслись к “интеллигенту”, не побоявшемуся себя защитить.

Однако в других ситуациях Вадим вступал в войну уже с “босяками”.

“На протяжении всей учебы в школе Вадим был центром, вокруг которого формировался кружок из художественно одарённых ребят, – вспоминал Протасов, принадлежавший к “босякам”. – Из них впоследствии вышли такие известные в нашей стране люди, как скульптор Бобыль, театровед Николай Запенин, художник Евгений Скрынников, главный директор (в 60-е годы) музея Кремля Евгений Сизов, писатели Алешковский, Семенов. Помню, как они дружно защищали от “босяков” в 6-м классе старичка-учителя, преподававшего нам то ли уроки рисования, то ли скульптуру. Они вступали с нами в жесточайшие конфликты, когда мы пытались сорвать его уроки. Вадим же всегда был заступником этого учителя-гуманитария”.

А теперь самое время обратиться снова к кожиновскому дневнику с его яркими и запоминающимися характеристиками уже упоминавшихся и еще неизвестных нам Вадимовых друзей.

“14. XII. 45 г.

Наступила настоящая зима. Глубокий снег лежит на земле, и холодный ветер обжигает щёки. Я учусь (вернее, хожу) в 8-м классе 16 школы. Класс разнородный, в нём почти 40 человек, оригинальных и интересных (за некоторым, конечно, исключением). Вот круг, в котором я вращаюсь:

I. Запенин – парень 16 лет с лицом чахоточным, тощий и высокий (около 180 см). Чёрствый эгоист. Ум довольно ограниченный, главным образом

не тонкий, не острый и не весьма глубокий. Зато знания – велики. Очень интересуются историей, искусством, вообще гуманитарными науками. Счастлив в своих исканиях: множество книг, предметов искусства и т. д.

В школе совершенно ничего не делает, лишь “парту греет, да завтраки получает”, по выражению учительницы математики свирепой Ангелины. Он хочет поступить в музей служащим и поэтому совершенно на всё махнул рукой. Начал недавно писать стихи и увлёкся ими совершенно. Знаком с ним я уже около трёх лет. Без него у меня не было бы моей коллекции. Души у него почти нет и обращается он со мной деспотически, и за это я его не люблю и всё время возмущаюсь. Лишь за последнее время почувствовал ко мне уважение.

II. Евсеев. Тоже высокий “молодой человек”, но моложе меня на 2 месяца. Большой красноречив и любит блеснуть речами. Очень умён, но ум не особенно глубокий. Остроумен, вспылчив, ленив. Учится плохо – хуже меня. В конце этого лета начал писать стихи. Стихи, за небольшими исключениями, наивны, плохи и без чувства. Написал уже с полсотни стихов и продолжает писать. Очень высокого мнения о своей особе, называет всех ослами и идиотами. Страшно непостоянен, по-детски. Я горд тем, что имею на него влияние в стихах. Самонадеян, но знает мало. Терпеть не может, когда его учат или задевают словами. В эти минуты он считает, что всё, что он говорит, прекрасно, благородно, неоспоримо. Романтичен постоянно. Ну, о нём хватит. Напишу потом ещё чего-нибудь.

III. Белицин. Высокий блондин. Проницательный и глубокий, но не острый ум, знает очень мало, но умнее предыдущих. Очень выдержан и обладает сильной волей. Мечтает стать дипломатом и для этого постигает тайны дипломатии и изучает языки. Все люди для него – лишь пешки для его ходов. Из всех привык извлекать пользу, чем отличается от бескорыстного Евсеева. Имеет обаятельную внешность и обаятельные манеры. Лыстит всем вокруг, все свои действия подчиняет дипломатии, оставляя это скрытым. Когда я его раскусил, он очень удивился и заявил, что я “чертовски умён и проницателен”. Врёт всё, о чём только можно врать, и никто не знает, что у него внутри делается и какова истина. Интересно говорить с ним наедине, разгадывая его понемногу. Учится средне.

IV. Рыбаков. Красивый “молодой человек”. Неплохо рисует. Скрытен и самодулюбив. Друг Евсеева, который относится к нему страшно наивно, не замечая этого сам. Молчалив и сдержан. Учится хорошо. Хочет быть архитектором. Любит рисоваться. Весьма силён.

Вот круг моих приятелей, с которыми я, правда, всё время ссорюсь, и которые ссорятся друг с другом. Близится новый год и конец 2-ой четверти”.

В этих едких, острых, “нетолерантных” (выражаясь современным жаргоном) характеристиках кожиновских приятелей обращает на себя внимание одна существенная деталь – за единственным исключением Вадим начинает разговор об их качествах с “характеристики ума”.

Это первое, что привлекает его, первое качество, по которому он выбирает людей для дальнейшего общения. Второе – тяга к литературе и искусству. Они все писали стихи, посвящали их друг другу, обменивались ими, обсуждали, критиковали, спорили до крика. . . Георгий Семенов в зрелом возрасте стал одним из тончайших русских прозаиков, не снискавшим громкой славы, но оставшимся в истории литературы удивительной свежестью стиля своих рассказов и повестей (Кожинов еще напишет о нем). В Вадимовом архиве сохранились посвященные ему целые циклы стихов отъявленного школьного хулигана Юзика Алешковского, человека довольно злобной природы, который сначала вылетел как пробка из среднего учебного заведения за то, что вытянул железным прутом одну из учительниц пониже спины, а затем, протрудившись какое-то время на подсобных работах, сел в тюрьму по уголовной статье за угон машины. По следам своего пребывания в “местах, не столь отдаленных” он и написал впоследствии песню, пользовавшуюся определенной популярностью (я помню, как Вадим Валерианович напевал их под гитарный аккомпанемент): “Товарищ Сталин, вы большой учёный. . .”, “Окурочек”, “Птицы не летали там, где мы шагали. . .” – и другие такого же рода. В конце концов он тоже связал свою жизнь с литературой, писал вполне добропорядочные (хотя и не больно талантливые) повести и рассказы для школьников, параллельно с этим подпольно сочиняя чёрную антисоветчину, обильно нашпигованную матом, видно, полагая это своим главным достижением. В конце концов эмигрировал в США.

Подобного рода персонажи частенько попадались на пути Вадима Валериановича, и нам предстоит еще не одна возможность посмотреть на них вблизи и поговорить об их “жизни и творчестве”. А теперь снова послушаем нашего школьника и поэта.

“31. XII-45 г.

Осталось шесть часов до конца 1945 года. Земля в своем непрерывном вращении начнет новый круг вокруг Солнца. Как всё просто и закономерно течёт в системе планет! Как, наоборот, наша жизнь неравномерно, прыжками и скачками, как по ухабистой и извилистой дороге, несётся куда-то и только одна судьба знает, где приостановится и замрет её непостижимый человеческому уму бег. (Хороший пример – стихотворение А(лександра) С(ергеевича) П(ушкина) “Телега жизни”. Чорт возьми! (Именно так – через “о”! – С. К.) Это же Гоголь!)

*Год грядущий! Что скрыто в тебе
Недоступное мысли моей?
Много ль радостей выпадет мне
В незнакомой чреде твоих дней?*

Так писал я три дня назад в своей “оде” “Оттепель на Новый год”. Надо было бы подвести какие-нибудь итоги, записать дела, да лень несусветная витает надо мной и губит меня! За четверть получил двойку по физике, остальные тройки... четверки... пятерки... Поведение еще не знаю, какое, но ниже пятерки?! За “мнимое хулиганство”, а верней, за гордость или, лучше, упрямство, и за длинный язык...”

Чем-чем, а благонравным поведением Вадим, действительно, не отличался. Но его “приключения” явно выходили за рамки обычных школьных про-ступков.

Об одном из таких случаев вспоминает Гелий Протасов:

“Запенин, которого мы за длинный рост и неимоверную худобу прозвали Дон-Кихотом, был очень нервным и неуживчивым парнем. Прочился он в нашем 9-м классе всего год. Способностями к учебе он отличался слабыми, кроме знания истории и литературы.

Вместе с Вадимом они посещали разные исторические места Москвы, музеи, выставки. Со стороны Запенин и Кожин как-то напоминали героев Сервантеса – Дон Кихота и Санчо Пансу. Однажды, при посещении этими “героями” Исторического музея, им понравился один из небольших экспонатов, и они решили взять его “на память”. Их заметила служительница музея и подняла тревогу. “Дон Кихот” был пойман и доставлен в отделение милиции. В милиции было заявлено, что виноват во всём “Санчо Панса”, он был якобы инициатором взятия экспоната из-за неудержимой любви к историческим реликвиям. Вадима вызвали на заседании педсовета, и встал вопрос о его исключении из школы. Однако чистосердечное признание своей вины и поручительство за него директора школы Николая Михайловича (того самого “Геббельса”. – С. К.), учителя истории, помогли ему остаться в школе. Со стороны нас, одноклассников, предательство Запенина вызвало большое возмущение и еще большую неприязнь к нему. Вскоре он вынужден был перейти в другую школу. Правда, дружба двух “героев Сервантеса” не прервалась. Они продолжали дружить и после окончания 10-го класса, вплоть до гибели Коли Запенина в авиакатастрофе”.

Другой случай мог вообще закончиться далеко не так благополучно.

О нём через много лет вспомнил сам Вадим Валерианович. Вспомнил не как о чисто автобиографическом факте, но как о факте истории, как о примете времени. “К сожалению, – писал он, – люди очень редко (или вообще не) задумываются о том, что их собственная личная жизнь, и само их сознание – неотъемлемая (пусть и очень малая) частица Истории во всём её мощном движении и смысле. Людям кажется, что это движение и этот смысл развёртываются где-то за пределами их индивидуальной судьбы, – или, вернее будет сказать, они именно не задумываются о том, что их, казалось бы, сугубо частное, “бытовое” существование насквозь пронизано Историей”.

А сама по себе история заключалась в следующем:

“Хорошо помню первую в моей жизни встречу с людьми Запада. Я был тогда учеником 9-го класса и увлекался рисованием. В тот день я зарисовывал

одну из башен московского Донского монастыря, — это было 17 марта 1947 года (рисунок с точной датой сохранился в моем архиве). Неожиданно в безлюдный монастырь вошли для его осмотра несколько французов, молодых мужчин и женщин, очень живых — “живиальных”, роскошно (по крайней мере на мой взгляд) одетых и источающих запахи духов и одеколонов; они казались пришельцами с иной планеты...

Мне они, конечно же, были интересны, но и я — очень бедно и уродливо одетый и худой от недостатка питания (мой отец был высококвалифицированным инженером, но жизнь абсолютного большинства населения страны была тогда весьма и весьма скудной) заинтересовал их хотя бы тем, что был занят “искусством” в безлюдном монастыре. Одна из французенок в какой-то мере владела русским языком, и у нас начался перескакивающий с одного на другое разговор.

Узнав, что передо мной французы, приехавшие на какое-то совещание — не помню, какое именно (тогда в Москве проходила конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании. — С. К.), я — отчасти ради “эффекта” — удивил их достаточно существенным знанием их родной литературы и истории; затем разговор перешел на Москву, и я, в частности, сказал, что могу показать им те возвышенности, с которых Наполеон смотрел на Москву, вступая в неё 2 (14) сентября 1812 года и покидая её 7 (19) октября. У ворот монастыря французов ждала самая шикарная тогда автомашина ЗИС-101, а за рулём сидел довольно мрачный человек, который начал вполголоса допрашивать меня, кто я и откуда. Несмотря на юный возраст, я почувствовал некую опасность и назвал выдуманные имя и адрес. По всей вероятности, шофер этот был связан с МГБ, а я между тем всю дорогу на Поклонную (тогда еще не срытую, как теперь) и, затем, Воробьевы горы весьма вольно говорил с французами на самые разные темы...

Продолжение этой истории в изложении Гелия Протасова было следующим: “Естественно, эта самодеятельность не осталась незамеченной соответствующими органами, и уже на следующий день Вадим давал свои показания не только директору школы.

Перед педагогическим советом школы опять встал вопрос, что делать с неугомонным историком? Однако снова “чистосердечное признание” своей вины и незнание правил взаимоотношений с представителями дипломатического корпуса помогли Вадиму избежать крупных неприятностей...”

Кстати, о вольных разговорах на самые разные темы... Вадим, как и абсолютное большинство населения страны в то время, полностью разделял восхищение силой и мощью государства, победившего фашизм — эта сила объективно воплощалась в образе Сталина, как Верховного Главнокомандующего и руководителя страны. Кожинов, много лет размышлявший над объективными законами истории, сделал совершенно непререкаемый вывод, что “действительно громадное значение имел не сам Сталин, а миф о Сталине, который играл особенно большую роль во время войны, ибо миллионы людей верили, что во главе страны — всезнающий и всемогущий человек, ведущий их к Победе... И... этот миф, “объективированный в их действиях имел гораздо большее значение, чем сам Сталин”.

(Кстати сказать, и сам вождь государства прекрасно понимал разницу между человеком и сотворённым мифом. Однажды он позвал к себе кабинет своего сына Василия, на буйство, неуправляемость и хамство которого (“Я — Сталин, а вы здесь кто?..”) в очередной раз пожаловались школьные учителя. Поставив его перед собой, Иосиф Виссарионович сделал долгую паузу, а потом спросил: “Значит, ты — Сталин?” Опять — долгая пауза... “Значит, ты думаешь, что ты — Сталин?” Пауза... “Или ты думаешь, что это я — Сталин?” Пауза... Решительный жест рукой в сторону стены. Фраза, словно вколачивающая последний гвоздь: “Нет! Это он — Сталин!” Рука вождя указывала на его собственный портрет, висевший на стене).

Но одно дело — вера в надличную силу. И совсем другое дело — отношение к повседневным фактам бытия, которые, что называется, резали глаз... Вадим прекрасно помнил довоенное путешествие в Крым, где жил в татарском селении Отузы... Он приехал туда летом на школьных каникулах после войны, где видел развалины татарских домов и остатки виноградников. Как он сам вспоминал — “сердце мое скорбно сжималось. Я с глубокой горечью говорил тогда об этом близким людям”... Тогда он не думал (да едва ли знал)

о том, сколько советских солдат полегло в том же Крыму в результате массового предательства крымских татар (из 50 000 тысяч мужчин призывного возраста *каждый пятый* воевал на стороне врага), об огромном количестве дезертиров — представителей этого народа, становившихся полицаями на службе у немцев, пополнявших зондеркоманды, входивших в местные оккупационные администрации... Всё это он проанализирует и обо всём этом напишет в своё время. Но тогда — реакция была живая, резкая и в чём-то (объясняемая и незнанием, и непониманием происходящего) — естественная.

Лето 1945 года... Только-только отгремел Парад Победы, “я вместе с тысячами людей стоял на набережной Москвы-реки у Большого Каменного моста, и когда до нас дошли возвращавшиеся по набережной с Красной площади шеренги фронтовиков, из всех уст согласно вырвался какой-то сверхчеловеческий — никогда в жизни более мною не слышанный — ликующий вопль... И никогда больше не видел я солдат, идущих столь торжественным и вместе с тем *вольным* (ведь шли люди фронта, а не строя) шагом. Это было захватывающим душу и неопровержимым воплощением величия нашей Победы, нашей страны”.

Не пройдет и месяца, как во время прогулки по Калужской площади с Евгением Скрынниковым, два друга увидят маленьких детей в лохмотьях, просящих милостыню... Скрынников ядовито “пропоёт”: “Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!” Вадим, уже знающий о том, как из голодной России (деревня буквально вымирала) идут составы продовольствия в Германию, будет полностью солидарен с Евгением.

Явно негативное отношение к повседневной государственной политике прорывалось и в других ситуациях. “Помню, как, будучи школьником последнего класса (форменная одежда к нам еще не дошла), я оказался в сборище сверстников, которые шумно веселились вплоть до полуночи. Наконец, явился с протестом сосед, специально облекшийся в какую-то чиновную форму, — дабы выступить, как представитель государства, а не частное лицо. И одна из девушек, увлекавшаяся театром, гневно продекламировала фрагмент из монолога грибоедовского Чацкого:

*Мундир! Один мундир! Он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету;
И нам за ними в путь счастливый!..”*

Может быть, эта девушка была “первой любовью Вадима — Ириной”, о которой вспомнил Протасов... Надо сказать, что Вадим с юности был далеко не промах в общении с прекрасным полом... Специально одним из первых записался в танцевальный кружок, чтобы не ударить лицом в грязь в кружке балльных танцев в женской 17-й школе, куда “кавалеры” приходили на танцевальные вечера. Более того, в последнем классе школы Вадим снова оказался в директорском кабинете на педагогическом совете. На этот раз разбирался его “моральный облик”. Оказалось, что он имел близкие отношения с одной из девушек, в результате чего едва не встал вопрос о “женитьбе”... Каким образом развязалась вся эта канитель — история умалчивает. Во всяком случае, сам Вадим Валерианович не вспоминал ни о чём подобном.

ЛИДИЯ СЫЧЁВА

ГЕРОИ И ТОРГАШИ

Хозяйство без хозяина

В сельском автобусе, заплатив деньги водителю, я села на переднее сиденье, лицом к салону. Людей было немного, и я по очереди мельком взглянула на каждого. Молодая мама с нарядной дочкой – кружевное платье, белые бантики. Пожилой мужчина с загорелым лицом, с отточенными чертами – такие бывают у тех, кто много работает в поле. Женщина с частыми бусами из янтаря – наверное, от щитовидки носит. И другие люди... С каким спокойным достоинством, ясно и прямо смотрели на мир их глаза!.. Молодые и старые, больные и здоровые. В каждом моём спутнике читалась честная, трудовая жизнь. Какие уверенные лица! Широко смотрят на мир сельские люди.

Большой город будто набрасывает на людей “сетку” или пропускает человеческую массу через “фильтр”, и оттого здесь меньше ярких типов, красочности речи, душевной открытости. Словно гигантским ластиком стираются внутренние различия. Обитатели московского метро в основном погружены в содержимое мобильных телефонов. Виртуальность вытесняет собственное пространство духовной жизни.

Как живёт новоявленный горожанин, вчерашний провинциал, всегдашней микрорайонов с “плотной застройкой”? Вместо родных берёз – электрические сакуры. Вместо огорода – цветы в горшке из супермаркета. Вместо семьи – ипотека и “отношения”. Вместо жизни – проживание чужих новостей, преимущественно политических. Украли, убили, правительство, реформы, война, “Газпром”, Сирия, Украина, Венесуэла, Telegram, криптовалюты, конкуренция, банки, бензин, цены на нефть... 90 процентов главных новостей в нашей стране касаются, наверное, двадцати или тридцати людей из правящего класса. Собственно говоря, это их жизнь, их амбиции, их поступки, деньги, контракты, решения, словечки (не ими даже написанные). Информационный поток большей частью не соприкасается с общественной пользой. Но через mass-media верхи заставляют десятки миллионов людей сопереживать их житейской суете, придавая таким образом масштаб зачастую ничтожным событиям.

Естественное чувство родины говорит человеку: “Где родился, там и пригодился”. Но реальность физического выживания гонит россиянина в многоэтажное гетто. Городской человек экономически и политически выгодней правящему классу. Его дешевле кормить, образовывать и лечить. Кроме того, подавляющее большинство горожан ничем, кроме скромных квартир, не владеют. Нет собственности – нет и прав. И даже некоторых чувств. Разве может родиться чувство хозяина у человека, который с детства воспитывался

в “клетке”, то есть малогабаритной квартирке?! И это стеснённое, несвободное состояние – в самой большой (и потенциально самой богатой) стране мира!..

Народ, лишённый чувства хозяина, превращается в население, в сообщество вечно одиноких, обобранных – духовно и материально – индивидуумов, которых сплачивает только телевизор и пропаганда. Сервис “Медиалогия” показывает, что слово “чиновник” в печатных государственных СМИ встречается чаще, чем слово “народ”. Из данного понятийного расклада ясно, кто в доме настоящий хозяин и кому служит PR-пресса. Что победит: хорошо оплачиваемые “жамки” (пережёванная для младенцев пища) про хорошее начальство или “голая правда”? История журналистики могла бы чему-то научить нашу власть, да только учиться уже поздно...

Получается, что в нынешних условиях именно разобщённое, зависимое от управителей население, а не народ (по Конституции – “единственный источник власти”) формирует и выдвигает из своей среды правящий класс, который ещё менее привязан к родной почве, чем его атомизированный “родитель”. И потому “верхний этаж” общества ничего, кроме презрения к “простым людям” (“лохам” и “быдлу” то есть), не испытывает. Из грязи – в князи!.. Отсюда – коррупция, воровство, ложь, имитация, пошлость – родимые пятна новоявленной “знати”. От худого семени не жди доброго племени...

Так раскрывается механизм самоубийства. Потому что подобный верхний класс может удержаться у власти только одним путём – последовательно выполняя заданную программу, перемалывая народ в население. Другая легитимность для него просто невозможна.

Самоуправление, коллективизм, кооперация, предпринимательство (а не “бизнес”), здравый смысл, нравственный взгляд на людей и поступки – приметы народной жизни. Их до обидного мало в России. Любая самоорганизация, здоровая инициатива связывает человеческие “атомы” в народ, а это опасно для верхов.

Формализация духовной жизни в виде госрелигиозных обрядов – оправдание для беспринципных чинуш. Мол, да, мы ворует, но – веруем! И Бог нас простит!

Сельские люди, горестно посмеиваясь, рассказали мне такую историю о новейшей религиозности. Приехал из столицы олигарх-чиновник в райцентр на открытие храма, построенного с его финансовым участием. А внук-малыш возьми и спроси у него при стечении народа: “Дедушка, а это наши рабы?..” Вот уж, действительно, устами младенца глаголет истина...

При таком раскладе неизбежен особый упор на “скрепы”. Государственная культура (созданная на остаток денег, уцелевших от воровства) должна воспитать население в духе чинопочитания, укрепить основы нынешнего чудовищно несправедливого строя, главное культурное содержание которого – пошлость и бесстыдство (см. каналы гостV).

Возьмите современные эстрадные песни, особенно те, что нам навязывают через телеэкран, “новогодние концерты” и прочие насильственные зрелища. Культуру какого народа, вообще говоря, нам показывают?! Нет, это даже не голос обезличенного “населения”. Это крики ведьмаков, отчаявшихся биороботов и материализовавшейся нежити. Какое неуважение к слову, к красоте, к слушателю, к человеку! Какое самолюбование и самоуверенность исполнителей и авторов!.. Чванство самозванцев...

А язык политических дебатов? В том числе претендентов на высшие политические посты... Имитация, пустота и скандал. А язык наших горе-политологов, их “аргументы”, крики, гвалт, истеричность? Где же уважение к народу, к времени жизни человека? Наше телевидение – яд в конфетной обёртке.

Многие считают, что процессы расчеловечивания происходят в России стихийно, что нас несёт “рок событий”. Но между государствами, мировыми интеллектуальными центрами всегда существовала конкуренция, борьба за ресурсы и влияние, потому и духовно-социально-житейский хаос в нашей стране имеет управляемый характер. Судим по результату, а он таков: сама народная “почва” в России истощена и обескровлена. Деревня почти уничтожена, национальная культура заменена госфинансированием, стратегии развития хозяйства в стране нет. Определённо, государство – это не “мы”, а “они”. Те, кто фактически его приватизировал, превратил в личный актив.

Из того, что у нашего правящего класса нет идейной самостоятельности, вовсе не следует, что такая же беда присуща и другим силам, правящим на

планете. Никакой “рок событий” не несёт страны, обладающие настоящей субъектностью, начиная от КНДР и заканчивая Турцией (специально не беру первый ряд мировых держав).

Умение думать самостоятельно и действовать в интересах народа российского – эти качества не привьёшь насильно. Естественно и органично они могут возрасти только на здоровой почве.

За последние тридцать лет из России уехали миллионы людей. Молодые женщины – в поисках личного счастья, трудоспособные мужчины – чтобы заработать на жизнь. За границей оказались сотни тысяч образованных граждан – учёных, предпринимателей, инженеров. Народ российский разбросан по миру – в каких только углах не встретишь наших людей! Они приспособляются к новой жизни, не найдя дела на родине. Огромная потеря для страны!..

Восстановление жизнестойкости народа российского на трёх уровнях – природно-демографическом, социально-политическом, духовно-нравственном – главная задача нынешнего исторического времени.

Как восстановить жизненные силы народа? С чего начать? Нужен лидер, тот, за кем пойдёт народ. России нужен не “оппозиционер”, не госдепонец, не разрушитель, но сын земли и посланник неба. Разве не заслужил его наш народ страданиями своими?..

*Сколько раз мы кровавому сброду
Преграждали отвагой пути...
Неужели такому народу
Время в тёмную бездну сойти?..**

Да, за жизнь стоит побороться! Во имя самой жизни.

В плену у биороботов

Пока западные теоретики рассуждают о грядущей схватке “человека природного” и биоробота (киборга), на пространстве России человекоподобные давно и уверенно захватывают всё новые и новые сферы жизни. Андроиды рулят! Подтверждение тому – наше сельское хозяйство.

Если честно и непредвзято проанализировать “линейку” продуктов, производимых “дешево и сердито” нашими импортозаместителями, то можно обнаружить “синтетических кур”, свинину, при варке которой поднимается “химическая” пена, вечно свежие помидоры деревянной фактуры, творог, который горит “синим пламенем”, как будто это частица “народного достояния” – “Газпрома”. И т. п.

Абсолютно нездоровая пища, что легко установить опытным путём. Достаточно выставить “пост наблюдения” у любого дешёвого сетевого магазина и посмотреть на облик его “прихожан”.

В Европе, даже в её восточной части, всё по-другому. Прекрасные продукты в Польше, в Белоруссии. Вкусная и здоровая пища в Армении, Азербайджане, Турции. Везде рыночная экономика (разных оттенков и пропорций), но нигде нет такого удивительного “агробизнеса”, как у нас.

И, между прочим, продолжительность жизни в этих странах выше, чем в России. Хотя у нас больше и богатств, и возможностей, а уж вознаграждение за труды правящему классу вообще вне конкуренции.

Так в чём же дело?

“По плодам их узнаете их”...

Синтетическую пищу производят андроиды, лишь внешне похожие на людей. Вроде биоробота Демьяна Брудастого, которого провидчески изобразил Салтыков-Щедрин в романе “История одного города”. Верхний “этаж” человеческой сущности, где живут совесть, “страх Божий”, любовь к ближнему, у отечественных киборгов замещён “системным блоком” первого поколения. Андроиды заточены на цифровую экономику – приумножение активов любым путём.

Для человекоподобного организма не существует “ни эллина, ни иудея”. Ближний, то есть соотечественник, воспринимается как “потребитель”

* Стихи Валентина Сорокина.

для начинки его синтетическим продуктом. Или как животное, которое следует чипировать для лучшей “дойки”.

Теперь посмотрим на другую сферу, вроде бы весьма далёкую от сельхозпроизводства и деревенского образа жизни. Я имею в виду русское слово, национальную художественную литературу. И здесь мы увидим ещё большую монополизацию, чем в сельском хозяйстве России. “Фабрики словесности” производят горы “синтетической литературы”, которой забиты прилавки сетевых книжных магазинов.

По своему качеству продукция почти всегда “одноцветная”, её главное предназначение – занять “рынок”. Предложение рождает спрос! Надо ли говорить, что госструктуры, как и в сфере сельского хозяйства, дотируют и “питают” преимущественно производителей “целлофановой культуры”.

Деревенские “живые” продукты замещены красиво упакованными и разрекламированными химзаменителями. Родное слово (песня, стихотворение, проза) вытеснены на обочину медийными фигурами, рэперами или “холдингом имени А. Б. Пугачёвой”. Народ разобщён. Сельский люд, тот, что живёт на земле и знает истинную цену хлебу, воде, семье, труду, поставлен на грань выживания. Он лишён перспектив и стоит перед выбором: умереть на несколько лет раньше в деревне или “спастись” в мегаполисе.

Нет никаких сомнений, что у владельцев всевозможных “персональных данных” – банков и соцсетей – давно есть настоящая картина сегодняшней России, противостояния между “людьми природными” и немногими киборгами, искусно превращающими народ в население.

На чьей стороне власть? Она всегда выражает интересы сильного.

На сегодняшний день главная задача власти состоит в том, чтобы, выражая интересы немногих, убедить всех остальных в своей “народности”.

Сила народа российского – в его многочисленности (по сравнению с андроидами). Слабость народа – в его разобщённости, неспособности выдвигать лидеров, формулировать требования и доводить их до власти.

Основа, стержень любого народа – мужчины.

В России пенсионный возраст для мужчин был увеличен до 65 лет. Доля мужчин, доживающих до 65 лет, в Норвегии (северная страна) – 89%, в Германии (мы её победили, помните?) – 86%, в Китае (есть работа – есть жизнь!) – 84%. В России, по данным Всемирного банка, до пенсии “по-новому” доживают 57%.

Это меньше, чем в странах Африки!

До 65 лет там доживают: в Габоне – 63%, в Судане – 62%, в Ботсване – 61%, в Конго – 61%, в Гане – 59%, в Джибути – 58%.

Для интереса: в Габоне, по данным МВФ, ВВП на душу населения в 2018 году – 8,8 тысячи долларов, 74-е место. У России – 73-е место, 9,3 тысячи долларов.

По ВВП мы соседи, а по продолжительности жизни – увы, в Африке мужик живёт дольше.

Как вам такое, Вероника Скворцова?..

Все, кто когда-либо жил в сельской местности, согласятся: развитие деревни без мужчин невозможно. Дело не только в большей, чем в городе, доле физического труда. Жизнь на земле, обустройство и обихаживание дома, огорода, сада, села, района, края; близость природы, многозначность и непредсказуемость задач, естественная кооперация, самоорганизация – всё это труд мужчины. России нужен хозяин!

Деревня умирает тихо, без стонов – советские писатели-деревенщики давно “ретро” в нынешней культ-реальности, а новые таланты просто не слышны за целлофановым шуршанием “синтетической литературы”.

Замкнутый круг? Киборги непобедимы? Не классовый, не национальный, не социальный конфликты сегодня являются определяющими. Как уцелеть человеку, сохранить свою природу? Вот главный вопрос, над которым не худо задуматься и горожанину, и селянину.

Азарт, как сто лет назад

С 2012 года экономика России в реальном выражении не растёт. Во властных верхах концептуальной застой: упование на углеводородную трубу, накачка финансового сектора деньгами и курс на “сушку” инфляции.

В минувшем году народ, проголосовавши в очередной раз за Владимира Путина, ждал перемен к лучшему. Ну, хотя бы отставки правительства или, по крайней мере, того, что кабинет министров возглавит человек **реального дела**. Управляющий успешным колхозом/совхозом/заводом/областью. Уважаемый большинством трудового коллектива. Состоявшийся в своей отрасли как профессионал. Инженер, агроном, промышленник, хозяин. С чёткой и ясной биографией, с внятным планом действий.

Правда, уже сами президентские выборы-2018 с участием ведущей грязного телешоу (оценочное суждение) стали огромным разочарованием для значительной части не только народа, но и правящего класса. По крайней мере, для тех управленцев, что соприкасаются с реальной жизнью народа и вынуждены вступать с людьми в “диалоги”.

Последующее формирование кабинета министров прошло в духе состоявшейся избирательной кампании. Менять ничего не надо, достаточно украсить “стабильность” разговорами о “рывке”.

За два года в банковскую систему страны было закачано 4 трлн рублей. Это вливание никак не сказалось на экономическом росте – деньги чудесным образом “растворились”. Ещё бы, малейшие перемены в финансовой политике затронут влиятельную группу выгодополучателей. А оно им надо?! Кто ж согласится выпустить из рук такие деньгищи?!.

А народ всё ещё ждал **поворота к коренной России!**.. Мы же такие великие! И в Сирии воюем, и с Украиной конфликтуем, и в “двадцатках” мировые проблемы решаем. И при этом наше здравоохранение деградирует, в тысячах сельских школ нет тёплых туалетов, да что там, в тверской деревне старушка последние 18 лет (!) жила без электричества, пока местный депутат вместе с волонтерами не притащили по бездорожью генератор, купленный на средства благотворителей. И это – Ржевский район, где десятки тысяч советских воинов погибли за будущее народа и суверенитет государства!

Как же такое возможно в “энергетической сверхдержаве”, “русском мире”, в социальном государстве?..

Крестьяне и сельские жители так и не дождалась принятия нацпроекта “Развитие сельских территорий”. Денег нет? А на войну и на Мадуро есть, так получается?.. Или – нет желания?.. Если бы наши “двупаспортные патриоты” тратили хотя бы половину своих жизненных усилий на Россию, на города и веся, области и республики, которые они окормляют и от которых кормятся, то всё было бы по-другому. Уровень жизни, может быть, и не достиг комфорта “вторых родин”, но хотя бы не приводил к сверхсмертности мужчин в стране.

“Прошу отнестись к этому с пониманием”, – сказал глава государства, объясняя пенсионную реформу. Фраза логически продолжила легендарный афоризм “Денег нет, но вы держитесь”. Миф о том, что “царь хороший, бояре плохие”, утратил последнюю “скрепу”.

У 90 процентов населения страны ежемесячный доход – ниже тысячи долларов. Надежда одна – на стабильность нефтяных цен. Глядишь, тогда и на “социалку” упадут крохи со стола, за которым пируют сильные мира сего. Люди, ставшие сверхбогатыми без всякой “стратегии развития”.

Но тогда зачем она им?! Для разрушения “стабильности”?!

Любое развитие (то есть движение вперёд, существенное улучшение) весьма опасно для нынешних рулевых. Оздоровление экономической политики неизбежно выдвинет новых людей – профессиональных и честных. А нужны ли такие перемены хозяевам денег, их отпрыскам и слугам?

Пропаганда. Она давно уже не работает, но TV-“шарманка” заведена, бюджеты выделены, форматы накатаны. А народ устал от болтовни горе-политологов и от грязного белья бытовых шоу. Где же **внимание к производству и науке**? Если общество знает все подробности разводов Джигарханяна и Петросяна, но при этом понятия не имеет, кто у нас лучший станочник, инженер, конструктор, какие новые сложные товары, нужные стране и миру, мы производим, а какие уже не производим, – такое общество обречено на деградацию.

Экономист Гарварда Рикардо Хаусманн разработал коэффициент экономической сложности. Чем больше уникальных промышленных товаров отправляет страна на экспорт, тем выше её потенциал развития.

По индексу экономической сложности пик российских достижений в постсоветское время приходится на 2003 год – 29-е место. С той поры – волнистая кривая падения. В 2015 году у России – 49-я позиция. Если судить по данному

показателю, наша технологическая отсталость выросла за 12 лет на 69%. В среднем мы деградировали по 5,75% в год.

В “тучные” годы падение было не так заметно — нефтяные доходы декорировали развалины фабрик и заводов. Теперь же, в пору санкций и отлучения от технологий, трагическое отставание очевидно. Нужен “рывок”. Но в сложных производствах ни штурмовщина, ни капитал не дают результата. К любым деньгам нужна голова и, желательнее, совесть. Нужны кадры, технологическая культура, дисциплина, ответственность. Нужны ясные цели, открытость и общая работа. Экономическая сложность страны — индикатор экономики знаний.

Обидно, что по индексу Хаусманна существенно выше нас Белоруссия и Литва, Эстония и Латвия. Сестра-Украина — соседка России по рейтингу, хотя в 1998-м году страна была на 28-м месте. Так что судьба у нас очень похожая.

Отсутствие стратегии развития у страны означает только одно: в нынешнем правящем слое просто нет людей, способных её создать. Акулы гедонизма живут в логике удовлетворения возрастающих личных потребностей. Народ России в неё просто не вписывается. Он — помеха, непрофильный актив, доставшийся в придачу к советской тяжёлой индустрии, полезным ископаемым и ядерному оружию.

Отсутствие официально заявленной стратегии выгодно для власти. Если нет целей, стоит ли волноваться об их достижении?! Нет стратегии — нет и ответственности, можно не думать о результате. А вот любая конкретика вроде 25 млн рабочих мест — повод для анализа и выводов.

А что же вместо стратегии? Народу предъявляется “хитрый план”. Он заключается в демонстративном отсутствии целеполагания. Обоснование такое: у России “особый путь”, за что на нас смертельно обижены загнивающий Запад и коварный Восток (Африка на подходе). Госуправление в условиях “осаждённой крепости” осуществляется ситуативными скачками, неожиданными кадровыми назначениями, внешнеполитическими “сюрпризами”, телевизионными “прямыми линиями” и т. п.

Стратегия развития подменяется медийными событиями (Олимпиада, чемпионат мира по футболу, борьба с международным терроризмом) или хозяйственными кампаниями (национальные проекты, модернизация, импортозамещение). От этих деяний, да, и народу что-то перепадает. Но основные бюджетополучатели — узкая группа лиц, 1% населения, в руках которого сосредоточено 75% национального богатства страны.

И от этих людей, чья главная задача — наращивание личного благосостояния, мы хотим добиться развития?! Не смешно ли это?!

Чтобы **приумножить “человеческий капитал”**, не нужна борьба с Госдепом. И встреча (или невстреча) с Трампом — дело десятое. Но как можно было “бюджетников” превращать фактически в крепостных, в людей, полностью зависимых от симпатии и воли работодателя?.. Всем известные сверхзарплаты ректоров вузов и приближённой к ним “верхушки”. В 144-й статье Трудового Кодекса написано: “Правительство Российской Федерации может устанавливать базовые оклады (базовые должностные оклады)..” Это значит, что может и не устанавливать!.. Госвузы, школы, больницы, библиотеки отданы на “кормление” их руководителям. Чем меньше получают работники, тем больше перейдёт денег в стимулирующий (премиальный) фонд, из которого директор, ректор, главврач может платить практически самоуправно.

Так обеспечивается личная преданность “эффективных менеджеров” и “правильное” голосование на выборах.

Неплохо задумано, согласитесь!..

Всю страну потрясла смерть 14-летней школьницы из Смоленского района Сафоново. Перед самоубийством девочка написала главе государства, где пожаловалась на несправедливость распределения зарплат в местной больнице — там работала её мать. Школьница надеялась, что президент поможет, но письмо переслали тем, на кого она жаловалась.

Этот жуткий случай мы обсуждали с высокопоставленным чиновником. “Посмотрите, какую уродливую систему власти вы построили! Дети, выросшие при нынешнем политическом режиме, не принимают его: одни выбрасываются из окон, другие приходят с бомбами в приёмную к силовикам, третьи поют “Смерти больше нет”, четвёртые уезжают из страны, пятые убивают себе

подобных"... Но за высокими заборами Рублёвки совесть спокойна! "Это единичные факты! Население всё устраивает. Почти у каждого машина, колбасы сто сортов, развлечения на любой вкус, а кто хочет улучшать жизнь — идите в церковь и молитесь за спасение душ врагов".

Надежда умирает последней?.. В нашем случае надежда не умерла, а выбросилась в окно, затравленная непреодолимыми обстоятельствами.

Дети — цветы наших надежд. Жизнь к лучшему в стране может изменить только новое поколение равнодушных граждан. Упадок жизненных сил народа — главная причина нашего трагического положения в экономике, в политике, в культуре.

Ложь и трусость убивают Россию. Трусость и ложь очень удобно маскировать под "угодные Богу" смирение и великодушие. Но разве к такой молитве звал Христос?!

Что народ? Он может выйти на улицы, выплеснуть свой гнев и горе, когда детей его сожгут, как это было в Кемерове. Но есть иное мужество — говорить правду, исходя из того, что слово есть нравственный выбор человека. Будь окружение первых лиц в государстве, членов правительства, да и любого нашего начальства менее лживым и трусливым, разве такая бы у нас была страна?! Разве наши депутаты сидели бы по двадцать лет в Госдуме, утратив связь с реальностью? Разве не стыдились бы они своих многотысячных "зарплат", которые есть не что иное, как покупка сразу, на корню, их голоса и совести?..

Без героического духа невозможна суверенность огромной державы. Именно героическое начало — "ключ" к великой государственности. Он, этот волшебный ключ, открывает его обладателям главные тайны: что есть власть и какова её мистическая и священная природа; что есть народ и как нужно им управлять; какова роль прекрасного и материального в жизни людей; что есть религия и почему так важно знать и хранить свою родовую историю.

В сердцевине героизма находится чисто мужское качество — бесстрашие. Герой совершает подвиг во имя идеала. Торгашеская психология прибыли, выгод, обмана, ростовщичества, лжи ему претит.

Этический идеал христианства — справедливость, но никак не "цивилизация денег" и порождённые ею структуры, правящие бал в России.

Торгашескому мироустройству герои антипатичны. На что, собственно говоря, был потрачен духовный заряд "русской весны"?! И почему не вписался в госуправление "народный мэр" Севастополя Алексей Чалый? А почему под могильными плитами оказались почти все яркие фигуры Новороссии?! А те российские добровольцы из гражданских лиц, что устремились на Донбасс не из-за денег, а по сердечному влечению, они теперь — кто?! "Лохи"? Жертвы информационной войны? Среди них есть и покалеченные, и убитые. А как живут сейчас их матери, их близкие?..

Разве это не трагедия?..

Паразитирование на патриотизме и паспорта стран НАТО, дружное хамство региональных чиновников, уверения, что у нас "беспрецедентный рост зарплат" (при том, что в долларовом выражении с 2013 года по 2018-й средняя зарплата упала более чем на четверть — с 915 до 678 "зелёных") — вот чем ответил правящий класс на ожидания народа. И в придачу: переход нашей алюминиевой промышленности под контроль США, внезапный интерес к миру с Японией, коммерческие игры вокруг Курильских островов...

Народ, видя такой расклад, успокоился совершенно, сосредоточившись на азартной задаче "пережить власть". Это наша новая национальная идея: посмотреть, чем закончатся жуликоватые "игры с яйцами".

Потому ждём: интереса к органическим продуктам, снижения потребления алкоголя, роста претензий к чиновникам, дальнейшего падения рейтинга демагогов, запроса на качественное образование и умные книги, укрепления семейных ценностей, отставание сверхинтересов. А в целом — повышения жизнестойкости народа.

Архаичность нашего госуправления уже ни для кого не секрет. Попытки "иллюминациями" и зрелищами прикрыть наготу "оптимизаций" не работают. Народ по-прежнему верит в Россию. Устами поэта он говорит:

*И тех, что нам о верности вещают,
Хотя её же тайно предадут,
Седые вдовы в храмах не прощают
И правнуки им спуску не дадут.*

СЕРГЕЙ КАРА-МУРЗА

ПОРА УЧИТЬСЯ!

Последние 35 лет большинство нашего населения обдумывают разные сложные ситуации. Я решил изложить в журнале одну проблему, которая меня тревожит (как, думаю, и многих других) – быстрая деградация знания. Эта проблема, видимо, выросла до мирового ранга, но я скажу о нашей ситуации. Казалось бы, за столько лет можно было бы привыкнуть, но в 2017 году я и многие товарищи как-то по-другому подошли к истории русской революции – с опытом катастрофы СССР. Это дало нам новый свет, чтобы ещё раз обдумать прошлое, настоящее и варианты будущего.

Неожиданно образы, которые ушли в историю и закристаллизовались в нашей памяти, как будто ожили и заговорили – и не так, как их представляли нам в школе, в университете, в литературе и в спорах. Во время катастрофы “перестройки”, краха СССР, расстрела Верховного Совета РФ, а сейчас, вдыхая гарь от пожара Украины, приходится всё чаще обращаться к образам, мыслям и действиям наших дедов и прадедов. Моё поколение ещё лично общалось с этими людьми, а люди, рождённые в 1950–1960-е годы, могли совмещать их рассуждения с оценкой послевоенной реальности советского строя.

К этим образам ушедших поколений пришлось обращаться потому, что очень много похожего в той катастрофе 1917 года и в новой – нашей, современной. Хотя структуры у них разные. Попытки выхода из новой катастрофы буксуют, и, главное, нет у нас карты нашей преобразованной местности, она покрыта туманом, пылью и дымом. Трудно нам всем определить ориентиры наших целей и маршруты путей. Но почему даже близкие друзья не могут согласовать образ нашей актуальной постсоветской реальности и определить, хотя бы приблизительно, вектор спасительного движения? Ведь наше население в целом ещё имеет высокий уровень образования и в массе своей сохраняет важные элементы совести и солидарности.

Конечно, это состояние общества объясняется многими причинами. Всегда во время кризиса, при котором распадается мировоззренческая основа и люди сомневаются в прежних ценностях, происходит дезинтеграция общества, деградация мышления и коммуникации – наступает *нигилизм*. Это признак того, что наше общество не может понять и освоить нынешнюю картину мира и самое себя.

Мы с товарищами в 1990-е годы знали, что “перестройка”, крах СССР и разрушительные “реформы” нанесли всему нашему населению тяжёлую культурную травму, но мы считали, что со временем она залечится. Удивляло, что восстановление здравого смысла и логики происходило очень медленно. Поскольку мы знали, что российское общество за 1905–1925 годы пережило длительный и глубокий катастрофический кризис, но разум работал быстро и чётко, многие из нас стали искать и читать исторические тексты и воспоминания очевидцев. При этом обнаружилось странное явление, мимо которого мы тогда прошли, а сейчас оно представляется удивительным и угрожающим.

Это явление состоит вот в чём.

В 1902 году в России поднялась волна массовых восстаний крестьян, организованных общинами. Организовалась деревня! Масса крестьян имела стратегические цели и выработала технологию борьбы со строгими нормами. Т. Шанин пишет: “Описания тех событий очень похожи одно на другое. Массы крестьян с сотнями запряжённых телег собирались по сигналу зажжённого костра или по церковному набату. Затем они двигались к складам имений, сбивали замки и уносили зерно и сено. Землевладельцев не трогали. Иногда крестьяне даже предупреждали их о точной дате, когда они собирались “разобрать” поместье... Все отчёты подчёркивали чувство правоты, с которым обычно действовали крестьяне, что выразилось также в строгом соблюдении установленных ими же самими правил, например, они не брали вещей, которые считали личной собственностью...”

Все эти действия были хорошо организованы на местах и обходились без кровопролития... Крестьянские действия были в заметной степени упорядочены, что совсем не похоже на безумный разгул ненависти и вандализма, который ожидали увидеть враги крестьян, как и те, кто превозносил крестьянскую жакерию. Восставшие также продемонстрировали удивительное единство целей и средств, если принимать во внимание отсутствие общепризнанных лидеров или идеологов, мощной, существующей долгое время организации, единой общепринятой теории переустройства общества и общенациональной системы связи” (Шанин Т. Революция как момент истины. М., 1997).

Крестьянская война охватила практически все регионы помещичьего землевладения. В ходе революции возник целый ряд “крестьянских республик”, некоторые просуществовали целый год. Но для нас ещё важнее была волна *приговоров* и *наказов* сельских сходов в 1905–1907 годов.

Фундаментальная однородность требований в наказах, полученных из самых разных мест России, говорила о зрелости установок огромной общности крестьян. Так, требование отмены частной собственности на землю содержалось в 100% документов, причём в 78% наказов просили, чтобы передача земли крестьянам была проведена Думой, а не правительством. Реформе Столыпина крестьяне отвергли принципиально, а вот положительные требования: 84% наказов требовали введения прогрессивного прямого подоходного налога, среди неэкономических форм жизнеустройства выделялись всеобщее бесплатное образование (100% документов), свободные и равные выборы (84%).

Как объяснить, что крестьяне, которые составляли 85% населения России, по большей части неграмотные, не имевшие своей прессы и политических партий, создали целеустремленное и убедительное революционное движение с программой, выраженной ясным языком с понятными и художественными образами. Как мы все – наша советская интеллигенция – этого не увидели, не услышали и не поняли! Как мы просмотрели тексты ведущего социолога того времени М. Вебера (“Русские студии”), который выучил русский язык, чтобы следить за революцией 1905–1907 годов, и который пришёл к выводу, что мировоззренческая основа русской революции – *крестьянский общинный коммунизм*? Это совсем другой коммунизм, не тот, что у Маркса.

Русские рабочие (в большинстве своём – в первом поколении) тогда и по своему типу мышления во многом оставались крестьянами. В 1905 году половина рабочих-мужчин ещё имела землю, и эти рабочие возвращались в деревню на время уборки урожая. Очень большая часть рабочих жила холостяцкой жизнью в бараках, а семьи их оставались в деревне. В городе они чувствовали себя “на заработках”. Между рабочими и крестьянами в России поддерживался постоянный и двусторонний контакт. Даже и по сословному состоянию большинство рабочих были записаны как крестьяне.

Понятно, что рабочие в промышленных коллективах и в городе освоили иные знания, язык и навыки рационального мышления, чем крестьяне. Русские рабочие много читали, познакомились в кружках, на митингах и через литературу с социал-демократией, с марксизмом. Они, как и крестьяне, обдумывали и обсуждали перспективы будущего, выработывали устойчивые системы ценностей. Но только теперь, в последние тридцать лет, перед нами возникла проблема: почему тогда у российской интеллигенции сложилась внутренне противоречивая и неустойчивая мировоззренческая платформа?

Это сложная проблема, и её надо и сегодня учитывать; это в какой-то мере объясняет поведение современной интеллигенции.

Надвигающийся крах государственности и предчувствие ещё более тяжёлых катастроф произвели в умонастроении интеллигенции шок, который на время деморализовал её как активную общественную силу. Возникла необычная социальная фигура “и. и.” – *испуганный интеллигент*. Его девизом было “уехать, пока трамваи ходят”. Перед революцией интеллигенты собирались у друзей, обсуждали ситуацию, спорили. Многие переписывали или перепечатывали речи депутатов Думы. Горький так выразил установку интеллигенции: “Главное – ничего не делать, чтобы не ошибиться, ибо всего больше и лучше на Руси делают ошибки”. Революция так ушибла интеллигенцию, что многие с удивлением говорили о её политической незрелости и даже *невежестве*. Так, философ и экономист (тогда меньшевик) В. Базаров заметил в те дни: “Словосочетание “несознательный интеллигент” звучит как логическое противоречие, а между тем оно совершенно точно выражает горькую истину”.

Вот крестьяне – и вот “несознательные интеллигенты”! Как это? Только сейчас мы прозрели: ведь в ходе распада общества масса интеллигенции вновь предстала как “испуганные интеллигенты”, и их позиция снова “точно выражает горькую истину”. Но уже в России нет обычных крестьян, и почти всему населению придётся потрудиться, чтобы вылезти из нашей ямы.

А что же теперь? Уже тридцать лет продолжается, хотя вяло, дезинтеграция и общества, и нации (бывшего советского народа). Ни у какой социокультурной общности не сложилось стремления к какой-то цели и миссии. В России, которая остаётся великой державой, господствует хаос в отношениях граждан. Это – важная угроза. Картина мира, нормы и ценности, рациональность и коммуникации не действуют – кризис культуры!

Чем же отличались граждане СССР, которые доминировали с 1920-х по 1960-е годы? Какой инструмент работал в их сознании и постепенно, с каждым поколением терял свою работоспособность? Выскажу своё субъективное мнение.

Будем говорить о *внутренних* факторах, которые помогли провести СССР до кризиса 1980-х годов, с которым советский строй не справился. Это не значит, что внешние факторы были несущественны для судьбы СССР. Напротив, советский строй не устоял против разрушительного воздействия *союза внутренних и внешних* антисоветских сил. Скорее всего, обе группы сил порознь справиться с советской системой не смогли бы. Но для нас факторы внешней среды были данностью, устранить которую невозможно: холодную войну отменить было нельзя. Нам важно было обдумать те *переменные*, на которые общество было обязано влиять. Но не влияло – не умело и не видело.

Конечно, официальная советская история была мифологизирована, и нам до сих пор требуются большие усилия, чтобы уйти от её стереотипов. Советское образование и история “берегли” нас от тяжёлых размышлений и кормили упрощёнными, успокаивающими штампами. И мы не вынесли из истории уроков, даже из гражданской войны.

Рубежом в развитии советского общества была Великая Отечественная война. Накопленная в войне энергия резко ускорила процессы строительства, экономики и урбанизации. Общество быстро менялось – и демографически, и в своей социальной структуре, и по образу жизни. В 1959 году в народном хозяйстве высшее законченное образование имели 3,3 млн человек, а в 1989-м – 20,2 млн человек (14,5%).

Перемены происходили очень быстро, и общество находилось в состоянии трансформационного стресса. А советский проект вырос, прежде всего, из *крестьянского мироощущения*. Отсюда исходили представления о том, что необходимо человеку, что желательно, а что – лишнее, суета сует. Новым важным изменением стала смена поколений. Подростки и молодёжь 1970–1980-х годов XX века были поколением, не знавшим ни войны, ни массовых социальных бедствий, а советская власть говорила с ними на языке “крестьянского коммунизма”, которого они не понимали, а потом стали над ним смеиваться.

Тот социализм, что строили большевики и весь народ, был эффективен как проект людей, *испытавших бедствие*. Это могла быть беда обездоленных и оскорблённых социальных слоев, беда нации, ощущающей угрозу колонизации,

беда разрушенной войной страны. Но тот проект не отвечал запросам общества благополучного — общества, уже пережившего и забывшего беду как тип бытия.

Переход к новому этапу общественного развития происходил при остром дефиците знания о советской системе в новых условиях. Это особенно проявилось у молодёжи. В 1956 году в МГУ уже ощущалось то, чего пока что не замечалось в массе населения, — *неблагожелательное инакомыслие* в отношении советской системы. В массе все бывают чем-то недовольны, кричат и ругаются, но не подводят под это теоретическую базу, это было “бытовое” недовольство. А в элитарной среде студентов гуманитарных факультетов это инакомыслие было другого типа — “концептуальное”. Они читали философов, Маркса, Троцкого, от них волны докатывались до всех факультетов.

Кризис легитимности вызревал 30 лет — с 1960 года. Под новыми объективными характеристиками советского общества 1970-х годов скрывалась *невидимая* опасность для общественного строя — быстрое и резкое ослабление, почти исчезновение его прежней *мировоззренческой основы*. В то время официальное советское обществоведение утверждало (и большинство населения искренне так и считало), что мировоззренческой основой общества является *марксизм*, оформивший в рациональных понятиях стихийные представления трудящихся о равенстве и справедливости. Эта установка была ошибочной.

В 1960-е годы вышло на арену новое поколение интеллигенции из городского “среднего класса”. В городе и в ходе смены поколений философия “крестьянского коммунизма” теряла силу, она исчерпала свой потенциал, хотя её положения сохраняются и поныне — в коллективном бессознательном, но уже недееспособными.

Глубокие изменения в образе жизни, структуре общества и в культуре требовали перехода от *механической* солидарности к *органической*. В период “сталинизма” советское общество было консолидировано *механической* солидарностью — все были трудящимися, выполнявшими великую миссию. Все были “одинаковыми” по главным установкам, это общество было похоже на религиозное братство. С 1960-х годов изменялась структура занятости, от традиционных профессий очень быстро стали отпочковываться новые специальности — во всех отраслях. Они должны были быть объединены новой солидарностью — как *организм*, в котором органы разные, но все делают общее дело.

Каждая группа становилась сообществом — со своим профессиональным языком, теориями и методами, с информационной системой. Каждое такое сообщество формировалось как сгусток *субкультуры*. И этот процесс происходил во всей деятельности общества. Связи механической солидарности не распались, но ослабли, многих стало тяготить само требование “единства”. Требовалось плавное формирование *органической* солидарности, не допускавшее разрыва и вакуума, — переход к более сложной системе отношений. К несчастью, общественные и гуманитарные науки СССР с этой задачей не справились (и сегодня не справляются).

Обществоведение не отреагировало на изменения в обществе, оно сохраняло иллюзию стабильности системы ценностей и установок людей, а значит, и иллюзию стабильности общественного строя. Такую же ошибку совершила и монархия, но советское обществоведение из этого не извлекло урока и продолжало поддерживать веру в магическую силу Октябрьской революции и Победы.

Для консолидации советского общества и сохранения гегемонии политической системы требовалось строительство новой идеологической базы, в которой советский проект и на первом, и на новом этапе был бы изложен на рациональном языке, без апелляции к подспудному мессианскому чувству революции. Взрывное возникновение множества групп с разными когнитивными структурами и ценностями создало для политической системы ситуацию реальной невозможности пересобрать новое население в общество и нацию на старой платформе, но партийно-государственная машина не могла ни понять, ни предвидеть этого, ни выработать новые технологии.

Но почему советская интеллигенция и масса образованных граждан постепенно утратили навыки рефлексии о прошлом и предвидение рисков впереди? Это общий провал, и задумались об этом совсем недавно, когда обнаружилась

наша беспомощность. Вспомним механическую солидарность крестьян начала XX века, которая развивалась в годы войны, а затем, уже с современным образованием, трансформировалась в органическую солидарность – в сфере сельской жизни и всех её ответвлений. Перестройка расколола общество. Вот исследования социологов 1989–1990 годов. Большим общностям предложили такие три варианта развития (*типичная провокация*): частное предпринимательство, привлечение иностранного капитала, развитие кооперативов. Техническая интеллигенция так ответила “согласны”: 20%, 12% и 8%; квалифицированные рабочие: 10,8%, 6,4% и 5,6%; колхозники и механизаторы: 3%, 0% и 3% (см. “Есть мнение!”, ред. Ю. А. Левада. 1990).

Поэтому в 1992 году были сразу ликвидированы колхозы и совхозы. Академик, ведущий учёный-экономист, член Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлев – и его риторика: “В деревне всё ещё колхозом воняет. Не дотации колхозам надо давать, а кредиты фермерам... Деревенская общественность, неизменно голосующая за возвращение к “строительству коммунизма”, редко бывает трезвой, но, протрезвев, люто ненавидит “окупационный режим” демократов, поскольку нет денег на опохмелку” [Яковлев А. Н. Сумерки. М., 2005. С. 628–629].

Так мы и жили под покровом замечательной картины мира русских крестьян, которые нас учили видеть и понимать красоту природы и людей. Мышление и воображение крестьян были латентными, и за полвека мы утратили наше наследие. К смыслу этого сокровища искал подход Л. Н. Толстой, но успел представить его только в литературе.

Многое сказал знаток русской деревни А. Н. Энгельгардт. Он писал в “Письмах из деревни” (письмо шестое): “Я уже говорил в моих письмах, что мы, люди, не привыкшие к крестьянской речи, манере и способу выражения мыслей, мимике, присутствуя при каком-нибудь разделе земли или каком-нибудь расчёте между крестьянами, никогда ничего не поймём... Между тем, подождите конца, и вы увидите, что раздел поля произведён математически точно: и мера, и качество почвы, и уклон поля, и расстояние от усадьбы – всё принято в расчёт; что счёт сведён верно и, главное, каждый из присутствующих, заинтересованных в деле людей убеждён в верности раздела или счёта. Крик, шум, галдение не прекращаются до тех пор, пока есть *хоть один сомневающийся*.”

То же самое и при обсуждении миром какого-нибудь вопроса... В конце концов, смотришь, постановлено превосходнейшее решение, и опять-таки, главное, решение единогласное”.

А. Н. Энгельгардт показал результат, но методологию раскрыть тогда в России не успели. Очевидно, что картина мира (или мировоззрение) крестьян создавалась как *синтез* рациональных образов, материальных элементов и неопределённости (интуиции, мифов и художественных образов). Тогда в образованном слое господствовала парадигма механицизма Ньютона. Можно сказать, что мировоззрение крестьян было прототипом неклассической науки с её кризисом физики, нестабильности и необратимости. Известно, что успешная инновация (типа революции) происходит в редкостный момент сочетания многих необходимых обстоятельств. Это – *случай*, и мало кто из политиков способен почувствовать этот момент и увидеть сгусток этих обстоятельств.

Случай в том, что русское крестьянство вышло на арену первой революции со своими необычными наказаниями и образами будущего – с результатом их синтеза. И в это же время В. И. Ленин прочувствовал, как кризис науки изменяет картину мира и как это открывает новую парадигму для развития социальных масс (конкретно – для революции незападных культур). И молодые большевики, и молодые крестьяне, рабочие и солдаты поняли смысл движения в новом направлении. Эта инновация была сложным и огромным синтезом.

Когда в 1924 году умер Ленин, философ Бертран Рассел написал: “Можно полагать, что наш век войдёт в историю веком Ленина и Эйнштейна, которым удалось завершить огромную работу синтеза, одному – в области мысли, другому – в действии... Государственные деятели масштаба Ленина появляются в мире не больше, чем раз в столетие, и вряд ли многие из нас доживут до того, чтобы видеть равного ему”.

Каким же знанием и навыками обладали российские крестьяне в начале XX века?*

Ещё выскажу своё субъективное суждение. Я вырос в крестьянской семье, которая получила образование вначале при царе, потом в СССР. Моя мать и шесть её братьев и сестёр много мне рассказывали и объясняли жизнь и в том, и в другом строе. В 1941–1942 годах я в эвакуации учился жить в деревне в Казахстане — там мне очень многое объяснили, а я запомнил. В 1944 году я жил с дедушкой в деревне. Он со мной много разговаривал, объяснял и спрашивал меня, и я принял систему его мышления. Я и сейчас считаю, что его мышление было не просто умным, но мощным. Говоря со мной, он создавал образы, в которых я почти чувствовал и видел движение многих существ. Я школьником и студентом, и позже старался поработать в деревне (особенно на целине) и всегда получал ценные факты, понятия, новые подходы и приёмы.

У крестьян были сложные знания, хотя они не были оформлены и были “неявным знанием”. У них были эффективные навыки: наблюдения, образы, соединения структур, опыт предвидения состояний климата и погоды, признаки рисков и угроз, развитый понятийный аппарат. В этих условиях крестьяне рассчитывали ресурсы и силы на весь будущий год. Хозяйство в динамичной неопределённости требует от крестьянина непрерывно изучать изменения условий, маневрировать временем и силами. Крестьянин мыслил образами, которые покрывают все факторы и явления, часто связанные в нестабильные системы. Много войн показали, какие массивы знания и навыков накопили крестьяне России вместе с армией.

Можно предположить, что общность нашего крестьянства после 1970–1980 годов утратила свое “неявное знание” и получила представление об обществе от образования идеологического и устаревшего типа. Новое поколение обществоведов оторвалось от реальности СССР и республик. Плановая система стала деградировать под контролем новой гуманитарной элиты, и кризис знания перешёл в демонтаж прошлой системы — при том, что старое обществоведение не могло освоить новую картину нашего мира. Ряд ведущих обществоведов согласились, что социология “стала важным фактором реформирования и, в конечном счёте, революционного преобразования”. Результат очевиден.

Так, научное гуманитарное обеспечение общества и государства иссякло к середине 1980-х годов — и запасы старших поколений, и теории истмата стали неадекватными для кризисной реальности СССР. Но в таком состоянии никакая страна долго не сможет уцелеть. Наше население — не крестьяне, которые могли автономно пережить бедствие в своих деревнях.

Особенно в последние три года стало очевидно, что с нашей олигархической формацией долго не протянуть. Это почувствовали даже наши романтики-либералы. Чтобы жить, придётся и работать, и учиться, восстановить и запустить машину организации. И наши аналитики и системщики должны вернуться к реальным проблемам.

Сейчас можно предположить, что во второй части XX века у нас возник разрыв системы гуманитарного знания, притом что развитие общества и государства стало резко усложняться. На Западе усилили общественные и гуманитарные науки — на основе метода жёсткой науки (беспристрастно изучать реальность), а идеология — это другая служба. У нас мало кто захочет жить под господством капитализма — культуры разные. Но надо трезво изучить их культуру.

Вот фризы — этническая общность, их территория называлась Фрисландией. Это был народ фермеров, но они были и мореходами, и торговцами. Главным их товаром были рабы — фризы были посредниками варягов. Этот этнос создал корень *современного капитализма*. Фризы принесли его в Голландию, а также вместе с англами и саксами они заселили Англию. Их поэт сказал:

* Надо учесть, что знание крестьян, охотников, кочевников других культур ещё мало изучено во многих странах. Много сделали антропологи, но их понятия и модели остаются схемами предметов. В США на начале системного анализа математикам был задан проект новой системы бомбометания. Изучая предмет, аналитики показали, что для такой задачи лучше привлечь агрономов, которые на опыте представляют “расплывчатые явления” и работают в атмосфере неопределённости. Это было наследие крестьян и фермеров.

*Между Фрисландией и Шельдой
Лежит пиратская страна!..*

Да, был такой народ, создатель капитализма, — но какая хватка и чёткость! Позже А. Смит идеологически обосновал капитализм как новую экономическую формацию. Он приложил к хозяйству принцип научного метода — *удалить нравственные ценности*. В его теории центральным хозяйствующим субъектом, обладающим частной собственностью, был *эгоистический индивид*. Он вёл своё дело на чисто *экономической*, а не *“добродетельной”* основе, посредством рыночных операций (купли-продажи).

А у нас основой общественных наук была больше *нравственность*. У других нравственной была свобода без границ, у других нравственными были равенство и солидарность. Так и разошлись по десяткам тропинок. Несоизмеримость ценностей разрушила СССР. Но теперь-то всем нам чрезвычайно важно срочно остановить войну фантомов и трезво посмотреть на реальность.

Наши образованные политики, учёные и академики должны разделить разные и необходимые сущности — *реальности* и *личные нравственные ценности*. Наши молодые политологи и социологи, статистики и системщики обязаны накопить достоверного знания, а на досуге могут порадоваться или пострадать о своих ценностях, и даже включиться в борьбу. Пока что их гражданская функция не на высоте.

Можно представить такой пример. Любое решение предваряется *структурно-функциональным анализом*. Целеполагание и проекты требуют создания образа, который строится разными способами. На этой стадии возникают ошибки — обычно сначала создают неверные образы функции (*“зачем действие?”*) и структуры (*“что может и должна делать эта структура?”*). Ответить на вопросы *“зачем?”* и *“что?”* гораздо сложнее, чем кажется. Образ цели и действий часто не отвечает задаче.

Сначала люди обдумывают то, что хорошо видно. Потом замечают хвостики каких-то скрытых вредителей или разных угроз. Требуется *анализ* всей картины целей, действия и препятствий, как врач рассматривает в томографе все слои головного мозга пациента. В дисциплинах естествознания, медицины, техники, военного дела и др. обучали и обучают способам задавать вопросы и отвечать на них, создавая в своём сознании *образ предмета*. Но в общественной науке этих навыков не давали и, видимо, не дают.

Сейчас, когда Россия существует в переходном периоде, возникает много новых функций и структур. Основа структурно-функционального анализа — *предвидение* и *рефлексия*. Но череда реформ меняла и функции, и структуры, и во многих организациях произошла утрата *“системной памяти”*. Опасным бывало и разрушение *оперативной памяти* — о тех предвидениях, целях и доводах, которые могут повлиять на решение и состояние объекта. Но сейчас политологи (да и экономисты) смотрят на реальность через призму своих предпочтений (точнее, предпочтений начальников). Молодые политологи считают себя *политиками*, хотя их задача — изучать *реальный процесс политики*.

Я в 2010–2016 годах читал лекции в МГУ политологам, и оказалось, что студентам было трудно объяснить сущность политики. В каждой лекции представлялась конкретная функция политики — это было понятно. В конце курса надо было соединить все части и представить реальность, но в программе это не было предусмотрено. Действительно, проблема синтеза многих функций и структур заслуживает целого курса. Авторитетный профессор позвал меня к себе в семинар, я ему предложил тему: *“Образ экономик”*. Я изложил её, как мог. Как-то все заволновались — все экономисты, — они много говорили, но тему обходили. Все они знают свои аспекты, но они не соединяются у них в общую картину. Как же увидеть *ядро бытия* цивилизации, страны, народа? Ведь экономика неразрывно связана с политикой, со стихиями, с психологией, с культурой и — часто — с войной. Её невозможно вылущить из общественной жизни, как орешек. Образ этого сгустка людям приходится создавать в воображении.

Чтобы овладеть смыслами процессов хозяйственной деятельности, государства и общества должны иметь *“образы”* собственного народного хозяйства и экономики тех стран, с которыми ведутся коммерческие отношения или от которых исходят угрозы. Для этого надо сделать эти образы *видимыми* (в форме текстов и документов, расчётов и схем, карт и таблиц). Эта операция называется *визуализацией*.

Я помню, как в 1960-е годы в химии произошёл прорыв в визуализации молекул и их структур. Какой был подъём! Сначала стали доступны образы молекул вещества посредством облучения его электромагнитным полем — ультрафиолетовым и инфракрасным. Получали спектры: один позволял увидеть связи атомов электронами, а другой — расположение ядер атомов в молекуле. Потом освоили спектроскопию ядерного магнитного резонанса — получили три “портрета” молекулы, сделанные в разном свете и в разных ракурсах. Набор таких методов быстро расширялся — счастливым было время! Сложные проблемы разрешались быстро, как будто нам помогала магия. Возможность *видеть* предмет исследования в каком-то смысле преобразовывала картину мира. И не только в химии. Я бы даже сказал, что именно в общественной науке такой подход дал бы более широкие возможности, чем в естественных науках.

В советском и российском *обществоведении* визуализация и системный анализ отстали, а перестройка толкнула их в кризис — произошёл распад методологии и рационального мышления. Любой кризис поражает важные блоки общественного сознания, но нынешний выделяется в российской истории неспособностью общества и государства понять суть происходящего. Мы же в конце XX века как будто вернулись в пещеру, увлеченные плясками шаманов и театром теней на её стенах. Хладнокровно изучать реальность мы не могли, всё наше внимание поглощали абстрактные сущности. Из нашего разума как будто вынули “чип”, ответственный за здравый смысл.

Россия переживает наложение нескольких кризисных волн, и совокупный глубокий кризис придётся ещё долго переживать. Многие исследователи и практики видели происходящие в обществе и государстве процессы как источники угроз. Было ощущение, что на наших глазах “сеются зубы дракона”, которые через 5–10–20 лет прорастут как угрозы, которых мы ещё и не представляем. Это ощущение разлито и в обыденном сознании. Официальное обществоведение и СМИ стараются заглушить эту тревогу в противоречивых сообщениях, которые не подтверждаются. Да и сами люди в массе своей подавляют в себе страхи. В беспорядочном потоке событий начинает проявляться структура той системы угроз и рисков, которая, как облако, надвигается на нашу страну.

Сейчас многие думают, как возродить научные школы, собирают и обновляют принципы и приёмы “русской науки”, чтобы снабдить хотя бы базовыми сведениями ту молодёжь, которой предстоит принять на себя основной удар новых, вызревающих угроз. Надо трезво глядеть на вещи и обдумывать происходящее.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

ВИХРИ РУССКОЙ МЕЧТЫ

Бездна, полная звёзд...

Архангелогородская мечта, в чём она?

Архангелогородский мужик, он же всемирно известный учёный Михайло Васильевич Ломоносов вышел ночью из дома и взглянул на небо. Небо так поразило его, что он написал стих: “Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне – дна”. Это чувство бесконечности и бездонности мира я отыскивал в душах сегодняшних архангелогородских людей, по природе своей степенных, разумных, осмотрительных. Но в каждом из них живёт ощущение бесконечности, бездонности мира, куда влечёт их таинственная сила, загадочная русская мечта.

На заводе “Севмаш” в Северодвинске, где строятся гигантские подводные лодки, архангелогородская душа устремляется в бездну Мирового океана, в бездонность пучины, отыскивая в этой бездонной работе среди ядерных реакторов и ракет своё таинственное божественное предназначение.

На карьере алмазов в Мезенском районе архангелогородский человек бурит землю, роет гигантский кратер, погружается в центр Земли, где ищет и находит алмазы. Бездонность Земли, куда вгрызается архангелогородец с грохотом стальных машин, дарит ему чудо, ибо алмазы – не только в звёздном небе, как писал о них Чехов, но бриллианты – в центре Земли, в центре души. Космодром Плесецк среди архангелогородских лесов – то место, откуда ракеты выходят в космическую бесконечность, в бездну мироздания. Там, на орбитах в ближнем или дальнем космосе, архангелогородский человек открывает волшебную звезду русского чуда.

В Каргополе, чудесном городке на берегу Онеги, мастер каргопольской игрушки лепил из глины сказочных зверей, волшебных наездников, чудесных коней и танцоров. И эти глиняные боги, которых он обжигал в печи и раскрашивал, открывали путь в бездонную глубину народных поверий, сказок, мечтаний о красоте, о гармонии людей и природы.

Архангелогородская мечта, в чём она?

Северодвинский завод “Севмаш” – государствообразующее предприятие. Несколько десятков подобных заводов, как столпы, на которые опирается государство, делают Россию страной-цивилизацией. Толстые листы металла режут, как в портняжных мастерских, выкраивая невиданных размеров костюмы. Заготовки гнут могучими прессами, из раскалённых печей выплывает мягкая, как мармелад, сталь. Её сваривают в кольца, просвечивают

рентгеновскими лучами. Весь завод во вспышках, мерцаниях, компьютерная система управления цехами, далёкий блеск реки, которая ждёт появления нового корабля — новой подводной машины, что мягко плюхнется в воды Двины. И этот шлепок будет услышан во всех мировых столицах, на базах чужих подлодок, в генеральных штабах НАТО. Сборочный цех похож на громадную оранжерею, где у пирсов в тусклых лучах солнца созревают фантастические плоды. Лодки прильнули одна к другой, похожие на громадные невиданные корнеплоды, которые созревают, набухают, наливаются соками, сосут электричество, пар, сжатый воздух. Наступит день, когда лопнет пуповина, соединяющая лодку с заводом. И громада во всей красоте, насыщенная электроникой, оптикой, акустическими системами, которыми, как щупальцами, она будет трогать океанское дно и витающий над океаном космос; эта лодка уйдёт, наполненная своей чудовищной ударной силой, с завода в российский военный флот.

Директор завода, Михаил Анатольевич Будниченко, радуясь неиссякаемому оборонному заказу, полной загрузке завода, притоку молодых мастеров и рабочих, увлечённости инженеров, объясняет мне мировоззрение кораблестроителей-северодвинцев. Труд, который здесь совершается, гигантский, богатырский, под силу только особым людям, особому народу. Результаты труда прекрасны и грандиозны. Каждая спущенная на воду лодка меняет контур мира, влияет на поведение стран, на судьбы континентов, разносит по миру русскую идею не в меньшей степени, чем прежде разносили её Достоевский и Чехов. Завод подводных лодок есть инструмент управления историей. Сюда, на завод, съезжаются со всей России лучшие умы, подлинные умельцы, носители огромных знаний. Эти сгустки интеллекта сопутствуют появлению каждой лодки. Эту лодку рождает вся Россия, все её КБ и заводы, лаборатории и исследовательские центры. Вся Россия — матка, которая рождает на свет это громадное стальное дитя. Лодка порождает в народе то, что зовётся общим делом. Эту лодку строит весь народ. Даже скромная учительница в маленькой сельской школе. Эта лодка — и её достижение. Её ученики трудятся в недрах лодки, устанавливая в ней ядерный реактор, ракетные установки. Русские люди, где бы ни настагала их весть о спуске на воду очередной «Борея», укрепляются духом, преодолевают уныние, это внушает им мысль, что Россия — могучая, непобедимая — одолеет все невзгоды и трудности.

Директор говорит мне о своих великих предшественниках, которые строили, укрепляли завод, способствовали созданию нескольких поколений подводных лодок, тех, что наводнили Мировой океан, останавливая своим присутствием безумные замыслы супостата.

И среди этих директоров имя одного особенно драгоценно, окружено почитанием. Давид Гусейнович Пашаев. На его директорские плечи рухнула перестройка, пришёлся крах великой страны; разгулялись чёрные силы, уничтожавшие отечественную оборону. Завод с недостроенной лодкой «Бореем» отключили от финансирования, полгода люди не получали зарплату, одни разбежались, другие угрюмо и праведно продолжали трудиться, приводили на завод свои голодные семьи, и Пашаев в рабочей столовой бесплатно кормил их жён и детей. Слабые духом инженеры уходили с завода, искали себе приют в автосервисах, в мелком бизнесе, другие, сжав челюсти, делали всё, чтобы стоящий у пирса кокон питался электричеством и теплом, чтобы в нём продолжала теплиться жизнь. И завод не погиб, не умер. На завод приезжали Ельцин, Чубайс, требуя закрыть предприятие. А в это время по соседству работали привезённые из Америки гильотины, на которых рубились и рассекались русские подводные лодки: их резали, как колбасу, в угоду предателям. Офицеры, ходившие на этих лодках в Атлантику, к Флориде или мысу Доброй Надежды, стрелялись от тоски и несчастья. Пашаев тянул время, хитрил, уклонялся от угроз, зная, что настанет миг, когда убиваемое государство воскреснет, и тогда лодка, наполненная силой и мощью, уйдёт с завода, а государство Российское скажет всему миру, что оно есть и живо, и снова идёт в океаны.

Завод построен до войны на болотах, где находился Николо-Корельский монастырь. Своей тяжестью он раздавил монастырь, снёс его трапезные, кельи и стены. Но остался один-единственный храм — Никольский собор, который десятилетиями пребывал в руинах. И теперь завод воскрешает его. Позолотил купол, покрыл синевой главы, возвёл дивной красоты иконостас.

Здесь, на территории секретного завода, служит священник, освящает уходящие в море лодки, собирает на богомолье рабочих и инженеров. Завод стал продолжением монастыря. Молитвенные силы безвестных монахов, силы поруганного алтаря продолжали питать завод, тайно хранили его, и сегодняшние гигантские лодки “Бореи”, носящие имена русских святых князей, подобны скитам, которые посылаются монастырём в океанские глубины. А экипаж моряков подобен монашескому братству.

Архангельские алмазы найдены в Мезенском районе. Молодая земля исходила газами, кипела, бушевала огнями, углерод поднимался из недр к поверхности, его забирали толщи пород и не выпускали наружу. Уголь оставался в ловушке, под воздействием гигантского давления и высочайших температур, под воздействием огня и сжатия превращался в алмаз. Превращение угля в алмаз есть любимая метафора поэтов и художников, говорящих, как тьма превращается в свет, а уныние – в ликование и радость.

Карьер, на полкилометра уходящий в глубь земли, своими спиралями напоминает Вавилонскую башню, погружённую в центр земли своей вершиной. По этим спиральным дорогам вверх и вниз движутся тяжеловесные “БелАЗы”. Внизу, на самом дне, работают экскаваторы, бульдозеры, дробильные машины. Карьер в легкой золотистой дымке, живой, дышащий, являет собой грандиозную машину, в которую вживлены тысячи механизмов, насосов, двигателей. За карьером следят компьютеры, его ритмы, биения укладываются в стройную цифровую систему. Люди, подчиняясь этой цифровой системе, медленно и упорно погружаются вглубь. И насосы по всему периметру огромного карьера отсасывают грунтовые воды, не давая им пролиться в бездонную чашу. Другие насосы подхватывают прорвавшуюся в карьер воду и выбрасывают её на поверхность. Иногда подземная река прорывает стены карьера, и тогда люди бросаются заделывать пробоину, как матросы заделывают пробоину в борту корабля. Людей почти не видно среди этих тяжелогрузных машин и скрежещущих, рвущих землю экскаваторов и бульдозеров.

Один из экскаваторщиков спустился ко мне из вышенной кабины, оставив свою машину, напоминающую чудовищного робота из фильма “Матрица”. Я спросил его, как он управляется с этой жестокой, страшной громадой, способной рвать земную породу. Он сказал, что громада его не жестокая, а живая, она нуждается в ласке. Он разговаривает с ней, а она разговаривает с ним. Он дал ей ласковое женское имя. Эта одухотворённая человеком машина, двигаясь к центру Земли, подвигает человека к чему-то загадочному и чудесному. “Один “БелАЗ” – один алмаз”, – говорят на карьере.

Груда извлечённой из земли породы на обогатительной фабрике дробится, сепарируется. И из неё путём бесчисленных усилий, превращений, с помощью лазерных лучей выхватывается драгоценный камень. И вот они, сверкающие алмазы, лежат передо мной, и от них нельзя оторваться, от их голубого или золотистого свечения. Они обладают таинственной магией. И жизнь карьера с его чудовищными машинами не кончается здесь, посреди обогатительной фабрики. Эти драгоценные сияющие горсти отправляются к искусным гранильщикам, из них сотворяют бриллианты. И эти бриллианты, расходясь по всему миру, живут особой, загадочной и таинственной жизнью. Во имя этих камней совершаются злодеяния, они служат подарками для властителей мира, они сверкают на дамах среди роскошных приёмов и раутов. И архангельский бульдозерист или экскаваторщик своим тяжким трудом, прорываясь в недра земли, выносит на поверхность эти драгоценные сверкающие звёзды, которые продолжают своё подземное существование среди земных превращений.

Инженер, ведающая обогащением алмазов, рассказала мне, что она на время покинула предприятие и ушла на другую работу, но алмазы влекли её обратно своей таинственной силой. И она вновь вернулась на этот карьер, где люди работают и живут в вахтовом посёлке, вдалеке от своих домов.

Архангельские алмазы, которые архангелогородский человек находит в глубинах земли, подобны русской мечте.

Я стою на дороге, подо мной – асфальт, с обеих сторон – стена леса, на обочине – лесные цветы. И не скажешь, что эти цветы, лес, пролетевшая птица – огромный, скрытый от глаз противника космодром Плесецк, и эта

часть архангелогородской земли испещрена бетонными шоссевыми трассами, железными дорогами. Они ведут к огромным бетонным чашам – стартовым столам, откуда взмывают ракеты. Множество систем наблюдения, связи, скрытые лаборатории, контрольно-измерительные пункты, ангары, куда с заводов прибывают испытываемые ракеты. Всё это дышит, живёт. И внезапно начинает содрогаться земля, озаряется небо, и в звоне, грохоте, медленно отрываясь от земли, преодолевая гравитацию, уходит в небо ракета. Видны кинжалы пламени, сопла, в которых бушует кипящая плазма. Ракета удаляется, превращаясь в крохотную звёздочку, гаснет, оставляя в тучах прозрачную радуго. По этой дороге, на которой я стою, десятилетиями проходили ракеты, одна за другой, менялись их размеры, дальности, мощность, они вставали на дежурство, потом, отжив свой срок, исчезали, сменялись другими. Календарь, исчислявший дни и месяцы появлявшихся здесь ракет, исчислял историческое время нарастания и убывания мировых угроз, встречи мировых правителей, мучительные переговоры по разоружению, их срыв и новую гонку. Как по древесным кольцам спиленного дерева можно судить о возрасте берёзы или сосны, о благоприятных или неблагоприятных годах, в которые возрастало дерево, так и по ритмам проезжавших здесь ракет можно судить об историческом времени, в котором Россия в великом напряжении сил продлевает своё существование. Ракетчики-испытатели – люди верующие. Каждый пуск окружён множеством им одним известных тайн, примет, добрых или недобрых знамений. Они никогда не произведут пуск в тот день, когда много лет назад на другом полигоне взорвалась ракета и унесла жизни множества испытателей во главе с легендарным маршалом Неделиным. Они боятся повторения трагедии. Они не допустят, чтобы на пуск пришёл злой, рассерженный, брюзжащий на жизнь человек, ибо у него дурной глаз, и он может сглазить пуск, на который потрачено столько сил и надежд.

Когда много лет назад меня привёз на космодром Плесецк маршал Толубко, привёл на смотровую площадку, откуда наблюдали пуск, я увидел множество внутренне напряжённых, исполненных ожидания людей: генерального конструктора, главных конструкторов, представителей завода-изготовителя, специалистов по телеметрии, навигации, генералов и адмиралов. Все они воззрились на меня с недоброжелательством, видя во мне лишнего, случайного пришельца, появление которого могло помешать предстоящему пуску. Но когда с деревянной веранды мы увидели, как в ночных лесах полыхнуло зарево, и ракета, раздувая огонь по стартовому столу, пошла ввысь, исчезла в ночном небе среди множества звёзд, и телеметрия по громкой связи говорила нам, что произведена отсечка двигателя, что сброшена первая, вторая ступени, и ракета, выйдя на баллистическую кривую, летит над северной Россией, готовая приземлиться на Камчатском полигоне и ударить, как говорят ракетчики, прямо “в кол”, когда всё это случилось, присутствующие здесь военные, разработчики-испытатели увидели во мне человека, принёсшего им счастье. Они кинулись ко мне, начали подбрасывать вверх. А один оторвал у меня на память пуговицу как приносящий успех талисман.

Каргополь – чудесный городок на юге Архангельской области. Когда-то здесь торговали купцы, гуляли толстосумы, строились храмы и каменные палаты, писались дивные иконы. Железная дорога прошла мимо, и Каргополь стал захолустьем. Но тем изумительным русским захолустьем, где живут очаровательные русские люди: учителя, краеведы, знатоки старых ремёсел. В окрестностях, в опустелых деревнях появляются доброхоты, которые начинают возрождать обряды, воскрешать песни, ремонтировать деревянные храмы. Складываются общины, и их любовь к родной старине не просто затея, не просто дань фольклорной моде. Они прорываются сквозь грохочущий железный век к возвышенной хрупкой красоте деревенской культуры – той, о которой Василий Иванович Белов написал свою чудесную книгу “Лад”, архангелогородский неповторимый писатель Владимир Личутин сотворил волшебную книгу “Душа неизъяснимая”. Эти люди ищут ключ к сокровенной огромной тайне, к бездонной божественной красоте, среди которой жил по деревням и сёлам русский народ. Они ищут ключ, с помощью которого раскрываются врата в сказочный мир, где домашняя утварь, или народный наряд, или песня, или крестьянская примета объясняют людям, что мир, в котором они живут, божественен. Природа, среди которой они возрастают и умирают, божественна.

И когда ты поёшь в народном хоре длинные, бесконечно долгие северные песни, вокруг тебя сплетают свои голоса с твоим одиноким голосом синеокие люди, ты вдруг ощущаешь, что становишься бесплотным, отрываешься от земли. И душа твоя, обнявшись с другими душами близких и обожаемых тобой людей, уносится в бесконечность и, озарённая, исполненная любви и ликования, смотрит на этот грешный мир, видя в нём одну красоту.

В глухой деревне, где стоят пустые архангелогородские огромные избы, я видел храм, весь в лесах, на которых стучали мастерками каменщики. Ко мне подошёл скромно одетый пожилой человек с чудесным лицом. Это он, пенсионер Юрий Александрович Тишинин, приехавший из Северодвинска в деревню, на свои пенсионные крохи восстанавливает деревенскую церковь. Люди, следуя его примеру, складывают свои копейки, и храм перестаёт осыпаться, медленно обретает вторую жизнь. Этот человек работал на Северодвинском заводе и строил подводные корабли. Эту церковь он тоже называет кораблём. Укрепляет её стены, кровлю, утверждает высокий крест, который, как он говорит, является системой навигации корабля. Правит корабль прямо к Царствию Небесному.

В Каргополе народный художник Валентин Дмитриевич Шевелёв лепит знаменитые каргопольские игрушки. Краса неопишуемая, трогательная, наивная. Я неотрывно смотрел, как в его руках рождается маленький глиняный божок. Он признался мне, что, когда лепит игрушку, его душа молодеет. Он вспоминает родную деревню, родичей, родной огород, поле, синеву льнов. Вспоминает, как помогал отцу метать стог сена. И его душа утешается, ему хочется, чтобы кругом него все дружили: человек с человеком, деревня с деревней, город с городом, народ с народом. Эти наивные игрушки, которые так драгоценны среди стальных электронных машин, обращают наши сердца к сокровенному и родному, что во все времена будет вдохновлять русских художников, архитекторов, музыкантов на создание изумительной музыки, как Стравинского в его “Весне священной”, как Рериха или Андрея Тарковского в их описаниях русского язычества. Архангелогородская мечта, что она? Как сливается с единой русской мечтой?

На космодроме Плесецк после тяжёлого рабочего дня я выступал в Доме офицеров перед военными испытателями. И этим суровым, твёрдым, утомлённым работой людям я рассказывал о русской мечте, боялся, что останусь непонятым, что зал равнодушно, с недоумением будет слушать мои романтические постулаты. Но когда я закончил, зал поразил меня множеством глубоких размышлений о смысле русской жизни, о предназначении русского человека, о русской мечте. Один из офицеров спросил меня, что думаю я о книге Даниила Андреева “Роза Мира”. Эта мистическая книга была написана Андреевым во Владимирском центре, в одиночной камере и явилась его сказочным учением об устройстве мира, о месте в этом мире России. Он мечтал не об избавлении, не о скором выходе на свободу – он писал книгу “Роза Мира”, и она была его мечтой. Русская мечта и есть Роза Мира, которая наполняет мироздание своей любовью, красотой, великой одухотворённой бесконечностью. И, глядя на загорелое синеглазое лицо офицера, я вдруг подумал, что он со своим личным поиском, устремлением в бесконечность, в бескрайнюю русскую даль, что он и есть Роза Мира, он и есть архангелогородская русская мечта.

РАБОТАТЬ И НЕ СОМНЕВАТЬСЯ

Беседуют Александр Проханов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов

– Игорь Анатольевич, я проехал по вашей губернии. Чудесный край! Здесь у вас алмазы, на “Севмаше” “Борей” за “Бореем” строите, выполняя госзаказ, космодром Плесецк ракеты пускает. И наконец, у вас потрясающее население. Какая губерния может похвалиться таким богатством? Думаю, Вам как главе и волноваться не о чем – Вы живёте среди сгустков цивилизации. А что Вас всё-таки занимает сейчас, какие задачи стоят и проблемы волнуют?

– Вы, Александр Андреевич, совершенно верно отметили наши жемчужины Севера. Действительно, здесь самые настоящие богатства-бриллианты

рассыпаны. И вы назвали индустриальные глыбы, которые являются достоянием всей страны, да и не будет преувеличением сказать – всего мира! Наш космодром Плесецк... Какая ещё губерния может похвастаться тем, что на её территории расположен космодром?! Да и в целом мире таких мест – единицы. А космос – это целый мир, и мы помогаем человеку к нему приблизиться.

Особо хочется сказать и о Северодвинске, заводе “Севмаш”. Ведь его продукция, подводные лодки – это шедевры, ничего подобного в мире нет. Не случайно к этому предприятию такое внимание и у руководства страны. Президент Владимир Путин приезжал на “Севмаш”, встречался с коллективом и отмечал их неоценимый вклад в обороноспособность нашей страны.

Надо подчеркнуть, что наша земля издавна была нацелена на высокую, важную государственную миссию. Не побоюсь пафоса и скажу, что именно здесь нашими предками формировалась и решалась супергосударственная задача, когда они на кочах, на карбасах осваивали всё северное побережье матушки-земли всей нашей Сибири и привязали эту территорию к России! Где по воде, где вдоль по берегу... Северные экспедиции Семёна Дежнёва и многих других дошли до самых дальних точек, поставив наш православный крест и обозначив таким образом, что это территория России. Новая Земля, Земля Франца-Иосифа... А наш Ломоносов, величие его открытий?! А удивительная судьба наших предков, которые создавали такие уникальные культурные духовные объекты, как Соловки, Антониево-Сийский монастырь, Артемиево-Веркольский монастырь, комплекс храмов в Кенозерье. Строительство государственного флота началось здесь 325 лет назад. И всё это здесь, на Севере.

Это земля с большим внутренним духом, и потому требует большой ответственности перед ней. Необходимо соответствовать тому, что дано тебе в управление, доверено президентом и людьми. Я очень счастливый и очень богатый человек, поскольку мне дано не только это всё видеть и находиться во главе такого региона, но ещё и участвовать в его преобразении, где-то даже и в становлении. И это возможно только с верой в Бога и в Отечество.

– В чём состоит модернизационный проект губернии? Я не случайно, говоря о ней, назвал Плесецк, “Севмаш”. Чего их модернизировать? Они и есть – модерн!

– Модернизация – это не совсем верное слово, Александр Андреевич. Модернизация – это совершенствование того, что есть. Но если мы остановимся только на некоем совершенствовании, на достройке и модернизации, то прорыва не будет. А нам нужно рвануть дальше. И рвануть в целом ряде решений, которых никто, может быть, сегодня и предположить не может.

Например, сегодня самое главное – инфраструктура. А мы до сих пор пользуемся инфраструктурой, созданной даже не в двадцатом, а в девятнадцатом веке или задуманной тогда. Дороги железные, автомобильные, водные пути... Охватить сеть коммуникаций арктические просторы очень непросто. Но остро необходимо. И не случайно вопрос с созданием магистральных инфраструктурных объектов поставлен во главу угла, в том числе в стратегии пространственного развития и в указах президента Владимира Владимировича Путина.

А помимо прикладных вещей, задуманы и стратегические. И речь уже идёт не о модернизации, а о следующем шаге в эволюции, в развитии. Задача – шагнуть в суперсовременную инфраструктуру. Мы не можем остаться в стороне от новых железнодорожных и водных магистралей как внутри страны, так и за её пределами. Поэтому речь идёт о создании порта. Причём порта современного, высокоавтоматизированного – целого роботизированного комплекса, который и в условиях Севера позволит нам, несмотря ни на что, конкурировать. Надо учитывать, что в таких условиях затраты достаточно высоки, а автоматизация и роботизация позволит организовать работу на новом уровне.

– Порт – это ваша надежда?

– Я технократ и многие вещи оцениваю и просчитываю не только с точки зрения эмоций, но и с рациональной, прикладной стороны. Посмотрите: Артемиево-Веркольский монастырь строили Бог знает где! Это вверх по реке Пинеге. Даже сегодня там такой объект тяжело построить. А как vezём кирпич туда? По воде – самый дешёвый и экономичный способ. И когда мы говорим о перевалке огромного количества грузов из Европы в Азию, то как нужно идти? Северным морским путём. А чтобы он функционировал, ему нужны точки

опоры. Для морского пути такими точками являются порты, привязанные к тем или иным пунктам. Одна из таких точек – Архангельск.

– Я был на Ямале, в Сабетте, и мы с губернатором Дмитрием Андреевичем Артюховым говорили об арктическом проекте. Перед ними стоит колоссальная инфраструктурная задача – провести две ветки железной дороги – с одной и с другой стороны, соединить мостом, вывести вертикаль к посёлку Сабетте, сделать его мощным перевалочным пунктом, через который пойдут грузы как с Северного Урала, так и со стороны Красноярска. А какие грузы будет переваливать ваш порт?

– Работы ему хватит. К примеру, при строительстве завода СПГ (его инфраструктуры, дорог) металлические конструкции, трубы, укладываемые на дно специальные покрытия поступали из Архангельска. Потому что порт Архангельска является ближайшим от Сабетты портом, дающим доступ к европейским ресурсам России: промышленным, индустриальным, интеллектуальным, сервисным.

– **Мурманск и Архангельск.**

– У Мурманска своя миссия. Оборона, Северный флот, транспортная логистика по морю в сторону Европы – это его функции. У каждого – своя миссия. Наша миссия называется “сервис обслуживания”. Что это значит? К примеру, нужны лучшие медики. Пожалуйста, Архангельск. Лучшие инженеры – тоже Архангельск. Нужны лучшие компании, чтобы обеспечить функционирование сложных объектов на море (платформ, например) либо в сложных северных широтах – опять-таки Архангельск. Доставка грузов – тоже. И так далее.

Мы говорили про Северный морской путь, он важен, но в транспортной логистике это ещё не всё. Посмотрите: чтобы долететь из Европы в Азию, нужно сначала по земному шару подняться вверх по короткому пути, сместиться в другую широтную точку и затем опуститься вниз. Это самый экономичный путь не только для морских передвижений, но и для авиационных. Это другая транспортная логистика. И мы сегодня ставим вопрос о том, что в Архангельской области должен быть и авиационный кластер. У нас есть три готовых аэропорта; один – не в лучшем состоянии, а два других – современные супераэропорты с самыми длинными полосами, хорошо откоординированные, отработанные.

Следующий путь, это, конечно же, путь водный. Я очень надеюсь, что эволюционный тренд, который сегодня намечен и развивается, движется, он вернёт к активной жизни и работе транспорт – и водный, и речной. Это опять-таки самый дешёвый, самый быстрый и самый экономически состоятельный транспорт, и он возродит наши водные магистрали. А водные магистрали – это объективная реальность. И не надо забывать, что развивается та точка, которая находится в узле логистических цепочек. Надо создавать узел по разным направлениям.

Причём в сегодняшней реальности, например, встанет вопрос о передаче информации. Каким образом она будет передаваться? Чтобы передать её, допустим, из одной точки земного шара в другую, шлешь обычными нашими путями через Владимир, Казань, по трассе БАМ... Это – одно количество передаточных станций... А если подняться повыше, количество передающих станций будет существенно меньше. И оптоволокна тоже нужно меньше.

– **По кромке океана?**

– Конечно. Да сегодня и в океане можно подводный кабель проложить. И это будет дешевле, короче и защищённее.

– **Это вклад Архангельской губернии в общерусскую, общероссийскую чашу.**

– В развитие страны и мира.

– **Да, этого от вас ждут, и не сомневаюсь, эти ожидания вы оправдаете, прикладывая все возможные усилия. Но мне кажется, что Архангельская губерния обладает ещё и определёнными драгоценными свойствами, которые так необходимы сегодняшней России. Согласитесь, вопрос логистики мы всё-таки решим. Уберём из этой сферы идиотов, дураков, воров, бездельников. Мы решим технологические проблемы, России сейчас по плечу любые технологические задачи. А вот как использовать ту таинственную архангелогородскую энергию, красоту, загадочность, стремление, что и создало Русский Север, сделало**

его неповторимым? Русский Север, конечно, создавался и флотом, и карбасами. Но он создавался ещё и музыкой души северного человека. Мне кажется, что архангельский человек, он как никакой другой обладает стремлением к бесконечности, к внедрению человека в загадочное, неопишное, ещё неосуществлённое. Может быть, это мой поэтический, метафорический взгляд, но что такое, к примеру, “Севмаш”? Это карбасы, которые уходят в пучину Мирового океана и создают там новую военно-политическую, духовную цивилизацию. А поскольку на месте, где построен завод, стоял монастырь, и там ещё кусочек монастыря остался, то в каком-то смысле монастырь строит эти лодки, и в каком-то смысле они – это сегодняшние русские монастыри, которые уходят туда, в бездну вод, бездонность вод, и сам северный человек уходит в ту бездонность. У этих лодок и имена-то княжеские, святые...

– Не могу не согласиться. Вы в силу художественности, умения изложить всё поэтическим языком, возвращаете меня к мыслям, что меня то и дело посещают. Я много езжу по области и, стоя на высоких берегах Печоры, Пинеги, Северной Двины, ясно понимаю, что только здесь рождается уникальное мироощущение, создающее и великих людей, которые потом становятся бесценным богатством всей человеческой цивилизации в целом. Абсолютно с Вами согласен, что этот полёт, порыв, желание творить что-то за пределами классических человеческих рамок, которые ограничены стенами (даже столиц), он рождается здесь. Вот был я в селе Верколе, родине знаменитого деревенщика Фёдора Абрамова. Он и сегодня ещё до конца не познан, не исследован, его “Чистая книга” иначе заставляет думать. И с высокого речного берега смотришь на другой берег, где в таком же сплошном лесу высятся купола храма Артемия Веркольского. И это соединение мироздания божественного и естественного, человеческого, жажда научного познания приводят к появлению великих личностей, к великим человеческим прорывам.

– **И само по себе то, что мы с Вами обсуждаем, загадка, загадочное явление.**

– Это – загадка для тех, кто не знает русских. Для русского, который видел просторы Волги и чудесную бесконечность наших лесов, это среда обитания. Когда говорят: что такое загадочная русская душа? А душа, она этими просторами и отсутствием границ мироздания как раз и рождена. У нас нет границ через каждые сто километров: и через сто километров – наша земля, и через двести, и через пятьсот – наша. Всё наше. Территория Архангельской области – чуть больше территории Франции. Я в Армении разговаривал с новым руководством страны, рассказал о губернии, они обратили внимание: наша территория в двадцать раз больше Армении. Многие государства даже представить себе не могут таких просторов. А мы в этой огромной среде и бесконечности – живём. Потому у нас любое творчество – безбрежно.

– **Одному офицеру-пограничнику я говорю: “Ты знаешь, где кончается граница России?” Он на меня посмотрел, как на наглеца: что он, пограничник, может этого не знать. Я говорю: “Граница России кончается там, где начинается Царствие Небесное”. Как только кончается граница России – сразу же начинается Царствие Небесное. Поэтому русская душа и русская жизнь – такая таинственная, странная, иногда страшная... Но, по существу, вся наполненная святостью. И архангельская земля, поскольку она граничит с Царствием Небесным, именно такая: таинственная, мистическая... И Россия всегда смотрела на поморов, на северян с чувством какого-то обожания и даже с лёгкой завистью.**

– Наверное, действительно здесь начинается граница Царствия Небесного. Потому что для каждого, кто здесь жил, воплощение жизни было в тех храмах, которые здесь строились. А мир заканчивался там, где установлен крест – на куполе и колокольне этого храма. И там сразу – уже совсем иной мир, тот самый, божественный, к которому мы все стремимся. А землю здесь, огромные пространства архангельской земли купол небес держит. Это тоже очень символично. Ведь “раскачивание” Руси началось тогда, когда деревянные храмы (а ими славен наш Север), которых было огромное количество, порушили. И в итоге самое главное, что было, – устойчивость небесной сферы, нашей границы с Царствием Небесным, – начала рушиться.

Но сейчас очень много восстанавливается. За шесть лет моей работы в губернии множество мест в Архангельской области преобразилось. Возрождаются

удивительные Соловки, идёт воссоздание монастыря Артемия Веркольского, ведётся строительство Михаило-Архангельского собора в Архангельске. И это является формированием устойчивых конструкций под всё наше русское мироздание. А на Севере это особо ценно, поскольку здесь всегда особые условия: и дух другой, и небо гораздо ближе. И, слава Богу, идёт возрождение не только храмов и церквей.

– Я размышляю о том, что такое русская мечта. Все народы – мечтатели. Любые народы: ненцы (я был на Ямале и с ненцами в чуме говорил об этом), немцы с их великой мечтой “дранг нах остен” – мечтатели. Американцы сформулировали свою национальную мечту как “град на холме”. Это их доктрина. “Град на холме” – это идея величия и господства. Китайцы в свой последний партийный документ внесли китайскую мечту наряду с Великим шёлковым путем.

А русская мечта? Я пришёл к выводу, что русская мечта – это храм на холме. Мы этот холм насыпаем с древнейших времён и своими костями, и своими слезами, и своими победами, и своими свадьбами. Вся наша история – это насыпание нашего холма. А его венчает храм – чтобы коснуться Царствия Небесного и чтобы через это касание пролилась божественная красота.

– Наверное, символически это действительно так. И я бы говорил даже не об одном храме, а о монастыре. Монастырь имеет несколько храмов и стену крепостную. Но в то же время он всегда открыт для людей. В монастырях – храмы разных святых и даже разных эпох. Это точки опоры. И потому по-разному можно прийти к истине: через вероисповедание и почитание этого святого, того или другого...

– Монастырь ещё интересен тем, что там внутри – особый тип общества. Вспомним, что патриарх Никон хотел превратить Россию в огромный монастырь, где все люди были бы братья, чтобы не имели стяжания.

– Никон был педант. Он все книги решил переписать в одном стиле и в одном изложении, чем и вызвал раскол. Но, наверное, это действительно очень символично. В любом случае, в нашей душе существует храм: храм души, храм веры, храм как некая защитная функция – это храм силы. И когда это всё объединяется в единый комплекс, образуется единство. Когда мы говорим об олицетворении нашего мироздания, у меня в душе возникает образ Соловков. Ведь если мерить экономическими, логистическими, индустриальными мерками, на Соловках храма не может быть по одной простой причине: этому ничего там не соответствует.

В суровейших климатических условиях, на острове, в такой дали построить! Даже сегодня, когда стоит вопрос о том, чтобы построить новое жилое здание на Соловках, вообще никакая экономика не срабатывает! Никакие конкурсы невозможно проводить. Потому что цена всё равно будет существенно больше, чем на материке. И этот комплекс – монастырь со всей его внутренней жизнью и способностью противостоять любым внешним угрозам: природным, военным, идеологическим, – это твердыня, он действительно является символом духа. Я с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом о Соловках говорил, и он сказал, что это для русских больше, чем Афон. Это для русских абсолютный символ русскости, духовности.

И то, что потом являлось опорой и силой Руси, начиналось отсюда, с Севера. Строгановы с Сольвычегорска, Ломоносов, флот... Пётр Первый трижды здесь был.

– **Орлов Игорь Анатольевич – северянин...**

– Я уже давно себя считаю северянином. Когда я выхожу на Красную Горку в Пинеге и смотрю на окрестности, щемит по-настоящему от гордости и величия.

– **Я был под Дебальцево, видел там киевские самоходные установки, оплавленные от ударов “Ураганов” наших ополченцев. Дебальцево – тоже родное слово для Вас.**

– Не представляете, Александр Андреевич, как щемило, когда я видел в родном моём городе Дебальцево мою школу, куда несколько раз попадали снаряды. Но это другая боль. Мы помогали школу восстановить.

Вот Вы говорите про русскую мечту. У нас в Пинеге есть санаторий “Голубино”. Но там был лишь сожжённый до основания Дом отдыха, который стал местом свободного отдыха и давно потерял статус. И вот две девушки

(одна в Пинеге родилась, другая москвичка – они замужем за братьями из Пинег) возродили Голубино! И уже у них планы облагородить саму Пинегу: здание построить, создать новые маршруты по заповеднику, принять участие в возрождении монастыря на Красной Горке. Вот как видят русскую мечту такие молодые девчонки? Совершенно уникальный взгляд у них, думаю. Молодое поколение мы иногда ругаем. Но они являются одним из символов нашей будущей русской мечты, они оправдают все наши надежды.

– **Дай Бог.**

ГЛИНЯНЫЕ БОГИ

Беседуют Александр Проханов и народный мастер, заслуженный художник России Валентин Шевелёв

– **Валентин Дмитриевич, невозможно налюбоваться на ваши чудесные глиняные игрушки, на божков каргопольских. Я ещё застал легендарную мастерицу глиняных игрушек Ульяну Бабкину, которая, наверное, оставалась последней носительницей тайны каргопольской игрушки. А после её смерти игрушка как бы окончательно исчезла, или всё-таки удалось её подхватить?**

– Александр Андреевич, здесь, в Каргополе, открыли мастерскую “Беломорские узоры”, руководил ею Александр Петрович Шевелёв. Он продолжил традицию создания каргопольской игрушки. Ульяна Бабкина жила в деревне Гринёво, а в трёх-четырёх километрах находится деревня Токарёво, и это был как бы “куст” производства игрушки и гончарного дела. И после того, как Александр Петрович открыл мастерскую, к нему пошли старые мастера, надомники работали. То есть дело подхватили. Игрушки много стало, она пошла по всей России, по всем мастерам. А потом, когда Александр Петрович ушёл, мастерская немножко отклонилась от традиции. И администрация города Каргополь открыла центр народных ремёсел “Берегиня”, где работают мастера, продолжают традиции и по цвету игрушки, и по материалу.

Александр Петрович позвал сотрудничать с его мастерской и моих родителей, которые в деревне Токарёво раньше делали игрушку и посуду. Ну, а потом и я это дело перенял.

– **У каргопольской глиняной игрушки тонкая неповторимая эстетика. Значит, нужно иметь чутьё и чувство особой красоты, чтобы у коняшки были ножки вот такие, чтобы так загнувочек у неё был загнут, чтобы был такой вот китоврас. Это же, по существу, настоящая скульптура. Я люблю, восхищаюсь этой игрушкой. Мне кажется, все детские игрушки имеют своё происхождение от языческих, древних богов, и когда кончилось поклонение взрослых, то это перепоручили детям. И дети, играя, в каком-то смысле являются язычниками.**

– Да, конечно.

– **Дети всё тонко чувствуют: и солнце, и природу, и звук, и красоту. И эти игрушки для них – как бы напоминание о том мире, откуда мы все взялись. А когда вы делаете игрушки, какие у вас переживания бывают?**

– Я вспоминаю своё детство, деревню: какие были там ставни у домов, какую одежду носили, какие люди жили...

– **Такую игрушку делать – удовольствие?**

– Разумеется. Потому что, во-первых, рука соприкасается с землёй, которая кормит, даёт энергию. Раньше ходили босиком, сейчас босиком не ходят, и вот через руки, через глину передаётся энергия земли и солнца. И возникают эмоции о жизни, о добре, забывается всё ненастное, оно уходит. Когда люди делают игрушку, то становятся добрее. У меня много учеников – и в живописи, и в игрушке. И я это вижу – как игрушка преобразует.

– **Вы создаёте какие-то новые формы, или ваши игрушки имеют канонические формы, которые вы не нарушаете?**

– Формы можно создавать другие, но на основе приёмов работы, традиций, потому что каргопольская глина требует особых приёмов. В зависимости от материала получается и игрушка: дымковская, филимоновская... Все они – разные. Если возьмёте глину в руки, сами почувствуете. Смотреть – это одно дело, а когда сам человек потрогает глину, то он почувствует, что это действительно земля русская.

– Когда мы поклоняемся матери-земле, солнцу и воде – это же в какой-то степени язычество, это своеобразное поклонение. И когда вы делаете игрушку, вы не просто скульптор. Для вас это – не просто забава, а в некотором смысле даже вероисповедание.

– Да. К примеру, есть игрушка Берегиня. А вообще эта фигурка – крестьянка с птицами, и это уже как бы новая форма. Должно идти развитие игрушки, она же появлялась не просто так, а в связи с чем-то. Что в деревне делали с игрушкой? Она не для игры как таковой создавалась. Игрушки знакомили с деревней, с бытом. Например, игрушка конь – это знакомство с животными. Когда я приезжал в деревню, дед давал мне глиняного коня и говорил: “Вот тебе игрушка, играй, большой вырастешь, своего купишь”. Я, конечно, так и не купил коня, но об этом помню. “Береги”, – говорил. Так что игрушка не для игры была, для других целей. Например, весной делали большую Берегиню и говорили, что шляпочка на ней – это солнце, птица в руках – небо, а сама кукла – это мать-сыра земля.

Я со слов отца знаю, потому что сам уже не застал этого, до революции дело было: звали священника, староста брал куклу, девочкам давали маленьких куколочек или сами они делали, мальчикам обязательно давали коня, и вся деревня обходила вокруг поля с этой куклой-Берегиней. У солнца просили тепла, у птиц просили дождя, потому что птица – это символ неба. А сама кукла – мать-сыра земля, она всё даёт, всё рождает, поэтому у земли просили хорошего урожая. Когда обходили поле, начинался сев, пахали, сеяли. На такие праздники, как Флора и Лавра, всегда делали коня. И в этот день давали детям покататься на коне, чтобы ты потом ещё ухаживал за конём: если покатался, пойдти травки нарви, покорми, щёточку давали, воды – помой. Так приучали крестьянских детей к жизни, к работе, к земле, к деревне. Это было настоящее правило жизни крестьянина.

– Значит, эти игрушки были чем-то большим, чем обучение навыкам. Видимо, эти игрушки были и покровителями. Вы говорите, что когда делаете игрушку, испытываете удовольствие и добро. Значит, эта игрушка служила самому разному благу: и материальному, и духовному. Стало быть, в ней эта сила есть.

– Обязательно. Поэтому были игрушки, которые знакомили детей с животными лесными, домашними. Но были игрушки праздников. Например, фигурки, изображающие катание на лодочках, катание на санях – это праздничная игрушка, к празднику всегда такие весёлые игрушки делали.

– А печальных игрушек нет?

– Нет, печальных нет.

– А глину где вы берёте? Вы сами её выбираете?

– Да, сам. Раньше в своей деревне брали глину. Чёрная земля снималась, потом шла жирная глина, потом уже с песочком. Так вот слой – между чёрной землёй и известняком – брали. Из жирной глины делали игрушки.

– У вас какие-то места сокровенные есть, где глину берёте?

– Мы нашли около Каргополя, в трёх километрах, глину, там и берём сейчас.

– Какая обработка глины идёт, прежде чем лепку начать?

– Её надо выморозить или высушить, потом заливают кипятком в деревянном корыте, и теслом мешают. Сейчас на тестомешалке делаем.

– Месят её для чего, она какое-то новое свойство обретает?

– Когда мешаешь, все маленькие крупиночки растворяются и соединяются в общую массу, как пластилин. Для игрушек замешиваем погуще, для посуды – помягче.

– А вам безразлично, когда лепить – утром, днём, вечером, ночью?

– Да хоть ночью. В любое время игрушку делать – радость.

– Я был в Плесецке, где пускают ракеты. Тоже игрушки, только большие и грозные. Но все, кто эти ракеты делает и испытывает, вкладывают в них глубокие внутренние чувства, и даже не расскажешь, какие. У кого-то радость, у кого-то – поминание отца, у кого-то – горе, у кого-то – ликование. И это всё идёт в эту машину. На пусках нет недоброжелательных людей, пуск должен проходить с добром. И я уверен, что все эти генеральные конструкторы, лауреаты премий, герои – они перед пуском колдуют – что-то бормочут, этой ракете говорят: “Ну, милая, давай, взлетай,

если взлетишь хорошо и пролетишь, я тебе шоколадку куплю”. А когда вы лепите эти игрушки, с ними разговариваете?

— Я мысленно всегда вспоминаю деревню, своих родителей, вспоминаю ту жизнь, которая сформировала меня. И я сравниваю современную жизнь с той, и нахожу и в этой жизни хорошее, и в той. Если бы объединить старую и новую жизнь, чтобы люди друг к другу шли навстречу, было бы хорошо. Современные люди должны понимать тех людей, которые уже ушли от нас. Они унесли много знаний, много добра унесли. Надо это вернуть в нашу жизнь, тогда мы бы все стали добрее. Тогда бы и в городах, и в деревнях, и в России люди бы по-другому жили, не стали бы разобщаться. Потому что сейчас мы не ходим в гости, редко по крайней мере. А в деревне раньше придёшь к бабушке в гости на праздник — там столько людей! Из всех деревень приходят, а потом вечером все вповалку на полу спят, на шубах, кто на чём. Следующий праздник в другой деревне — туда все пошли. Сейчас такого нет. Может быть, это и не надо, но в какой-то другой форме всё равно должно быть общение: какие-то клубы, чаепития...

Приезжают, к примеру, туристы из Москвы, других городов, в “Берегине” покупают игрушку, в музей приходят на выставку, и никто из приезжих людей не сказал: ой, вы тут занимаетесь всякой ерундой. Все говорят: каргопольская игрушка, какая она красивая, какая добрая... И покупают, не жалея денег. Если мы играли с игрушкой, то сейчас её берегут, ставят в сервант. Детям показывают, но играть не дают. Хотя у некоторых родителей дети играют.

— **Вы верующий человек? В церковь ходите?**

— В церковь постоянно не хожу, но без веры русской как же? Без веры жить нельзя. Вера — это наша жизнь, вера — это наша земля, вера — это наш космос. И я преклоняюсь перед Богом и перед всеми людьми, которые веруют. Уважаю людей, которые служат вере.

— **Во время литургии в храме происходит превращение хлеба в тело Господне, вина — в кровь Господню. Это таинство, мистическое действие. То есть под воздействием молитв, славословий, определённых обрядов происходит преобразование одного вещества в другое, простого, обывного — в святое, в священное. А вот вы слепите игрушку, потом должны её обжечь. Значит, вы её ставите в огонь. И в эту игрушку начинает втекать огненная сила, огненное тепло. Игрушка проходит преобразование. Она меняется, наполняется огнём. В этих игрушках живёт огонь. Вы чувствуете, что происходит такое таинство?**

— Да, чувствую. Наверное, видели, как мятнички делают: берут ниточку, на неё гаечку привязывают. Я, например, заготовил глину свеженькую, принёс в мастерскую. Дети, что у меня занимаются, начинают лепить. Я подношу к глине гаечку на ниточке, она начинает качаться. Я говорю детям, что это идёт положительная энергия земли. Дальше они мнут глину до какой-то консистенции. И я снова проверяю у каждого глину. И оказывается, эта гаечка начинает “минусовать”. Я думаю: надо же! Отрицательная энергия. Такую игрушку мы будем дарить людям, продавать! Что это такое? Я стал литературу смотреть, и оказалось, что мы как бы взяли положительную энергию от земли, отдали отрицательную энергию.

— **В игрушку?**

— Отдали в глину. Игрушка постояла, я снова замерил гаечкой — чуть-чуть крутится. Когда игрушку положили в печь, и она хватанула огня, стала красная — ещё сильнее гаечка после этого закрутилась. И я тогда вздохнул с облегчением, что действительно мы делаем игрушку с положительной энергетикой.

— **Значит, огонь как бы выдавливает из глины всю беду.**

— Всё сгорает, да. Огонь всё уничтожает.

— **И наполняет игрушку светом, силой, теплом?**

— Да.

— **Значит, это третья стадия. Первая стадия — вы готовите глину. Это своеобразное таинство, мистерия. Вы её замешиваете, как тесто, — словно хлеб готовите. Вторая стадия — вы начинаете лепить, и во время этих скульптурных работ вы в игрушку вкладываете своё тепло, энергию, печали, огорчения, их впитывает глина, параллельно вы наполнены мечтаниями и воспоминаниями о своей жизни. Третья стадия — вы ставите игрушку в печь, в обжиг, из неё улетучивается всё дурное,**

злое, и она становится светоносной. Последняя стадия – раскрашивание. А что в это время происходит?

– В это время возникают эмоции, которые мы берём у природы. Потому что на игрушках не просто рисунки: вот захотел там зелёную линию провести и провёл. Нет! Существуют традиции с древних времён.

Здесь у нас обнаруживают стоянки древнего человека. Тогда делали из глины посуду. Когда находим эти древние черепочки, осколки посуды, то на них – крестики, линии, зигзаги, лепесточки. Оказалось, что и на игрушке – то же самое. То есть это всё оттуда дошло до наших времён. А крестьяне переняли. Например, проведена волнистая линия. Искусствоведы говорят, что она символизирует воду. Прямая линия – это колоски. Вот крестьянин жил, смотрел, любовался природой и хотел – не хотел, но интуитивно внёс эти узоры – чем жил, что видел. В условной форме. Человек передаёт условно, через игрушку, то состояние природы, которое впитал. Например, здесь у нас роз не было, их потому никогда не рисовали. А если на Украине розы растут, там и изделия под розы расписаны.

– При раскрашивании в игрушку как бы помещается всё природное мироздание? Цвета воды, весны, солнца, снега, и всё это носит строго символический характер, разброса здесь быть не может? Или есть какая-то вольность?

– Если не знать традиций – тогда вольность. Нашу игрушку уже в Москве делают, там они могут этого всего и не знать. Потому там – вольность. Я как-то приехал в Петербург, зашёл в один салон, там стоят мои буклеты, продаётся игрушка. Я спросил: чья это игрушка? Мне сказали: это Шевелёва Валентина игрушка. Я говорю: не моя игрушка-то. И роспись не моя, и сделано не так. В результате выяснили, что это студенты делают, подрабатывают. Я говорю, пожалуйста, пускай делают, только не подписывают моим именем. У них узоры уже городского типа. Кто из деревни – там одно, а кто в городе воспитывался – совершенно другое передаётся в игрушке. Местность, где ты живёшь, ту и передаёшь.

– А если ваших китоврасов увеличить в размерах и поставить вместо Петра Первого на Сенатской площади, смотреться будет?

– А как же! У меня есть большие работы.

– С сохранением всей этой пластики?

– Да. Вот точно так же всё делаем. И в “Берегине” мастерица кукол делает больших. И Полкана делаем. Я могу объяснить вам, что такое Полкан.

Как я помню, в деревне делали не такого Полкана. Делали так: голова человека, а рук не делали. А когда уже никто не лепил игрушек, Ульяна Бабкина делала игрушечки, свистульки, и у неё брали работы на выставки. И искусствоведы ей намекнули: “Ульяна Ивановна, а нельзя ли вот так и так сделать?” Она сразу раз, раз – и сделала. Спрашивают: “Ульяна Ивановна, а кто это такой получился?” Она смотрит в окно, а там собака бежит, зовут Полканом. И отвечает: “Полкан. Это значит – половина коня, половина человека”.

Может, немножко и не так было, но легенда такая по Каргополю ходит. И я иногда пользуюсь этой легендой. Потом спрашивают: “А что это в руке?” Она говорит: “Он камень шибает”. Шибает – это “кидает” по-деревенски. “Так значит, он – защитник земли русской”. А когда она нарисовала потом солнце жёлтенькое, крестик, кружочек, сказали: “Так это же бог Ярило!” Вот так легенды рождаются. И всё время прибавляется к Полкану какое-то новое значение. Теперь уже говорят, что конь – это сила, человек – разум. О Полкане пошло столько легенд! И искусствоведы придумывают, и народ. Народ – самый умный: уж придумает так придумает! А потом Полканиха появилась и так далее.

– А давайте попросим губернатора Игоря Анатольевича Орлова, чтобы он на набережной в Архангельске установил памятник каргопольской игрушке. Отлить, наверное, придётся из бронзы – глина не выдержит ветра, дождя.

– Я, между прочим, прежнему губернатору дарил Полкана и сказал, что это защитник земли архангельской. А искусствоведы, которые приезжали к Ульяне Бабкиной, потом выставку делали и слепили из снега большого Полкана. Так что это тоже символ города. И ещё символом города является ворона.

– Что она символизирует?

– Символизирует птицу счастья. Вот я сижу у окна как-то, леплю игрушку-куклу. Уже почти слепил, смотрю в окно, там отбросы выкинул кто-то, прилетели вороны – прыгают, веселятся. Я думаю: надо же, ворона! Тут же я глину смял и сделал ворону. А мама уже в Каргополе, недалеко от меня, жила. Я к ней прихожу, говорю: “Мама, я придумал новую игрушку”. А она сама всегда что-то новое придумывала. “Какую?” Говорю, ворону. “Ай, – говорит, – мы весь свой век лепили ворон, у нас в деревне считалось, что это птица счастья”.

А когда я на выставку приехал с вороной, у меня спрашивают: что это такое? Говорю: птица счастья, ворона. Кар-го-поль. “Кар” – это карга, “поль” – это поле. А так – воронье поле. Так это символ Каргополя!

– **Есть некая тайна. Вот есть семёновские резные матрёшки, расписные – Полх-Майдана, и коняшки там есть, есть вятская игрушка. А Каргополь родил свою игрушку, особенную. Как вы думаете, почему в Каргополе могла такая игрушка родиться? Это случайно, или в этом есть какое-то предзнаменование? Почему каргопольская земля и глина вдруг превратилась в такое чудо?**

– По реке Онеге и озеру Лаче жили древние племена, у них посуда была сделана из глины. Они на костре готовили, и посуда там без ровного доньшка была – они ставили её в песок. И каждое племя, каждый род наносил свои узоры. Они отличались, как и деревни сейчас: разные ставни, разная одежда. Так и у них тоже – разные узоры. Они это всё брали от природы. А глина и за три тысячи с половиной лет до нашей эры существовала здесь, в Каргополе. Потом вместо их жилищ деревни появляться стали, появилась посуда уже с плоскими доньшками, потому что столы были, надо было на них ставить, затем потребовалось кушаний побольше, разные лоточки стали делать. А также игрушку из кремня и из глины. Потом появились краски, раскрашивать начали. Это всё постепенно развивалось, пока не дошло до Полкана и до Тройки – композиции праздничной. Игрушка существовала здесь издавна, а не возникла в один миг. Это наша исконная традиционная игрушка с древних времён.

– **Вы художник. А все художники – фантазёры. Они всё время фантазируют, всё время у них образы живут, в них непрерывно идёт духовное движение. И все художники – мечтатели. И в каком-то смысле они сказочники. А в чём северная каргопольская мечта? Какой заоблачной мечтой живёт каргопольский человек? Художник, рыбак или крестьянин?**

– Если делали игрушку на праздник – в возочке, в бричке с гармошками – это и была мечта о хорошей, доброй и красивой жизни! А что такое хорошая жизнь? Это дружба. В деревне – с соседом дружба. Дружба с городами, с природой. И дружба вообще целого государства. Каждый человек за государство болеет. Если сейчас что-то нехорошее творится, на Россию начинают пенять, мы все же переживаем.

У нас в Каргополе идут в школах уроки по игрушке, и в педучилище студенты её делают. Затем закончивших училище отправляют работать по месту назначения, и они развозят игрушку по всем городам. То есть несут радость. Меня как-то пригласили в Москву в педагогический университет со студентами мастер-класс провести, мы лепили игрушку. И я спросил: что такое игрушка? Мне ответили: игрушка – это мечта о нашей хорошей жизни.

– **Прекрасно. Значит, каргопольская мечта – это мечта о дружбе.**

ЗАВОД-ГОСУДАРСТВО

Беседуют Александр Проханов и генеральный директор АО “ПО “Севмаш” Михаил Будниченко

– **Михаил Анатольевич, вспоминаю, как я побывал на вашем заводе впервые. Это был тяжёлый период, но завод уже выкарабкивался из беды девяностых годов. И тогдашний директор Владимир Павлович Пастухов рассказывал о том, какая катастрофа была здесь в 90-е годы. Когда рабочие своих голодных детей сюда, на режимное предприятие, водили кормить. У людей не было веры, погибала вся индустрия.**

И мне показалось, что совершенно новый период у предприятия начался с появлением реального заказа на лодки “Борей”: завод перешагнул через “чёрную дыру”, и период этой беды завода кончился.

– Первый корабль данного проекта был заложен ещё нашим легендарным директором Давидом Гусейновичем Пашаевым. И все те смутные времена корабль стоял на стапеле, поскольку не было финансирования. Только представьте, Александр Андреевич: госзаказ тогда равнялся месячной зарплате завода. Не было денег, что определяло и долгострой, и проблемы завода в части финансовой, в части зарплаты коллектива, да и всего остального. И вы абсолютно правы: когда был дан госзаказ на лодки этого класса, начали финансироваться проекты, завод воспрял, пошла постройка кораблей. Это произошло в период первого президентства Владимира Владимировича Путина. До этого почти десять лет шёл развал предприятия, и это действительно была катастрофа. Тогда из 46 тысяч человек коллектива осталось тысяч 20. А сейчас у нас работает уже 28,5 тысячи человек, и мы ещё набираем людей на работу. В этом году стоит задача довести численность работающих до 30 тысяч человек, что должно обеспечить выполнение Государственной программы вооружения.

– **А как завод переходил на новый режим работы? Проблема была только в деньгах, в финансировании? Или же это вопрос и полной модернизации, организации производства, вопрос создания нового поколения рабочих? Ведь такой переход – это целая эпопея.**

– Вы правы. В период этого безвременья старые рабочие уходили, новые кадры не набирались, и произошла частичная потеря опыта, который должен передаваться от более опытного специалиста к менее опытному – в этом смысл системы наставничества, обучения. И этому ни в какой школе не научат, этот опыт должен передаваться непосредственно на производстве. Нам, однако, удалось в эти годы сохранить костяк опытного профессионального коллектива. И мы к тому же сохранили все технологии.

– **В основном на предприятии оставались старые рабочие?**

– Да. А когда началось финансирование, мы очень много молодёжи набрали и продолжаем набирать: 2,5 тысячи человек в год. А поскольку происходит естественная убыль в связи с уходом людей на пенсию или переходом на другую работу, то в итоге на 1,5 тысячи человек за последние шесть лет коллектив растёт каждый год. Молодёжь обучают опытные кадры. Это определённые сложности создаёт, потому что больше брака получается, меньше выработка у человека, пока он учится, – года два-три. Тем не менее, сегодня коллектив сильный, грамотный, умный, обеспечивается преемственностью. И с теми задачами, которые поставили нам Верховный главнокомандующий, министр обороны, главком ВМФ, мы справляемся. Нет сомнений, что мы программу выполним.

– **Вы счастливы, что в три смены работаете, нагрузка огромная?**

– После того, что мы испытали в кризисные 90-е годы, лучше пусть ругают, что не вовремя ты что-то сделал, чем сидеть без работы. Конечно, радуется объём работы. И город ожил вместе с заводом. Вы же сами видели, сколько в городе машин, жильё строится, проходит масса мероприятий – спортивных, культурных. У нас на заводе за пять лет зарплата выросла в два раза: на сегодня средний заработок – около 70 тысяч. И люди довольны.

– **Но согласитесь, что работа работе рознь. Может быть, в автосервисе и больше получают, однако строить такие корабли, как строите вы на вашем заводе, или ремонтировать битый джип в автосервисе – это не одно и то же, это рождает разные эмоции у человека.**

– Александр Андреевич, в 2012 году, когда я стал директором, у нас зарплата составляла 28 тысяч рублей. Это было совершенно нетерпимо, и люди с завода уходили. Сегодня она выше, чем средняя по Архангельской области, выше, чем средняя по Северодвинску. Стало быть, здесь работать престижно – и в части зарплаты тоже. А что касается причастности к тому делу, которое мы делаем, профессионалу это, конечно, интересно. И есть чем гордиться. Человечеством не придумано ничего сложнее, чем атомная подводная лодка.

– **Мне кажется, что во всём этом есть и ещё одна человеческая эмоция. Её, может быть, трудно ухватить и сформулировать, но она связана с тем, что ваш завод является государствообразующим заводом. Не градообразующим, а именно государствообразующим.**

– Согласен.

– **Таких заводов в России не очень много: Уралвагонзавод, НПО “Энергия”, завод имени Чкалова в Новосибирске... И если бы не было**

вашего завода, не было бы и государства. С другой стороны, если бы не было такого государства, как Россия, не было бы и вашего завода.

— Конечно, всё связано. И это очень хорошо сформулировал Владимир Владимирович Путин в один из приездов на наш завод. В 2012 году на закладке корабля “Князь Владимир” он, выступая с трибуны, сказал, что вряд ли есть ещё хотя бы один завод в мире, который столько сделал для своей страны. Безусловно, оборона страны крайне важна. Мы видим, как нас “любят” везде. И быть сильными мы просто обязаны, чтобы наши дети росли свободно и чтобы мы не получили разного рода “оранжевые” события.

— **Лодки — это, прежде всего, оружие сдерживания. И появление этих лодок, непрерывность их появления от проекта к проекту, конечно, обеспечивает существование нашего государства, в своё время — советского и теперь — российского. Но кроме того, что эти лодки поставляют на наш общий российский стол блюдо под названием “безопасность”, само появление этих лодок меняет психологию людей. Я знаю это по себе, по моим друзьям, многие из которых унывают, отчаиваются, у них опускаются руки, они скептики, всем недовольны. А появление этих лодок возвращает людям повсюду в стране — в столице, в селе, в любой деревушке — ощущение огромного общерусского дела. Думаю, что ваш завод не только поставляет оружие, он поставляет и мышление, он поставляет идеологию. И это меняет атмосферу в стране в целом. Люди, абсолютно далёкие от вас и территориально, и производственно, они эмоционально участвуют в вашем деле. Они ликуют в моменты каждого нового спуска, жадно смотрят телевизор, радуются.**

— Бесспорно. Это и есть патриотизм. В 90-е годы не было у людей уверенности, и потому люди даже детей не рожали. А сегодня столько колясок в городе! Люди почувствовали, что здесь надёжно, есть работа на долгие годы, и стали создавать семьи, заводить детей.

И я бы отметил здесь два аспекта. Первый — это сопричастность к большому делу любого гражданина России, который является патриотом своей Родины. А второй — то, что наш корабль строит вся страна. Нам поставляют и материалы, и оборудование тысячи субподрядчиков — от Калининграда до Камчатки. Это общее большое дело: строит каждый корабль не только “Севмаш”, а вся страна.

— **В этом корабле собрано всё, чем богата страна: интеллект, умение, честность, способность жертвовать собой ради Родины. Я даже думаю, что в этом корабле присутствует Толстой, Достоевский, Рублёв, художники — это русское вековое мышление. Недаром вы сейчас лодки нарекаете именами князей, это княжеская серия: “Дмитрий Донской”, “Юрий Долгорукий”.**

— Конечно. Государство без истории — это не государство. И народ без истории — не народ. Какая у нас долгая славная история! Не как у некоторых, кому только пара-тройка сотен лет. И конечно, народ должен чувствовать сопричастность к большому делу. Родину надо любить, быть готовыми её защищать.

— **Но на ваш корабль двигаются иногда энергии, которые вы и не учитываете при создании корабля. Они входят помимо всех ваших цехов, подразделений, они пропитывают саму идею кораблей, которые вы строите.**

— Абсолютно с Вами согласен. Вообще, сам по себе корабль — это живое существо. Это не груда металла. У каждого свой характер, к каждому свой подход нужен. Мы строим корабль, а потом отдаём флоту. И у кораблестроителей в этот момент — слёзы на глазах. К кораблю привыкают, как к ребёнку. Мы вывели его из цеха — это он родился. А потом его надо научить ходить, научить работать, действовать в той или иной обстановке... Процесс очень похож на взращивание человека. Ребёнок родился, и сначала его надо научить ходить, выучить, и только потом из него что-то получится. Здесь процесс — совершенно аналогичный.

— **А потом его надо на пенсию отправить. Тоже большая проблема.**

— Совершенно верно. Поэтому сейчас мы вместе с Минобороны подходим к концепции полного жизненного цикла корабля. Вот мы его построили, сдали флоту, закончили гарантию, провели сервис, провели первый заводской ремонт, второй. И после этого он должен утилизироваться.

– Это технологическая проблема. И это ещё и моральная проблема. Одно дело присутствовать при рождении корабля, а другое – прощаться с ним, закрывать ему глаза.

– Конечно, жалко. Корабли – они как люди. Но люди тоже уходят. И когда корабль отслужил положенные ему 40 лет, он утилизируется. Это естественный процесс: корабль, как и человек, честно отдал долг Родине, его нужно достойно проводить, определить для него место в музее. Это вызывает нормальные эмоции. Но когда в 90-е за американские деньги резали корабли с активной зоной, не выработавшей и 20 процентов, вырезали шахты на атомных лодках, когда резали живое – это уже совсем другие эмоции. Не дай Бог, чтобы ещё раз такое повторилось.

– Если это ещё раз повторится при моей жизни, я спокойно это не переживу, я возьму гранатомёт.

– Будем надеяться, что такое не случится.

– На вашей заводской территории – фрагменты Николо-Корельского монастыря, которому 600 лет. Вашим монастырём в каком-то смысле исторгнут ваш завод. Да, это были жестокие времена, но завод родился из одного из приделов, из одного из куполов этого храма.

– Александр Андреевич, когда выбирали место для такого завода-гиганта на Севере, рассматривали несколько мест. И когда Сталину показывали на карте наш вариант, он спросил: это что? Ему ответили – монастырь. Он сказал: “Будем строить здесь. Старые монахи знали, где строить”. И то, что здесь такой намоленный монастырь, сыграло свою роль в решении вопроса, где должен быть завод. И конечно, это огромный пласт нашей истории. Мы последние шесть лет, как могли, поддерживали оставшиеся здания монастыря. Сейчас принимаем меры к тому, чтобы монастырь восстановить. Купола сделали, отопление подали, часть построек законсервировали, чтобы не разрушались. Он работает как домовый храм, у нас есть священник. Недавно мы с губернатором Игорем Анатольевичем Орловым провели совещание, на котором присутствовал представитель президента по Северо-Западному округу. Приняли решение, что будем при правительстве области, при епархии, при заводе создавать Попечительский совет и Совет фонда, чтобы подготовить проект и реконструировать этот монастырь. Я думаю, через 5-6, может быть, через 10 лет его будет не узнать. Мы его восстановим в прежнем виде.

– Поскольку ваш завод является продолжением монастыря и связан с ним и территориально, и, видимо, глубинно, мистически, патриотически, то и лодки, которые стоят на рейде, они в каком-то смысле являются изделием монастыря, а не только завода. И поэтому ваши лодки, которые нарекаются именами князей (а многие из них – святые), они в определённом, может, поэтическом смысле являются нашими русскими монастырями, которые мы отправляем в пучину вод, чтобы там они несли не только службу по защите Отечества, но и чтобы славили Господа Бога.

– Да. И в самые тяжёлые времена Давид Гусейнович Пашаев любил говорить: “Бог “Севмаш” любит”. И действительно, несмотря на всё безвременье, какие бы провокации нам ни устраивали, завод выстоял, выжил, развивается, думаю, в том числе и потому, что здесь такой монастырь. Посмотрите: “Уралмаш” развалился, “Атоммаш” пропал, многие великие заводы, которые в войну эвакуировали за Урал, отстраивали всей страной, просто сгнули. А “Севмаш” стоит и работает.

– А что сейчас ждёт завод? Вы стоите накануне какого-то этапа или идёт плавная эволюция?

– Мы строим две серии – современные атомные подводные лодки. Переоборудуем, делаем модернизацию корабля проекта 11442М. И дальнейшей работой завод будет загружен на ближайшие 10 лет.

– Новый проект – это своеобразная встряска для завода.

– Любой головной корабль – это что-то новое. Это новые технологии, новое оборудование, новые требования. Мы готовимся, и у нас идёт мощнейшая реконструкция. Краны меняем, передаточный комплекс делаем. У нас на заводе 100 подразделений, 37 производств. И сегодня каждое из этих производств – без исключения – переоборудуется. И машиностроение, и металлургия, и корпусно-сдаточный, и корпусно-стапельный цех, и трубомедническое производство – всё реконструируется огромными темпами. Мы вложили в модернизацию около 30 миллиардов рублей и планируем вложить ещё.

Так что завод обновляется, зарплата растёт, люди к нам идут. У нас огромные социальные программы, лучший в России коллективный договор. Есть свои пансионаты в Адлере, в Евпатории. Нашим сотрудникам путёвка обходится в 30 процентов от цены, плюс бесплатная дорога. Пять тысяч наших тружеников каждый год в летний период могут отдохнуть практически бесплатно. Есть свой санаторий-профилакторий, где людей, имеющих профессиональные заболевания или какие-то показания, можно полечить. Свой дворец культуры, плавательный бассейн... Мы начали строить жильё. Уже четыре дома построили и передали городу. Каждый год будем сдавать по дому, до тех пор, пока все работники «Севмаша» не будут обеспечены жильём. В планах – строительство 50-метрового бассейна на нашем стадионе «Север», крытого футбольного стадиона. Планов очень много. Чем комфортнее будут условия и среда для людей, тем лучше все будут трудиться и тем лучше будут построенные корабли.

У нас свои радио, киностудия, теленовости «Вести Севмаша», журнал. Газета «Корабел» выходит.

– **Сейчас на устах журналистов, политиков слова, которые уже затрепали. Например, слово «рывок». Повсюду слышишь: «Рывок, рывок»... А я иду по своей дороге, спотыкаюсь о камень, или у меня на глазах расплзается какое-то здание. Какой уж тут рывок! А ведь то, что я увидел на вашем заводе, это рывок?**

– Нет, это эволюция. Никаких рывков! Всё плавно – от простого к более сложному, выше и дальше. Революции и рывки – это плохо. Эволюция лучше. Мы никаких рывков не делаем, мы планоно проводим модернизацию производства, подготовку под корабли пятого поколения.

– **Но тогда что значит – прорыв?**

– Прорыв – это когда надо что-то существенно поменять в один миг, поменять принципиально какую-то технологию.

– **Это и есть рывок?**

– Думаю, да. Но я не считаю, что это хорошо. Всё нужно делать планоно. Везде должна быть эволюция. Смена поколений и эволюция.

– **А вы чувствуете, как над нашими головами из лазурного неба снижается какое-то загадочное, жутковатое существо, имя которому – цифросфера? Цифровая экономика, цифровая реальность. Все говорят: цифра, цифра... А где она, эта цифра?**

– Она везде – цифра. Она сегодня – в системах управления кораблями, станками; компьютеры повсюду. Моей внучке шесть лет, и она лучше меня знает, что и как в этих устройствах действует. Это нормально, меня это не пугает. Должно вырасти поколение, которое будет с этим дружить, понимать эти вещи лучше нас.

– **Поколение цифры?**

– Конечно. Есть в этом плюсы, а есть минусы. Но с точки зрения технологии и прогресса это совершенно необходимо. Такой уж век.

– **Михаил Анатольевич, мы с вами любим не цифры, а слова. И поэтому я как писатель, владеющий словом, хочу высказать своё восхищение заводом, людьми, с которыми я общался, – с инженерами и с рабочими. Очаровательные молодые люди, с прекрасными, открытыми лицами.**

– Да, Александр Андреевич, какие лица у людей на заводе! Люди улыбаются. Все приветливы, никакой грубости. Добросердечие вообще отличает северян.

– **Просто удивительно! Иногда ирония лёгкая к тебе, когда спрашиваешь что-то. А он будто отвечает: «Ну, чего пристаёшь с пустяками? Я вон какие штуки гну! А ты своё гнёшь».**

– Хочу Вам на память вручить книгу «Севмаш – достояние России». Это действительно гордость нашей страны – такой завод.

“Желаю вам сохранять свои позиции”

* * *

Уважаемые и дорогие Станислав Юрьевич и Сергей Станиславович!
Огромное сердечное спасибо за публикацию моей стихотворной подборки и такого тёплого душевного поздравления с юбилеем. Я к нему не смог книгу издать, но такая подборка стоит иной книги.

Всего вам самого доброго и хорошего, и прежде всего – нескончаемых сил, здоровья и вдохновения для новых творческих свершений!

Ваш **Валерий Фокин**,
Вятка

* * *

Здравствуйте, уважаемый Станислав Юрьевич!

Сердечно благодарю за письмо, в котором Вы глубоко и точно анализируете сущность поэзии Мандельштама, его понимание неизбежности очищения мира “волкодавом”, уничтожающим “волчье мировое зло”.

Вы указываете, что такому пониманию поэтики Осипа Эмильевича противоречит моя строка: “Я крик безутешного ада”: “О. Э. не может – пока волкодав исполняет свою страшную работу – ощущать безнадежность своей судьбы”, – пишете Вы. Абсолютно согласен с таким выводом и ещё раз благодарю за исчерпывающий анализ.

В своё “оправдание” скажу, что “противоречащая” строка – это, как мне казалось, чисто эмоциональный выкрик человека, оказавшегося в невыносимых жизненных условиях как с точки зрения физической (физиологической), так и с точки зрения духовной: ведь стихи О. Э. свидетельствуют о понимании им неизбежности преобразования общества на основах социальной справедливости.

Ещё буквально два слова. В моём “мандельштамовском” стихе есть строка: “волк враз обернулся лисою”. Разве нет здесь предвидения поэтом того, что звериное волчье зло, когда это покажется им (волкам) выгодным, приобретёт лисьи повадки? Стоит только взглянуть на наших лжелибералов и квазидемократов, чтобы убедиться в правильности этого предвидения.

Станислав Юрьевич, я внёс поправки в обсуждаемое моё стихотворение, которые хочу Вам представить.

Я слышал, что Вы болели. Слава Богу, это позади. Здоровья Вам и ещё раз здоровья. Вы, “Наш современник” очень нужны нам.

Извините за помарки, печатаю по старинке, без компьютера. Моё стихотворение с Вашими поправками теперь выглядит так:

*Высокое племя людское.
Гремучая доблесть отцов.
Волк враз обернулся лисою,
став знаком грядущих веков.*

*Но я-то не волк, не лесное,
сменившее шкуру зверьё.
Под небом колымского зноя
Закопано тело моё.*

*Я знаю, не всё ещё ладно
В краю, где течёт Енисей.
Где соснам тянуться не надо,
Чтоб тронуть вершушкой своей —
Звезду над Россией моей.*

М. Шулькин,
Москва

* * *

Многоуважаемый Станислав Юрьевич!

Уже длительное время являюсь подписчиком и читателем Вашего журнала. Меня особенно впечатлила публикация в № 12 (за 2018 год) повести (романа?) Дмитрия **ЛИХАНОВА** “**Vianca**”. Пронзительная вещь. Правда, там есть маленькая “неувязка”: на с. 100, где $1943 + 78 = 2021$.

Из других — “**Искусственный интеллект: технология тройного назначения**” (Ларина, Овчинский; № 11), а также стихотворение “**Амстердам**”, о котором я уже Вам писал.

С уважением, **С. С. Ершов**,
доцент ЮУрГУ, академик МААНОИ.

Формула спасения

В средствах массовой информации, доступных для широких слоёв населения, но не свободных и весьма ограниченных для правдивого освещения реальных событий, всё чаще говорится о цифровой экономике, при этом преднамеренно не поясняется, что же означает такая очередная заумная “инновация”, мало кому понятная и весьма далёкая от реальной жизни. В общепринятом представлении экономика — это совокупность производственных отношений и способ производства, а экономика страны — народно-хозяйственный комплекс, охватывающий все звенья общественного производства, распределения и обмена. В повседневной жизни слово “экономить” означает бережно расходовать что-нибудь при каком-то действии, чаще всего связанном с производством какого-либо товара, например, экономить сырье или энергию в том или ином производственном процессе. Во всех этих определениях ключевое слово — производство. Всякая экономика, не связанная с производством, как бы она ни называлась — цифровой, стабильной, растущей или ещё какой-то, представленной в розовом цвете, — становится бессмысленной, эфемерной и непременно рано или поздно разрушится, подобно Вавилонской башне, построенной на зыбкой почве мнимых идеалов. Её не спасут ни информационные технологии, ни повсеместное внедрение компьютерной техники там, где она нужна, и там, где без неё вполне возможно обойтись. Дорогостоящая компьютерная и другая высокотехнологичная техника для школ, медицинских учреждений, министерств и ведомств покупается за рубежом, и безрассудно тратятся огромные финансовые ресурсы из кармана вовсе не богатых налогоплательщиков, а наживаются при этом некие дельцы от экономики, например, уважаемые высокие министерские чиновники с весьма сомнительным образованием и едва овладевшие простейшей грамотой, но с миллионными зарплатами, тогда как профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, вполне заслуженный педагог и учёный, получает за свой высококвалифицированный труд зарплату, во много раз меньше зарплаты самого рядового чиновника (не говоря уж об уважаемых министерских господах, потерявших всякую меру и совесть)

и сравнимую с зарплатой полицейского самого низкого звания, например, лейтенанта полиции.

Во всех цивилизованных странах экономика зиждется на классической формуле:

производство товаров–деньги–производство товаров.

При такой экономике в любой стране товары не закупаются за рубежом, а производятся своими силами на своих предприятиях – каждый занят своим делом, и таким образом решается проблема занятости населения.

Если же экономика сводится к другой формуле:

деньги–товар–деньги,

то деньги, а не производство товаров определяют общественные отношения. В такой денежной экономике, по своей сути разорительной и пагубной, преобладают товары зарубежного производства, обеспечивающего рабочие места не в своей стране, а в странах, поставляющих произведённый товар. При этом деньги для покупки таких товаров поступают из кармана налогоплательщиков и за счёт продажи природного сырья, например, нефти и природного газа. Запасы природных ресурсов весьма ограничены, и при всё возрастающих темпах потребления их хватит всего лишь на несколько десятилетий, и об этом заявляют многие авторитетные учёные многих стран. С каждым годом всё больше и больше тратится материальных и финансовых ресурсов для добычи и транспортировки природного сырья. При этом оказывается необратимое антропогенное воздействие на биосферу, усиливающееся при его потреблении и вызывающее глобальное изменение климата. Страна, направляющая свои сырьевые ресурсы на запад, восток, юг и просто в никуда, попадает в полную зависимость от стран-производителей, где создаются рабочие места. Такая страна неизбежно становится сырьевым придатком развитых стран, где налажено промышленное производство своих высококачественных товаров. В сырьевой стране создаются все “благоприятные” условия для безработицы – специалисты с профессиональным образованием, подготовленные для производственной деятельности, не могут трудоустроиться. Более того, при дальнейшем беспредельном разбазаривании своих природных ресурсов страна в ближайшем будущем окажется на грани катастрофы.

Можно каждый день с утра до позднего вечера вещать с высокой трибуны о росте отечественной экономики, о заметном росте промышленного производства. Реальный же рост виден каждому покупателю – все отечественные магазины, переименованные на западный лад в супермаркеты, переполнены товарами зарубежного производства, причём товарами сомнительного качества, которые залеживаются и полностью не распродаются. На дорогах редко встречаются машины, легковые и грузовые, отечественного производства, хотя и вкладываются немалые ресурсы в развитие отечественной автомобильной промышленности. Бездумно везде и всюду построены автозаводы, но далеко не все произведённые автомобили раскупаются. Почти весь воздушный транспорт тоже зарубежного производства. Всё это косвенно свидетельствует о мнимом, а не реальном росте отечественной промышленности.

Не в лучшем положении оказалось и сельское хозяйство. Сообщается о высоких урожаях собранного зерна, а хранить его негде: не построены элеваторы – повсеместная бесхозяйственность одержала верх. В магазинах продаётся хлеб сомнительного качества и неизвестно из чего испечённый. Да и другие зарубежные продовольственные товары в красивой упаковке почти не содержат натуральных продуктов.

Отечественные сельхозпроизводители со своей продукцией, экологически чистой, не могут пробиться ни на рынок, ни в торговые сети. Везде и всюду они под разными предлогами встречают от ворот поворот, хотя их продукция пользуется большим спросом, чем зарубежная. Поэтому у фермеров пропадает всякая инициатива развивать своё хозяйство. Да и криминализация, называемая обтекаемым словом “коррупция” и поразившая все сферы чиновничьего управления, препятствует организации работы в поле и отбивает у фермеров всякую охоту трудиться на своей земле, чтобы своей сельхозпродукцией, по качеству превосходящей зарубежную, обеспечивать продовольствием население страны. К тому же государство оказалось в стороне от финансовой поддержки фермеров. Крохотные средства направляются для развития сельскохозяйственных комплексов, требующих гораздо больших

энергозатрат и финансовых вложений на единицу произведённой продукции, чем фермерские хозяйства. Такая нерациональная государственная стратегия ведёт к безработице в сельской местности. Деревни и сёла на российской земле по-прежнему сиротеют и умирают, а пахотные земли зарастают бурьяном. Во многих развитых странах на законодательном уровне оказывается существенная финансовая поддержка мелкому и среднему производству растительной и мясной продукции. При сбалансированном сельскохозяйственном производстве – мелком, среднем и крупном индустриальном – уменьшается антропогенное воздействие на биосферу, и решается проблема занятости населения.

Высокоэффективное производство качественных товаров основывается на прочном фундаменте:

образование–наука–технологии.

Если такой фундамент разрушен либо не создан, то попытки наладить высокотехнологичное производство товаров окажутся тщетными. Вопреки классической схеме разработки технологий организована, например, нанотехнологическая корпорация, возглавляемая “менеджером”, не имеющим никакого отношения ни к науке, ни к технологиям, но уверенно заявляющим, что знает, как наладить отечественную nanoиндустрию. Однако практических результатов разработки отечественной нанотехнологической продукции, соответствующих огромным многомиллиардным затратам, как не было, так и нет.

Потрачены астрономические суммы денег на создание инновационного центра “Сколково”. Целесообразность таких трат весьма сомнительна, ведь подобные научные центры построены в ближайшем Подмосковье ещё во второй половине прошлого века, где проводились экспериментальные исследования на мировом уровне, а сейчас из-за недостаточного финансирования они находятся в плачевном состоянии, а оставшиеся там учёные оказались без современного оборудования и без достойной зарплаты. Проходят годы, а поставить на ноги отечественную науку даже в отдельно взятом Сколково до сих пор не удалось – ощутимых научных результатов до сих пор нет.

Можно бездумно тратить гигантские материальные ресурсы на развитие атомной промышленности, поставив во главе государственной корпорации Росатом инженера водного транспорта, мало что смыслящего в сложных ядерных процессах и находившегося на этом высоком посту более десяти лет. Хотя всем просвещённым людям известно: во многих странах атомная энергетика свёртывается, чтобы не оставлять опасного радиоактивного наследства своим потомкам. В этих странах вкладываются ресурсы в развитие экологически безопасной энергетике.

Можно построить новый космодром, закопав в землю баснословные материальные и финансовые ресурсы, хотя подобные объекты уже есть.

Поспешно и без научного обоснования принято «инновационное» решение о расширении территории Москвы в юго-западном направлении. Такое решение без учёта розы ветров с экологической точки зрения ошибочно. Целесообразность расширения столицы весьма сомнительна и по другой причине – она и так задыхается в дорожных заторах, а огромная территория страны пустеет.

Строятся везде и всюду гигантские спортивные сооружения, которые оказываются невостребованными. Да и любому здравомыслящему человеку понятно и очевидно: укреплять здоровье полезнее не в спортивных залах, а на свежем воздухе.

Тратятся немалые ресурсы на содержание огромной армии МЧС, подобной которой нет ни в одной цивилизованной стране. А отдача от неё весьма сомнительна, и всем очевидно: если случится пожар, то выезжают сразу несколько автомобилей, и с огнём борются два-три рядовых сотрудника с брандспойтом, а остальные, не менее десяти человек, в основном, офицеры наблюдают со стороны за их действиями вместо того, чтобы принять непосредственное участие в тушении пожара.

Можно бездумно расходовать деньги налогоплательщиков и на другие “инновационные проекты”, а образование, науку и здравоохранение финансировать по остаточному принципу. Плачевный результат такого бездумного распределения денег всем известен – и образование, и наука, и здравоохранение переживают глубокий рукотворный кризис.

Отечественное образование вследствие “инновационных” западных вихрей враждебных превратилось в смехотворное оказание сомнительных услуг, оплачиваемое из кармана родителей. Перегруженные ненужными предметами школьные программы, завышенные требования к ученикам, не соответствующие их физиологическим возможностям, обязательное привязывание их к компьютеру и интернету, порождающее компьютероманию, – всё это приводит к тому, что у школьников возникает отвращение к учёбе, и об этом знают в каждой семье. Чрезмерно перегружены и учителя с нищенской зарплатой. Их вынуждают выполнять бессмысленную и никому не нужную работу – составлять объёмные отчёты для чиновников от образования, мало что смыслящих в учебном процессе. Обучение в школе превратилось в механическое нажатие кнопок компьютера вместо развития умственных способностей учеников и обретения ими истинных знаний о природе, обществе и человеке, которые дают не компьютерные игры, не погружение в интернет со множеством соблазнительных приманок, а классические предметы: математика, физика, химия, биология, география, литература, история, – которым всё меньше и меньше выделяется времени в учебных программах. Вместо радости познания школьники испытывают чувство тревоги, и у них пропадает всякая охота учиться. К тому же они наблюдают, как их старшие братья и сёстры, прилежно учившиеся в средней и высшей школах, с дипломом в руках не могут найти работу, что также не настраивает их на прилежную учёбу.

Катастрофическое положение сложилось и в высшей школе, оказавшейся на грани разорения. При государственном попустительстве и бесконтрольности расплодилось множество самостийных вузов, готовых выдать за плату диплом государственного образца, но не способных дать элементарные знания, необходимые специалисту. Упал престиж классических специальностей естественно-научного и инженерно-технического профиля, ориентированных на производственную деятельность. Множество выпускников вузов с липовыми дипломами “менеджера”, “экономиста”, “юриста”, “психолога” и других псевдоспециальностей пополняют многочисленные ряды безработных. Не составляют исключения и выпускники классических вузов, включая Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, где худо-бедно сохранилась система традиционного образования. В подавляющем большинстве вузов такая система, проверенная временем, разрушена, а материально-техническая база физически и морально устарела. Преподаватели, включая профессоров и докторов наук, вынуждены довольствоваться нищенской зарплатой, а ректоры некоторых вузов, научные достижения которых весьма сомнительны и которые, потеряв всякое человеческое чувство меры и совести, думают лишь о том, как побольше набить свои карманы, зная, что при судебном преследовании они получат не заслуженное наказание, а лишение свободы условно с правом заниматься прежними нечестивыми делами.

Бесконтрольное открытие вузов, не способных обеспечить профессиональное образование, переход к болонской системе двухуровневого образования в вузах и бездумные школьные реформы – всё это привело к резкому падению качества отечественного образования. Без достойного образования нет пути ни к науке, ни к технологиям, ни к производству высококачественной продукции. С потерей достойного профессионального образования теряются целые поколения, а страна погружается во мрак невежества.

Прошло более двух десятилетий после смены власти, а взять и приумножить всё лучшее от прежней эпохи во многом не удалось. Отечественное образование, основной задачей которого было обучение и воспитание, превратилось в платную услугу, дающую обретение эфемерных компетенций, а не знаний, важных и нужных каждому просвещённому человеку. Российская наука без должного финансирования и при вмешательстве в управление назначенных сверху “менеджеров”, весьма далёких от научных исследований, оказалась на грани катастрофы. Учёные в немногих чудом уцелевших академических и отраслевых институтах не могут проводить эксперименты из-за отсутствия современной научно-технической базы. По этой же причине не проводятся прикладные исследования, в недрах которых зарождаются наукоёмкие технологии, на которых основывается промышленное производство различных видов высококачественной продукции.

Многие стратегические ошибки управления на всех уровнях можно исправить, только восстановив государственность, при которой беззаконие

и вопиющее криминальное верховенство, растлевающее все слои общества, останутся безвозвратно в прошлом, а правоохранительные органы будут защищать конституционные права граждан, и суды будут выносить решения по справедливости, а не по отмашке сверху. На законодательном уровне утвердится стратегия развития, включающая фундаментальные звенья: образование–наука–технология–производство, и возродится отечественная промышленность. Только в этом случае неисчислимый поток дипломированных безработных, доведённых до крайнего отчаяния, не выплеснется на улицу с требованием защиты законного права на труд, и не придётся их разгонять с привлечением огромной армии полицейских, на содержание которых тратятся немислимо большие ресурсы. Не придётся разгонять и вылавливать правдоискателей, из-за безысходности вышедших на улицу. Каждый гражданин будет заниматься своим любимым делом, государство будет укрепляться и развиваться, а беднейшая Россия с богатыми природными ресурсами превратится в великую и процветающую страну, где не будет места расплодившимся полуобразованным чиновникам от управления, потерявшим всякую меру и совесть. Не будет места и прикупленным ораторам-демагогам, каждый день вещающим об одном и том же – о “растущей” экономике, переходящей в цифровую и оказавшейся в действительности на грани катастрофы. Люди же ума и совести, люди труда и благочестия, профессионалы высокой квалификации во всех сферах деятельности, начиная от школьного образования и кончая промышленным производством, будучи в почёте, выведут страну из рукотворного экономического кризиса.

Степан Харланович Карпенков

Лауреат Государственной премии и премий правительства России,
профессор
Москва

* * *

Уважаемая редакция!

Осенью 1958 года я получил письмо с просьбой приехать в редакцию тайшетской газеты “Заветы Ленина”, в которой были напечатаны мои небольшие рассказы. Зимой 1958–1959 года я учился в Тайшете на курсах рабселькоров, прогуливая по пятницам занятия в школе. Немного я из того времени помню, но что Станислав Юрьевич был человеком простым, доброжелательным, дружески относился к 16-летнему подростку, был снисходителен к моей самоуверенности, запомнилось и помнится до сих пор. Теперь, по прошествии многих лет, я думаю, что эти курсы на протяжении зимы 1958–1959 года сыграли важную роль в моём становлении как литератора, да и в становлении моих товарищей по этим курсам.

Мой первый гонимый обмывали в редакции, были не одни литературные разговоры, жизнь тогда кипела и на улице, и в кабинетах.

Но, к счастью, литературная карьера моя после окончания школы закончилась, я ушёл в “пустыню”, и так сорок лет в ней и брожу.

К счастью же для русской литературы, С. Ю. Куняев сложился как крупный поэт, прозаик, редактор, критик. В 1989 году в газете “Московский литератор” вышла статья С. Ю. Куняева “Обслуживающий персонал”, где автор обвинил секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева в проведении *антирусской* политики. 19 августа 1991 года поддержал ГКЧП. Позже писал о ГКЧП: “Под сень “Матросской тишины” // Без слов сошли гекачеписты, // Не зная за собой вины...” Между двумя ведущими журналами “Новым мир” и “Наш современник” я склонялся больше к “Новому миру”, но сегодня, почвенник, народник, сторонник крестьянского социализма, я возвращаюсь под сень нашего тогдашнего провинциального кружка 1958 года, во главе которого был Станислав Юрьевич.

...Было бы странно, если бы за всё то время, как и за годы, прошедшие с тех пор, Куняев не нажил себе врагов...

В. И. Чернышов

Риски цифровизации

В недалёком будущем традиционные школьные учебники собираются поменять на цифровые. А также, что гораздо страшнее, заменить традиционный межличностный обучающий процесс некой обучающей программой, которая якобы будет анализировать индивидуальные возможности ребёнка и составлять план его индивидуального развития.

Замечательная “замануха” для родителей, мечтающих об индивидуальном подходе к каждому учащемуся! Цифровизация в школе преподносится как великое благо, признак высокого уровня цивилизации, избранности. В качестве примеров, должных вызвать восторг и полное доверие, приводят Южную Корею и США.

Многие с настороженностью воспринимают подобный “прогресс” – и не зря. Какая беда всё больше поражает наших неглупых интернет-продвинутых детей? Интернет-зависимость. Ребёнок не хочет общаться со сверстниками, а потом и с родными, всё свободное время проводит в соцсетях, отстраняется от жизни своей семьи, становится всё более безразличным, эмоционально холодным во взаимоотношениях. Этим детей выхолащивает интернет: ведь когда общаешься с человеком напрямую, возникает необходимость в сопереживании, умении разделить радость или печаль собеседника, а это требует какой-то жертвы, каких-то затрат. А в соцсетях всё просто: выбрал нужный смайлик – и нет вопросов.

Ещё одна проблема, грозящая превратиться в беду: задержка речевого развития у детей. Двадцать лет назад двухлетний ребёнок, читающий стихи Барто, ни у кого не вызывал особого умиления – таких было немало. Сейчас таких – единицы. Из 10–15 детей только 1–2 ребёнка могут назвать знакомое животное, многие двухлетние дети используют в своей речи всего 5–10 слов (мама, папа, баба, дай, пить, ам-ам – норма годовалых детей для поколения нынешних родителей), хотя неплохо понимают обращённую к ним речь (приносят нужную игрушку, могут показать части тела). Возникает вопрос: почему? Ответ очевиден: на улицах города большинство мам одной рукой везут коляску, а в другой держат смартфон. Чадо глазееет по сторонам, мама интересно проводит время, а если надо ответить на лепет малыша – отвечает, не отрывая глаз от экрана.

И вот тут-то кроется корень проблемы: чтобы развивалась речь у ребёнка, ему недостаточно слышать её, он должен видеть мимику и артикуляцию матери, чтобы активизировалась его собственная артикуляция. Никакие аудио-игрушки не научат ребёнка говорить, если он не видит лица разговаривающего человека. То же самое происходит во время учебного процесса. Попробуйте-ка заменить объяснения учителя по новому материалу аудиозаписью, а потом дайте ученикам проверочную работу. Результат вас сильно огорчит.

Ещё один бич нашей цивилизации – аутизм. Двадцать лет назад аутизм встречался у одного ребёнка из пяти тысяч, сейчас – у одного из 50. Раньше основным контингентом детского психиатра были умственно отсталые дети, но сейчас аутисты уверенно обгоняют их. По состоянию на 2012 год в США у каждого пятидесятого жителя был диагностирован аутизм. На территории Южной Кореи такой диагноз был поставлен каждому 38-му жителю. По данным ВОЗ, во всём мире в 2012 году аутизмом страдал 1 из 88. Откуда такое существенное расхождение с данными по всему миру у столь продвинутых стран? А ведь именно эти страны являются передовыми в цифровых технологиях. Та самая “цифровизация”, в которую обещают загнать всех нас, там уже состоялась, и результат заставляет содрогаться. По прогнозам ВОЗ, к 2025 году аутистом может быть один из тридцати новорождённых. Господа, вздумайтесь! Из чьих зарплат станут начислять пенсии через 20–30 лет, если мы доживём до обещанных 63–68 лет?

Замещение цифровыми технологиями естественной передачи знаний от старшего поколения младшему неизбежно приведёт к утрате навыков самостоятельного мышления. В результате подрастающее поколение станет всего лишь частью матрицы, управляемой силой, которая контролирует цифровые и информационные потоки уже сейчас. А это угрожает не только суверенитету страны, но и каждому человеку в отдельности.

Екатерина Николаевна КУЛЕБЯКИНА,
детский врач-психиатр высшей категории,
г. Обнинск

* * *

*“Наш современник”...
Кто читает, —
Уж тот-то русский по нутру,
Тот каждый номер ждёт и чаёт,
И пьёт, как взвар свой, поутру.*

*Вы — топовый огонь России;
Вы — красный флаг в борьбе, в бою;
И в нашей русскости-просини
Хвалу и славу вам пою.*

Здоровья, доброго здоровья всей редакции, общественному совету, авторам и читателям. Да будет свет и крепость стали в словах и в мыслях, и в делах.

Э. Чернышов.
металлург-мартеновец,
теплоэнергетик, преподаватель.
г. Выкса

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич, здравствуйте!
Пишет Вам писатель, журналист, публицист Артём Комаров. Мне 28 лет. Несколько лет тому назад я брал у Вас интервью.
С университетской скамьи знаю Ваш журнал “Наш современник”, который периодически читаю в библиотеке. Знаком с книгой из серии ЖЗЛ “Есенин”, которую считаю одной из лучших из когда-либо изданных биографий поэта.
Желаю Вам крепкого здоровья, хорошего настроения, бодрости духа.

С надеждой,
Артём Комаров
г. Саратов

Здравствуйтесь, дорогой Станислав Юрьевич.
Общение с Вами через Ваши сочинения впервые в жизни натолкнуло меня на желание поделиться своими впечатлениями и мыслями, возникшими при прочтении Ваших стихов и прозы. Я обратил внимание на следующие присутствующие в нашем обществе проблемы: все страдают от одиночества, внутренней раздвоенности и неудовлетворённости. Как часто мы принимаем наших врагов за друзей, страдаем от их “предательства”! Думаю, не имеет значения то, что происходит вокруг, важно, как мы к этому относимся! Человеческому для счастья необходимы лад и душевный покой. Чтобы выстроить в своей душе лад, надо знать не только историю России, но и устройство Мироздания. Ваши книги — это энциклопедия второй половины прошлого столетия. Они ставят вопросы: почему мы перестали быть народом, живущим по принципу: “один за всех и все за одного”? Как так случилось, что мы из гордого “русского, которого мало убить, ещё надо повалить” превратились в мечущихся, немощных страдальцев? Что сделало нас такими?

Возникают извечные вопросы: “Кто виноват?”, “Что делать?”
Дорогой Станислав Юрьевич, спасибо Вам за стихи, прозу, публицистику. Хорошо, что Вы есть. Мне помогает жить и бороться Ваше постоянное присутствие через книги в моей жизни. Для меня самое притягательное в Вас то, что Вы боец. Если б Вы знали, как помогают жить Ваши стихи “Добро должно быть с кулаками”; так утомило христианское “смирение” в окружающих мужчинах. Эти простые строчки сопровождали меня и помогали мне всю жизнь. Эти стихи не агитка — это поэзия, бодрая и жизнеутверждающая. В одной строчке Вам удалось чётко назвать цель присутствия русского народа на

Земле. После прочтения этих стихов я стал следить за Вашим творчеством, искать и приобретать всё, что мог найти в магазинах и журналах. У меня набралась целая библиотека ваших работ. Время от времени возникает потребность их перечитать. Всегда нахожу тему для размышлений, для воспоминаний. Нас объединяет время и взгляд на него. Нас волнуют общие проблемы в окружающем мире. При прочтении Ваших книг бросается в глаза трагичность судеб людей, о которых вы говорите. Воистину, “Как много печального люда...”

После расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году я решил доискаться первопричины такой бессмысленной жестокости. Изучил историю нашего века. Дошла очередь до XIX, XVIII и т. д. до начала “новой эры”. Оказалось, чтобы найти первопричину, этого недостаточно, потребовалось продолжить поиск ещё дальше, изучить “Библию”. “Ветхий Завет” открыл мне глаза на то, что семиты – полная противоположность русским. Их жестокость поразила. В “Утраченных иллюзиях” Оноре де Бальзака встретил настолько жившее меня, пятнадцатилетнего, откровение: “Существует две истории: лживая официальная история... и тайная история, где видны подлинные причины событий”. Если бы знать эту “тайную историю” всем, скольких трагедий удалось бы избежать!

Думаю, мне удалось найти ту тайную историю, “где видны подлинные причины событий”. Я ни с кем не делился найденным. Вас хочу отблагодарить за доброту и талант. Ваши книги помогают жить. Вы столько делаете для России, столько сделали для меня лично, что мне подумалось: а вдруг мой скромный труд пригодится Станиславу Юрьевичу в его тяжком труде. Вдруг поможет как главному редактору нужного всем журнала. Посылаю свой труд не для печати, а только для вашего прочтения. Может быть, прочитав его, Вы найдёте для себя что-то полезное, и, главное, это поможет установлению внутреннего Лада, поможет Вам сохранить здоровье. Во всяком случае, именно для сохранения Вашего здоровья посылаю эту рукопись. Как бы ни было тяжело, нужно жить и своим “противлением злу”, принципом “добро должно быть с кулаками” помогать детям и внукам. Без нашей борьбы их превратят в рабов.

Несколько слов о себе. Жил, трудился, всю жизнь учился, учусь до сих пор. В юности занимался различными видами спорта. После 9-го класса пошёл работать на завод, продолжил учёбу в вечерней школе. Работал, учился в техническом вузе на вечернем отделении. Работал в пустыне с археологами, на Главном Кавказском хребте с геологами, подрабатывал во время отпусков на стройках Сибири. Много лет жизни было связано с Тарусой и Калугой. Кроме основной работы, много лет отдал подработке. Не было жилья. К 35 годам купил кооперативную квартиру. Несколько лет отдавал долг. И всё свободное время отдавал поиску ответа на вопросы, почему расстреляли демонстрацию 1962 года и с какого времени заболела Русь?

Большой привет Вашей, так трогательно жалеющей “братьев наших меньших” супруге, замечательному помощнику-критику сыну. Всему семейству желаю здоровья, здоровья и ещё раз здоровья.

Е. В.
г. Липецк

* * *

Здравствуйте, дорогой и уважаемый Станислав Юрьевич!

Дай Бог, чтобы у Вас хватило времени и сил собрать воедино то, чему Вы были свидетелем, и издать, чтобы письменно сохранилось объяснение тому, что происходило. Каждый этот период проживал по-своему и понимал происходящее в меру своего восприятия. По всей видимости, результатом того времени явилась перестройка. Наверное, не зря первопоследним президентом стал человек с пятном на голове цвета запёкшейся крови! Бог пометил...

В 20-х годах прошлого века Н. А. Бердяев писал много о России, о революции, о русском человеке: “Это, прежде всего, новый антропологический тип. В России, в русском народе что-то до неузнаваемости изменилось, изменилось выражение русского лица. Таких лиц прежде не было в России. Новый молодой человек – не русский, а интернациональный по своему типу. В России появился вкус к силе и власти, буржуазный вкус, которого у нас не

было и нарощения которого хотели наши буржуазные идеологи, и который должны были бы теперь приветствовать. Война сделала возможным появление этого типа, она была школой, выработавшей этих молодых людей. Дети, внуки этих молодых людей будут уже производить впечатление солидных буржуа, господ жизни. Эти господа проберутся к первым местам жизни через деятельность. Чека, совершив неисчислимое количество расстрелов, и кровь не остановит их в осуществлении своей похоти жизни и похоти власти. **Самая зловещая фигура в России – это не фигура старого коммуниста, обречённая на смерть, а фигура этого молодого человека**”. “Размышления о русской революции”.

Н. Бердяев задолго до сталинских чисток предсказал судьбу “старых коммунистов” – Троцкого, Радека, Зиновьева, Каменева, Ягоды, Агранова, Бокия и многих других, но предвидеть то, что следующее поколение молодых, в основном, русских людей выйдет из огня и пламени Великой Отечественной войны победителями и патриотами, повернувшими ход мировой истории, он, увы, не смог. Н. Бердяев о демократии:

“Демократия носит формальный характер, она сама не знает своего содержания и в пределах утверждаемого ею принципа не имеет никакого содержания. Демократия не хочет знать, во имя чего изъясняется воля народа, и не хочет подчинить волю народа никакой высшей цели”. “Демократия и есть арена борьбы, столкновение интересов и направлений. В ней всё непрочно, всё нетвёрдо, нет единства и устойчивости. Это вечное переходное состояние. Демократия создаёт парламент, самое неорганическое из образований, орган диктатуры политических партий. Всё кратковременно в демократическом обществе, всё устремлено к чему-то, выходящему за пределы самой демократии” (“Демократия, социализм и теократия”).

Теперь **“Наш современник”** прочитают в Канаде. Русская диаспора в Монреале познакомится с ним.

Дай Вам Бог крепкого-крепкого здоровья и многая-многая лета!

А. О. Шерник,
г. Алма-Ата

* * *

Приговор по делу “отрицателя холокоста” оставлен без изменений.. Верховный суд отклонил апелляцию Пермской прокуратуры и окончательно оправдал Романа Юшкова...

29 ноября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации рассмотрела апелляции по делу пермского публициста и общественного деятеля, бывшего доцента Пермского государственного университета Романа Юшкова.

В отношении него в 2017 году было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма – и ч. 1 ст. 282 УК РФ – возбуждение ненависти и вражды. Основанием для уголовного преследования послужила публикация в социальной сети “ВКонтакте” со ссылкой на статью мурманского писателя Антона Благина, в которой ставятся под сомнения общепринятые цифры 6 миллионов человек как число жертв холокоста. Несмотря на то, что сама статья на тот момент была признана экстремистской, факт её размещения у себя на странице стал для бывшего преподавателя поворотным.

Обвинение в реабилитации нацизма строилось на том, что Р. А. Юшков своей позицией подвергает сомнению итоги Нюрнбергского процесса. В ходе судебного заседания 5 сентября в Перми обвиняемый доказывал, что ни в коей мере не стремился подорвать доверие к решениям Международного суда в Нюрнберге, а только предлагал подробнее исследовать его отдельные аспекты, в частности, связанные с количеством жертв разных национальностей. В результате коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт.

Такой итог не удовлетворил прокуратуру Пермского края, поэтому она обжаловала приговор в Верховном суде РФ. В свою очередь, сторона защиты обжаловала решение Пермского краевого суда по статье “Хватит кормить

чужаков”, за публикацию которой Роман Юшков был привлечён к уголовной ответственности по ст. 282 ч. 1.

В своём исследовании, опираясь на общедоступные статистические данные, приводившиеся в массовой прессе, автор рассуждал о неравномерном распределении ресурсов в СССР, утверждая, что в приоритете у советского руководства были регионы с нерусским населением – в ущерб русским. Далее он сопоставляет приводимую статистику производства и потребления с нынешней политикой РФ, предостерегая от возвращения к советским тенденциям. По этому эпизоду Роман Юшков был признан виновным в “унижении человеческого достоинства по признакам национальности с использованием интернета” и осуждён на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года. Адвокат Иван Хозяйкин заявил, что такое наказание за указанный эпизод является слишком суровым.

На заседании в Верховном суде прокуратура настаивала, что на предыдущих слушаниях Роман Юшков неоднократно оказывал воздействие на присяжных, излагая исторические сведения, не подлежащие исследованию коллегией, а также ставил под сомнение приговор Международного военного трибунала в Нюрнберге за преступления, совершённые европейскими странами Оси.

В обвинении также фигурировали процессуальные нарушения: неприемлемое поведение Р. А. Юшкова и наличие у некоторых присяжных позиции о необоснованности приговоров по вменяемой ему статье. При этом в апелляционном представлении не указывалось конкретных примеров оказываемого, по сведениям обвинения, на коллегию присяжных давления. Опираясь на отсутствие запротоколированных фактов, высказываний или вопросов, с помощью которых Роман Юшков мог бы оказывать давление или влияние на присяжных, сторона защиты назвала доводы обвинения абстракцией. Адвокат И. Хозяйкин подчеркнул, что все вопросы о тонкостях Нюрнбергского процесса поднимались только в отсутствие присяжных.

В итоге судебная коллегия ВС РФ не нашла процессуальных нарушений и оставила без изменения оба решения. Если оставшийся без удовлетворения второй эпизод по ст. 282 УК РФ не вполне устраивает сторону защиты, то сохранение в силе оправдательного вердикта присяжных по ст. 354 УК РФ было воспринято как благоприятное событие – для Романа Юшкова и тех, кто поддерживает его – и знаковым событием в масштабах страны.

Недаром этот беспрецедентный процесс давно уже окрестили в прессе как первое рассматриваемое на таком уровне дело “отрицателя холокоста”, и за его развитием пристально следят представители разных идеологических лагерей и сторонники противоположных взглядов на историю. Каждое решение по этому делу неизбежно вызывает бурное общественное обсуждение и, вероятно, резонанс решения ВС РФ ещё предстоит оценить в ближайшем будущем.

Филипп Лебедь

От редакции.

Видимо, в связи с тем, что пока судят по “русской статье” Олега Платонова и Романа Юшкова, разыгрались национальные чувства у российского литератора Дмитрия Быкова. В конце декабря 2018 года, выступая в питерской аудитории своих поклонников, он заявил, что Гитлер мог бы вызвать сочувствие русского населения на оккупированных территориях при условии, если бы не ставил себе целью массовое истребление советских евреев. Одним словом, его животный антисемитизм напугал даже русское коренное население. Опытному провокатору Быкову показалось мало этой подлой глупости, и он пообещал читателям написать книгу о генерале Власове для серии “ЖЗЛ”. В ответ на это я могу добавить лишь одно: если бы зоологический антисемит Гитлер в союзе с антисоветчиком и антисемитом Власовым победили, то наш златоуст мог бы спастись лишь потому, что укрылся бы от них не под своей роскошной родовой фамилией Зильбертруд, а под заурядной простецкой русской фамилией Быков. А Быковых в России пруд пруди, попробуй-ка разузнай, кто из них Зильбертруд... А тут ещё и Станислав Белковский подлил бензинчику в русско-еврейский костёр. Выступая незадолго до провокации Быкова по радиостанции “Эхо Москвы”, он, рассуждая о при-

чинах “красного террора”, вспомнил о покушении на Ленина 30 августа 1918 года на заводе Михельсона, вспомнил об убийстве Урицкого поэтом Леонидом Канегиссером, другом Есенина, с которым Есенин, по словам Белковского, возможно состоял в сексуальной связи, вспомнил, что после этих событий Лениным был подписан указ о “красном терроре”, текст которого составил Яков Свердлов... И все эти роковые события августа-сентября 1918 года Белковский назвал “русской провокацией”. Вот так, к сведению Дмитрия Быкова, создаётся подлинная история нашей “гражданской войны”. Еврей Канегиссер убивает еврея Урицкого. Еврейка Фанни Каплан стреляет в еврея по матери Владимира Ильича Ленина. Еврей Яков Свердлов сочиняет “Указ об антисемитизме”, и всё это в целом, используя “Эхо Москвы”, человек неопределённой национальности Белковский называет “русской провокацией”. Поистине вспомнишь слова полукровки Иосифа Геббельса о том, что ложь, чтобы ей поверили, должна быть чудовищной... Вот так-то, дорогой товарищ Быков, он же Зильбертруд.

* * *

Здравствуйте, уважаемая редакция.

Меня очень тронуло обращение С. Куняева, опубликованное на обложке журнала за декабрь 2018 г. Журнал мне знаком с раннего детства, мои родители выписывали до 15 наименований журналов, среди которых почётное место занимал “Наш современник”.

Слава Богу, Центральная районная библиотека продолжает выписывать “Наш современник”. Я с удовольствием читаю разделы “Поэзия”, “Очерк и публицистика”, “Критика”. Радует то, что журнал не опускается до “массовости”, чтобы быть понятным “непритязательному читателю”. С удовольствием читала статьи Захара Прилепина. Желаю вам сохранять свои позиции и больше оптимизма!

С уважением,
Виктория Владимировна Громова

ВИКТОР КОЖЕМЯКО

НЕОБОРИМОСТЬ ДУХА И СОВЕСТИ

К 95-летию Ю. В. Бондарева

Эта встреча с Юрием Васильевичем состоялась пять лет назад, в канун его предыдущего юбилея. Однако о ней, я считаю, сегодня обязательно надо рассказать.

Долг вёл по жизни

Итак, ростепельный сероватый день в середине февраля. То ли дождь, то ли снег с утра. Мокнут ели в подмосковном посёлке, который по привычке называется писательским, хотя писателей здесь уже почти не осталось. Неподалёку от бондаревской дачи, я знаю, находится участок, где жила и покончила с собой в 1991-м фронтовая медсестра Юлия Друнина, выдохнувшая на прощание:

*Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!*

Сколько раз в наших разговорах с Юрием Васильевичем возвращались мы к этой трагедии, ставшей одной из знаковых для времени уничтожения Советской страны...

А ему дано вытерпеть, выдержать, выстоять. Не для того ли, чтобы уже после своих семидесяти в романе “Бермудский треугольник” и в повести “Без милосердия”, опубликованных “Нашем современником”, создать потрясающий образ проклятых девяностых, когда страна и люди ломались через колено, когда губилось всё лучшее, а зло торжествовало?

Девяносто лет... Большая жизнь большого писателя. По дороге к нему на сей раз я прикидывал, что родился он меньше чем через два месяца после кончины Ленина, то есть все последующие годы становления, защиты и величия Советского Союза стали частью его биографии. Долг перед родной страной вёл его по жизни, и он с чистой совестью может сказать, что от долга не уклонялся. Пароль верности и мужества – Сталинград – определит не только тему одного из самых сильных его произведений, но и в целом характер отношения к литературному труду как к главному делу жизни, неотделимому от интересов и забот Родины.

Если представить мысленно всё, что написано им, складывается впечатляющая панорама бытия страны за семь десятилетий. Своего рода художественная история в романах и повестях, где “Горячий снег” и “Последние залпы” сменяются “Тишиной”, а затем наступают “Берег” и “Выбор”, влекущие

за собой “Игру”, “Искушение” и, наконец, трагический “Бермудский треугольник”...

Творчество его, как и жизнь, хронологически делится надвое – советский период и время уничтожения всего советского. При этом не отпускают писателя с невероятной остротой стоящие вопросы: что же с нами произошло, что происходит? Он даже напрямую выносил их в заголовки своих публицистических статей, и ни одна беседа наша так или иначе без обращения к роковым вопросам о судьбе страны и народа не обходилась.

... Вот о чём думал я, подъезжая к даче, где они с женой ныне живут круглый год. Встречают радушно оба. Он подтянутый и энергичный, как всегда: день по-прежнему начинается с зарядки. А Валентина Никитична, подруга его верная на всю жизнь, сразу же старается создать самые благоприятные условия для делового нашего разговора. Который, замечу, начинается почти с порога.

Предательству нет оправданий

Да, я спрашиваю, смотрел ли он по телеканалу “Россия-1” фильм “Биохимия предательства”, показанный вечером накануне. Оказывается, смотрел.

– *И какое впечатление?*

– Двойственное. С одной стороны, конечно, хорошо, что телевидение показывает фильм о Власове и власовщине отнюдь не в однозначно позитивных тонах, как было по существу всю последнюю четверть века, когда апология предательства стала чуть ли не нормой в нашем обществе. А с другой... Знаете, не хватало мне чёткости и резкости в оценке этой фигуры. Если хотите, не хватало мужских интонаций, настоящего гнева! Когда возникает и маячит на экране лицо предателя, изменника, причём явного, которому нет и не может быть оправданий, разговор о нём следует вести предельно жёстко. Это было в комментариях Юрия Жукова, которые мне понравились. Но тут же авторы начинают как бы микшировать, смягчать эту определённость, размывая её некоей полифонией на манер горбачёвского “плюрализма”.

И появляются серьёзные сомнения: осуждение ли возьмёт верх в сознании зрителей, особенно молодых, или, может быть, оправдание? Как же, боролся-то, видите ли, против тоталитаризма, большевизма, за “новую Россию”!

Между тем, это лишь прикрытие обыкновенного шкурничества. Достаточно вспомнить, с какими словами он сдавался в плен: “Не стреляйте, я генерал Власов”.

– *Хотя, наверное, стоило бы застрелиться...*

– Что вы! Для шкурника, думающего только о себе, это немислимо. С психологией предательства такое несовместимо: у изменника гниющее нутро. И надо беспощадно вскрывать эту психологию, которая ничего, кроме презрения, у меня не вызывает.

Фигура, о которой мы говорим, всегда была до крайности мне отвратительна. Даже физиономия его, которую впервые увидел в листовках, призывающих нас в рай немецкого плена. А позднее я специально занимался этой историей, когда писал “Горячий снег”. Дело в том, что сын генерала, героя моего, оказался в армии, которой командовал Власов, и я даже написал на эту тему целую главу. Но по совету Твардовского потом изъясил её.

– *Твардовский читал рукопись?*

– Он почти всё моё читал.

– *А почему дал такой совет?*

– Глава, по его мнению, уводила от основной темы, и я с ним согласился.

– *Но давайте, Юрий Васильевич, вернёмся к телефильму. Согласитесь, он ведь не только о Власове. Связанные с Власовым события становятся поводом, чтобы обратиться ко времени, гораздо более близкому нам. И тогда появляется физиономия генерала КГБ Калугина, мелькает на экране (правда, только мелькает!) даже сам Горбачёв, а в речах сегодняшних российских “философов” начинают звучать рассуждения, что лучше бы поскорее разделить Россию на части, и пусть Владимирское, Московское и прочие княжества, каждое само по себе, решают, скажем, проблему миграции...*

– Сумасшествию нет предела! Потому что стихия предательства, которая обрела своеобразную легитимность и для которой во время “перестройки” и “реформ” были широко открыты все шлюзы, разлилась чрезвычайно широко.

Посмотрите, что творится сегодня на Украине! Так что реабилитация власовцев, бандеровцев, дивизии СС “Галичина” и т. п. — это узакониваемая дорога к дальнейшей перекройке мира по американским, западным лекалам и к дальнейшему упрочению несправедливости в нашей стране.

Можем ли мы жить без справедливости?

Я слушаю его и думаю, насколько тяжело ему говорить сейчас обо всём этом. Ведь Украину он освобождал от фашистов, а теперь они заправляют там снова. Во время войны, на фронте, он стал коммунистом, а ныне коммунистическую идеологию и символику где-то уже запретили, а где-то готовы запретить, и один за другим сносят памятники советской эпохи.

Да, теперь “где-то” — на Украине, в Прибалтике и так далее. Но началось-то всё у нас во время горбачёвской “перестройки” предательской “пятой колонной”, о которой не может офицер Красной армии Юрий Бондарев говорить спокойно, ибо видит в ней — не без оснований! — ударную силу врагов нашей Родины. Это она утверждала в массовом сознании, что Сталин хуже Гитлера, а советский социализм хуже гитлеризма. Значит, и не было никакой Великой Победы. А уж всяческие “подробности”, вроде многократно увеличенных наших воинских потерь, чтобы доказать “преступное” неумение советского руководства и командования вести войну, стали прямо-таки обиходными.

— Сейчас, — говорю я Юрию Васильевичу, — подняли шум вокруг телеканала “Дождь”, где в связи с 70-летием освобождения Ленинграда от блокады поставили перед зрителями вопрос: а может быть, лучше было сдать Ленинград? Шум явно запоздалый и “показушный”. Ибо первым даже не вопрос поставил, а прямо заявил, что Ленинград надо был сдать, не кто-нибудь, а участник войны, ваш коллега и, кажется, ровесник Виктор Астафьев. Так ведь?

— Верно, Астафьев. Примкнувший к “пятой колонне”. А Гранин, тоже участник войны, написал: “Русские были плохие солдаты”. Да как же можно так обобщать? На каком основании?!

Дальше Юрий Васильевич вспоминает солдат, с которыми ему довелось в боях быть бок о бок: “Ребята воевали прекрасно!” Размышляет о том, какую роль сыграла советская школа в подготовке этих “ребят” — их образованности и убеждённости. Напоминает, что про советских генералов и маршалов за последние годы тоже написана масса неправды, а вот немецкие генералы в своих мемуарах во многом признали их превосходство...

И тут мы подходим, пожалуй, к самому главному, корневому: а для чего всё-таки велась и так усиленно ведётся фальсификация истории той войны и в целом советского периода нашей жизни? Не для окончательного ли утверждения нынешней несправедливости в стране? Напоминаю своему собеседнику:

— Вот нынче говорят так: да, дескать, воевали люди за Родину. Но — не за Советскую Родину. То есть налицо стремление противопоставить Родину и Советскую власть, народ и коммунистов. Как будто это какие-то противоположные, даже враждебные явления. Но разве во время войны господствовало именно такое отношение? Понятно, люди разные, миллионы людей, и у кого-то в мыслях так было. А всё же что, по вашему восприятию, преобладало тогда?

— Вы сказали: говорят. А кто говорит-то? Та же самая “пятая колонна”. Если бы на самом деле было так, как они сейчас пытаются представлять, ни в коем случае не одержали бы мы величайшую нашу Победу. Всё, что сделано было перед войной, и не только в материальном смысле, а и в духовном, в воспитании нашего поколения, помогло нам прийти к Победе.

— Ваше поколение по праву называется великим. Поколение Зои Космодемьянской, Александра Матросова...

— Силу давало нам сознание того, что отстаиваем самую справедливую страну на земле.

— А теперь извращают всё в головах молодых, вдалбливают им ложь об отечественной истории с главной целью — очернить попытку более справедливого устройства жизни, без олигархов и нищих, где владыкой на самом деле является труд. Чтобы ни в какой мере не вернулось это, а несправедливость упрочилась навечно.

— Вы очень точно сказали. Но более двадцати лет, которые уже пришлось нам прожить по законам несправедливости, ничего хорошего ведь не дали нашей стране. Может быть, обманутый народ всё-таки задумается? Куда ни кинь

глаз, везде мы потеряли, а не нашли. Везде падение – в промышленности, сельском хозяйстве, в науке и культуре...

За культуру душа особенно болит

Об этом он говорит больше всего и даже вручает мне статью, специально написанную для “Правды”: с острой болью и тревогой за состояние и будущее нашей культуры (опубликована в номере от 7–12 марта 2014 года).

Действительно, огромное культурное падение в России очевидно. И произошло оно не само собой, а в результате целенаправленных усилий, определённой политики. Непременной частью этой политики и этих усилий стало, как и во всём, принижение, очернение, уничтожение достижений советской эпохи. Нет, конечно же, для них не эпохи, а “совка” – так презрительно они выражаются...

Вспомните программную статью “Поминки по советской литературе”. Поминки провозглашались не только за ненадобность этой литературы, но и по причине якобы её ничтожности. Однако в результате “смены ценностей” именно ничтожества вышли на первый план! Так, автор этой статьи, известный своим скандальным полупорнографическим “романом”, становится видной фигурой “элиты”, ведущим программы на телеканале “Культура”, а советская литература вместе с выдающимися её мастерами оказывается в положении изгоя.

В таком положении – изгоя – оказывается на всю эту четверть века великий советский писатель, наш современник-классик Юрий Васильевич Бондарев. Невыносимо было читать во время “перестройки” тот вал хулы, который обрушился на него со страниц коротичевского “Огонька” и прочих подобных изданий. Ничтожества, мелкие завистники, злобные антисоветчики, получив возможность, как шакалы, бросились с лютой ненавистью сводить с ним счёты.

А потом зловещим Александром Яковлевым было дано всем подведомственным СМИ указание, равно относившееся и к Юрию Бондареву, и к “Нашему современнику”, и к “Правде”: “Не надо ничего писать и говорить о них – и они тогда перестанут существовать”.

Каково годами пребывать в удушающем вакууме, который изо всех сил создаётся вокруг тебя? Для Бондарева закрыт экран телевидения. Его не включают в состав делегаций, представляющих российскую литературу за рубежом. Ему не присуждают государственных премий, а новые его книги, которые выходят, окружаются заговором молчания. Наконец, знаменитый Швидкой, рулящий культурой, в правительственной (!) “Российской газете” объявляет Бондарева... “нерукопожатным”. Как “сталиниста”. Но! На телеэкране вынуждены (рейтинговые соображения) показывать фильмы, снятые в советское время по его романам и сценариям. Сами эти романы и другие произведения живого классика предприниматели-коммерсанты вовсю начали переиздавать, потому что они пользуются неизменным спросом, и уже вышло после 1991-го не одно собрание его сочинений. А когда в 1999 году на страницах журнала “Наш современник” и затем отдельным изданием появился “Бермудский треугольник”, который я считаю сильнейшим романом о времени этого ужасающего безвременья, несмотря на заговор молчания вокруг, читатели нашли его, выделили, откликнулись.

Сейчас вместе с автором вспоминаю я, сколько писем со всей страны сразу же получили “Наш современник” и “Правда” об этой новой работе крупнейшего писателя. Однако вспоминаю и другое. Несколько раньше, в начале декабря 1996-го, когда исполнилось 100 лет со дня рождения великого советского полководца Георгия Жукова, проводилось соответствующее “мероприятие”. Но кто были главными на сцене? Чубайс и Черномырдин! Издевательства, да и только. Я подумал тогда: вот же есть выдающийся писатель военной темы, участник Великой Отечественной, фронтовик, сталинградец. Не ему ли быть здесь вместо позорного Чубайса?

– *Может, всё-таки вас приглашали? – спрашиваю.*

– *Что вы! Не удостоен.*

– *А скажите, Юрий Васильевич, вот недавно вышел фильм Бондарчука-младшего “Сталинград”. Показали вам его предварительно? Спросили ваше мнение, посоветовались?*

– *Нет. Да я его и не видел до сих пор: не сочли нужным мне показать. И, конечно, никто ни о чём не спрашивал.*

Задам вопрос читателям: вас не поражает это? Меня – очень. Невольно возникла ассоциация из советского времени: великий Сергей Бондарчук ставит

“Судьбу человека” и “Они сражались за Родину” по Михаилу Шолохову. Советы с писателем при работе над сценариями, при подборе актёров, в ходе съёмок... И первый показ законченной ленты – в Вёшенской.

Почему же в данном случае такое игнорирование одного из лучших знаменитостей сталинградской темы? Будто уже и нет его на свете. Впрочем, разный подход к работе – разный и результат. Фильмы Сергея Бондарчука и Бондарчука Фёдора отличаются, как небо от земли. Вот вам для сравнения кино советское и “новорооссийское”. Между тем, напомню, травили Бондарчука-старшего так же, как Бондарева. Одновременно. Да и за то же самое, по сути: за талант и принципиально советскую гражданскую позицию, за необоримость духа и совести.

А гениальный Шолохов?

Ему советской позиции не прощают и поныне. Когда мы разговаривали с Юрием Васильевичем (о любимейшем Шолохове не могли не говорить), приближалось тридцатилетие кончины мирового русского классика.

– Вот посмотрим, – сказал я, – как телевидение отметит эту дату.

Что ж, посмотрели: никак! Ни на одном канале – даже на “Культуре”. Газеты в абсолютном большинстве такую дату тоже замолчали. А при закрытии сочинской Олимпиады, показывая в художественном представлении писателей, составивших гордость отечественной культуры, Шолохова вообще исключили! Зато не обошлись без Солженицына – идейного антипода Шолохова и Бондарева.

Согласитесь, всё это выразительные свидетельства того, какова нынешняя культурная политика. В чём-то весьма существенном она, увы, не меняется. С трудом поворачивается у них язык говорить что-либо доброе о великой советской культуре, литературе, о великих советских творцах. Об антисоветских – пожалуйста.

Но мой собеседник вспоминает, с каким интересом относился к советским писателям и их книгам выдающийся американец Джон Стейнбек, с которым довелось ему, Бондареву, “выпить не одну рюмку чая”. И вдова другого выдающегося американца – Хемингуэя – немало рассказывала ему, как высоко ценил советскую литературу её муж.

Здесь кстати заметить, что книги самого Бондарева переведены более чем на 85 языков мира. Переведены и продолжают переводиться. Разве не говорит это о масштабе писателя?

Работать, работать!

– Юрий Васильевич, а чем вы заняты сейчас?

– Готовлю полное собрание сочинений. Уже давно. Работаю над текстами, зарываюсь в архивы. Тяжелее, скажу вам, дело! Мне даже ночами снятся иногда эти тексты, хотя ночью лучше бы спать...

Знаю, что труженик он необыкновенный. До обеда стараюсь ему никогда не звонить: заветное это время – за письменным столом.

– А потом-то хоть отдыхает? – выведываю у Валентины Никитичны, его супруги.

– Борюсь с ним. Хитрит. Прикинется, будто прилёт, а загляну – опять сидит над бумагами.

– Каждому писателю такую бы заботливую жену, – говорю совершенно искренне. Он не возражает. Зовёт её с нежностью: мама, мамочка. Но оторваться от каких-то своих мыслей, замечаю, не может вполне даже в эти минуты, когда мы пьём чай и разговор переходит постепенно на бытовые мелочи.

Там, на письменном столе, остались аккуратно разложенные папки, книги, листы бумаги, исписанные и исчёрканные его рукой. Я уеду, а он, наверное, поспешит вернуться к ним. Вечером же по давней традиции будет размеренно шагать под тёмным небом, а если вдруг появятся звёзды – подолгу смотреть на них. Когда-то говорил мне, что творчески часы таких прогулок для него самые плодотворные.

В последние годы он вынужден был пережить немало горького и тяжкого. Иногда, видя это, хотелось вслух посочувствовать ему, однако “сантиментов” по отношению к себе он категорически не приемлет.

Потому и сейчас, перед очередным юбилеем вашим, дорогой Юрий Васильевич, я просто обнимаю вас по-солдатски крепко и желаю здоровья. Во время той нашей встречи вы опять повторили, что для исполнения задуманного вам необходимо одно – здоровье. Да будет оно у вас!

ВЛАДИМИР КРУПИН

НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В русском языке термин “несобственно-прямая речь” означает приём, когда автор прячется за героя, говорит вроде бы от его имени, но фактически это говорит он сам. Приём этот помогает, может быть, раскрытию замысла, но есть всё-таки в этом приёме некая хитринка: спросить не с кого. Кто говорит? Автор? Нет, вроде бы герой. Герой тоже легко отопрётся: это, мол, не я сам, а за меня говорят. Таким приёмом, по сути, написаны многие работы Александра Солженицына, начиная с “Одного дня Ивана Денисовича”. Поток его “однодневного” сознания и размышления идёт вроде бы от его имени, но мы-то понимаем, что это не герой такой умный, это автор, а уж автор знает, о чём и как думает советский заключённый.

“Красное колесо” – это десятки, чуть ли не сотни авторизованных персонажей, когда автор, овладев приёмом стилизации, может говорить и “царским”, и “военным”, и “мужичьим” языком. Полифония – по-русски многоголосица – должна создавать “узловые” и вместе с тем типичные моменты русской переломной истории. Не знаю, как другие, а я просто устаю от такого приёма. Полифония звучания кажется мне шумом, персонажи – куклами, которые изображают реальных исторических лиц и говорят то, что прикажут... Воля ваша, я много раз, и по-тихому, и с разбега, кидался под колёса “Колесу” и вскоре обнаруживал себя на обочине дороги, по которой оно каталось туда и сюда.

Может, это кому-то покажется резковато сказанным, но что делать – случилась мне под руку статья из “Нового мира”, где “Колесо” названо “грандиозным”, сочетающим “в себе художественную эпопею с историческим исследованием, фундированным, наверное, нисколько не меньше, чем самая солидная научная работа”. То, что “Колесо” фундировано, я нисколько не сомневаюсь, я просто говорю: дочитать не могу.

В конце концов, это моё личное дело – читать или не читать, может, я один такой, кому-то и “Красное колесо” – икона. И Солженицын – в красном углу. Разве мы не помним ошеломляющего 11-го номера “Нового мира” за 1962 год?! Библиотекарша воинской части дала мне журнал на одну ночь. Кстати, это “на одну ночь” было и с другими трудами писателя, за одну ночь читали мы слепые самиздатские тексты “Архипелага”, “В круге первом”, “Раковый корпус”. Но такая была сильная тяга к правде, такая молодая память, что, когда я читал превосходные по своей полиграфии заграничные и здешние издания этих работ, то ничего нового не вычитывал.

В том же “Новом мире” потом я долгие годы был членом редколлегии и (легко поднять протоколы её заседаний восьмидесятых годов) всегда выступал за публикацию произведений Александра Исаевича. Что и сбывалось вскоре, и не в одном “Новом мире”. Печатали его наперебой. Я рад, что всё-таки,

будучи главным редактором “Москвы”, удержался от соблазна потешить читателей во многом сочинённой картиной сталинской эпохи. Эпоха не эпоха, а время Солженицына было в русской литературе, а в мировой осталось на долгие годы. Почему так я сказал, что в мировой осталось? Потому что для мировой хватает нынче уже немногого, для русской же необходима художественность и духовность. Солженицын как имя был сделан спецслужбами. Всё шло, как по нотам: гонимый сиделец, живёт не во лжи, режет правду-матку. О, я помню эти вечера литературы, когда требовательный зал ценил писателей по одному признаку: как писатель относится к Солженицыну? Уважает — наш человек. Не уважает — долой. Один раз, уже давно, покойный Пётр Паламарчук организовал вечер в бывшей церкви Московских Святителей, а тогда в клубе им. Баумана, посвящённый Солженицыну. Вечер шёл часов пять. Милиция, давка, телеграммы в Вермонт. “Ценим, любим, ждём”.

Ждали и дождались. Вернулся. Лучше сказать, явился, проехал Россию, собирая слёзы и страдания для будущих работ. Не на сладкие хлеба приехал: те, кто славил, решительно отвернулись. Давали экран, отобрали: не то заговорил. Те, кто верил, продолжали верить, хотя вскоре увидели — Солженицын с демократами. С разрушителями России. Как иначе сказать, если одобрял пришествие к власти ельцинистов, оправдывал братоубийство октября 1993-го. Может быть, тут сказался отдаваемый долг за приют Ростроповичу в нелёгкие годы гонений. Тогда “Стива”, как называет его Солженицын в продолжении своих автобиографических записок “Угодило зёрнышко промеж двух жерновов” (очень точное название — нельзя же угодить меж трёх! Записки эти продолжают работу “Бодался телёнок с дубом”), так вот, “Стива”, приютивший Солженицыных, очень ярко показал себя в августе 1991-го, когда бегал по Белому дому (так называли Верховный Совет демократисты, утоляя свою жажду американского устройства мира), бегал, охраняя Ельцина не с контрабасом — не до него! — с автоматом. В 1993-м, в дни расстрела, играл с оркестром на Красной площади и с пианистом — сыном Солженицына. То, что сын пианист, — это очень хорошо, другое дело, что музыка звучала на фоне проливаемой русской крови.

В продолжении записок, в “Зёрнышке”, прежняя, “телёнковская” самозначительность: “Итальянские пограничники тут задержали нас на добрых полчаса безо всяких объяснений, оказалось: бегали за моими книгами, получить автограф”. Вспомним “Телёнка”. Твардовский приезжает в Рязань к молодому, неизвестному автору читать рукопись на дому — таково условие. Автор не даёт редактору выпивать — сиди, читай. На вокзале Твардовский всё-таки отрывается от пригляда и выпивает — ах, нехорошо!

Но не все ли мы, не любой ли из нас созидал образ борца, народного защитника, великого писателя? Созидали! Иные в залётном усердии уверяли, что видели на “Матрённом дворе” призрак гоголевской шинели. Шинель была, говорили другие, но энкавэдэшная. Не мы ли мечтали: вот вернётся Исаич, и Россия будет спасена. Так что грешно порицать писателя, что он о себе высокого мнения, — мы-то были высочайшего. Мы сами вознесли его на высоту, с которой он учил жить всех: и Америку, и Японию; учил Китай с СССР не церемониться, создавал “расширительный” словарь русского языка, учил священноначалие, писал тексты молитв, нас учил жить не по лжи, возносился всё выше, вещал всё увереннее и... и перестал быть слышимым. То есть вроде слышали и читали, но жизнь в России обустроивалась по-своему.

Теперь, по прошествии времени, спокойным зрением видно, что диссидентство работало не против засилия марксизма-ленинизма — уже и в конце семидесятых это была картонная мишень, никто всерьёз научный коммунизм не воспринимал, кроме тех, кто на нём кормился (бурбулисы, например, афанасьевы, гайдары), а работало диссидентство на врагов России.

Те же гебисты. Ну да, подслушивают, жизнь портят, но если есть государство, должна быть служба его безопасности? А в теперешнем состоянии общества человек может быть защищён только государством. Нынешняя, совершенно дикая постановка вопроса о возвращении на Лубянскую площадь

памятника палачу русского народа говорит ещё и о том, что есть тоска именно по безопасности жизни в государстве. То есть уже и демократов допекло. Коммуны свалили, страну разворовали, население успешно разворачивается и спаивается, но всё как-то тревожно: у подъездов постреливают, и убийц — вот что, канальство, досадно! — не находят. Дзержинский бы нашёл.

Диссиденты всегда были и всегда будут чем-то недовольны. И кто сказал, что возможен рай на земле? Первые — утописты, вторые — коммунисты, третьи?.. Да, демократы. Обещали же. Вот идеологии не будет, вот рынок будет, тут-то наши слёзы и высохнут. А вышло — кровь полилась.

А Запад чему научен трудами Солженицына? Как и не было Вермонта, говорится в последнем телефильме “Узел”, но ведь и для Запада — как и не было никого в Вермонте. В том же “Зёрнышке” — описание первого после высылки появления на Западе. Не хочется к репортёрам, а всё равно надо идти. И пошёл, уже вставленный в заготовленную нишу антисоветской пропаганды. Но писательское зрение всё ещё остро, подмечает, как молодой фотограф, пятясь, хлопается на спину, жалко...

Запад выветрил из писателя художника и насытил его превозносительной учительностью. Он уже выше всех современников, ему надо с классиками разобратся. Разбирает Чехова. В статье “Окунаясь в Чехова” (“Новый мир”) очень требовательно взыскивает с классика: надо бы Антону Павловичу писать (далее цитата): “строже, лаконичней, подразумеваемой. Но тогда не писали иначе, это в XX веке научились”. Тут вроде и не смеешь думать, что, может быть, наоборот, разучились. “А слов исконных, корневых, ярких русских — у Чехова почти не бывает (от южного детства?)”, — спрашивает в скобках его ростовский собрат по перу.

Заговоривши о языке, обратимся к языку и самого чеховского исследователя. Вот из “Ракового корпуса”, без комментариев. Издание 1991 года с аннотацией: книга с “восстановленными доцензурными текстами, заново проверенными и исправленными автором”. Цитаты: “Она одними только алчными огневатыми губами ротачила его сегодня по Кавказскому хребту”. Снова о губах, вскоре они уже “намятые поцелуями до огрублости”. А вот “расширительный словарь”, создававшийся, по словам автора, тридцать пять лет. Это как доказательство, что русские глаголы терпят любые приставки. И почему мне верить, что “дрязг, дром” — это “сушняк в лесу, нанос”? “Мерекать” всегда было “соображать”. Тут расширения нет. А расширение “мерковать — раскидывать умом” — очень головное, никогда не привьётся. Так я мерекую.

Кто же в России жил не по лжи, на кого надеяться? На земство? Нет. Занимаясь историей образования в России, ясно видишь, что именно земство задушило церковно-приходские школы, это высочайшее заведение, где воспитание и образование были нераздельны. На учителей надеяться? Тоже нет. Кто, как не Учительский союз в начале века, ещё до миллюковской Думы, до большевиков, высказался за изгнание священнослужителей из русской школы, именно этот Учительский союз, разогнанный большевиками в 1918-м году в благодарность за помощь в 1904 году. Нет, надеяться не на кого, только на Бога. Да это и прорывается во многих трудах Солженицына. Именно верующие в “Архипелаге” живут не по лжи, только они могут сохранять образ и подобие Божие в человеке в самых невероятных условиях.

Но и с церковью у юбиляра своеобразные отношения. Он и её учит. Выступая на Рождественских чтениях, в присутствии Патриарха Солженицын упрекает Православную Церковь (именно так, не священноначалие даже, что модно для нашей госпожи интеллигенции, а именно Церковь, которая являет собой тело Христово). Говорит об осовременивании богослужебного языка. Ну ладно, это мы слышали уже от С. Аверинцева, крепко стоящего на почве, не Российской, а Византии, но слышать от Солженицына, описывавшего страдания православных? На каком же языке они молились? На осовременном? Нет, на том же, что и преподобные Сергей и Серафим. Помню, как резануло православных именно это место о переводе богослужения на современный язык в телебеседе Никиты Струве и Солженицына. Струве можно понять — всю жизнь в Париже, но мы-то в России.

Православная Церковь никому ничего не должна, это твердыня, это скала, на которой единственно может быть основано спасение России. Уж чего только не перепробовано во всех веках закончившегося тысячелетия: конституции, республики, демократии, революции, битвы за свободу, которые обязательно ввергали в новую несвободу и новую борьбу за свободу... Церковь говорит о свободе как о данной Богом человеку возможности созидать себя по образу и подобию Божию. От этого созидания всё: спасение души, спокойствие жизни, её осмысленность. Возрождение России единственно возможно под духовным водительством Православной Церкви. Иудейская страна, некогда цветущая, погибала, когда в неё, Промыслом Божиим, явился Спаситель. И она бы спаслась, если б послушала Его. Не послушала и вскоре погибла под развалинами иерусалимского храма. Солженицын – личность многомерная. Независимая. Признак независимости – никому не старался угодить. Пребывающим в трудах он ярко показан в телефильме о нём. Ведущий – я потом понял, что режиссёр явно робел перед юбиляром, ждал скрипа ступенек, означавшего, что наступило время прогулки, – шёл вместе с героем фильма, так же, по-арестантски складывал руки за спиной (нам это долго показывали), обсуждал годовые кольца на липе, спиленной почему-то очень высоко (напоминает постамент), слушал рассказ о молнии, потом, допущенный в кабинет, сидел в углу, а нас заставлял рассматривать бороду писателя (частями), очки, стол с различными приспособлениями для письменных работ и саму эту письменную работу по вычёркиванию и вписыванию слов... Видимо, по замыслу, мы должны были соприсутствовать при творческом процессе, но, увы, мы, неблагодарные, присутствовали при рассматривании бороды и не видели процесса. Но спасибо режиссёру за вопрос о Распутине. Спасибо и Солженицыну за ответ. Выразил праведный гнев по поводу того, что радио “Свобода” назвало Распутина фашистом. “Распутин – нежная душа”, – сказал Солженицын. Он и о Чехове так писал: “Чехов – чистая душа”.

И снова дачный участок, очень большой, и снова обмен мыслями, не очень большими. Но что спрашивать с двухмерного, плоского во всех смыслах экрана?

И, конечно, вспомним уничижительное отношение юбиляра к Шолохову. Тут “аналогия” с Толстым, которому мешал жить Шекспир. Оба они – и Солженицын, и Толстой – мнили себя главными в веке 20-м, а может, и в остальных веках. Не получилось: ни зависть, ни превозношение в лидеры русской мысли не выведут. На время – да. Но Россия живёт в вечности...

ЯНА САФРОНОВА

ПОРА ЛИХОЛЕТИЙ

О романе Веры Галактионовой “Спящие от печали”

*Вселенский ужас веет над землёй,
Взлетает вихрем вырванный барак.
Кривляясь, звёзды рушатся во мрак,
А двое спящих держат путь домой.*

Георг Тракль¹

1. Патриотический неомодерн

Так вышло, что об одном из главных романов начала двадцать первого века в критике сказано было немного. С момента публикации “Спящих от печали” Веры Галактионовой прошло уже почти десять лет. Но произведение, масштабно осмысливающее трагедию русского народа в девяностые годы, само в полной мере осмыслено не было. Из всех немногочисленных литературно-критических публикаций о романе стоит выделить две: статью известного критика Капитолины Кокшенёвой “Роман-крест Веры Галактионовой”² и исследование “ассоциативно-символических рядов повести” доцента Кубанского госуниверситета Станислава Чумакова – “Знаки гибели и надежды”³.

Обе работы концентрируются, в основном, на частностях, отдельно выбранных аспектах текста. Наиболее очевидно это в статье Кокшенёвой, главная мысль которой в следующем: “Роман “Спящие от печали” – самое глубокое и тонко ограниченное произведение новейшего времени, построенное на крестоцентричном и христоцентричном фундаменте”. Далее Кокшенёва развивает авторскую концепцию, объясняющую, почему это так: оказывается, что и движется роман, и герои распределены в нём чётко по горизонтали и вертикали. Только вот, сосредоточившись на доказывании геометрического тезиса, критик исключает из поля своего зрения всё, что к нему не относится. В ином направлении работает Станислав Чумаков. Его академически точные рассуждения о “Спящих от печали” серьёзны и внимательны. Чумаков подробно рассматривает образно-символический пласт произведения, выявляет основные смыслы и мотивы, однако на этом останавливается.

¹ Георг Тракль – австрийский поэт-экспрессионист начала двадцатого века.

² Капитолина Кокшенёва. “С красной строки”. Главные лица русской литературы. “Роман-крест Веры Галактионовой. Русские вне русского мира”. М.: У Никитских ворот. 2015.

³ Станислав Чумаков. “Знаки гибели и надежды”. О романе Веры Галактионовой “Спящие от печали”. // День литературы. 2011. №7.

Другая проблема – в том, что ни один из критиков, писавших о романе, не усомнился в его художественном методе. Так, Чумаков как бы невзначай несколько раз произносит: “. . . новое произведение Веры Галактионовой, уже заслужившей репутацию одного из отечественных первопроходцев психологического реализма”; “Это не означает, что Вера Галактионова в чём-то отходит от крепкой реалистической основы своего произведения”. Кокшенёва же лишь оговаривается, что подлинное обновление литературы возможно только “как преодоление “гипноза” простейшей реалистической эстетики и понимания художественной практики как глубоко-личностного переживания христианских смыслов”.

Определение “Спящих от печали” как психологического реализма и реализма вообще вызывает сомнения. Роман обладает рядом черт, которые позволяют предположить его принадлежность к модернизму. Возможно, именно из-за ошибки в определении метода случаются разночтения в жанровом определении. Например, Кокшенёва без раздумий называет произведение романом, а Чумаков убеждённо зовёт его повестью. Но если попробовать рассмотреть “Спящих от печали” как модернистский роман, многое встанет на свои места.

Во-первых, в романе реализуется характерная модернистская установка “мир-хаос”. В “Спящих от печали” перед нами – страна в эпоху кризиса, страна, ввергнутая в социальную катастрофу на крутом историческом повороте. Действие романа происходит в азиатском степном городе Столбцы (Казахстан), который после развала СССР оказался за географическими пределами России. Жители его существуют в ужасающей бедности: горно-обогатительный комбинат закрылся, и люди просто не могут больше найти работу. Пустота, холод и печаль царят в ночном обсточенном городе. Конкретный момент повествования – ночь Великого Перелома, бурана, когда зима побеждает осень и утверждается в своих правах. В эти часы обитатели маленького барака спят и видят сны, их прошлое и будущее являют себя в тяжёлом сновидении. Будто в состоянии сонного паралича, они не могут очнуться от осознаваемого кошмара. Белая бабочка дрёмы летает над ними и творит всё новые видения. Спящие от печали – не только конкретные герои, но и весь народ, который не может очнуться от болезненного оцепенения.

Во-вторых, в основе произведения лежит христианский миф: молодая мать Нюрочка и её муж Иван растят младенца Саню, в котором брезжит будущее избавление. С новым мессией связан ряд событий, прямо указывающих на его высшую природу. Это и Вифлеемская звезда – “весёлая звёздочка”, зажигающаяся от крика Сани; и Сретение – наречение Сани монахом Порфирием; и Благовещение – “весть”, принесённая тремя белыми голубями в финале. Кроме того, заброшенные горные работы сравниваются со строительством Вавилонской башни, где раньше звучал “гвалт языков и наречий со всего Советского Союза”. Не раз упоминается и “небо вынужденного греха”, под которым жители Столбцов оказались не по своей воле. Принципиальное мифологическое мироощущение романа выражается также в тотальной символизации художественного пространства и, как следствие, в сакрализации мифа.

В-третьих, в романе присутствуют формальные признаки модернизма. Его структура – это совмещение эпизодов, которые каждый из героев видит во сне и переживает в настоящий момент. Полноценная картина складывается благодаря частому чередованию повествовательных планов – прошлого, настоящего и фактического момента сна. Постоянная смена кадра может быть названа приёмом монтажа. Частые временные сдвиги и переплетения образуют свободную композицию. В “Спящих от печали” отсутствует единая сюжетная линия, фабула нивелирована. Вместо этого – множество сюжетных линий, каждая из которых лишена линейности повествования. Монтаж, свободная композиция, уничтожение фабулы и отсутствие линейности – типичные формальные характеристики модернистского романа.

Примечательно, что критик Алексей Татаринов в одном из своих выступлений¹ схоже характеризует роман: “Прекратите пользоваться словом “постмодернизм”. Иначе на долгие годы попадете в компанию унылых демагогов. Попробуйте посмотреть на литературный процесс XXI века как на яркий, вполне личностный “неомодерн”. <...> Есть ли патриотический неомодерн?”

¹ Алексей Татаринов. “Постмодернизма больше нет”. // Интернет-журнал “Соты”, 2018.

А как же! Роман Петра Краснова “Заполье”. Роман Владимира Личутина “Беглец из рая”. Повесть Андрея Антипина “Дядька”. Роман Веры Галактионовой “Спящие от печали”. Роман Юрия Козлова “Свобода”. Вась Проханов...” И хотя введённый Татариновым термин существует в рамках совсем неоднозначного призыва, внимания и размышления он заслуживает точно.

“Спящие от печали” – произведение гораздо более сложное, противоречивое, многогранное, чем то представление о нём, которое складывается после прочтения критики. И его открывшаяся модернистская природа станет отправной точкой для подробного и внимательного рассмотрения.

2. Лабиринт отражений

Теперь разберёмся в сложном устройстве “Спящих от печали”. Кокшенёва сводит его к крестоцентричности, настаивая на том, что в романе есть образы “осевые”, вертикальные (старшее поколение, хранящее прошлое), и горизонтальные: *“Подлинная ценность определяется вертикальной концепцией – горизонталь не удержит человека в образе “вполне человека” (библейское) и историю в образе, присущем русскому народу”*. К людям “горизонтальной оси” критик причисляет, например, молодых братьев: наркомана и бандита. Кокшенёва не иллюстрирует свою мысль подробным делением героев, потому читателю остаётся самому домысливать принадлежность персонажей к той или иной линии. Вообще всё это напоминает скорее философию “Общего дела” Н. Ф. Фёдорова, где утверждается, что, прежде всего, физически горизонтальное положение для человека – зависимое, и в процессе своей эволюции он приходит к освобождению, то есть к положению вертикальному. Но если бы образную систему “Спящих от печали” можно было решить двумя пересекающимися друг друга рощерками, доказательная база Кокшенёвой была бы гораздо более внушительной...

Действительно, в романе можно выделить два основных типа героев, да вот только по другому принципу и в тесном взаимодействии друг с другом. Это “бывшие” советские люди, с развалом Союза лишившиеся своих социальных ролей, и “нынешние”, окончательное взросление которых пришлось на ранний постсоветский период.

Среди первых – деятельная учительница физики Сталина Тарасевна. Вместо ударного педагогического труда она теперь сторожит автозаправку и мечтает о случайной бандитской пуле. Причины мечты утилитарны: если уьют на работе, похоронят бесплатно. У семьи Тарасевны, которая состоит из дочери, безработного зятя и внучки, денег не то что на похороны, а даже на жизнь нет. Сон Тарасевне приходит соответствующий: *“Даже под тяжёлым одеялом она спала в позе бегущей стремглав старухи – выбросив руки вперёд, к желанной цели, и широко улыбаясь во сне беззубым ртом: Тарасевне снилось, что её убили”*.

“Бывшим” является и старик-азиат Жорес, остро ощущающий потерю страны. Всю свою жизнь Жорес тяжело и честно работал на стройках социализма, а теперь, отселённый в барак предприимчивой невесткой, мучается от честно заработанных когда-то болезней: *“Бросает старика Жореса то в нестерпимый жар, то в холод проклятая ревматическая лихорадка. Гуляет в теле болезнь, змеится, будто позёмка, лижет ледяными тонкими языками его суставы – и жжёт. Или это он опять плывёт в зимнем котловане, отыскивая в бурлящей ледяной воде край трубы?...”*

В самой крошечной комнате обитает всеми забытый поэт Бухмин. Когда-то известный, эгоцентричный, а теперь ставший своей тенью, он предпочитает лишний раз себя собой не ощущать: *“Давно уже не весёлый и не красивый, поэт перестал смотреться в навесное зеркало – из стекла глядела на него после умывания только тёмная и старая чья-то рожа с жёсткими волосами, торчащими из ноздрей, из жёлтых огромных ушей. А таким бывший красавец Бухмин видеть себя не желал. За хлебом он выходил в сумерках, брёл кривой захолустной дорогой, где не было встречных людей, в магазине же прятал лицо в воротник”*.

Менее сочувственно изображён свёкр Нюрочки, Бирюков-старший, который регулярно приходит к молодой семье, чтобы упрекнуть их в нечестном заработке и набить желудок чужой едой. Сам же Бирюков-старший в партийное своё время пользовался властью не во благо: *“Он, когда партийный был,*

горнякам часы урезал, из принципа! А они ведь таких фуфайками душили...” В настоящем Бирюкову осталась только его любимая история про молодую проститутку, которой он добродетельно дал денег и отпустил. Но, несмотря на хроническую гордость этим главным поступком в своей жизни, Бирюков всё же до сих пор о деньгах помнит и желает их вернуть.

Каждому из “старших” героев соответствует определённый образ-символ, так или иначе их определяющий. Для Тарасевны – это плюшевые передники. Её бывший ученик, коренной житель азиатских Столбцов, которого она когда-то ругала за незнание русского языка и в особенности – за игнорирование знаков препинания, теперь стал большим депутатом. Но главное: *“И ещё целый набор передников подарил Тарасевне – синих, цвета школьных тех тетрадей, в которые ставила она ему двойки, двойки, двойки. И на каждом переднике, посередке, красуется огромный полукруглый белый карман. А на кармане – большущий знак препинания”*. Тот, кого учительница корила за безграмотность, научил её новой грамоте. И она носит знаки позора с честью, ведь “ценить надо, что ещё не трогают нас и жить нам дают”.

Течение жизни Жореса задают старые часы, которыми он когда-то был премирован за подвиг на котловане. И они *“не отсчитывают время, а куют его, раскалённое, на какой-то железной наковальне: бум, бум”*. Непреходящей заботой Бирюкова-старшего является продажа старого ружья, свидетельства его былой силы. Но партийный прямой ствол без труда погнули бандиты в драке, потому теперь, с поправкой на современность, мужчина пытается продать согнувшееся, ни на что не годное оружие прошлого.

Судьбоносен образ-символ для Бухмина. Его старую квартиру с лёгкостью отнимает предприимчивая женщина, шантажирующая его выдуманным ребёнком, а помогает ей в этом и переселяет Бухмина в барак хитрый спекулянт с блестящей серьгой в ухе. В своём новом жилище над окном Бухмин видит кольцо из нержавеющей стали. И предполагает, что на нём висела клетка: *“С певчей? – обомлел поэт от своей догадки. – Где же она теперь? – Всё певчее теперь сдохло! – грубо оборвал его обалдуй с серьгой”*. Певчим больше здесь не место, в их числе – забытому поэту. Символ свободы рифмуется с аксессуаром пройдохи-обманщика и в него трансформируется. Важно, что именно на этом, потерявшем своё сакральное значение кольцо Бухмин в итоге и вешается.

И бывшее когда-то важным и значимым из фильтра времени выходит покалеченным. Гордость превращается в унижение, подвиг – в мучение, сила – в слабость, свобода – в неволю.

Как уже было сказано, все “бывшие” потеряли свои социальные роли. Но проблема несколько шире, чем просто потеря положения в обществе. Перед нами – “люди труда, у которых отобрали труд”. Для советских людей выпадение из трудового процесса равносильно социальному самоубийству. Поэтому все перечисленные образы-символы олицетворяют занятие, деятельную сферу потерянной жизни, которая навсегда останется с ними.

Из-за этого и взаимоотношения между “бывшими” и “нынешними” во многом строятся на оценках образа труда первых. “Младшие” тесно связаны со “старшими”, они – их полюса, их искривлённые зеркальные отображения.

Раздражающий Тарасевну зять, молодой безработный физик Коревко, экзальтированно рассуждающий о науке, вопиюще отвратителен ей своей бездеятельностью в противовес её энергичности. Порой даже прямо называются антонимично-схожие черты: *“В общем, надежды на зятя не оставалось никакой. То он степень свою защищал, ездил и ездил от семьи, пока границ не было. Потом дома бумагу без толку марал. Школьные тетрадки у детей перетаскал, их шариковые ручки исписал без счёта, последнюю точилку для карандашей вчера сломал! А теперь наладили такие речи вести, будто не Тарасевна в школе проводила свои политинформации из года в год, а он, который и газет-то не читал...”* Честная работа старика Жореса трагически преломляется в двух его внуках. Один из них – бандит, угрожающий Нюрочке в случае, если она не ответит на его чувства, посадить её сына на иглу, а мужа – убить. Второй – наркоман, которому решено молодую мать передать после всех обезьяньих зверств. Бесхитрости и слабости Бухмина противопоставлен упомянутый паренёк с серьгой, который двумя словами ловко решает квартирный

вопрос поэта и моментально исчезает из его жизни. Так же, как Бухмин когда-то исчез из жизни своей тётки и возлюбленной...

Самое явное, обратное отражение — это Бирюков-старший и семья его сына. В каждый приход к молодым Бирюков-старший поучает: *“Ра-бо-та-ть надо!!! Спекулянты вы, а не дети. <...> А сами кто? Рабочий класс? Нет: шантрапа вы. Барыги”*. Спекулянтами молодых людей он называет потому, что единственным доступным способом заработка для них стало плетение похоронных венков и изготовление водки. Но смерть в своём доме Бирюковы-младшие приютили ради жизни: любыми способами им нужно вырастить Нового человека, Саню — “слабого, что поднимет сильных”, того, кто разбудит спящих от печали. В шаблоне мира Бирюкова-старшего продавать водку и торговать похоронными венками — недостойно, привычный ему строй порицает это.

“Нынешние”, представленные в романе, воспитаны в условиях нового времени. Они, не имея за плечами иного опыта, совершенно естественно “встраиваются” в реальность. И если Тарасевна желает скорой смерти, Жорес тяготится болезнями, Бухмин не может выдержать состязания с реальностью и кончает с собой, то молодые ищут способы выжить. Внуки Жореса, бандит и наркоман, а вместе с ними паренёк с серьгой, растворяются в существующих условиях и становятся типичными представителями времени. Коровко и дочь Тарасевны Галина существуют в режиме экономии энергии, пассивно надеются на будущее. Схоже для своей цели накапливают силы Нюрочка и Иван. Даже речевые характеристики “нынешних” резко отличаются от характеристик “бывших”. Молодые говорят коротко, скупое, часто не отвечают вовсе. Вот бандит угрожает Нюрочке: *“Упрямая, да? Чухан будет — ребёнок твой. Игла, игла. Лучше открывай”*. А это сама Нюрочка и Иван игнорируют увещания Тарасевны: *“Чужих вождей мы выучили, а своего-то вождя, заступника своего, не догадались взрастить! Народного, нашего. Настоящего... — Иван словно не слышал и на яркий восклицательный знак внимания не обращал. <...> — Крошечный, — не слушая Тарасевну, говорила Нюрочка и улыбалась младенцу. — Маленький...”*

Но в этом сложном лабиринте отражений роднит и объединяет “нынешних” и “бывших” общая беда. Народ ощущает себя исторгнутой страной, потерянным, блуждающим. Ощущение катастрофы оглушает, предчувствие конца постоянно сменяет истерическая, мессианская надежда: *“Мы — человеческий хлам, живой сор, многомиллионные отбросы, плачущие по всем окраинам бывшего Союза, на бывшей своей земле. Мы — бывшие советские люди. Мы — бывшие люди. Но мы — хлам, который прорастёт. <...> Пожелтевшие от времени страницы старых наших книг ждут тебя, Саня... Скоро, скоро я покажу тебе большую премудрость, спящую в толстых томах. В одном из них писатель с бородою говорил о человеке Неклюдове, в другом писатель без бороды рассказал о человеке Хлудове. Ключ, хлуд — это хлам, Саня. Хлуд, ключ — это сор”*. В этом выразительном и мастерском с точки зрения языковых средств отрывке нам открывается один из основных мотивов произведения. Молодая мать неоднократно повторяет, что воспитает нового человека с помощью “пожелтевших томов”, которые, быть может, она сама в поспешности понимает не до конца, но Сане передаст в безусловной достоверности. Не случайно упоминаются персонажи романа “Воскресение” Л. Н. Толстого и пьесы “Бег” М. А. Булгакова: спаситель человечества должен быть воспитан на классической русской культуре.

Совершенно отдельно, будто “над” текстом, располагается следующая группа образов: сумасшедшая, немая и монах-шатун Порфирий. Галактионовские блаженные, они тесно связаны с понятием “границы” в художественном пространстве романа.

Сумасшедшая в советские времена встречала приезжающих утренним поездом в Столбцы предостерегающими криками: *“И плакала безутешно над будущими их судьбами, и билась поодаль, в полыни, и кружила, и ругала спешащих к новой жизни по старому степному тракту со своими сумками, туками, чемоданами; с направлениями на комсомольскую ударную стройку: “Дураки... Какие дураки-и-и... К беде своей приехали! Вернитесь!!! Не поздно ещё...”* Её видела и Тарасевна во времена своей ранней юности, когда приехала работать в маленький городок учительницей. Именно она на протяжении всего повествования находится в самой тесной связи с юродивыми и,

несмотря на своё атеистическое мировосприятие, замечает трёх белых голубей, которые “пересекали линию человеческого взгляда крестообразно”, — весть о будущем спасении русского народа.

Сумасшедшая, сгинувшая во времени, оставила по себе память: на месте её беспрестанного кружения теперь стоит остановка из тюремной решётки, олицетворяющая ту самую, ненавистную жителям азиатской страны границу. И каждый день толпа людей, движимая инстинктивной злостью, сносит её в едином порыве: *“Бежит толпа. И вот уже десятки рук, мужских, женских, детских, ухватившись за чугунные ребристые прутья, раскачивают решётку по всей длине — упрямо, неистово, молча... До тех пор, пока, заскрипев, заскрежетав, покачнувшись, не опрокидывается она в канаву, с грохотом, вся как есть”*. Остановка — символ неестественного рубежа между Россией и странами бывшего Советского Союза. Границы, расчертившие целое на части, разорвавшие единую ткань на лоскуты, являются предметом бесконечной народной ненависти.

Связан с лейтмотивом романа и образ немой, жившей в бараке в комнате номер три (цифра явно неслучайная), но пропавшей без вести. О её судьбе беспокоится одна только Тарасевна. Немая стережёт жизненные границы барачных жителей. Она, введённая в повествование после исчезновения сумасшедшей, является как её прогрессией. Из “смуглой красавицы юродивой” становится “дебелой немой”, предупреждает о страшном не криками, но мычанием, потому что время отняло у неё речь. Вырождается, исходит, слабеет.

Немая предвещает несчастье Нюрочке: *“Я лично, — сказала ей дебелая немая, ударяя себя кулаком в грудь, — за такого, — показала она на Ивана кулаком и скрыла палец, — никогда, никогда бы не вышла, — мотала она головой. — А Нюрочка — красавица! Вот!”* Но что самое важное — немая является вестником центральной притчи романа о русском голубе, прилетающем в азиатскую степь, когда русский народ сошёл со своего пути. Именно немая своим страшным мычанием приводит всех к растерзанному голубем молодым голубятам и оставшимся от голубки кровавым перьям. Подведя русских к знаменю об их конце, она пропадает навсегда.

Кульминацией “юродивого” в романе становится образ бродячего монаха Порфирия, калики перехожего. Не зря Галактионова “вводит” этого героя под конец повествования. Для него нужно было подготовить почву, он — объединяющая высшая сила, олицетворённая древняя Русь, предвестник главного события. Порфирий носится из одной части Руси в другую, собирает и носит на себе грехи всего народа. Ряса его состоит из множества разных кусочков чужих одежд, которые он сшивает на себе воедино. Сводя вместе потерянные части страны, разных людей, он прострачивает крепкой ниткой метафизические границы: *“На подоле, к примеру, алел кружок, вырезанный из детского носка, изношенного понизу, но вполне крепкого сверху. Зеленела так же на правом боку особо надёжная заплата из старой солдатской гимнастёрки. И даже крепкий угол выцветшего бабьего платка весьма уместно синел на левом его локте”*. Из уст Порфирия звучат две основные мысли “Спящих от печали”. Это и корневое понимание проблемы границы: *“Истинно! Правое дело — заградить межи. Заштопать их надобно научным путём”*, — и осознание чужеродности нынешней власти: *“Нет, не власть нам та, что не от Бога. Которая не от Бога — никакая она не власть нам, нет...”* Понятно, что Порфирий — лишь предтеча будущих событий, пока он только отмаливает народ.

В конце романа монах возжигает огромное количество свечей за всех своих близких, за все двадцать миллионов, которые никогда не узнают об этом. А затем... Порфирий засыпает и во сне получает разрешение завершить свой путь. Засыпает, благодаря чему возможно пробуждение для брошенного народа Столбцов от вязкой печали. Засыпает за него.

Важна и встреча Порфирия и Сани, в результате которой Порфирий нарекает ребёнка воином: *“Скажи только: воин — здесь пребывает, а Спаситель — там, над нами. Быстрой дорогой Воин к нему идёт... Или ничего не говори. И без меня всему научены будут, в положенный-то срок”*. Крик пробуждения Сани становится возможен только благодаря жертве Порфирия.

Конечно, можно и нужно сказать о том, что при формальном рассмотрении романа внезапное появление Порфирия может быть расценено как *Deus ex machina* — неорганическое внедрение в текст идеологического подтекста.

Но на самом деле Порфирий, поднявшийся над текстом в заключительной части романа, является его логическим выводом. Сумасшедшая, немая, Порфирий, Саня – все эти надмирные, пророчески-мессианские герои на самом деле – выразители главных идей и посылов произведения. Стоящие как бы отдельно от сложно организованной образной системы, они поднимаются над ней и делают произведение законченно цельным. Постоянно повторяемое “Расти, Саня, расти” окончательно утверждается напутствием Порфирия.

Как мы видим, двухчастная структура при более подробном рассмотрении легко превращается в трёхчастную, но и это ещё не предел. На самом деле в романе живёт множество других героев, которые не умещаются в схему и могут послужить основой для построения новой концепции.

До конца не обозначенной остаётся родовая линия Жореса: образы двух его сыновей, Максима и Горького, могут быть прочтены как два характерных пути их поколения. Максим умер пьяным в пожаре, а Горький поддался тотальной американизации и даже называться стал по-новому: Гариком. Но это не спасло его от угасания вблизи деспотичной торгашки, “чёрной боевой курицы”, его жены. Она же, когда-то отселившая Жореса в барак, может быть сопоставлена с отчаянной мучительницей Бухмина, новой владелицей его квартиры.

А ведь есть ещё и мир чуханов, детей-оборванцев, которые живут в подвалах заброшенных цехов. Среди них особенно выделяется девочка-проститутка Алина: вынужденным трудом она добывает еду и из последних сил заботится о своём младшем брате. Образует с ней синонимичную пару внучка Тарасевны, Полина, домашняя, искренне верующая и готовая заранее всех простить. Образную цепочку можно продолжать до бесконечности, различным образом группируя и связывая персонажей между собой. Ясно одно: роман “Спящие от печали” простирается за пределы любых концепций и схем, он в них просто не “влезает”, что лишний раз говорит о масштабе изображения.

3. Кровавый ручей

Подобно многогранной образной системе романа, метафорическая основа произведения тоже имеет несколько слоёв. В “Спящих от печали” существует два вида метафоры: внешняя развёрнутая и внутренняя сквозная. Внешняя характерна тем, что её мы можем обнаружить при беглом взгляде на текст, она наиболее очевидна. И даже вынесена в заглавие, ведь сон здесь имеет и второе значение, а именно: забытьё не только жителей городка, но и перманентная тяжёлая дремота многонационального народа бывшего Союза. Это могучая метафора, довлеющая над текстом и подчиняющая его себе. Внутренняя же метафора – та, что находится в “глубине” текста и постоянно развивается. Самой важной внутренней сквозной метафорой является кровь, на которой буквально “замешан” роман.

В первый раз кровь упоминается как связующее звено между матерью и ребёнком, Нюрочкой и Саней: *“Да, да... Мужчина не сопряжён с ребёнком нужным количеством крови, и боли, и мук”*. Затем кровь наделяется свойством содержательности, через неё Нюрочка собирается передать Сане знания: *“Я торопилась прочесть их до твоего рождения, чтобы кровь моя влилась потом в твои маленькие вены и артерии, обогащённая важным знанием – да, насколько обрётённым, да, лихорадочно усвоенным, да, непомерным для меня знанием”*. Ещё раз кровь в своём онтологическом значении звучит в связи с вопрошающим призывом Нюрочки к жителям Гнезда, места в десяти километрах от Столбцов, где в роскоши живут богатые повелители этого мира. *“Звери! Зачем питаетесь вы нашими живыми жизнями?”* – восклицает мать во сне и не получает ответа. Здесь же мы узнаём, что Нюрочка страдает малокровием, из-за чего Саня родился, задыхаясь. От малокровия послеродовые швы никак не могут зажить, и чтобы избавиться от болезни, Нюрочке нужно гулять под солнцем и пить гранатовый сок. Его вампирически сосут из высоких стеклянных бокалов повелители Гнезда, *“сбивающие свой наркотический коктейль из цветных точек – неустанно смешивающих в своём мерцании Запад с Востоком, Восток с Западом в одно дикое, рябое месиво, в котором становится всё больше красного, багрового, тёмного”*. Они полностью отняли у народа жизненно необходимые ресурсы и теперь празднуют это за своими более чем полными столами. Это в первом значении, буквальном. В переносном же

смысле обитатели Гнезда пьют кровь выброшенных за границы, оставляют их страдать от обескровленной, призрачной жизни.

С течением повествования кровь продолжает трансформироваться. В одном из лучших эпизодов романа Порфирий будто случайно показывает Тарасевне, как выбраться из тьмы, их окружившей. В ответ на её напористые вопросы он наливает вино в стакан: *“И вот глядит она на тонкую алую струйку, глядит. До половины красен стакан, а там и на три четверти багров, вот уж совсем он полон и чёрен стал почти. Молчит Порфирий и своего занятия не прерывает. Молчит и Тарасевна, опешив от происходящего. Через край льётся дешёвое терпкое вино, на свежую скатёрку её, выстиранную с хозяйственным мылом и прокипячённую в старой кастрюльке до полной, ослепительной белизны, а бродяжка всё льёт! <...> Слово “хватит” запомнила, нет? Или ещё, вот, слово есть. Не слабей оно этого: “довольно”. Сумеешь ли распознать, когда надо его произнести?”* Вино олицетворяет как человеческое терпение, которому когда-нибудь должен настать конец, так и народную кровь, льющуюся через край.

С этой трактовкой связана и следующая, заключительная метаморфоза. Главный символ терпения в романе – чайный гриб, который выращивает Тарасевна на своём окне. Вещество растёт в любых условиях, но лучше всего “набирает” от случайных слёз старой учительницы. Бухмин, которого стеклянные банки на подоконниках бесконечно пугают, видит, что *“в разбухающей осклизлости уже зарождается некий багровый знак – что-то живое и ещё не грозное, похожее на малый кровавый сгусток внутри куриного яйца, он видел это, видел. Как в преизбыточности терпения зарождается кровь...”* Внутри всенародного великого терпения зарождается русский бунт, кровь, которая может пролиться в любой момент.

А Тарасевна видит опасно зовущее красное в небе над степью, прямо над банкой с чайным грибом: *“Но там, над грибом, всё разрастается отчего-то красное, багровое, пугающее Тарасевну – то ли это болезнь её расцветает над степью зловещим заревом, то ли страх перед смертью домашней искажает зреньё сторожики, хватающейся за сердце здесь, в бараке, не на производстве”*. Маленькая дорожка крови, соединяющая родных людей, ручейками растекается по почве романа. Только ребёнок может разбить банку, чтобы остановить течение крови.

Причудлива мелодия галактионовской прозы. Ощущение баюкающей монотонности достигается за счёт ритмических повторений. Не прекращается беспокойная колыбельная Нюрочки, которая задаёт ритм всему повествованию. *“Расти, Саня, расти”*, – повторяет мать свою мантру, баюкая спящих от печали. Этот пульс начинает биться всякий раз, когда воспоминание спящих затягивается. Речь Нюрочки – источник наиболее отчаянной и отчётливой ритмизации: *“Я должна буду сказать очень многое тебе – и как можно раньше... Но, окрепнув и возмужав, однажды ты потребуешь ответа от них – от всех, кто решает, и решает, и решает, что русские – хлам...”* В такие моменты повествование достигает своего интонационного пика и, прерываясь, исходит в другой эпизод.

Когда же в это затверживание вмешивается автор с описательной или даже публицистически окрашенной речью, рассказ приобретает особенно гулкое звучание. Интонация Галактионовой простирается далеко за пределы синтаксически обозначенного предложения, продляется в эхо: *“И не завывает ветер в выбитых окнах брошенных многоэтажек, торчащих на горе. Немо зевают они в ночи, без вдоха и выдоха. Низом, низом летит стремительный лютый холод. И уже оцепенела от него земля, сделавшись каменной”*.

Язык произведения насыщен и образен. Работая с многозначием и многомерностью слова, Галактионова достигает настоящей поэтичности: *“У тебя нет света, в земле... И здесь его тоже нет... Конец света, Лиза, наступает у нас тоже – каждый раз, когда отключает электричество кто-то, завладевший светом. Всем светом... Концом света”*. Построенный на омонимичности слова “свет”, пример этот существует сразу в нескольких жизненных плоскостях.

Не только языковая игра доступна Галактионовой, но и богатая языковая образность. Вот, например, динамичное и наполненное описание переломы осени зимою: *“Зима овладевала городом. Она норовила снести махины тяжёлых голосящих домов и завертеть их по кругу, как спичечные коробки. И не*

было больше багрового зрака в вышине, лишь свинцовая серость тихо плавала над бурей, теряя свои очертания, пока и её не поглотила воющая, ревущая тьма. Только сухое электричество посверкивало мелкими холодными зимними молниями, коротко вспыхивающими в недостижимой высоте. . .” Пульсирующее художественное пространство одушевлено и будто само ощущает свою пустынность и оставленность.

Мир “Спящих от печали” вообще восприимчив и чуток к состоянию героев, он реагирует на присутствие того или иного героя резкой образной вспышкой, соответствующей ситуации. Реальность то демонически клубится: “А внук его, пахнущий парным мясом, жарко дышит в коридоре, переступая с половицы на половицу. И табачный дым вползает оттуда волнами. Они, длинные, сизые, шевелятся возле младенца, поднимая змеиные головы”, – а то упорядоченно концентрируется: “Точно посередине круглого стола стояла пустая круглая солонка, потому что соль кончилась в доме. Иван и Нюрочка сидели вокруг небольшой пустоты, заключённой в тусклое стекло. . .” Но есть и обратный процесс: образность меняется, “подстраивается” под мироощущение героев. И если в деревенской юности Нюрочки мы можем осязать чистую пустоту, то в её постсоветском материнстве – уже только фантастические видения.

4. Паутина спящих

“Спящие от печали” – огромная паутина, где каждая нить пересекает другую и тянет за собой третью. Она замысловато сплетена, и за рассмотрением её хитрого узора можно провести часы. Она крепче стали и обладает удивительным свойством останавливать кровь. Она состоит из множества малых частей и одновременно является единым неделимым целым.

Роман масштабен и многообразен. В нём есть герои со своими судьбами, сложная образная система, различные виды метафор, многоуровневая работа с языком. С помощью сложной архитектоники текста Галактионовой удалось передать суть переходной эпохи, сделать это достоверно и монументально. И даже то, что произведение написано так, как оно написано, будто бы объясняется самой сутью хаотичного времени. Период девяностых годов в России – это и есть распад целого, после которого человек ощутил себя бесприютной частицей несуществующего. Это великое множество людей, прошлое и будущее которых стали контрастны. Героя времени больше нет, тут все – герои, резко почувствовавшие себя антигероями в условиях выживания.

Однако финал романа, имеющего в своей основе миф, решён в спорном с ним соответствии. История всеобъемлющей народной боли неожиданно заканчивается прилётом трёх голубей, которые несут “весть”. Кокшенёва, например, видит в этом органический художественный выход: “Как большой художник, Вера не могла оставить героев в эсхатологической тоске – знакомой жизни и надежды станут три белоснежные белые птицы, крестообразно пролетевшие над Столбцами (так видели герои)”. Но почему? С прилётом трёх белых голубей перестает ругать зятя Тарасевна, а внуки Жореса пропадают из города, “спешно уехав куда-то в степь”. Галактионова авторитарно убирает их из романа, однако ощущение художественной правды и последовательности подсказывает: они не могут просто исчезнуть. В данном случае символ в романе подменяет объективную реальность.

Гораздо более мощным средством против “эсхатологической тоски” кажется пронесённая через весь роман надежда на подрастающего Саню. Да, это ещё не утверждение, но уверенное предположение. Критики говорят о Сане в одном ключе: “Катарсис намечен, но отложен. . . Надежда дана, но остаётся и трагизм. Ещё слишком мал Саня и непредсказуемы перипетии его дальнейшей жизни”¹; “Этого героя пока почти что нет, он – русское может быть. Здесь русская надежда, шанс на воскресение всех прошлых побед. Герои романа сами не смогут, только Саня”². Тарасевне же Саня и во все видится будущим вождём русского народа: “Чужих вождей мы выучили,

¹ Станислав Чумаков. “Знаки гибели и надежды”. О романе Веры Галактионовой “Спящие от печали”. // День литературы. 2011. № 7.

² Алексей Татаринов. “Другой Санька: романы Веры Галактионовой и Людмилы Улицкой” // Парус. 2011. № 11.

а своего-то вождя, заступника своего, не догадались взрастить! Не подготовили! Великого. А почему?.. Мы, мы, все учителя, сами себе должны за это поставить двойки!” Но если перипетии жизни приведут не туда, если может быть не превратится в точно, то результат, к сожалению, вполне предсказуем. Спящие от печали так и не проснутся, а все возможные революционные действия, вдохновлённые “вождём”, будут совершены в ненадёжном порыве снохождения.

Зайти на новый круг сна – не совсем то же самое, что вырваться из него. И если надежда на Воина и Защитника представляется зыбкой и сомнительной, то вера во взрослеющего ребёнка как в нового человека, символ следующего родового звена – тверда и имеет под собой основания. Дело же не только в Сане, чудо-мальчике, который придёт и всех спасёт. Ведь и внучка старой учительницы, упорно стремящаяся пойти на уроки в пустующую зимнюю школу, отвечает на вопрос бабки: “Зачем идти, Полина? Что, президентом ты станешь главным?” – весьма однозначно: “Если надо, стану”. Да и проститутка Алина, жертвуя собой, спасает от голода мать и детей-чуханов. Два второстепенных старших “детских” образа, две стороны одной медали, Полина и Алина, уже готовы брать на себя ответственность. Их наличие в романе позволяет говорить о том, что это не история о лидере-мстителе, а произведение о народном оздоровлении через приходящих в этот мир новых детей России. По мысли Галактионовой, вырастить не только Саню, но его поколение, где он будет первым среди равных, – общее дело. Благо, время на это есть: ведь Сане пока только десять лет.

В конце одного из интервью* Галактионову спросили, на какой вопрос она хотела бы ответить, но ей его не задали. Писательница быстро нашлась: “Вы не спросили, какое самое короткое стихотворение, на мой взгляд, отражает время распада Советского Союза. Вот оно:

*Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днём, —
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.*

Это стихотворение Анны Ахматовой. Датировано стихотворение 1915 годом. Выходит, есть пророки в нашем литературном Отечестве. Пророчицы тоже. А остальное приложится”. И действительно, есть. Хотелось бы верить, что Вера Галактионова – одна из них.

¹ “Может ли русский быть счастливым?”, беседует Анастасия Ермакова. // Литературная газета. 2014. № 39.

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ

ЖИВАЯ ВЕШНЯЯ ВОДА

“Богородицы лик вознесен в пустоту...”

*“...В недостроенном храме,
в изножье России...”*

*“Перелесок, дорога, тишь,
Голубая Полянь-звезда...”*

Читая стихи Натальи Кожевниковой, стоит обратить особенное внимание, насколько прожита каждая тема. При их чтении возникают в памяти картины русских полей с высокими травами, сгибаемыми ветром, ветхих и молодых церквей (и кажется, что слабо потянуло запахом ладана...). Любовь к России, её природе и народу, искренняя вера в Бога чувствуются во всех стихах уральской поэтессы. Её произведения по-настоящему лиричны, красивы и по-есенински сердечно искренни.

*Под гулким сводом небосвода
Субботний храм принять готов
И скорбь оставшегося рода,
И дух отеческих холмов.*

.....
*Та забава не унылому —
Побежать в мороз большой
Босиком по снегу тылому...*

Эти стихи вызывают к самым разным чувствам читателя — от тоски по чему-то ушедшему, “что водой весенней смыло, // что ветрами унесло, // что прошло — то стало мило...”, до нежной улыбки с воспоминанием о родных сердцу людях: “Забыто всё, спит маленькая девочка...”

Но нельзя сказать, что, открывая сборник её стихов, мы погружаемся с головой в одну только мелодичную лирику беспомощной женщины. В них видна тренированная тяжёлыми годами трудностей и потерь, скрытая и иногда прорывающаяся наружу внутренняя сила:

*Мой бедный русич!
Византии
Не снилась русская заря...*
.....
*Живый в помощи будет идти
до конца,
До креста, осенённый незримым
крылом...*

В стихах поэтессы происходят неизбежные изменения, как и во всём, чем мы живём и что нас окружает. Видно сначала то непростое, временное, что проживается с трудом, но остаётся в сердце и воспоминаниях:

*Мама моя — ты теперь земля,
Млечные облака,
Дальнее эхо, роса, поля,
Медленная река...*

.....
*...Как жаль, меня ты не припомнил,
Я незнакомца не узнала.*

.....
*Сказал, что не умер... На миг
Проснулась я, в это поверив.*

И многовечное, хоть и тленное со временем: поля, деревни, русская бытность и человек, всегда присутствующий в этом осязаемом мире, иногда только наблюдающий со стороны. Как смена времён года, всё, описанное поэтессой, проходит, растёт и старится с каждым новым стихом. Человечность и близость человеческому бытию свойственны творчеству Натальи Кожевниковой. Живое описание взаимной, обоюдозависимой жизни человека и природы, их слияния, не уничтожимого с годами никакими переменами.

*...Дым кизячный, чаек крик...
Узкоглазый скачет мальчик
Средь пастушьих повилик.*

Хотя многие её стихотворения пропитаны драматизмом страдания (иногда даже с избытком), есть и живая надежда, не оставляющая места унынию:

*Вот почему я теперь вдвойне
Землю свою люблю.*

.....
*...Где в купол луковичный рвутся,
Пылая жарко, образа.*

Все это положительно отличает стихи Кожевниковой как от “дамского декаданса” прежних лет, так и от большинства современных “слёзных вздыханий” молодых поэтесс. Здесь нет также надоевшей подстрочной бравады, требующей обратить на автора внимание. Только искренние переживания сердца, мысли и образы того, что пережито и прочувствовано, и одето в оболочку строк с поистине неподдельным талантом.

Но главное, что через её поэзию ощущается, на грани вечного и временного, как и в нашей жизни, неизменное присутствие Создателя и чувствуется нежная любовь к Нему и Пречистой Матери Божьей, “что в любви и в тоске обнимает Дитя, // и не знает о муке, Ему предстоящей...” Это говорит уже не о временном, а о бесконечном. Поэтому, хотя в этих стихах и присутствует боль, но есть и жизнеутверждающая смелость. Что случилось — то случилось, а надо и хочется жить, творить, растить детей и ничего не бояться... И это — “живая, вешняя вода” на современных литературных просторах. Так и народ, и святая Христова Церковь, много раз битая, согнута до земли гонениями и расколами, снова распрямятся, не давая себя сломать

*Дракону возле трёх дорог,
И вечность с ним святому биться,
И надпись светит: “С нами Бог!”*

МАРИНА ШАМСУТДИНОВА

“КУЛЬТ СОЛОМЬЯНОЙ СТРИХИ И ВАЖКИХ ЧОБИТ...”

Сегодня ночью приснились похороны Юрия Григорьевича Каплана – киевского поэта, мастера, чью студию “Третьи ворота” я посещала в Киеве в 2000 годы. Убили Каплана давно: в 2009 году его забили ногами алчная домработница и её хахаль из-за горстки золотых цепочек и чего-то из одежды. Такая вот страшная насильственная смерть... А сегодня в моём сне он снова умер и огромная толпа его хоронила...

Может быть, сегодня – это была его биологическая смерть, не насильственная, и тогда Юрий Григорьевич вместе с нами пережил бы весь этот шабаш ведьм и русалок, увидел бы всё своими глазами.

Помню, в 2000 году я писала свою поэму “Судьба божественного ветра”, была в ней и вставка о раскулачивании, о деревенской жизни, была и финальная строчка:

*Не минует опала пана
Голодраного горлопана.*

Помню, как моя знакомая и коллега Женя Чуприна – поэтесса и “куртуазная маньеристка” – выступила на обсуждении и сказала, что моя поэма “плохо пахнет” и что это моё творчество из серии “Индо взопрели озимые”. То есть писать о земле и крестьянах уже “не комильфо”.

А Юрий Григорьевич вспомнил про своего друга – поэта Васыля Стуса (чье имя сейчас стало культовым). Так вот, Василь Стус предостерегал от “Культа соломяной стрихи и важких чобит”. То есть известный украинский поэт предупреждал от сползания в “хуторянство”, в примитивизм и гламурный наив? Может быть... Культурный, образованный поэт видел свою страну сильной и могущественной державой, а не девкой, которую лапают солдаты и в чьих волосах запутываются соломинки и мякина.

*...Уже тогда, когда родные с детства,
простые, грешные, честнее правды лица
вдруг двинулись, заголосили разом
над головой твоей, уже тогда,
когда в дремоте дорогих околиц
ты чуял неподвижность, а вода
в твердеющих артериях бежала,
и на тебя табун катил*

*“Смотрите — вот он!” —
кричала поражённая толпа
и пальцы жёлтые в твой бок тянула)...*

(Из “Писем”)

“Сны меня вымучивают. Символы: блуждаю по какому-то бесконечному зданию “своей большой души(?)”, где громадные комнаты (пустые) ещё более громадных ожиданий (пустых)...”

* * *

*Всё Киев снится мне в прекрасных снах:
цвет спелых, налитых черешен первых
и зелень хвои. Выдержали б нервы:
ведь впереди — твой крах, твой крах, твой крах...*

Разделение на поэтов “деревенщиков” и поэтов “деятельного крика” тогда было в самом разгаре. Деревня многим интеллигентам казалась чем-то отсталым, неприличным, грубым. Деревенские жители переселялись в города и ассимилировались, но во снах всё равно “снился мне деревня, // отпустить меня не хочет // родина моя”.

Как писал Анатолий Передерев в стихотворении “Окраина”:

ОКРАИНА

*Околица родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.
Взрастив свои акации и вишни,
Ушла в себя и думаешь сама,
Зачем ты понастроила жилища,
Которые ни избы, ни дома?!
Как будто бы под сенью этих вишен,
Под каждым этим низким потолком
Ты собиралась только выжить, выжить,
А жить потом ты думала, потом.
Окраина, ты вечером темнеешь,
Томясь большим сиянием огней,
А на рассвете так росисто веешь
Воспоминаям свежести полей
И тишиной, и речкой, и лесами,
И всем, что было отчею судьбой...
Разбуженная ранними гудками,
Окутанная дымкой голубой!*

(1964)

Но время прошло, и сейчас нас всё активнее впихивают в постиндустриальную эпоху, заводы и фабрики разрушаются в угоду западным конкурентам, и вот уже “культ соломенной стрихи” снова востребован. Глиняные дома под соломенной крышей стоят дороже коттеджей, вышитые рубашки — дороже деловых костюмов, а изящные трости сменяются в руках бутафорскими вилами.

И вечно молодая Женечка Чуприна или ещё какая Евгена надевает на головку веночек или кастрюльку. Или фоткается с вызывающим видом на фоне картинки: я украинка, я бандеровка... Хотя слово “украинка” в Европе всё больше ассоциируется совсем с другой профессией, “вдольдорожной”. Не говорят же: “Снял вчера двух бандеровок!” И вот уже гоголевско-булгаковские панночки-ведьмы с распущенными волосами разливают на Лысой горе или в гламурных салонах ведьмин бесовской напиток. Ибо если отметить поганой метлой всю русскую культуру вместе с языком и религией, которая большей

частью и вобрала в себя светлые славянские мифы и традиции, то приходится подбирать и скрести по сусекам то, что осталось в забросе. Женское колдовство, чаровничество, опаивание, животную сексуальность и свальный грех на Ивана Купалу...

Цитата из статьи “Богема на майдане”:

“Подруга куртуазных маньеристов и постдекадентка несколько лет назад перестала писать стихи по-русски и перешла на украинский. Она не любит русский мир... я осознала себя настолько украинкой, что, даже будучи русской поэтессой, перешла на украинский язык в 40 лет, стала писать по-украински”.

А вот стихи Жени, что я слушала в студии у Каплана:

* * *

*Камин. Вишнёвый сад. Колье из бриллиантов.
Трёхспальная кровать.
Сиамских кошек — пять. Две моськи с кучей бантов.
Чего ещё желать?
На окнах от дождя бесчисленные лужи,
Сквозь шторы — лунный свет,
Да строчку от тебя, да молодого мужа —
На склоне лет!*

SUBLIMATIO

*Стихи росли. Несмелые пока,
В одну или две строки ещё длиною,
Когда весенним ливнем с потолка
Прорвался унитаз над головою.
Извётка превратилась в облака,
И где-то в глубине её творожной
Рождалось и стекало с потолка
То, без чего цветенье невозможно.
Стихи росли под ливнем с потолка
И расцветали бешено и странно,
И сердцевина каждого цветка,
Как небеса, была благоуханна.
И весь мой дом наполнила река,
К соседям вниз извергнуться готова,
И щедро проливалась с потолка
Капризной красоты первооснова.*

А сейчас она пишет нечто похожее, но попроще... Язык обязывает.

*Одна дама огрядна у Овручі
Сраченятком не влазила в обручі,
та знайшлись шанувальники,
І не тут, а в Італії,
так що зараз вона вже не в Овручі.*

*Жив добродій один в Броварах.
Три квартири у Києві мав.
Добрих брокерів знав,
подобово здавав
і все нив про фінансовий крах.*

*Одна хвойда обсілась у Львові,
Голубої, ну звісно же, крові,
наче місто хороше,
в хлопців водяться гроші,
Але бридко, що треба — на мові...*

“Ото я була на репетиції, кричала у мікрофон!”, “Масони!”, “Бридко!”, “От же ж курчавий син!” – это милое желание выразиться по-особому.

Какой из всего написанного вывод? Да какой угодно... Можно сказать, что такая культура хорошо оплачивается и надо же как-то и на что-то жить; можно сказать, что у многих моих ровесниц-поэтесс, тех, с кем я начинала и кого лично знаю, никогда не было и, наверное, уже не будет детей, а я имею все шансы через пару лет стать бабушкой... И такая вот вечная гламурная молодость заставляет искать средство Макропулоса... И никогда не стареть и не мудреть... Разводить кошек, цветы и затевать революции, зная, что твои дети не будут умирать на баррикадах.

Кастрированные самки – самые злобные существа на планете, это биологи уже давно открыли... А стыд и скромность – это удел лузеров, таких, как я, потому что у меня дочка растёт и сыночек и стыдно перед ними бегать неглиже...

*Украина — страна-крематорий,
Бухенвальд или просто Освенцим.
Здесь стареют с консерваторий
По майдану и некуда деться.
И только визг
Без виз.*

ЕВГЕНИЯ ДЕКИНА

МЫ ИХ ПОЧТИ ПОТЕРЯЛИ

Разрыв между поколениями становится всё более угрожающим. Меня, как и других людей, работающих в школе, не может не ужасать нынешнее положение дел.

“Она жрет мой х... , как бургер”, – поёт Фэйс, кумир сегодняшних подростков. Они слушают это в плеере, они поют это и смотрят его выступления в интернете. Я сначала не поверила, но когда начала спрашивать у учеников, меня охватил ужас. Они знают, кто это. А те, кто не признался, так стыдливо отводили глаза, что было ясно, что и они в курсе. Они все его знают.

До этого я думала, что нижнее днище нижнего ада – это сверхпопулярная группа “Пошлая Молли”, выпустившая в 2017 году альбом “8 способов как бросить драть”. Вот что пишут об этой группе критики: “Творчество ребят выделяется, прежде всего, своим очень оригинальным звучанием и несложными, но подкупающими текстами”. Вот такой “подкупающий текст”, например:

*Девчата пляшут под спинами,
А ты стоишь, как вкопанный,
Кроссовками ломают пол,
А ты стоишь, как вкопанный...
Ну, что за, мать его, дерьмо?..*

Я думала, что эта группа, пропагандирующая вялое полунаркотическое существование в мире тусовок, секса и алкоголя, – худшее, что может быть, но я ошиблась. Есть Фэйс. Это уже не шокировавшее нас “Давай, подвигаай попой!”

*Еду в магазин Гисси в Санкт-Петербурге.
Я настолько еб..ый, что лежал в дурке.
Она жрёт мой х..й, как будто это бургер.
Деньги синие, как смурфы, красные, как губы.*

Это песня. Они идут нам навстречу в метро, стоят перед нами в очереди, они едят мороженое на лавочке жарким летним днём, они держатся за руки на свидании, а в плеере у них играет вот это. И это не какие-то плохие американские дети из кино, это наши дети. Вы говорите со своим ребёнком о духовности, о ценностях, потом отправляете его за хлебом, он целует вас в щёчку,

берёт рюкзачок, выходит из подъезда и включает это. Потом приносит хлеб, улыбается и садится обедать. Между нами – бездна.

Мы должны быть старше и мудрее, мы ещё можем что-то сделать. Но для этого нужно признать, что мы потеряли истинную духовную культуру, мораль и нравственность, и если мы не опомнимся прямо сейчас, мы потеряем целое поколение. Этим детям больше нельзя проповедовать, как раньше, им нельзя стандартно говорить про добро, красоту и Бога. Они не слышат. У них другие критерии – “круто / зашквар”. Вы знаете, что такое “зашквар”?

Обвинять их в том, что с ними происходит, несправедливо, это просто дети. Обвинять буржуазную культуру, которая разрушает нашу духовность, – глупо и непродуктивно. Ну, разрушает, ну, нашли крайнего, и что? Запретим этого певца? Запретим “бургеры”? Это что-то изменит? Все родители запрещают своим детям, а дети при этом достают наркотики, пьют, занимаются сексом с 12 лет. Запретный плод сладок, и нарушение табу – обязательный этап взросления. Чистая психология. Что мы можем сделать в этой ситуации, учитывая то, что мы не имеем права опускать руки?

Единственный выход – дать им альтернативу. Сформировать новую культуру, которая будет говорить с ними на их языке, но не опускаться при этом до уровня Фэйса и прочих упырей. Они пока способны слышать. И мы должны быть проще, быть увлекательнее, мы должны быть интереснее. Не надо мечтать, что они одумаются сами собой, дотянутся, обратятся к истинному. Нет. Мы так думали, мы писали, как нам пишется, и говорили так, как велит нам наше сердце, – и где мы оказались? Всё просто деградировало до невообразимого примитивизма и пошло дальше – в такой ад, которого мы и вообразить себе не могли.

Говорить с ними в лоб нельзя. Проповедовать духовные ценности в стиле церковных батюшек – нельзя. Это только отталкивает.

В прошлом году на одном из заседаний Совета молодых литераторов мы обсуждали некий православный текст, который поверг меня в ужас. Сейчас я успокоилась, но такие тексты продолжают попадаться. Более того, их публикуют в православных изданиях и дают читать детям. По сюжету повести православные детишки поехали в православный лагерь. Один из них тайно курил, а другой ругнулся матом. Но их пристыдил батюшка, и они тут же перековались. Все это – гигантский талмуд, с огромными журналистскими вкраплениями авторского текста о том, что православные лагеря – это прекрасно, что надо верить в Бога, как автор этого текста, что курить плохо, а ругаться – тем более. И вот я воображаю себе ситуацию. Родители приводят ребёнка в воскресную школу, где ему вручают журнал, в котором опубликовано такое. И заставляют его это читать. Всё, через три страницы этой невыносимой скукотищи мы получим безбожника, ненавидящего журналы, чтение и церковь заодно.

Нынешние дети – совершенно другое поколение. У них есть интернет, они смотрят сериалы, играют в компьютерные игры. Всё это создано американскими драматургами на основе теории восприятия, НЛП и продающих рекламных техник. Мозг современного ребёнка работает совершенно иначе. Он не выносит статичности. Они избалованы фэнтези и фантастикой, они привыкли к быстрой смене картинок, они все хорошо фотографируют и мгновенно усваивают информацию. Они быстрее нас. Они не дослушивают песни, они переключают каналы, им нужна скорость, им нужен сюжет, им нужна драма. А им пытаются впихивать вялые назидательные рассуждения, которые даже нам читать скучно.

Один из главных законов американского пиара гласит: читатель – не идиот. Они умудряются разжевать детям сложнейшие концепции времени и пространства, они прорабатывают неожиданные ходы, целые бригады работают над образами, у них есть фокус-группы, на которых они проверяют эффективность воздействия. Что мы предлагаем им взамен? Вялые авторские рассуждения?

Да.

И при этом ещё и давим, говорим, что вот же оно, истинное, вот же про Бога и духовность. А это вот всё, твоё любимое, что интересно тебе и всем твоим друзьям, – это бесовщина, это от лукавого. Конечно, бесовщина, конечно, от лукавого, но почему православный автор ведёт себя, как полный идиот, и пытается проломить лбом стену? Уповает на Господа, который раз-

вернёт души человеческие к истине? Это же банальная лень. Вместо того чтобы в подробностях изучить бездуховного врага, понять весь его арсенал и использовать против него самого, обогатив свою литературу, сделал её объективно лучше и качественнее, благонамеренные авторы продолжают писать свою скукотищу. Кроме того, есть у них и эта вредная, оправдывающая свою лень позиция – всё это мне Господь надиктовал. Я же просто медиум, я передатчик. Поэтому всё, что я передаю, по определению гениально. А то, что передатчик фонит и динамик его забит мусором гордыни и самолюбования так, что читать это невозможно, почему-то никого не беспокоит.

Писать религиозную литературу в принципе сложнейшая задача. Такая литература должна быть всеобъемлюща и глубока, а сейчас всё усугубляется жёсткой конкуренцией. Бездуховность побеждает в головах наших детей, а православные писатели сидят сложа руки и думают, что молятся.

Кроме того, есть целый пласт современной литературы, особенно молодой, в которой главный герой – вялая безвольная тряпка, тонко чувствующая, страдающая и вроде как высокодуховная. Авторы таких текстов, как им кажется, продолжают духовную традицию русской классики, изображая героя с обострённым чувственным восприятием мира. Но на деле пишут об отвратительных инфантилах, не способных жить в современной реальности.

И это уже не Обломов, который сам по себе фигура спорная, но он хотя бы пытается что-то предпринять, и не герой трифоновского “Обмена”, который осознал собственное моральное разложение, правда, когда уже было поздно.

Где Гринёв? Где Мцыри? Где хотя бы Штольц? Где хоть какой-нибудь деятельный и активный персонаж? Знаете, где? В телевизоре. Боевики и современная кинокультура показывают Героя, яркую личность, способную к борьбе и противостоянию. Молодым авторам в любом противостоящем деятельном герое видится попса, а искать новый тип положительного персонажа, не грубого полицейского или очередного “крепкого орешка” им лень. Хипстеры куда не делись, быть вялой ранимой тряпкой по-прежнему модно. В Японии, обогнавшей нас по уровню экономического развития, в это время уже происходит национальная катастрофа. Есть целый пласт молодых людей, которые после окончания колледжа сидят дома на шее у родителей. Потому что “мир зол и агрессивен, а я весь такой тонкий и ранимый, что сдохну от грубого слова коллеги или начальника...” И наша литература пропагандирует то же.

Конечно, соцреализм уже невозможен, да и не нужен он, пусть герой страдает, пусть тонко чувствует, пусть переживает драмы, но он должен побеждать, он должен меняться, он должен расти, он должен становиться примером. И автор должен испытывать ответственность за то, что он пишет. Каждая вялая амёба на месте героя – это очередной гвоздь в гроб русской культуры. Кого мы воспитываем такой литературой? Кому подаём пример? Перестаньте искать виноватого, прекратите обвинять среду. Это, в конце концов, вторично. Эмиль Золя уже всё сказал. Не засоряйте ноосферу. Спросите себя: мой персонаж нытик? Он побродит, поноет, пообвиняет всех вокруг и ни к чему так и не придёт? Да? Жгите. Ради будущего человечества – в топку это всё!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЖУРНАЛА «НАШ СОВРЕМЕННОК»

Окажет Вам квалифицированную юридическую помощь

Представит Ваши интересы во взаимоотношениях с государственными органами исполнительной и судебной власти по гражданско-правовым и административным вопросам и спорам;

Поможет в государственной регистрации, защите и использовании авторских и иных интеллектуальных прав;

Окажет содействие в разрешении споров о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения за использование соответствующих прав, а также в выплате компенсаций в случае нарушений использования охраняемых законом прав;

Поможет в подготовке лицензионных и иных гражданско-правовых договоров; проведет правовую экспертизу договоров;

Встанет на защиту чести, достоинства и деловой репутации;

Компетентно поможет разобраться с правовыми особенностями коммерческих проектов, связанных с использованием информационного интернет-пространства (реклама, электронная коммерция, иные IT-проекты); разработает пользовательское соглашение, политику конфиденциальности, соответствующие договора;

Поможет в осуществлении регистрации товарных знаков, фирменных наименований, получении свидетельств, патентов, лицензий, разрешений.

Окажет иную помощь правового характера.

Эл. почта: pt-pravo@yandex.ru

тел. 8(495)625-57-45, 8(968)906-28-17

Жуков Анатолий Анатольевич

Не забудьте подписаться
на "Наш современник" —
на второе полугодие 2019 года!



Почта России		ф. СП-1									
АБОНЕМЕНТ на газету журнал		<input type="text"/> (индекс издания)									
НАШ СОВРЕМЕННИК		Количество комплектов									
На 2019 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Куда <input type="text"/>											
(почтовый индекс)								(адрес)			
Кому _____				Линия отреза				-----			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА		<input type="text"/>						
ПВ	место	литер									
На газету журнал		НАШ СОВРЕМЕННИК		(наименование издания)							
Стои- мость	подписки	руб.	Количество								
	переадрес.	руб.	комплектов								
На 2019 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		город		_____							
<input type="text"/>		село		_____							
<input type="text"/>		область		_____							
<input type="text"/>		район		_____							
<input type="text"/>		улица		_____							
дом	корпус	квартира	(фамилия и о.)								

Подписные индексы журнала
"Наш современник"

По каталогу "Роспечать" на 6 месяцев — 73274

По каталогу "Роспечать" на 12 месяцев — 72336

По каталогу "Почта России" — П4254

По каталогу МАП — 12625